

**Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович**

**Господа ташкентцы**

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  
Господа ташкентцы  
Картины нравов  
ОТ АВТОРА

Исследование о "Ташкентцах" распадается на две части: "Ташкентом приготовительного класса" и "Ташкентцы в действии". Настоящим томом оканчивается первая часть, составляющая сама по себе отдельное целое. Я отнюдь не имею претензии утверждать, что в представляемых здесь вниманию читателя параллелях исчерпывается все, что могло бы подойти под эту рубрику, но ежели бы я пошел еще далее в воспроизведении различных типов "ташкентства", то работе моей, пожалуй, не было бы конца. При том же в намерениях моих было написать ежели не роман в собственном значении этого слова, то более или менее законченную картину нравов, в которой читатель мог бы видеть как источники "ташкентства", так и выражение этого явления в действительности. Поэтому первую часть я посвящаю биографическим подробностям героев ташкентства, а во второй - на сцену явится самое "ташкентское дело", в создании которого примут участие действующие лица первой части. Ввиду этого я нашел, что привлечение слишком большого количества элементов, хотя и однородных по своим целям, но крайне разнообразных в своих проявлениях, могло бы загромоздить мой труд множеством лиц, связь между которыми, быть может, представилась бы читателю не вполне ясною. Тем не менее я сознаю, что отсутствие некоторых типов (как, например, ташкентца-педагога, ташкентца-благотворителя и т. п.) составляет пропуск очень заметный. Но я постараюсь познакомить читателя с этими типами во второй части, выводя их постепенно, в роли эпизодических лиц.

----

#### ВВЕДЕНИЕ

В рассказах Глинки (композитора) занесен следующий факт. Однажды покойный литератор Кукольник, без приготовлений, "необыкновенно ясно и дельно" изложил перед Глинкой историю Литвы, и когда последний, не подозревая за автором "Торквато Тассо" столь разнообразных познаний, выразил свое удивление по этому поводу, то Кукольник отвечал: "Прикажут - завтра же буду акушером".

Ответ этот драгоценен, ибо дает меру талантливости русского человека. Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от "приказания". Ежели мы не изобрели пороха, то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на попри-

ще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут - и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут - и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. Литераторы ждут мания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все начеку, все готово устремиться куда глаза глядят.

По-видимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести в обществе суматоху и толкотню. Однако ж ничего подобного не усматривается. Везде порядки, везде твердое сознание, что толкаться не велено. Но прикажите - и мы изумим мир дерзостными поступками.

Уверенность в нашей талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой профессии мы от рождения вкус получили. Свобода от наук не только не мешает, но служит рекомендацией, потому что сообщает человеку букет "свежести". "Свежесть", в свою очередь, дает талантливости характер неудержимой и ни перед чем не останавливающейся похотливости. Человек, постоянно готовый и постоянно вождедеющий, - это своего рода нерушимая стена. Это развязный малый, перед которым всякая специальность немедленно сдается на капитуляцию. Назовите рядом с "свежим" человеком какого-нибудь "умника", - и всякий сразу поймет, сколько горечи и презрения слышится в этом последнем названии. "Умник!" - ведь это засоренная голова! это человек, изнемогающий под бременем собственного бессилия!

Это опасный мечтатель, способный только разрушать, а не созидать!

А мы именно хотим только созидать, и потому блюдем нашу "свежесть" паче зеницы ока. Мы твердо помним, что от нас ожидается какое-то "новое слово", а для того, чтоб оно сказалось, мы не полагаем никаких других условий, кроме чистоты сердца и не вполне поврежденного ума. Это условие потому хорошо, что оно общедоступно, а сверх того, благодаря ему все профессии делаются безразличными. Человек, видевший в шкафу свод законов, считает себя юристом; человек, изучивший форму кредитных билетов, называет себя финансистом; человек, усмотревший нагую женщину, изъявляет желание быть акушером. Все это люди, не обремененные знаниями, которые в "свежести" почерпнут решимость для исполнения каких угодно приказаний, а в практике отыщут и средства для их осуществления.

Практика - это тоже своего рода божество, которое выведет их из умственного оцепенения и даст смысл их невнятному бормотанию. Там, в этой насыщенной азбучными испарениями атмосфере, среди недомолвок, справок, противоречий и колебаний, они, кроха по крохе, соберут себе сокровище гораздо более прочное, нежели то, которое могла бы дать наука. Там, на боках Петров и Иванов, юрист уяснит себе понятие о мере наказаний; там финансист воочию убедится, что кредитные билеты сами хорошо знают карманы, в которых им быть надлежит. И не утратят они при этом ни единой капли "свежести", ибо при конце профессионального поприща пребудут столь же свободны от наук, как и при начале оного.

И надо сказать правду, еще очень недалеко то время, когда вера в силу прирожденной талантливости действительно делала чудеса. Приходил человек совершенно свежий и начинал орудовать. Писал законы, устанавливал порядки, и даже доводил "вверенную" часть до идеального совершенства. Не только подчиненные, но люди совсем посторонние - и те говорили: "Да, этот человек не то что X. или Z. Этот человек - подтянет!" Где тайна этого волшебства? Очевидно, ее следует искать или в неизреченной наглости "свежих людей", или же в том, что самые "вверенные" части столь уже просты, что расступаются даже перед людьми, совсем не поврежденными науками.

Первое предположение, очевидно, не выдерживает никакой критики. Наглость, выступающая вперед только по приказанию, - вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, чтобы служить объяснением для жизненных явлений. Гораздо правильнее остановиться на простоте "вверенных частей", тем больше что здесь приходит к нам на помощь и практика со своими истинно поразительными подтверждениями.

Один знатный иностранец, посещавший Россию во времена Петра Великого (предоставляю любителям отечественной старины догадаться, кто этот путешественник), рассказывает следующее: "Несмотря на совершенные сим государем преобразования, процесс, посредством коего управляется здешний народ, столь прост, что не требует со стороны администратора ни высокого ума, ни познаний. Я, по крайней мере, лично знал одного наместника, который был да такой степени простодушен, что однажды, по недоразумению, откусил свой собственный палец, но и за всем тем оказывался вполне удовлетворительным для выполнения тех задач, которые ему предстояли. Каждый день перед ним клали известную порцию бумаг, и ежели эта порция случайно уменьшалась, то он примесно начинал беспокоиться, упрекал подчиненных в нерадении и требовал усугубления рвения. С течением

времени он до того вошел в свою роль, что сделался даже прихотливым. Заметил, что ему подают только коротенькие бумаги, и стал требовать длинных; потом и сим не удовлетворился, но велел сочинить статистику, которую, по изготовлении, подписал и отправил. Таким образом, с помощью одного очень простого приема, называемого по-здешнему подтягиванием, этот плохой и даже глупый человек прожил несколько лет и умер в звании наместника естественною смертью".

Поверить этому рассказу очень возможно. Всякий из нас знал на своем веку и неумолимых статистиков, и пребодрых финансистов, которые ничего не имели за душою, кроме чистого сердца и не вполне поврежденного ума, - и за всем тем действовали. Каким образом могли действовать эти чистосердечные люди? Каким образом могло случиться, что только естественная смерть освобождала их от тягостей лежавшего на них бремени? Что означает этот факт?

По моему мнению, он может означать одно: простоту задач. Очень долгое время область профессий представляла у нас сферу совершенно отвлеченную, основу которой составляли не люди, а тени. X. взывал об удовлетворении, но в глазах людей профессии он не существовал как живое лицо, а существовало лишь "дело об X., ищущем удовлетворения". Z. томился в тюрьме, но и он как живое лицо был неизвестен, а известно было только "дело об Z., томящемся в тюрьме". Речь шла не об действительной участи людей, а о решении уравнений с одним или несколькими неизвестными. Но когда живые люди постепенно доводятся до состояния теней, то они и сами начинают сознавать себя тенью, и в этом качестве делают вполне равнодушны к тому, какие решаются об них уравнения и какие пишутся статистики. Вот тут-то и настигают их "свежие" люди. Сначала они совестятся и довольствуются только простыми уравнениями; потом делают дерзкими и начинают требовать статистик. Какие плоды приносит их подтягивательная деятельность - они не знают, да и знать, по правде, не нужно, потому что, наверное, она никаких плодов не принесет. "Все равно, братцы, помирать!" - говорят люди, и действительно начинают помирать, как будто и невесть какое мудрое дело делают.

И что всего удивительнее, эта "свежесть" допускалась не только в области деятельности спекулятивной, но и в области ремесл, где, по-видимому, прежде всего требуется если не искусство, то навык. И тут люди, по приказанию, делались и портными, и сапожниками, и музыкантами. Почему делались? - а потому, очевидно, что требовались только простые сапоги, простое платье, простая музыка, то есть такие именно вещи, для выполне-

ния которых совершенно достаточно двух элементов: приказание и готовности. Кукольник знал, что говорил, когда вызывался хоть сейчас быть акушером. Он понимал, что тут предстоит акушерство самое упрощенное, или, лучше сказать, не столько акушерство, сколько выражение готовности.

Таким образом оказывается, что, как ни велика наша талантливость, все-таки она может считаться действительной лишь до тех пор, пока существует беспредметность профессий или, говоря другими словами, покуда можно все сапоги шить на одну ногу. Как скоро давальцы начнут требовать сапогов, шитых по мерке, никакие приказания не помогут нашей готовности. Еще Петр Великий изволил приказать нам быть европейцами, а мы только в недавнее время попытались примерить на себя заправское европейское платье, да и тут все раздумываем: не рано ли? да впору ли будет? - Как хотите, а горше этой формулы самоуничтожения даже выдумать трудно.

От чего же мы отбояриваемся? что защищаем? Очевидно, мы защищаем то выморочное пространство, которое после приказа Петра Великого: быть всем россиянам европейцами, - так и осталось ненаполненным. Нет у нас ничего, кроме пресловутой талантливости, то есть пустого места, на котором могут произрастать и пшеница и чертополох. Но именно это-то пустое место и дорого нам. Раскольники, современные Петру, - и те лучше были, ибо говорили: мы хотим пахнуть по-своему. Мы же ничего не говорим, а просто-напросто с пустом в пусто лезем. И выходит, что мы тоже пахнем, только пахнем нежилым местом.

И вот, недалеко от нас глухая стена. Сапожник начинает смутно понимать, что сколько есть на свете ног, столько же должно быть и сапогов; администратор, судья, финансист догадываются, что сзади их профессий есть нечто, что движется и заявляет о своей конкретности, что требует, чтоб к нему, а не его примеривали. В хаосе безразличия, в котором еще так недавно витал некоторый сам себе довлеющий дух, начинают выясняться отдельные образы, которые с изумлением смотрят на стену, воздвигнутую вековой русскою готовностью. И вспоминается им многострадальная история этой готовности. Вспоминается, как они, бия себя в перси, на целый мир возглашали: мы люди серые, привычные! нас хоть на куски режь, хоть огнем пали, мы на все готовы! Вспоминается, как они суетились, разоряли, громили, жгли - и все это без ненависти, без злобы, даже без мысли, единственно ради похотливого желания доказать, сколь талантлив может быть человек, когда знает, что его за эту талантливость не подвергнут телесному наказанию. "Многое мы совершили, многое претерпели, - говорят они, - а в результате все-таки стена - и

ничего более!"

Эта стена, однако ж, не с неба свалилась и не из земли выросла. Мы имели свою интеллигенцию, но она заявляла лишь о готовности следовать приказаниям. Мы имели так называемую меньшую братию, но и она тоже заявляла о готовности следовать приказаниям. Никто не предвидел, что наступит момент, когда каждому придется жить за собственный счет. И когда этот момент наступил, никто не верит глазам своим; всякий ощупывает себя словно с перепоя и, не находя ничего в запасе, кроме талантливости, кричит: "Измена! бунт!"

Есть три способа избавиться от глухой стены. Первый заключается в том, чтобы признать прихотливыми все требования жизни, которые почему-нибудь нам не по нутру. Это задача очень трудная (едва ли можно отыскать человека, который дал бы уверить себя, что ощущаемые им потребности прихотливы), но если б даже мы решились поддерживать ее, то и тут необходимо прежде всего понимать, в чем заключаются приводящие в затруднение потребности, откуда они пришли и почему могут быть сочтены прихотливыми. Одним словом, необходимы ум и знание. Другой способ (тоже не весьма надежный) заключается в том, чтоб уверить общество, что положение у глухой стены есть самое выгодное для него положение. Этот тезис еще труднее, но и его защитить не невозможно, если есть знание объекта беседы и подготовленность к принятию возражений. Опять-таки знание и ум. Наконец, третий способ представляется в откровенном признании законности вновь народившихся потребностей и в приискании для них правильного исхода. Этот способ самый надежный, но тут уже просто-напросто требуется ума палата.

Какой бы из этих трех путей ни был избран, во всяком случае, талантливость играет здесь роль далеко не первостепенную. Ни предложить что-нибудь прочное, ни даже помочь обмануть - ничего она собственной силою не может. Везде на первом плане требуется знание, пример, навык. Они одни могут дать содержание талантливости, и в некоторых случаях даже обуздать ее стремительность. Человек, который на одной талантливости созидает здание своего будущего благополучия, - это человек, у которого есть пламенное сердце, но в этом сердце нет ничего, кроме погадки готовности. С этой погадкой ему предстоит одно из двух: или удивить мир продерзостью, или наполнить вселенную зловонием. По-видимому, это очень большой риск. Но мы убедимся, что тут даже риска никакого нет, если примем в соображение, что снежежничать, во всяком случае, легче, нежели совершить подвиг. А талантливость именно тем и отличается, что всегда имеет в виду дела самые блестящие, то есть самые легкие. Божку съесть,

вавилонскую башню проектировать - вот задачи, которые ей льстят, на которые она обращает всю свою похотливость. И посмотрите, с какой легкостью выступают эти люди вперед! Как они заранее трубят о победе, как клянутся голыми руками потушить пылающий костер!

И чем больше предвкушение торжества, тем больше малодушия, ненависти и подозрительности при первом неуспехе. Эта последняя черта очень опасна, потому что почва бунтов и измены, на которую вступает потерпевшая неудачу талантливость, есть единственная, доступная ее уровню. Ни измена, ни бунты, по нашему извечному обычаю, не требуют определений. Оба эти слова для каждого ясны сами по себе, то есть ясны именно в том смысле, какой тот или другой талантливый субъект желает им сообщить. С произнесением краткого и в то же время совершенно неопределенного звука приобретается и исходный пункт, и материал для наполнения всей последующей карьеры. Затем уже следуют обуздания...

А что же, кроме обузданий, произвела на свет наша талантливость за все время ее векового и притом вполне беспрепятственного существования?

----

Представьте себе такой случай: директор департамента призывает к себе столоначальника и говорит ему: "Любезный друг! я желал бы, чтоб вы открыли Америку".

Я не берусь утверждать, чтоб столоначальник осмелился возразить, но он все-таки поймет, что открытие Америки совсем не его ума дело. Поэтому, всего вероятнее, он поступит так: разошлет во все места запросы, и затем постарается кончить это дело измором.

Но пускай тот же директор тому же столоначальнику скажет: "Любезный друг! я желал бы, чтоб вы всех этих Колумбов привели к одному знаменателю!"

Вы не успеете оглянуться, как Колумбы подлинно будут обузданы, а Америка так и останется неоткрытою.

Митрофаны не изменились. Как и во времена Фонвизина, они не хотят знать арифметики, потому что приход и расход сосчитает за них приказчик; они презирают географию, потому что кучер довезет их куда будет приказано; они небрегут историей, потому что старая нянька всякие истории на сон грядущий расскажет. Одно право они упорно отстаивают - это право обуздывать, право свободно простирает руками вперед.

Митрофан на все способен, потому что на все готов.

Он специалист по части гражданского судопроизводства, потому что занимал деньги и не отдавал оных.



Он специалист по части уголовного судопроизводства, потому что давал затрецины и получал оные.

Он специалист по части администрации, потому что знает такие ругательства, которые могут в одно мгновение опалить человека.

Он специалист по части финансов, потому что все трактиры были свидетелями его финансовых операций.

Он медик, потому что страдал секретными болезнями.

Он акушер, потому что видал нагих женщин.

Все профессии он изучил на своих собственных боках с такой основательностью, что даже получил название "выжиги". "Выжига" - это совсем не ругательный, а, скорее, деловой термин, означающий мужа совета. "Уж коли этакая "выжига" не поможет, - говорят вам, указывая на X. или Z., - то дело твое пропащее". Вы обращаетесь к "выжиге", и, к изумлению вашему, он действительно помогает вам. Это до того удивительно, что вам непременно приходит на мысль, что и этот "выжига", и средства, которые он употребляет, и ваше дело, и вы сами - все это, взятое вместе, не стоит ломаного гроша. Все это какой-то безобразный мираж, способный поселить в душе не то отчаяние, не то презрение ко всему: к жизни, к себе самому...

Дайте "выжиге" рубль серебра, он заложит душу черту; дайте пять рублей - он сам сделается чертом. Ему и это сделать легко, потому что он один в целом мире знает, где найти черта и что у него просить.

Это ходячий кошмар, который прокрадывается во все закоулки жизни и умеет до такой степени прочно внедриться всюду, что, несмотря на свою безазбучность, успевает сделаться необходимым человеком и подлинным мужем совета.

И все благодаря лишь тому, что простота задач продолжает привлекать все сердца.

Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания. Наши так называемые консерваторы суть расточители по преимуществу. Вселенная кажется им наполненной скоровоспламеняющимися элементами, состоящими из козней, крамол и измены. Со всем этим надо, конечно, покончить. Но к кому же обратиться? Кто возьмет на себя трудное обязательство сражаться против козней некознействующих и крамол некрамольствующих? Кто, кроме Митрофана, этого вечно талантливого и вечно готового человека, для которого не существует даже объекта движения и исполнительности, а существует только самое движение

и самая исполнительность? Налетел, нагрязнул, ушиб - а что ушиб? - он даже не интересуется и узнавать об этом...

Времена усложняются. С каждым годом борьба с жизнью делается труднее для эмпириков и невежд. Но Митрофаны не унывают. Они продолжают думать, что карьера их только что началась и что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, которое им еще долго придется наполнять своими подвигами. Каким образом могли зародиться все эти смелые надежды? где их отправный пункт? Увы! уследить за этим не только трудно, но даже совсем невозможно.

Митрофан плохой теоретик; он не любит ни анализировать, ни обобщать и упорнее всего отворачивается от самого себя. Если б вчерашний день был в свежей памяти, он, быть может, стоял бы укором или, по малой мере, поучением. Но так как вчерашнего дня нет, так как последовавшая за ним ночь принесла за собой хмельное забвение всего прошлого, то нет места ни для поучений, ни для укоров. Представьте себе пропойца, который встает с постели с разбитым лицом, с угнетенною винными парами головой, весь подавленный чувством тупого самоотсутствия, которое не дает ему возможности не только что-нибудь ощущать, но просто даже разобрать, где он и кто он. Если б этот человек мог помнить, если б он мог ясно представить себе все подробности безобразий прошедшего дня, быть может, тут произошла бы потрясающая драма. Но так как он ничего не помнит, ничего себе не представляет, то чувствует только одно: гнетущую потребность опохмелиться. Удовлетворивши этой потребности, он снова возвращается к вчерашнему дню, но не для того, чтоб анализировать, а для того, чтоб воспроизвести его с буквальной точностью. В этой безнадежной картине заключается единственно возможное объяснение всего Митрофанова существования.

Для Митрофана не существует ни опыта, ни предания, ни возможности делать какие-либо умозаключения, потому что всякая настоящая минута его жизни без остатка вытесняется следующей минутою. Его наглость не есть наглость, легкомыслие не есть легкомыслие. Это сейчас родившийся, и притом совершенно порожний, человек, об которого, как о каменную скалу, разбивается принцип вменяемости. Его действия можно было бы сравнить с проявлением стихийной силы, но даже и это сравнение оказывается неуместным, потому что задача стихии - бессознательное разрушение рядом с бессознательным творчеством, а задача Митрофана - одно бессознательное разрушение! Вот почему до сих пор не существует ни одной сколько-нибудь ясной теории митрофанства, которая могла бы оправдать его существование и указать на перспективы, ожидающие это явление в будущем.

В XVIII веке Митрофан впервые выступил на дорогу деятельности во всем блеске своей талантливости. В эту достопамятную эпоху со всех сторон сыпались на него стрелы просвещения, и он с какою-то ребяческой отвагой подставлял им свое рыхлое тело. Но в действительности он облюбовал только одну из них, а именно ту, которая называется табелью о рангах, и в ней замкнул весь смысл своего существования. Все, что стояло рядом с этой табелью, все математики, химии, механики, фортификации и проч., о насаждении которых, с жезлом в руках, хлопотал Петр Великий, - все это только внешним образом окатило Митрофана, оставив в его теле лишь легкий озноб. Но табель о рангах внедрилась, вошла в плоть и кровь. С этою табелью в руках, хмельной от приливов талантливости, он рыскал по долам и горам, внося в самые глухие закоулки смелую проповедь о чиновначалии и заражая самые убогие хижинки своею просветительною деятельностью. Перед немеркнущим блеском табели о рангах тускло, почти презренно светились прочие вопросы жизни, то есть все то, что составляет действительную силу страны. Жизнь остановилась, охваченная со всех сторон безнадежнейшим эмпиризмом; источники воочию иссякали под игом расточительности и хищничества; стихии бесконтрольно господствовали над трудом и жизнью человека, а Митрофан ничего не замечал, ни перед чем не останавливался и упорно отстаивал убеждение, что табель о рангах даст все: и славу, и богатство, и решительный голос в деле устройства судеб человечества.

Только долуторавековой искус мог пошатнуть это убеждение и возбудить сомнение насчет живоносных свойств табели о рангах. Но так как это была единственная форма западноевропейской жизни, которая не только привилась, но даже значительно усовершенствовалась, и так как с нею отождествилась идея о просвещении, то весьма естественно, что сомнение в ее доброкачественности распространилось огулом и на все прочие результаты, выработанные цивилизацией Запада. Мнения, что Запад разлагается, что та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользования свободой, что западная наука поражена бесплодием, что общественные и политические формы Запада представляют бесконечную цепь лжей, в которой одна ложь исчезает, чтоб дать место другой, - вот мнения, наиболее любезные Митрофану. И все потому только, что он смешал цивилизацию с табелью о рангах. Благодаря гг. Бартеневу и Семевскому, он знает немало анекдотов из истории просветительной деятельности XVIII века и, заручившись ими, считает себя уже совершенно свободным от церемонных отношений к цивилизации вообще. Заговорите с Митрофаном о каких угодно открытиях или порядках, которых

польза ясна и несомненна даже для неразвитого человека, - он оскалит зубы и, вместо опровержения, ушибет вас таким анекдотом из "Русского архива", что вам сделается неловко. Напрасно вы будете доказывать, что просветительная деятельность, на которую он ссылается, не есть просветительная деятельность, а пародия на нее; что он же, Митрофан, должен быть обвинен в том, что из всех плодов западной цивилизации успел вкусить только от самого гнилого и притом давно брошенного под стол, - он ответит на ваши доказательства другим анекдотом, еще более пахучим, и будет действовать таким образом до тех пор, пока вы не убедитесь в совершенном бессилии каких бы то ни было доказательств перед силою анекдота и уподобления.

Но ежели нет ясных фактов (нельзя же принимать за факт одну голую готовность), на основании которых можно было бы создать теорию митрофанства, то есть упования и прозрения. Известно, что ничто так не окриляет фантазию, как отсутствие фактов. Нет фактов, - значит, есть пустое пространство, не ограниченное никакими межевыми признаками, которое можно населить какими угодно привидениями. Поэтому, как только Митрофан вступает на почву упований, он делается смел до дерзости, необуздан до самозабвения. Он говорит, - и с восхищением слушает самого себя; и чем больше говорит, тем больше чувствует потребность говорить, - говорить без конца. И всегда для своих разговоров выберет тезис самый неожиданный и самый блестящий: либо пятую стихию, либо новое слово. "Будет носить чужое заношенное белье, скажет он, - пора произнести и свое собственное, новое слово". И, конечно, надежду на произнесение этого нового слова возложит на самого себя.

Что носить чужое заношенное белье не лестно - это истина для всех непререкаемая. Но Митрофан упускает из вида, что он носил это заношенное белье добровольно, не замечая, что оно давно уже брошено за негодностью, и радуясь только тому, что оно досталось ему с барского плеча. Цивилизованные народы всегда имеют полный комплект белья, и потому меняют его так часто, что обладателю рубища это может показаться даже прихотью. Стало быть, в том нет ничего удивительного, что рядом с чистым бельем имеется порядочная куча и заношенного; скорее же удивительно то душевное настроение, которое заставляет останавливаться именно на заношенном белье предпочтительно перед чистым. Кто ж виноват в существовании такого настроения?

Тайна этой переимчивости задним числом опять-таки объясняется слишком большою талантливостью Митрофана. Ему некогда следить за быстро сменяющимися явлениями жизни, потому что он, уловивши одну какую-нибудь крупницу, уже не может

отвязаться от нее, не натешившись всласть, не выжавши из нее сока, не доведя факта до абсурда. Из фрака он сделает мундир и напишет целый трактат о ношении его, из бритья бороды он создаст себе кумир и будет носиться с этим кумиром до изнеможения. Восприимчивость угнетает его и нередко даже делает опасным утопистом и беспардоннейшим регламентатором. Покуда он носится с своим "живым вопросом" и старается внедрить его в себя на веки вечные, живой вопрос давно уже оказывается сданным в архив и замененным другими, более подходящими вопросами. Что в результате такой упорной восприимчивости может быть только глухая стена - это очевидно; но Митрофан слишком самолюбив, чтобы обвинить себя в таком неудачном результате. "Сколько лет мы носим фраки, сколько крови из-за одной бороды пролито, а все толку нет!" - говорит он и принимает твердое намерение навсегда отвернуться от затей разлагающегося Запада, которые, на его взгляд, до того уже тощи, что и натешиться-то ими вдоволь нельзя.

Никто, конечно, не спорит, что политические и общественные формы, выработанные Западной Европой, далеко не совершенны. Но здесь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук, в чаянии, что счастье само свалится когда-нибудь с неба. Митрофан же смотрит на это дело совершенно иначе. Заявляя о неудовлетворительности упомянутых форм, и в особенности напирая на то, что у нас они (являясь в виде заношенного чужого белья) всегда претерпевали полнейшее фиаско, он в то же время завиняет и самый процесс творчества, называет его бесплодным метанием из угла в угол, анархией, бунтом. По обыкновению, больше всего достается тут Франции, которая, как известно, выдумала две вещи: ширину взглядов и канкан. Из того числа: канкан принят Митрофаном с благодарностью, а от ширины взглядов он отплевывается и доднесь со всею страстностью своей восприимчивой натуры.

Увы! Митрофан не знает, как трудно положение человека, который обязывается жить своим умом. Нет у последнего ничего готового, кроме того, что он приготовил своими собственными руками и до чего додумался силою собственной мыслительной способности. У него, конечно, имеется в запасе большое подспорье - наука, которую он сам же выдумал и вывел в люди, но наука еще не настолько полна, чтоб отвечать на все запросы жизни. Желания человека опережают науку, и вот он делает все новые и новые попытки, впадает в заблуждения, поправляет себя и опять заблуждается. Все это обходится очень дорого, но человек, живущий своим умом, не может устранить опытов, достигающихся даже

дорогою ценой. Он знает, во-первых, что в ширине его запросов заключается залог непрерывающегося развития жизни, да, сверх того, не может отказаться от попыток уже и потому, что одна удовлетворенная потребность рождает в нем другую, которая тоже требует удовлетворения. Поэтому, быть может, он копошится несколько более, нежели тот солидный человек, который знает, что кучер наверное привезет его туда, куда приказано; и не столь мудр, как тот мудрец, который стоит, уставясь глазами в стену, и твердо уповает, что стена сама собой расступится перед ним. Часто нам случается слышать, как говорят: "Вот дрянные людишки! что ни человек то мнение, что ни вопрос - то спор!" Но это только издали кажется, что эти людишки дрянные; в сущности, это люди, живущие своим умом и понимающие всю трудность подобного положения. Простим их, ибо они все-таки более самих себя беспокоят, нежели нас.

Митрофан с особенным удовольствием останавливается на политических и общественных формах, потому что видит их внешнюю изменчивость и от этого признака приходит к заключению о негодности самого процесса создания этих форм. По его мнению, каприз и чудачество обуревают вселенную; люди не по необходимости меняют старые формы общежития на новые, а потому только, что так вздумалось. То внутреннее содержание, от которого зависит то или другое устройство обществ, те открытия и изобретения человеческого ума, которые так резко определяют характер того или другого периода истории человечества, совершенно закрыты для него. Однако же это пропуск очень важный.

Историческая наука недаром отделила последние четыре столетия и существенным признаком этого отграничения признала великие изобретения и открытия XV века. Здесь проявления усилий человеческой мысли дали жизни человечества совсем иное содержание и раз навсегда доказали, что общественные и политические формы имеют только кажущуюся самостоятельность, что они делаются шире и растяжимее по мере того, как пополняется и усложняется материал, составляющий их содержание.

Митрофан ничего этого не знает и не хочет знать. Он живет в век открытий и изобретений и думает, что между ними и тою или другою формою жизни нет ничего общего. В его глазах передвигаются центры человеческой индустрии, в его глазах материальные и умственные богатства перемещаются из одних рук в другие, а он продолжает думать, что все это не более как случайность и спешит заткнуть ту или другую дыру и сделать некоторые ничтожные поправки в обветшавшем здании табели о рангах. Да, - только в табели о рангах, ибо как ни глумится над ней Митрофан под веселую руку, а она все-таки и доднесь составляет единствен-

ный обрывок цивилизации, действительно дорогой его сердцу.

И вот таким-то образом проводится время в ожидании "нового слова" и открытия пятой стихии. Самонадеянность и хвастовство растут, а житье наступает трудное, трудное даже для Митрофанов. Нелепостно перенимают они всякую новую штуку, но так как эта штука является независимо от общих форм жизни, то весьма естественно, что она их же бьет в лоб. Мир открытий и изобретений, в глазах Митрофанов, есть мир подробностей, существующий *an sich und fur sich* {в себе и для себя.} и не имеющий внутренней связи с общим строем жизни. Понятно, какое должно выйти столпотворение, сколько заплат, пятен и брызгов грязи должно быть на той ризе, которую сооружает себе Митрофан и к которой он каждый день прибавляет по новой заплате, по новому грязному пятну.

Но, кроме путаницы, Митрофану угрожает еще другая беда: отчаяние. Он может очутиться в положении раскольника, с часу на час ожидающего антихриста. Если антихрист в виду, если через минуту все должно кончиться, то понятно, что не нужно ни жать, ни сеять, ни собирать в житницы, а нужно заботиться только о саване и гробе. Подобно сему, если каждое новое открытие или усовершенствование приводит лишь к тому, что бьет в лоб, и ежели при этом нет даже поползновения определить причину такого странного действия открытий и усовершенствований, то остается одно из двух: или закутаться в саван, или обратиться в дикое состояние.

И за всем тем нас ждет еще "новое слово"... но, боже мой! сколько же есть прекрасных и вполне испытанных старых слов, которых мы даже не пытались произнести, как уже хвастливо выступаем вперед с чем-то новым, которое мы, однако ж, не можем даже определить! Есть ли расчет предпочесть неизвестное известному? и честно ли, наконец, угрожать вселенной "новым словом", когда нам самим неизвестно, что материал для этого "нового слова" состоит исключительно из "кратких начатков" да из первых четырех правил арифметики?

----

Где ж элементы будущего? вот вопрос.

В течение последних пятнадцати лет у нас выступило вперед многое, о чем никому и не снилось до того времени. На недостаток приказаний мы пожаловаться не можем, ибо ими наполнены все страницы нашей новейшей истории, - каким же образом отвечала на них наша талантливость?

Всюду, куда мы ни обратимся, встречаем один ответ: погодите! еще время не ушло!

У нас есть сословие адвокатов... погодите! еще время не ушло!

У нас есть гласный и устный суд... погодите! еще время не ушло!

У нас есть земские деятели... погодите! еще время не ушло!

У нас есть опыты крестьянского самоуправления... погодите! еще время не ушло!

- Погодите! не торопитесь! куда спешить! - в один голос вопиют все Митрофаны, и вопиют так громко, что посторонний человек останавливается в каком-то странном недоумении. С одной стороны, судя по непрерывности предостерегающих криков, ему кажется, что в сей пространной веси происходит либеральное столпотворение; с другой стороны, он видит, ясно видит, что вся поспешность здесь заключается в том, чтобы не спешить.

А этим временем, помаленьку да потихоньку, адвокаты превращаются в "аблакатов", а земские деятели - в устроителей пикников, закусок и обедов.

Подготовки нет, а ремесленность уже проникает всюду. Ремесленность самого низшего сорта, ремесленность, ничего иного не вожделеющая, кроме гроша. Надул, сосводничал, получил грош, из оного копейку пропил, другую спрятал - в этом весь интерес настоящего. Когда грошей накопится достаточно, можно будет задрать ноги на стол и начать пить без просыпу: в этом весь идеал будущего.

И с таким-то запасом, с такими-то идеалами Митрофан собирается в дальний путь и надеется сказать свое новое слово. В ожидании же минуты, когда "слово" созреет, он не на шутку мечтает быть просветителем.

Просветительная миссия - это идеал Митрофана, это провиденциальное его назначение. С штофом в руке, с непреодолимым аппетитом в желудке, он мечется из угла в угол, обещая все привести к одному знаменателю (к какому - он сам того не знает) и забывая, что прежде всего ему необходимо себя самого привести к знаменателю просвещения...

Молчание - вот единственный ясный результат, который покуда выработала наша так называемая талантливость. Затем, в ожидании того таинственного "нового слова", которому предстоит обновить мир, все-таки остается во всей своей неприкосновенности очень серьезный вопрос:

Где ж элементы будущего?

ЧТО ТАКОЕ "ТАШКЕНТЦЫ"?

"Ташкентцы" - имя собирательное.

Те, которые думают, что это только люди, желающие воспользоваться прогонными деньгами в Ташкент, ошибаются самым грубым образом.



"Ташкентец" - это просветитель. Просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим, ибо наука, по мнению его, создана не для распространения, а для стеснения просвещения. Человек науки прежде всего требует азбуки, потом складов, четырех правил арифметики, таблички умножения и т. д. "Ташкентец" во всем этом видит неуместную придирку и прямо говорит, что останавливаться на подобных мелочах значит спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Он создал особенный род просветительной деятельности - просвещения безазбучного, которое не обогащает просвещаемого знаниями, не дает ему более удобных общежительных форм, а только снабжает известным запахом. Тот, кто пьет херес *tres vieux* {очень старый.}, считает себя просветителем относительно того, кто пьет херес просто *vieux*; {старый.} тот, кто пьет херес *vieux*, считается просветителем всех, пьющих настойку и водку. Разумеется, это только пример; но я привожу его для того, чтобы дать читателю понятие о градации. Градацию эту он может перенести во всякую другую сферу (например, в сравнительную сферу сюртуков и поддевок, ресторанов и харчевен, кокоток, имеющих ложу в бельэтаже, и кокоток, безнадежно пристающих к прохожему в Большой Мещанской, и т. п.), лишь бы она кончалась человеком, "который ест лебеду". Это тот самый человек, на котором окончательно обрушивается ташкентство всевозможных родов и видов.

Но и здесь не следует понимать буквально, что "человек, питающийся лебедою", должен непременно наполнять свой желудок этим суррогатом. "Лебеда", как и "голод", суть выражения фигуральные, дающие место для великого множества представлений. Есть лебеда натуральная, которая слывет в мире под названием подспорья и от которой, во всяком случае, хоть живот у человека пучит; и есть лебеда абстрактная, которая даже подспорьем ничему не служит. Человек, который питается этою последнею лебедою, есть именно тот человек, которого голоду нет пределов. Он со всех сторон открыт для действия, и именно для действия безазбучного. Он не может дать отпора, потому что у него самого нет единственного орудия, с помощью которого можно отражать безазбучное просветительство - нет азбуки. Каким образом ее не оказывается налицо - от рождения ли он не имел ее или утратил вследствие разных исторических обстоятельств, - дело не в том; во всяком случае, он стоит со всех сторон открытый, и любому охочему человеку нет никакой трудности приложить к нему какие угодно просветительные задачи.

Однажды я собственными ушами слышал следующий разговор:

- Дайте срок! - говорил некто, - вот там-то (имярек) должны произойти на днях серьезные замешательства - без нас дело не обойдется!

- Шагу без нас не сделают! - ораторствовал другой, - только зевать в этом деле не следует, не то как раз перебьют дорогу!

Я любопытствовал взглянуть: мимо меня проходили не люди, а нечто вроде горилл, способных раздробить зубами дуло ружья. У каждого из них, наверное, восприимницей была управа благочиния, - не та, которая имеет местопребывание на Садовой улице, а та, которая издревле подстерегает рождение охочего русского человека и тотчас же принимает его в свои недра, чтоб не выпустить оттуда никогда.

В другой раз я слышал другой разговор:

- Слышали? нигилисты-то!.. ведь это, батюшка, клад!

- Клад-то клад; только зевать в этом деле не нужно, а следует раз-раз-раз... вашему превосходительству имею честь явиться!

Я взглянул: передо мною были те же гориллы. В третий раз:

- Взял и ухватил! Потому, сударь, что в этом деле главное - ухватить! Даже ума не требуется! Кому следует вручил, с кого следует получил! Ухватил - и баста!

- Ухватить-то ухватил; только зевать тоже не следует, потому что нашего брата нонче ой-ой как расплодилось!

Опять гориллы...

Чего хотели эти человекообразные? чему они радовались? С чем, с какими орудиями они приступали к действию? Вот эти-то вопросы и следует предлагать себе всякий раз, когда присутствуешь при подобного рода рассуждениях и разговорах. Если этих вопросов не будет, вся соль рассуждений утратится, а вместе с тем утратится и смысл общего течения жизни. Очень часто мы проходим, слышим, смотрим, и нимало не вдумываемся в то, мимо чего проходим, что слышим, на что смотрим. В большей части случаев конкретность поражает наши чувства скорее машинально, нежели сознательно, и вследствие этого явления, по малой мере сомнительные, кажутся обыкновенными, чуть не доблестными. Обнажим их от покровов обыденности, дадим место сомнениям, поставим в упор вопрос: кто вы такие? откуда? - и мы можем заранее сказать себе, что наше сердце замрет от ужаса при виде праха, который поднимется от одного сознательного прикосновения к ним...

Вопрошать всегда следует, хотя бы проходящее перед нашими глазами явление представлялось обыденным или даже совсем посторонним. Говорят, что излишние вопросы прибавляют излишнюю горечь в жизни, что отсутствие вопросов предохраняет от состояния бессменного страха, в котором очутился бы человек,

если б он всегда видел вещи в их действительном, беспокровном виде. Это правда; но правда и то, что ведь вслед за страхом сама собою приходит и охота освободиться от него, а это уже выигрыш несомненный. Поэтому следует раз навсегда сказать себе, что в мире общественных отношений нет ничего обыденного, а тем менее постороннего. Все нас касается, касается не косвенно, а прямо, и только тогда мы успеем покорить свои страхи, когда уловим интимный тон жизни или, иначе, когда мы вполне усвоим себе обычай вопрошать все без изъятия явления, которые она производит.

Чего хотели упомянутые выше люди? - этот вопрос разрешается одним словом:

Жрать!!

Жрать что бы то ни было, ценою чего бы то ни было!

Жгучая мысль об еде не дает покоя безазбучным; она день и ночь грызет их существование. Как добыть еду? - в этом весь вопрос. К счастью, есть штука, называемая безазбучным просвещением, которая ничего не требует, кроме цепких рук и хорошо развитых инстинктов плотоядности, - вот в эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своих здоровых зубов...

Отрицать чье бы то ни было право на еду невозможно. Но нужно сознаться, что иногда это право разрастается до таких размеров, за которыми уже следует опасность. Дело в том, что безазбучный ташкентец требует еды не только некупленной, но и непрерывно возобновляющейся; он никогда не довольствуется одним куском, но, проглатывая этот кусок, уже усматривает другой. Чем больше он ест, тем больше он голоден, и это объясняется тем естественнее, что он даже утратил привычку утолять свой голод порядочным образом. Он не ест, а закусывает, хватая урывками, на лету; вот почему непрерывное его закусыванье не бросается в глаза. Еда падает словно в пропасть. Закусывая и перехватывая, ташкентец неприметно истребляет целые массы всякого рода туш, и, к удивлению, это нимало не утучняет его. В том-то и заключается ужас, который возбуждает этот человек, что он никогда не скажет: я сыт!

Если нам не кажутся странными некоторые радости, если мы не останавливаемся в оцепенении перед некоторыми надеждами, то это потому только, что мы не даем себе труда анализировать их внутреннее содержание. А между тем в этих случаях чье-то счастье всегда основано на чьем-то несчастье, чья-то надежда всегда равносильна чьему-то отчаянью. Сомнение здесь тем более непростительно, что достаточно самого поверхностного обзора подобных личностей, чтобы почувствовать себя беспокойно. Одни идут медленно, глядят угрюмо и строго, шевелят челюстями

ми, скрипят зубами, как будто говорят: дай срок! перекушу я тебе когда-нибудь горло! Другие виляют, поражают своею юркостью и самым наивным образом изыскивают способы снять с вас сюртук, а в случае надобности и лишит вас мимоходом жизни. Смотрите внимательнее - и, наверное, вы сделаете такие открытия, которые непременно принесут пользу. От вас не ускользнут ни судорожные подергиванья рук, ни блудящие огоньки, которыми, по временам, искрятся мутные глаза, ни мгновенные перекаты голоса; одним словом, ничего из того, что вы до сей минуты считали мелочью. Этого достаточно будет, чтоб обогатить ваш ум познаниями и раскрыть сущность явления, дотоле загадочного. Вы приучитесь наблюдать за собою, вы не дадите подкупить себя простодушною обыденностью. В вашу душу проникнет страх, но повторяю: это здоровый страх, потому что он приводит за собой решимость во что бы ни стало освободиться от него.

Нет ничего опаснее обыденности, именно потому, что она примелькивается нашему взору. Мотается перед нами дрянной человечешко, и мы не спрашиваем даже себя: кого-то он оборвал? Кого-то заживо освежевал? Кого-то проглотил? Мы ждем, чтоб нам объявили об этом с церемонией, то есть чтоб тут был и приговор суда, и эшафот, и заплечный мастер. Только тогда, на месте казни, всматриваясь в эту несытую фигуру, мы говорим себе: "Каков! а я еще вчера видел, как он шнырил по улицам!" Но даже и это не всегда вразумляет нас, ибо, сказавши себе такое назидание, мы тут же опять вступаем на торную дорогу, опять завязываем себе глаза, и не расстаемся с нашей повязкой до тех пор, покуда новая церемония с эшафотом и заплечным мастером насильно не сорвет ее.

Понять известное явление значит уже обобщить его, значит осуществить его для себя не в одной какой-нибудь частности, а в целом ряде таковых, хотя бы они, на поверхностный взгляд, имели между собой мало общего. Понять же явление вредное, порочное - значит наполовину предостеречь себя от него. Вот почему я прошу читателя убедиться, что название "ташкентцы" отнюдь не следует принимать в буквальном смысле. О! если б все ташкентцы нашли себе убежище в Ташкенте! Мы могли бы сказать тогда: "Ташкент есть страна, населенная вышедшими из России, за ненадобностью, ташкентцами". Но теперь разве мы можем по совести утверждать это? разве мы можем указать наверное, где начинаются границы нашего Ташкента и где они кончаются? не живут ли господа ташкентцы посреди нас? не рыскают ли стадами по весям и градам нашим?

И ведь никто-то, никто не признает их за ташкентцев, а все видят лишь добродушных малых, которым до смерти хочется

есть...

Ташкент, как термин географический, есть страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии. Это классическая страна баранов, которые замечательны тем, что к стрижке ласковы и после оголения вновь обрастают с изумительной быстротой. Кто будет их стричь - к этому вопросу они, повидимому, равнодушны, ибо знают, что стрижка есть, нечто неизбежное в их жизни. Как только они завидят, что вдали грядет человек стригущий и бреющий, то подгибают под себя ноги и ждут...

Как термин отвлеченный, Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданства предание о Макаре, телят не гоняющем. Если вы находитесь в городе, о котором в статистических таблицах сказано: жителей столько-то, приходских церквей столько-то, училищ нет, библиотек нет, богоугодных заведений нет, острог один и т. д., - вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента. Наверное, вы найдете тут и просветителей и просвещаемых, услышите крики: "ай! ай!", свидетельствующие о том, что корни учения горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классического, в поте лица снискивающего свою лебеду, человека, около которого, вечно его облюбовывая, похаживает вечно несытый, но вечно жрущий ташкентец. Но училищ и библиотек все-таки не найдете.

Наш Ташкент, о котором мы ведем здесь речь, находится там, где дерутся и бьют.

Вчера я был в театре, в самом аристократическом из всех - в итальянской опере - и вдруг увидел ташкентца, и что всего удивительнее ташкентца-француза (оказалось, что это был генерал Флери). Скулы его были развиты необычайно, нос орлиный, зубы стиснуты, глаза искали. Что-то безнадежное сказывалось в этой сухой и мускулистой фигуре, как будто там, внутри, все давно застыло и умерло. Разумеется, кроме чувства плотоядности. Я инстинктивно обратился к моему соседу и с волнением, как будто хотел его предостеречь, сказал:

- Посмотрите, какой ташкентец!

Сосед с удивлением взглянул сначала на меня, потом в ту сторону, в которую я указывал; затем начал всматриваться-всматриваться и наконец пожал мне руку, как будто в самом деле я избавил его от беды.

Из этого я заключил, что, кроме тех границ, которых невозможно определить, Ташкент существует еще и за границею (каламбур плохой, но пускай он останется, благо понятен).

Переходя от одного умозаключения к другому, я пришел к догадке, что даже такие формы, которые, по-видимому, свидетельствуют о присутствии цивилизации, не всегда могут служить

ручательством, что Ташкент изгиб. Ташкент удобно мирится с железными дорогами, с устностью, гласностью, одним словом, со всеми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится так называемая цивилизация. Прибавьте только к этим выгодам самое маленькое слово: фюить! - и вы получите такой Ташкент, лучше которого желать не надо.

Истинный Ташкент устраивает свою храмину в нравах и в сердце человека. Всякий, кто видит в семейном очаге своего ближнего не огражденное место, а арену для веселонравных походов, есть ташкентец; всякий, кто в физиономии своего ближнего видит не образ божий, а ток, на котором может во всякое время молотить кулаками, есть ташкентец; всякий, кто, не стесняясь, швыряет своим ближним, как неодушевленную вещь, кто видит в нем лишь материал, на котором можно удовлетворять всевозможным проказливым движениям, есть ташкентец. Человек, рассуждающий, что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, существующее для того, чтоб на нем можно было плевать во все стороны, есть ташкентец...

Нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на неизбежную очередь для всякого существования. Это в особенности чувствуется в эпохи, которые условлено называть переходными. Может быть, именно чувствуется потому, что в подобные минуты рядом с Ташкентом уже зарождается нечто похожее на гражданственность, нечто напоминающее человеку на возможность располагать своими движениями... потихоньку, милостивые государи! потихоньку! Может быть, это "нечто зарождающееся", "нечто намекающее" и делает особенно нестерпимую боль при виде все-таки прямо стоящего Ташкента? Действительно, все это очень возможно; но что же кому за дело до этого! Разве объяснения утешают кого-нибудь? разве они умаляют хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, даже в самые глухие, печальные исторические эпохи нельзя себе представить такого количества людей отчаявшихся, людей, махнувших рукою, сколько их видится в эпохи переходные. И рядом с этими отчаявшимися сколько людей, все позабывших, все в себе умертвивших... все, кроме бесконечного аппетита!

Я, конечно, был бы очень рад, если б мог, начиная этот ряд характеристик, сказать: читатель! смотри, вот издыхающий Ташкент! но, увы! я не имею в запасе даже этого утешения! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкент, который умирает, но в то же время знаю, что есть и Ташкент, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентов, поистине, пугает меня. Везде шаткость, везде сюрприз. Я вижу людей, работающих в пользу идей

несомненно скверных и опасных и сопровождающих свою работу возгласом: "Пади! задавлю!" и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу возгласом: "пади! задавлю!" Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло бы упразднить дурное без заушений, без возгласов, обещающих задавить. Мне скажут на это: всему причиной Ташкент древний, Ташкент установившийся и окрепший. Пожалуй, я и на это согласен. Что Ташкент порождает Ташкент - в этом нет ничего невероятного, но ведь это только доказывает, что и пессимисты, усматривающие в будущем достаточно длинный ряд Ташкентов, тоже не совсем неправы в своей безнадежности. Утешительного в этом объяснении немного.

Этот порочный круг не может не огорчать. Когда видишь такое общественное положение, в котором один Ташкент упраздняется только по милости возникновения другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и делается вещуном чего-то недоброго. Говорят: новый Ташкент необходим только для того, чтобы стереть следы старого; как скоро он выполнит эту задачу, то перестанет быть Ташкентом. На это я могу ответить только: да, это рассуждение очень ободрительное; но и за всем тем я ни на йоту не усилю моего легковерия, и не надену узды на мои сомнения. Всюду, куда я ни обращаю мои взоры, я вижу: с одной стороны, упорствующую безазбучность; с другой увеличивающийся аппетит и возрастающую затейливость требований для удовлетворения его. Ничто так не прихотливо, как Ташкент, твердо решившийся не выходить из безазбучности и в то же время уже порастлившийся тонкою примесью цивилизации. Пирог, начиненный устностью и гласностью, - помилуйте! да это такое объеденье, что век его ешь - и век сыт не будешь! Тут-то и лестно размахнуться, когда размах сопровождается какими-то пикантными видимостями, как будто препятствующими, а в сущности едва ли не споспешествующими. Ведь и из опыта известно, что нарезное ружье стреляет дальше, нежели ружье, у которого дуло имеет внутренность гладкую...

Милостивые государи! если вы не верите в существование: господ ташкентцев, я попросил бы вас выйти на минуту на улицу. Там вы наверное и на каждом шагу насладитесь такого рода разговорами:

- Я бы его, каналью, в бараний рог согнул! - говорит один, - да и жаловаться бы не велел!

- Этого человека четвертовать мало! - восклицает другой.

- На необитаемый остров-с! пускай там морошку собирает-с! - вопиет третий.

Не думайте, чтоб это были приговоры какого-то жестокого, но все-таки установленного и всеми признанного судилища; нет, это приговоры простых охочих русских людей. Они ходят себе гуляючи по улице, и мимоходом ввертывают в свою безазбучную речь словцо о четвертовании. Иногда они даже не понимают и содержания своих приговоров и измышляют всевозможные казни единственно по простосердечию... Да, читатель, по простосердечию! и ежели ты сомневался, что даже в слове "четвертование" может вкрасться простосердечие, то взгляни на эти самодовольные фигуры, устремляющиеся в клуб обедать, - и убедись!

Меня нередко занимает вопрос: может ли палач обедать? может ли он быть отцом семейства? какую картину должен представлять его семейный быт? ласкает ли он жену свою? гладит ли по голове ребенка? Помнит ли он? то есть помнит ли, что он заплочный мастер?

Признаюсь, я долгое время не мог даже представить себе, чтоб палач имел надобность насыщаться; мне казалось, что он должен быть всегда сыт. Но с тех пор, как я увидел ташкентцев, которые, посулив кому-то четвертование и голодную смерть на необитаемом острове, тут же сряду устремлялись обедать, мои сомнения сразу покончились. Да, сказал я себе, - это верно: палач может обедать, может иметь семейство, ласкать жену, гладить по голове ребенка! Что нужды, что он сегодня же утром гладил кого-то по спине? - был час и было дело; настал другой час - настало другое дело; в таком-то часу он заплочный мастер, в таком-то - отец семейства, в таком-то - полезный гражданин... Все часы распределены, и у всякого часа есть особенная клетка. Все имеет свою очередь, все идет своим порядком, и, следовательно, все обстоит благополучно...

Но оставим заплочного мастера и займемся нашими ташкентцами, из разряда простодушных.

"Согнуть в бараний рог" - ясно, что эти люди не понимают, как это больно, если они не теряют даже аппетита, выразивши своему ближнему такое странное пожелание. Ясно также, что они и о "необитаемом острове" имеют понятие только по слышанной ими в детстве истории о Робинзоне Крузо. Может быть, им думается, что вот, дескать, Робинзон и в пустыне нашел средства приготовить себе обед и прикрыть свою наготу... Невежды! они не знают даже того, что это история вымышленная! Но в том-то и дело, что есть случаи, когда невежество не только не вредит, но помогает. Во-первых, оно освобождает человека от множества представлений, перед которыми он отступил бы в ужасе, если бы имел отчетливое понятие о их внутренней сущности; во-вторых, оно позволяет содержать аппетит в постоянно достаточной степе-



ни возбужденности. Защищенный броней невежества, чего может устыдиться гуляющий русский человек? - того ли, что в произнесенных им сейчас угрозах нельзя усмотреть ничего другого, кроме бессмысленного бреха? но почему же вы знаете, что он и сам не смотрит на все свои действия, на все свои слова, как на сплошной брех? Он ходит - брешет, ест - брешет. И знает это, и нимало ему не стыдно.

Что тут есть брех - это несомненно. Но дело в том, что вас настигает не одиночный какой-нибудь брех, а целая совокупность брехов. И вдруг вам объявляют, что эта-то совокупность именно и составляет общественное мнение. Сначала вы не верите и усиливаете ваши наблюдения; но мало-помалу сомнения слабеют. Проходит немного времени, и вы уже восклицаете: как это странно, однако ж!.. все брешут!

Все не все; но это не мешает предполагать, что если б, при употреблении некоторых выражений, мы давали место элементу сознательности, то дело от этого едва ли бы проиграло.

Возьмем для примера хоть одно такое выражение: согнуть в бараний рог. Что нужно сделать, чтобы выполнить эту угрозу? нужно перегнуть человека почти вчетверо, и притом так, чтоб головой он упирался в живот, и чтоб потом ноги через голову перекинулись бы на спину. Тогда только образуется довольно правильное кольцо, обвившееся само около себя и представляющее подобие бараньего рога. Возможно ли подобное предприятие? - по совести, это сказать нельзя. Я уверен, что человек умрет немедленно, как только начнут пригибать его голову с теми усилиями, какие необходимы для подобной операции. Когда он умрет, конечно, уже можно будет и пригибать и наматывать как угодно, но удовольствия в этом занятии не будет. Какая польза оперировать над трупом, который не может даже выразить, что он ценит делаемые по поводу его усилия? По-моему, если уж оперировать, так оперировать над живым человеком, который может и чувствовать, и слегка наругать, и в то же время не лишен способности произвести правильную оценку...

Но, скажут мне, как же вы не понимаете, что выражение "в бараний рог согнуть" есть выражение фигуральное? Знаю я это, милостивые государи! знаю, что это даже просто брех. Но не могу не огорчаться, что в нашу и без того не очень богатую речь постепенно вкрадывается такое ужасное множество брехов самых пошлых, самых вредных. По моему мнению, не мешало бы подумать и о том, чтобы освободиться от них.

Итак, Ташкент может существовать во всякое время и на всяком месте. Не знаю, убедился ли в этом читатель мой, но я убежден настолько, что считаю себя даже вполне компетентным,

чтобы написать довольно подробную картину нравов, господствующих в этой отвлеченной стране. Таким образом, я нахожу возможным изобразить:

ташкентца, цивилизующего *in partibus*; {в стране неверных.}

ташкентца, цивилизующего внутренности;

ташкентца, разрабатывающего собственность казенную (в просторечии казнокрад);

ташкентца, разрабатывающего собственность частную (в просторечии вор);

ташкентца промышленного;

ташкентца, разрабатывающего смуту внешнюю;

ташкентца, разрабатывающего смуту внутреннюю;

и так далее, почти до бесконечности.

Очень часто эти люди весьма различны по виду; но у всех имеется один соединительный крик:

Жрать!!

----

Я не предполагаю писать роман, хотя происхождения любого из ташкентцев могут представлять много запутанного, сложного и даже поразительного. Мне кажется, что роман утратил свою прежнюю почву с тех пор, как семейственность и все, что принадлежит к ней, начинает изменять свой характер. Роман (по крайней мере, в том виде, каким он являлся до сих пор) есть по преимуществу произведение семейственности. Драма его зачинается в семействе, не выходит оттуда и там же заканчивается. В положительном смысле (роман английский), или в отрицательном (роман французский), но семейство всегда играет в романе первую роль.

Этот теплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, который давал содержание роману, улетучивается на глазах у всех. Драма начинает требовать других мотивов: она зарождается где-то в пространстве и там кончается. Покуда это пространство не освещено, все в нем будет казаться и холодно, и темно, и бесприютно. Перспектив не видно; драма кажется отданною в жертву случайности. Того пришибло, тот умер с голоду - разве такое разрешение может быть названо разрешением? Конечно, может; и мы не признаем его таковым единственно потому, что оно предлагается нам обрубленное, обнаженное от тех предшествующих звеньев, в которых собственно и заключалась никем не замеченная драма. Но эта драма существовала несомненно, и заключала в себе образцы борьбы гораздо более замечательной, нежели та, которую представлял нам прежний роман. Борьба за неудовлетворенное самолюбие, борьба за оскорбленное и униженное человечество, наконец, борьба за существование все это такие мо-

тивы, которые имеют полное право на разрешение посредством смерти. Ведь умирал же человек из-за того, что его милая поцеловала своего милого, и никто не находил диким, что эта смерть называлась разрешением драмы. Почему? - а потому именно, что этому разрешению предшествовал самый процесс целования, то есть драма. Тем с большим основанием позволительно думать, что и другие, отнюдь не менее сложные определения человека тоже могут дать содержание для драмы весьма обстоятельной. Если ими до сих пор пользуются недостаточно и неуверенно, то это потому только, что арена, на которой происходит борьба их, слишком скудно освещена. Но она есть, она существует, и даже очень настоятельно стучится в двери литературы. В этом случае я могу сослаться на величайшего из русских художников, Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности.

Роман современного человека разрешается на улице, в публичном месте везде, только не дома; и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом. Вы видите: драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась бог знает где; началась поцелуями двух любящих сердец, а кончилась получением прекрасного места, Сибирью и т. п. Эти резкие перерывы и переходы кажутся нам неожиданными, но между тем в них, несомненно, есть своя строгая последовательность, только усложнившаяся множеством разного рода мотивов, которые и до сих пор еще ускользают от нашего внимания или неправильно признаются нами недраматическими. Проследить эту неожиданность так, чтоб она перестала быть неожиданностью, - вот, по моему мнению, задача, которая предстоит гениальному писателю, имеющему создать новый роман.

Само собою разумеется, что я не пытаюсь даже подойти к подобной задаче; я сознаю, что она мне не по силам. Но так как я все-таки понимаю ее довольно ясно, то беру на себя роль собирателя материалов для нее. Есть типы, которые объяснить бесполезно, в особенности в тех влияниях, которые они имеют на современность. Если справедливо, что во всяком положении вещей главным зодчим является история, то не менее справедливо и то, что везде можно встретить отдельных индивидуумов, которые служат воплощением "положения" и представляют собой как бы ответ на потребность минуты. Понять и разъяснить эти типы значит понять и разъяснить типические черты самого положения, которое ими не только не заслоняется, но, напротив того, с их помощью делается более наглядным и рельефным. И мне кажется, что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляет условий совершенной цельности, но может внести в

общую сокровищницу общественной физиологии материал довольно ценный.

Но тут является еще одно условие - это отношение писателя к типам, им изображаемым. Всякая данная историческая минута, несмотря на то что ее можно охарактеризовать одним выражением (так, например, об известных эпохах говорят, что это эпохи, когда "злое начало в человеке пришло к спокойному и полному сознанию самого себя") (Нибур. Чт. о др. ист.), представляет, однако ж, довольно много мотивов, очень разнообразных, из которых одни вызывают типы, возбуждающие негодование, другие - типы, возбуждающие сочувствие. Казалось бы, что нет повода ни для негодования, ни для сочувствия, если уж раз признано, что во всяком положении главным зодчим является история. Между тем мы не можем воздержаться, чтобы одних не обвинять, а других не ставить на пьедестал, и чувствуем, что, поступая таким образом, мы поступаем совершенно законно и разумно. Мне кажется, явление это объясняется тем, что в этом случае и сочувствие и негодование устремляются не столько на самые типы, сколько на то или иное воздействие их на общество. Кроме действующих сил добра и зла, в обществе есть еще известная страдательная среда, которая, преимущественно, служит ареной для всякого воздействия. Упускать эту среду из вида невозможно, если б даже писатель не имел других претензий, кроме собирания материалов. Очень часто об ней ни слова не упоминается, и оттого она кажется как бы вычеркнутою; но эта вычеркнутость мнимая, в сущности же представление об этой страдательной среде никогда не покидает мысли писателя. Это та самая среда, в которой прячется "человек, питающийся лебедью". Живет ли он или только прячется? Мне кажется, что хотя он по преимуществу прячется, но все-таки и живет немного...

Спрашивается: может ли писатель оставаться совершенно безучастным к тому или иному способу воздействия на эту страдательную среду?

Как бы то ни было, но покуда арена, на которую, видимо, выходит новый роман, остается неосвещенною, скромность и сознание пользы заставляют вступать на нее не в качестве художника, а в качестве собирателя материалов. Это развязывает писателю руки, это ставит его в прямые отношения к читателю. Собиратель материалов может позволить себе внешние противоречия - и читатель не заметит их; он может навязать своим героям сколько угодно должностей, званий, ремесл; он может сегодня уморить своего героя, а завтра опять возродить его. Смерть в этом случае - смерть примерная; в сущности, герой жив до тех пор, покуда живо положение вещей, его вызвавшее.

Но я чувствую, что уже достаточно распространился о том, какую цель имеют в виду предлагаемые этюды.

----

Нет ничего легче, как составить краткое известие о родоприсхождении любого "ташкентца".

В большинстве случаев это дворянский сын, не потому, чтобы в дворянстве фаталистически скоплялись элементы всевозможного ташкентства, а потому, что сословие это до сих пор было единым действующим и, следовательно, невольно представляло собой рассадник всего, что так или иначе имело возможность проявлять себя. Кроме пороков, тут были, конечно, и добродетели. Затем, "ташкентец" непременно получил так называемое классическое образование, то есть такое, которое имело свойством испаряться немедленно по оставлении пациентом школьной скамьи. Еще Грановский подметил это странное свойство русского классицизма. "Студенты, - пишет он в одном из своих писем ("Биографический очерк" А. Станкевича), - занимаются хорошо, пока не кончили курса", или, другими словами, до тех пор, покуда может потребоваться сдача экзамена. После сего, как и следует ожидать, наступает полнейшая "свобода от наук".

И в самом деле, представьте себе молодого человека, который выходит из школы, предварительно сдавши свои экзатмены. Приготовление к ним стоило ему несколько недель самого усидчивого и назойливого труда и немало бессонных ночей. В течение курса он занимался всем, чем хотите, только не приобретением знания. Инстинкт подсказывал ему, что даровая жизнь не требует знания и что знание, в свою очередь, не может даже иметь никаких применений к даровой жизни. При таком положении вещей может существовать только один стимул для приобретения знания (в особенности знания с точки зрения классицизма, знания, не имеющего немедленного и непосредственного приложения) - это любознательность. Но разве можно обвинять кого бы то ни было за то, что он мало любознателен? разве любознательность обязательна? Наш юноша очень хорошо понимает это и убеждается в необходимости знания только в ту минуту, когда приходится сдавать экзамены. Несколько недель сряду он находится в возбужденном, почти восторженном состоянии. В течение этого времени он накачивает себя множеством разнообразнейших знаний, но понимает только одно: что знания служат ответом на печатные билеты, которые он должен будет брать наудачу со стола экзаменатора. Увы! этих билетиков так много, что на некоторые из них он даже не успел приготовить ответов...

Но судьба, видимо, покровительствует ему: он вынимает именно тот билетик, который всего тверже вызубрил. Ура! он оставля-

ет школу и получает диплом!

Он во всеоружии является на ту самую арену истории, на которой, по выражению Грановского, он должен быть и материалом и зодчим ("зачем же материалом? - недоумевает он про себя, - не лучше ли прямо зодчим?").

Нимало не медля, отправляется он в трактир, и этим открывает свое вступление на арену истории. Через полчаса он уже смешивает Ликурга с Солоном, а Мильтиада дружески называет Марафоном. Проходит еще полчаса - и вот даже этот маскарадный разговор начинает тяготить его. Из уст его вылетают какие-то имена, но не Агриппины Старшей и даже не Мессалины, а какой-то совсем неклассической Машки...

Знание, которым он окатил себя, уже соскользнуло. Он помнит только одно: что он получил диплом и имеет право, отпраздновавши как следует освобождение от наук, быть "зодчим".

Где и в каком смысле зодчим?

Он устремляется под кровлю родительского дома, чтоб отдохнуть после неумеренного окачиванья. Разумеется, к нему простираются все объятия; его осматривают, облюбовывают, говорят: ну вот, молодец! но никто не спрашивает, чем он заручился и с каким запасом приехал. Среди восторгов, увеселений и ласк незаметно проходит несколько месяцев; наконец семейный праздник приедается, наступает забота об устройстве праздника более солидного и на иной манер.

- Надо, мой друг, подумать о будущем, - говорят дворянскому сыну родители, - ведь ты не объедок какой-нибудь, чтобы голубей гонять!

- Да, надо подумать о будущем! - повторяет дворянский сын и, пользуясь этим случаем, вновь припоминает, что имеет право быть зодчим...

Или голубей гонять, или быть зодчим - середины нет. Сомнения, к которой из этих двух должностей примкнет выбор, нельзя допустить; колебанию может подлежать только один вопрос: где и в каком смысле быть зодчим?

Некоторое время юноша колеблется между гражданской палатой и земским судом. В гражданской палате существуют крепостные дела ("прекраснейшие, мой друг, эти места!" - говорят растроганные родители), но там "зодчество" ограничивается только устройством и приумножением собственного благосостояния. В Земском суде менее шансов для зодчества имущественного, зато большой простор для зодчества исторического. Историческое зодчество прельщает юношу своим размахом, своею красотью.

- С чем же я, однако, явлюсь на арену зодчества? что предстоит мне созидать? что я знаю? - спрашивает он себя, и с непривычки

ему делается как будто совестно.

- Я знаю, что я ничего не знаю! - мелькает в его уме единственный афоризм, который он изучил вполне твердо.

- Э! не боги горшки обжигали! - мелькает, однако ж, и другой афоризм, тоже достаточно твердо заученный.

Как всегда водится, истина позднейшая вытесняет истину предшествовавшую. Позднейший афоризм дает молодому человеку возможность позабыть об афоризме прежде явившемся.

Решено; он начинает обжигать горшки, и вскоре убеждается, что нимало не ошибся, сочтя себя способным и достойным. Не только он сам, но все, что его окружает: товарищество, в которое он вступает, и даже масса, которую он предпринимает обжигать, - все в один голос удостоверяет его, что он поистине способен и достоин. Никто не спрашивает его, что он знает, что он умеет делать: так натуральным кажется всем и каждому, что для обжигания горшков совсем не требуются божественные качества. Каково зодчество, таковы и зодчие - это бесспорно. Каково зодчество? - странный вопрос! - ухватил, смял, поволок...

И действительно: за что бы он ни взялся, все в его руках спорится, все выходит оттуда в лучшем виде. Он удивляется только одному: отчего в школе его учили как будто чему-то другому?

- А чему бишь учили меня в школе? - инстинктивно спрашивает он самого себя, - ах, да! *res nullius caedet primo occupant!!* {вещь принадлежит тому, кто первый ее захватит.} - верно! - Затем он успокаивается и окончательно решает в уме, что нет в мире ничего столь бесполезного, как нескромные вопросы.

Ворота Ташкента отворены настежь. Молодой человек влетает в них с гиканьем, с свистом, с малиновым звоном, надвинувши шапку набекрень... Он чувствует, что надоедливая опека школы навсегда канула в область прошлого. Стыдиться нечего, да и некогда. С этой минуты он полноправный гражданин своей новой родины.

С этой же минуты он окончательно делается продуктом принявшей его среды. Являются особенные обряды, своеобразные обычаи и еще более своеобразные понятия, которые закрывают плотную завесой остальные обрывки воспоминаний скудного школьного прошлого. Безазбучность становится единственной творческой силой, которая должна водворить в мире порядок и всеобщее безмолвие.

----

Я должен, впрочем, сознаться, что ташкентство пленяет меня не столько богатством внутреннего своего содержания, сколько тем, что за ним неизбежно скрывается "человек, питающийся лебедью".

Этот человек - явление очень любопытное, в том отношении, что он не только не знает, но, по-видимому, и не желает сытости.

Стоит он, скучившись в каком-то безобразном муравейнике, и до того съежился и присмирел там, что никто даже не интересуется знать, что это за масса такая, которая как будто колыхается и живет, но из которой в то же время не выходит ни единого живого звука. Членораздельна ли она? способна ли выделить из себя какие-нибудь особи? или же до того сплотилась и склеилась, что даже мысль не в силах разложить ее?

Мрак, окружающий эти вопросы, до такой степени густ, что многие воспользовались им, чтоб утверждать, что всякий муравейник есть соединение безличных Иванов, которые все одинаково снабжены толоконными животами и все одинаково ни на что не скалят зубы, ничего не просят, кроме лебеды. Это просто бесшумное стадо, пасущееся среди всевозможных недоразумений и недомыслий, питающееся паскуднейшими злаками, встающее с восходом солнца, засыпающее с закатом его, не покорившее себе природу, но само покорившееся ей.

"Покуда существовало крепостное право, - прибавляют защитники этого мнения, - стадо, по крайней мере, было сыто и прилежно к возделыванью; теперь оно и голодно, и вместо возделыванья поет по кабакам безобразные песни". Таким образом оказывается, что труд, как результат принуждения, и кабак, как результат естественного влечения, - вот два полюса, между которыми осужден метаться человек, питающийся лебедою.

Других определений не существует; по крайней мере, Ташкент цивилизованный, Ташкент интеллигентный не сумел отыскать их.

Как ни авторитетны подобные показания, однако ж, когда подумаешь, что они даются ташкентцами, то есть тоже жертвами всевозможных недоразумений и недомыслий, то в душу невольно закрадывается сомнение.

Если муравейник, имея перед собой два пути: путь трудолюбия и путь праздности, предпочел последний первому, то, стало быть, это все-таки не просто инстинктивно копошащийся муравейник, но муравейник, имеющий способность выбирать. Предположим, что в данную минуту он сделал свой выбор в явный ущерб самому себе, но если уже однажды признается за ним способность выбирать, то необходимо признать и другую способность - способность руководиться при этом какими-нибудь соображениями. Очень может быть, что праздность показалась ему выгоднее или, по крайней мере, приятнее, нежели трудолюбие. Я наперед соглашусь, что это самое грубое и даже горькое заблуждение, но есть же какая-нибудь причина, вследствие которой и грубые заблужде-



ния в иные минуты принимают вид истины. Одну из таких причин, между прочим, представляет то разноречие, которое возникает в уме, когда начинаешь применять слово "выгода" к слову "труд". Труд выгоден - это афоризм очень основательный, но нельзя же принимать всякий афоризм буквально. Афоризмы самые крепкие подвергаются разложению; люди самые простые становятся иногда любознательными. Какая это выгода, о которой идет речь? общая или частная? Если это общая выгода, то не слишком ли понятие об ней отвлеченно для такого простого и неразвитого ума, каким представляется ум муравейника? Если же это выгода частная, то чья именно?

Не могу не повторить здесь того, что уже сказано было однажды в начале этого этюда: никогда не лишнее делать себе вопросы; это привычка спасительная, ибо она отрезвляет человека, и всем явлениям сообщает их истинные, действительные размеры.

Но, оставив в стороне несостоятельное мнение о безличности "человека, питающегося лебедею", я все-таки должен сказать, что мрак, окружающий его, густ очень достаточно. Дойти до этого секретно-мыслящего, секретно-вздыхающего и секретно-вождедующего субъекта, увидеть его лицом к лицу до такой степени трудно, что задача такого рода кажется почти неразрешимой. Может быть, это происходит от того, что приемы, употреблявшиеся доселе с этою целью, были или слишком грубы, или слишком наивны. Эти приемы состояли, с одной стороны, в ташкентском воздействии, с другой - в том, что мы сами (и притом очень искусно) притворялись людьми, питающимися лебедею. И то и другое никуда не годится. Ташкентство ошеломляет, но не исследует; притворство выглядывает наружу из-под самой искусной гримировки, и при частом повторении обращается в привычку, которая все действия человека держит в каком-то искусственном плену. Нужно найти какой-нибудь средний путь, на котором наблюдатель мог бы обозревать человека, питающегося лебедею, оставаясь самим собой, то есть не ташкентствуя, но и не лебезя.

Говоря по совести, этого среднего пути я еще не знаю, но кажется, что с 19 февраля 1861 года он уже начинает понемногу освещаться. Массы выясняются; показываются очертания отдельных особей; наблюдательные средства получают возможность действовать успешнее не потому, чтобы они сами по себе дошли до совершенства, а потому, что уничтожилось несколько лишних преград, стоявших между предметом и предметным стеклом. Очень возможно, что упадут и другие последние преграды.

Что тогда откроется? вот в чем весь вопрос.

**ТАШКЕНТЦЫ-ЦИВИЛИЗАТОРЫ**

Цивилизирующее значение России в истории развития человечества всеми учебниками статистики поставлено на таком незыблемом основании, что самое щекотливое самолюбие должно успокоиться и сказать себе, что далее этого идти невозможно. Я узнал об этом назначении очень рано. Тому назад давно - я воспитывался в то время в одном из военно-учебных заведений, и как сейчас помню, что это было на следующее утро после какого-то великолепно удавшегося торжественного дня, - мы слушали первую лекцию статистики. Профессор вошел на кафедру и следующим образом начал свою беседу о цивилизирующем значении России. "А заметили ли вы, господа, - сказал он, - что у нас в высоко-торжественные дни всегда играет ясное солнце на ясном и безоблачном небе? что ежели, по временам, погода с утра и не обещает быть хорошею, то к вечеру она постепенно исправляется, и правило о предоставлении обывателям зажечь иллюминацию никогда не встречает препон в своем исполнении?" Затем он вздохнул, сосредоточился на минуту в самом себе и продолжал: "Стоя на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия призвана провидением" и т. д. и т. д.

Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображение. Для меня сделалось ясным, что задача России двойственна: во-первых, установить на прочном основании принцип беспрепятственности иллюминаций (политика внутренняя) и во-вторых, откуда-то нечто брать и куда-то нечто передавать (политика внешняя). Если верить московским публицистам, то первая задача уже давным-давно решена. Несмотря на то что торжества имеют характер праздников переходящих, наше солнце настолько дисциплинировано, что заранее справляется с календарем, когда ему следует играть. Тогда и играет. Но вторая задача, уже во времена моей юности, причиняла мне не мало беспокойств. Я слышал и понимал, что тут есть какие-то "плоды", которые следует где-то принимать и куда-то передавать, но что это за "плоды", в каких лесах они растут и каким порядком их передавать, то есть справа ли налево, или слева направо - этого никак не мог взять себе в толк. "Налево кругом!" - раздавалось в моих ушах; но и этот воинственный клич как-то не утешал, а еще пуще раздражал меня.

- Иван Петрович! - спрашивал я почтенного нашего профессора, - зачем же нам передавать чужие плоды, если у нас есть свои собственные?

- Коли у тебя есть, так никто тебе не препятствует! - отвечал Иван Петрович с тем равнодушием, которое в то время одно только и одушевляло наших педагогов и которое, казалось, так и говорило: "Что ты пристаешь ко мне за разъяснениями? Я свое дело

сделал: отзвонил - и с колокольни долой!"

- Но откуда брать? Куда передавать? - продолжал я настаивать.

- Придет пора да время - все узнаешь. Скажут: "спасибо" - значит, потрафил; надерут вихор - значит, проштрафился, надо начинать сызнова. Итак, милостивые государи! находясь на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия самим провидением призвана...

Я страдал невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я приходил к следующим выводам:

1) что у нас своих плодов нет;

2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что передаем: руками взял, руками и отдал - вот и все;

и 3) что мы рискуем при этом быть выдранными за вихор.

Результаты неясные, не удовлетворявшие даже тогдашних моих детских требований...

Но с течением времени самые трудные загадки разгадываются. Не буду подробно рассказывать здесь печальную историю моих колебаний; но сознаюсь, что она была обильна всякого рода разочарованиями. Была, например, одна минута, когда, руководствуясь законами аналогии и видя, что солнце каждый день встает на востоке, я заключил из этого, что восточные плоды суть те самые, которые наиболее пригодны для запада, и что стоит только насадить их, чтобы положить конец всем гниениям, брожениям и недоразумениям. Я ободрился. Нарезавши целую рощу цивилизующих орудий и воскликнув: а нуте, господа картофельники! посмотрим, как-то вы там гниете! - я устремился вперед. И что ж оказалось? - что мои цивилизующие орудия все сразу заглохли! что, пересаженные с почвы девственной, но сравнительно тощей, они не только никого не пленили, но даже сами не выдержали изобилия туков, представляемого западным гниением!

Всякий поймет, как был неприятен для меня этот опыт; но так как я все-таки твердо знал, что "стою на рубеже", то цивилизационное мое назначение нимало не затемнилось первою неудачею. Если попытка моя на западе не принесла желаемых результатов, рассуждал я сам с собою, то это значит только, что я не потрафил и что нужно потрафлять где-нибудь в другом месте. Меня начала интересовать мысль: не съездить ли, для начала, поцивилизовать слегка, например, в Рязанскую или Тамбовскую губернии? И, не задумываясь долго, я набрал с десятков здоровых, хотя и довольно голодных ребят, хватил для храбрости очищенной и, крикнув: ребята! с нами бог! ринулся...

Могу сказать смело: я действовал по всем правилам искусства то есть цивилизовал все, что попадалось мне по пути. Но и тут неудача не перестала меня преследовать. Оказалось, что в этих

благодатных краях все уже до такой степени процивилизовано, что мне оставалось только преклониться ниц перед такими памятниками, как акведуки (пожарные бассейны), пирамиды (каланчи), термы (народные бани), величественные здания волостных и сельских расправ, вымощенные известковым камнем улицы и проч. и проч. Однажды, видя, как на базарной площади беспомощно утопали возы с крестьянской жалкою кладью, я невольно воскликнул: да чего же им, мерзавцам, еще нужно? - и должен был отступить. Очевидно, тут сталкивались две цивилизации совершенно равноправные: одна, которую хотел насадить я с своими "ребятами", и другая, которую постепенно насаждал целый ряд "ребят", начиная от знаменитого своими проказами Удар-Ерыгина и кончая Колькой Шалопаевым.

Признаюсь, эта вторая неудача еще больше озадачила меня, хотя я и скрывал мое огорчение. Но товарищи мои крепко приуныли. И не мудрено: весь запас очищенной был выпит без остатка, а за минуту перед тем мы съели последний кусок колбасы. В долг никто не верил... Куда девать никому не нужную силу? Где найти секрет, который давал бы возможность просвещать без просвещения, палить без пороху, сечь без розог? Какое употребление сделать из рук, которые так и цепляются, так и хватают? А главное: как добыть очищенной, не имея гроша за душой, спустивши все до последней нитки, не зная никакого ремесла, никаких даже слов, кроме: ради стараться! и - с нами бог?! Всякий согласится, что положение более безвыходное, более трагическое трудно себе представить!

По временам мною овладевали движения совершенно бессознательные. Я вскакивал с места и бежал вперед, сам не зная куда. Будь у меня в руках штоф водки, я был бы способен в одну минуту процивилизовать насквозь целую Палестину! Я бросался и на запад и внутрь, все в надежде что-нибудь зацепить, что-нибудь ущемить... тщетно! Я чувствовал, что во мне сидит что-то такое, чему нет имени... или нет! Это ужасное имя есть, и называется оно - разоренье! Неоткуда ничем раздобыться, некуда ничего нести... все вздор, все обольщенье и прах! Ничего у меня не осталось, кроме ужасного аппетита!

Жррррать!!

И вдруг я услышал слово, которое сразу заставило забиться мое сердце. Я остановился и притаил дыхание.

- Таш-кент! Таш-кент! - слаще всякой музыки раздавалось в ушах моих.

Жррррать!!

Сенька Броненосный! Ты, который выдумал это слово, ты не понимал и сам, какие новые пути оно открывает твоим добрым

товарищам! Ты произнес его бессознательно, в порыве отчаяния, но услуга, которую оказала твоя бессознательность, останется навсегда незабвенною. Покуда я размышлял и соображал, товарищи шумели и спорили; слово "Ташкент" было у всех на языке.

- Ташкент! - ораторствовал друг мой, Аркаша Пустолобов, - но, поймите же, *messieurs*, ведь это только географический термин, ведь это просто пустое место, в котором не только удобств, но даже еды никакой, кроме баранины, нет!

- Жрррать! - как-то особенно звонко раздавалось в ушах.

- Однако, *mon cher*, - возражал Сеня Броненосный, - баранина... *c'est tres succulent! on en fait du schischlik... qui n'est pas du tout a meriser!* {это очень вкусно! Из нее делают шашлык... вполне достойный внимания.} Я нахожу, что это вещь очень почтенная, а в нашем положении даже далеко не лишняя!

- Жрррать!

- Позвольте! ну, положим - баранина! но общество женщин? где, я вас спрашиваю, найдем мы общество женщин?

Но я уже не слушал; уста мои шептали: стоя на рубеже... Господи, ужели же, наконец, те цели, о которых говорил учебник статистики, будут достигнуты!

----

Я прогорел, как говорится, дотла. На плечах у меня была довольно ветхая ополченка (воспоминание Севастопольской брани, которой я, впрочем, не видал, так как известие о мире застало нас в один переход от Тулы; впоследствии эта самая ополченка была свидетельницей моих усилий по водворению начал восточной цивилизации в северо-западных губерниях), на ногах соответствующие брюки. Затем, кроме голода и жажды - ничего!

В таком положении я на последние деньги взял себе место в вагоне третьего класса, чтобы искать счастья в Петербурге.

Я еще прежде замечал, что, по какой-то странной случайности, состав путешественников, наполняющих вагоны, почти всегда бывает однородный. Так, например, бывают вагоны совершенно глупые, что в особенности часто случалось вскоре после заведения спальных вагонов. Однажды, поместившись в спальном вагоне второго класса, я был лично свидетелем, как один путешественник, не успевши еще осмотреться, сказал:

- Ну, теперича нам здесь преотлично! ежели мы теперича даже совсем разденемся, так и тут никто ничего нам сказать не может!

И действительно, он скинул с себя все, даже сапоги, и в одном белье начал ходить взад и вперед по отделениям. Эта глупость до того заразила весь вагон, что через минуту уже все путешественники были в одном белье и радостно приговаривали:

- Ну, теперь нам здесь преотлично! теперь ежели мы и совсем разденемся, так никто ничего сказать нам не смеет!

И таким образом ехали все вплоть до Петербурга, то раздеваясь, то одеваясь и выказывая радость неслыханную.

Точно так же было и в настоящем случае; вагон, в котором я поместился, можно было назвать, по преимуществу, ташкентским. Казалось, люди, собравшиеся тут, были не от мира сего, но принадлежали к числу выходцев какой-то отдаленной эпохи. Большинство состояло из отставных служаков, уже порядочно обколоченных жизнью, хотя там и сям виднелось и несколько молодых людей, жертв преждевременной страсти к табаку и водке. Никаким другим цивилизующим орудием они не обладали, кроме сухих, мускулистых и чрезвычайно цепких рук, которыми они, по временам, как будто загребали. На многих были одеты такие же ополченки, как и на мне; от многих отдавало запахом овчины и водки... Но все говорили без устали; в душе у всякого жила надежда. Надо было видеть, с какою поспешностью проглатывали они на станциях стаканы очищенной, с какими судорожными движениями отдирали зубами куски зачерствелой колбасы! Казалось, земля горела под их ногами, и они опасались только одного: как бы не упустить времени!

- Да-с, - говорит кто-то в одном углу, - это, я вам доложу, сторонка! сверху палит, кругом песок... воды - ни капли! Ну, да ведь мы люди привышные!

- Так-то так, только вот насчет еды... ну, и тово-воно как оно - и этого тоже нету!

- Помилуйте! да какой вам еды лучше! баранина есть, водка есть... выпил рюмку, выпил другую, съел кусок...

- То-то, что водка-то там кусается; а хлебного, так сказывают, и в заводе нет!

- Так что ж! еще лучше - из рису ее там делают! От этой, от рисовой-то, и голова никогда не болит!

В другом углу:

- В этих-то обстоятельствах, доложу вам, я уже не в первый раз нахожусь...

- Ссс...

- Да-с, вот тоже в шестьдесят третьем году, сижу, знаете, слышу: шумят! Ну, думаю, люди нужны! Надеваю вот эту самую дубленку и прямо к покойному генералу! Вышел... хрипит! - Ну? говорит. - Так и так, говорю: - готов! Хорошо, говорит, мне люди нужны... Только и слов у нас с ним было. Налево круг-ом... Качай! И какую я, сударь, там полечку подцепил - масло!

- Д-да... а теперь, пожалуй, об полечках-то надо будет забыть! Это такой край, что тут не то чтобы что, а как бы только перехва-

тить что-нибудь!

- Что вы! да разве вы не слышали, какая у них там баранина...

В третьем углу:

- Мне бы, знаете, годик-другой, - а потом урвал свое, и на боковую!

- Что вы! что вы! да вы не расстанетесь! там, я вам доложу, такая баранина...

В четвертом углу:

- Так вы изволите говорить, что тринадцать дел за собой имеете?

- Тринадцать раз, шельма, под суд отдавал! двенадцать раз из уголовной чист выходил - ну, на тринадцатом скапутился!

- Однако, теперь бог милостив!

- Теперь, батюшка, наше дело верное! - завтра к вечеру приедем, послезавтра чем свет в канцелярию... отрапортовал... сейчас тебе в зубы подорожную, прогоны и прочее... А уж там-то, на месте-то какое житье! баранина, я вам скажу...

В пятом углу:

- Не посчастливилось мне, mon cher! - говорит один молодой человек другому (у обоих над губой едва пробивается пушок), - из школы выгнали... ну, и решился!

- А я так долгов наделал; вот отец и говорит: ступай, говорит, мерзавец, в Ташкент!

- Однако, ваш родитель нельзя сказать чтобы был очень учтив!

- Какое учтив! Такими словами ругается, что хоть любому вахмистру... Ну да, впрочем, это все пустяки! а меня вот что пугает: как-то там будет насчет лакомства?!

- Говорят, будто ташкентские принцессы очень недурны...

- Гм... ведь мы в полку-то разбаловались. Вот тоже и об еде не совсем одобрительные слухи ходят!

- Однако, я слышал, что баранину можно достать отличную...

В шестом углу:

- Так вы и с супругой туда отправляться изволите?

- Конечно! нельзя же! она у меня баба походная!

Молодые люди прислушиваются, улыбаются и подмигивают друг другу. Один из них шепотом говорит: ну, вот! значит, и насчет лакомства сомневаться нечего!

- Только тяжеленько им будет, супруге-то вашей! - продолжает один из прежних голосов, - ведь там ни съесть, ни испить сластенко...

- И! что вы! да там, говорят, такая баранина... В седьмом углу:

- Откровенно вам доложу: я уж маленько от медицины-то поотстал, потому что и выпущен-то я из академии почесть что при царе Горохе. Однако, травки некоторые еще знаю...

- Конечно! конечно! с них и этого будет!

- Народ простой, непорченный-с. Опять, сказывают, что у них даже простая баранина от многих недугов исцеляет! В восьмом углу:

- Проповедовать - можно! Только вот сказывают, что они по постам баранину лопают, - ну, это истребимо с трудом!

Одним словом, все заканчивают свои речи бараниной, все надеются на баранину, как на каменную гору. Так что мой друг, Сеня Броненосный, слушал, слушал, но наконец не вытерпел и сказал:

- Если эта баранина хоть в сотую долю так вкусна, как об ней говорят, то я уверен, что через полгода в стране не останется ни одного барана!

Увы! такова судьба цивилизующего начала! Оно истребляет туземных баранов и, взамен того, научает обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто в выигрыше? кто в проигрыше? те ли, которые уделяют пришельцу частицу стад своих, или те, которые, в возврат за это, приносят с собой драгоценнейший из всех плодов земных - просвещение?

Но здесь я должен сделать довольно горькое для моего самолюбия признание. Я чувствую, что в жизни моей готовится что-то решительное, а это невольно заставляет меня чаще и чаще обращаться к самому себе. Бывают минуты, когда откровенная оценка пройденного пути становится настоятельнейшею потребностью всего человеческого существа. По-видимому, одна из таких минут наступает теперь для меня...

Сознаюсь без оговорок: я не имею права быть очень высокого о себе мнения. Лучшее из качеств, которыми я обладаю, есть нечто вроде сократовского: я знаю, что ничего не знаю. Несмотря на свою незамысловатость, это свойство значительно помогло мне в жизни, так как оно делало из меня во всякое время и на всяком месте лихого исполнителя. Я никогда не изобрету пороха (даже если мне формально прикажут изобрести - я и тогда как-нибудь отщучусь), но если его изобретут другие - я очень рад. Палить я тоже готов во всякое время, и ежели не встречу слишком серьезных препятствий, то могу выказать храбрость несомненную. Не помню, в какой именно из шекспировских комедий герой пьесы задает себе вопрос: что такое невинность? - и весьма резонно отвечает: невинность есть пустая бутылка, которую можно наполнить каким угодно содержанием. Хотя, с точки зрения моралистов, это сравнение для меня не совсем выгодно, но я должен сказать правду (разумеется, по секрету), что оно подходит ко мне довольно близко. Пустая бутылка! - лестного, конечно, немного для меня в этом сравнении! - но для чего ж бы, однако ж, я стал отрекаться от этого звания? Разве мир не наполнен сплошь таки-



ми же точно пустыми бутылками, как и я? и разве сущность дела может измениться от того, что некоторые из этих бутылок высокомерно называют себя "сосудами"?

Я тем меньше имею основания конфузиться этого названия, что сделался пустою посудой далеко не произвольно. Тут, задолго до меня, уж были целые поколения пустых посуды, которые, дребезжа и звеня, так много о себе надребезжали и назвенели, что, казалось, и впрямь нет звания более почетного, более счастливого и спокойного, как звание пустой бутылки. Звание это не только насижено, но и по штатам значитса подлежащим немедленному замещению, как только открывается свободная вакансия. Тут нет места ни для размышлений, ни для колебаний. Вы являетесь в жизнь, объявляете имя и фамилию. "Записать его в звание пустой бутылки" - и вы записаны...

С моей стороны уже и то значительный шаг вперед, что я начинаю смутно сознавать, что ничто не способно так скоро дать трещину, как посуда, которую слишком часто то наполняют, то опоражнивают, Я чувствую, что уже недалек момент разложения, тот момент, когда навсегда должен быть поколеблен авторитет, балалаек, пустых бутылок, упраздненных голов и т. п. Но если я сознаю, что такой результат неизбежен, это нимало не обязывает меня стараться о приближении минуты, которая должна превратить бутылки в черепки. Совсем напротив. Я думаю даже, что если б я действовал в смысле приближения этой минуты, то такая деятельность была бы противна и здравому смыслу, и чувству самосохранения. Что говорит мне здравый смысл? - он говорит: как ты ни бейся, но, кроме пустой бутылки, ничего из тебя не выйдет. Что говорит чувство самосохранения? - оно говорит: неужели же погибать из-за того только, что явился в свет пустою посудиною? и явился произвольно, нимало не участвуя в этом акте ни сознанием, ни волею?.. Что остается мне делать после таких ответов? Измениться - я не могу; погибнуть - не имею ни малейшей охоты. Остается, стало быть, откровенно стать в ряду пустых бутылок и этим действием окончательно закрепить законность моего присутствия на арене всероссийской цивилизующей деятельности.

Как бы то ни было, но я живу, а если живу, то, стало быть, имею и право отстаивать свое существование. Но отстаивать его я не могу иначе, как продолжая быть той самой пустой бутылкою, какою сделали меня обстоятельства. Иначе я буду исключен из жизни. Покуда порожняя посуда имеет возможность дребезжать и звенеть, моя обязанность - тоже дребезжать и звенеть, и, время от времени, наполняться той жидкостью, которая наиболее подходит к вкусам минуты. Какая это жидкость - до этого мне нет

дела, ибо я не просто бутылка, а бутылка, относящаяся с полным равнодушием к тому, что ее наполняет. Зная, что я ничего не знаю, я обязываюсь чем-нибудь заменить эту пустоту, и заменяю ее готовностью. Поэтому я переимчив, вертляв, дерзок на услугу и ни перед какой профессией не задумываюсь. Никто не застал меня ни в каких подвигах, которые могли бы свидетельствовать, что я такое, и это в совершенстве обеспечивает мою свободу. Я публицист, метафизик, реалист, моралист, финансист, экономист, администратор. По нужде, я могу быть даже другом народа. Вчера существовало крепостное право - я был крепостником; сегодня крепостное право отменено - я удивляюсь, как можно было дожить до настоящей вождеденной минуты и не задохнуться. Всякая минута застаёт меня врасплох, и всякая же минута находит меня готовым. Сколь разнообразны вольные художества в Российской империи, столь же разнообразны и роды моей готовной деятельности. Над всеми ими парит одно: моя всегдашняя, непоколебимая готовность следовать указанию всякого одаренного способностью указывать перста, хотя бы этот перст был и запачкан. Не ужасайтесь этой-способности, не клеймите ее именем разврата; это действительно разврат, но разврат добросовестный (бывает же добросовестное воровство!), разврат лишь \_до некоторой степени\_, точно так, как и все прочее, что во мне ни есть, все добросовестно, и все развратно \_лишь до некоторой степени\_.

Иногда мне случается накуролесить серьезно: обрушить какой-нибудь монумент, передавить при этом целую уйму людей. Из этого одни заключают, что я имею злое сердце и делаю вред преднамеренно, другие - что я человек решительный, действующий во имя каких-то сознанных мною идей. Я вслушиваюсь в эти толки и смеюсь себе втихомолку, ибо я очень хорошо понимаю, что, в действительности, я только веселонравный мужчина, которому хочется удивить вселенную своею стремительностью. Я могу сколько угодно бить, давить, неистовствовать, ходить колесом - и никто не имеет права вменить мне это ни в злодеяние, ни даже в озорство. Помилуйте! я сам к своим деяниям отношусь совершенно объективно, то есть исключительно с точки зрения чистоты отделки. Я лечу, стремлюсь, хватаю, ловлю; мало того: я радуюсь, трепещу, страдаю, скрежещу зубами... о, если б знали, что все это не более как угар] если б могли видеть, как разрывается после этого угара голова, как болезненно бьется и сжимается сердце!..

Многие спрашивают меня: чего ж я достиг? Но разве на этот вопрос я, с своей стороны, не могу ответить другим вопросом: а чего же, милостивые государи, может достигнуть человек, прогоревший дотла? человек, который не имеет ни воспоминаний, ни

надежд, у которого нет ничего внутри, кроме разорения? - Конечно, ничего другого, кроме того, чтобы как-нибудь не пропасть, чтоб не быть вконец искалеченным и хоть изредка да возобновлять в себе вкус тех благ, \_которые\_ теперь выбрасываются ему в виде обглоданной кости, но которые \_некогда\_ составляли фонд его существования. Если я достигаю всего этого - я считаю себя вполне удовлетворенным. Воспоминание о потерянных благах жизни переносится совсем не так легко, как это может казаться с первого взгляда. Оно до последней минуты волнует и раздражает пленное воображение; оно преследует, жжет; оно медленно, всечасно отравляет. В настоящем - воздержание и тоска; впереди - вино, игра, женщины... а в промежутке - лишь небольшой океан грязи, который необходимо переплыть... Ужели же найдется глупец, который, благословясь, не бросится вплавь?

Грязи! какой грязи? в этом весь вопрос!

Если б эта грязь пачкала наглядно, осязательно, если б она изменяла наружность человека, уничтожала ее элегантность, действовала тлетворным образом на зрение и обоняние соседей - тогда так! Тогда, конечно, и самый отчаянный человек задумался бы, прежде чем окунуться в нее. Но ведь это грязь отвлеченная, метафизическая; грязь, о которой *ses dames* {дамы.} даже понятия никакого не имеют!

Переплывите этот грязный океан, окунитесь в него с головою, ныряйте, шалите сколько угодно - и вы все-таки выйдете на берег, словно из душистой ванны! Ни одного брызга! ни одного пятнышка! Мало того, ваши одежды получают даже какой-то особенный, не лишенный пикантности блеск!

Мне во сто крат более досадна моя ветхая ополченская поддевка, нежели та незримая одежда пороков, которую так охотно навязывают всем и каждому особого рода цеховые, именующие себя моралистами. Неприличие и бесконечную ядовитость моей поддевки я понимаю сразу. Ее появление вносит конфуз в порядочные семейства, заставляет умолкнуть самые оживленные разговоры, расширяет изумлением глаза; одним словом, уничтожает веселость, гармонию, движение и жизнь. Как бы я ни был самостоятелен, я не могу не сознавать, что мой приход производит всеобщую панику. Я не могу не сказать внутренно: "Да, твое место не здесь, не среди этих цветущих силою и уверенностью людей, а там, в вагоне третьего класса, в кругу людей надломленных, потухших и полинявших, людей с завистливыми взорами, людей, торопливо проглатывающих очищенную и раздирающих зубами окаменелую колбасу!" В эти горькие минуты я явственно слышу, как внутренности мои колышутся под наплывом ненависти ненависти к кому? К тем ли, которые меня презирают? Нет, не к

ним, ибо они представляют идеал, к которому стремятся все мои помыслы и которому я могу завидовать, но ненавидеть не могу. К кому же? - а именно к тем, кого я сам презираю, к тем моим собеседникам по вагону третьего класса, которые вчера просто-душно сообщали мне о своих видах на ташкентскую баранину!

Эти ужасные люди своим участием, своим панибратством каждую минуту уничтожают меня. Они напоминают мне, что я не что иное, как *un homme perdu de dettes* {человек, погрязший в долгах.}, что я такой же проходимец, пропойца, прощельга, как они все, что я один из тех любопытных субъектов, которые растратили молодость, силу, таланты и состояние - на что? - на лестное знакомство с половыми московских трактиров! Как же мне не ненавидеть их? Как не броситься мне в какой угодно омут, лишь бы освободиться из плена их ужасного панибратства!

И я достигну этого! В Ташкенте ли или в другом месте, но я дойму этих людей, пятнающих меня своим прикосновением!..

Да, если уж заводить речь о каких-то метафизических пятнах, незримо лежащих на какую-то, не менее метафизическую совесть, то прежде надлежит изобрести средство, которое выгоняло бы эти пятна наружу и заставляло бы их гореть на лбу и щеках человека неизгладимым свидетельством того праха, которым преисполнено в нем все, за исключением сюртука и штанов, всегда находящихся в безукоризненной исправности! А так как этого средства, по счастью, не изобретено, то, стало быть...

----

Но довольно морализировать.

Я знал, что главным двигателем по части ташкентской цивилизации состоит некто Пьер Накатников, мой старый товарищ по школе. Он занимался организацией армии цивилизаторов; он кликал клич и вербовал охочих людей; он отправлял их целыми транспортами к месту назначения, распоряжался перевозочными средствами и т. д. и т. д.

Каждого человека судьба снабжает какою-нибудь специальностью. Одних она делает специалистами по части юридических вопросов, других - специалистами по части вопросов педагогических, третьих (большинство) - специалистами по части "очищенной" и т. п. Специальность Накатникова заключалась в распространении цивилизации. Никто не имел права с большим основанием сказать: "стоя на рубеже", как Накатников. В нем это была страсть до того живая и беспокойная, что он ни минуты не мог посидеть на месте, чтоб не озаботиться насчет того или другого темного уголка, каким-нибудь чудом ускользнувшего от его цивилизующего влияния. Он неоднократно уже делывал весьма замечательные в этом смысле походы, и потому был чрезвычай-

но опытен. Мало того что он мог заранее определить все материальные подробности похода (заготовление цивилизующих орудий, количество их и т. д.), но инстинктивно угадывал, что кому требуется. Разумеется, всего нужнее оказывались разные принципы. Так, например, направляя стопы свои на запад, он наперед говорил, что первый принцип, с которым надлежит ближе познакомиться обывателей, - это *le principe du stanovoy russef*. Устремляясь внутрь, он знакомил невежд с принципом строгости и скорости во взыскании податей. Теперь, когда дело шло принцип русского станового. об отдаленном востоке, он, разумеется, прежде всего задал себе вопрос: чего им нужно? - и тотчас же, с свойственной ему проницательностью, решил, что прежде всего необходимо познакомить ташкентцев с *principe du telegue russe* {принципом русской телеги.}. Я это знал и, разумеется, приготовил несколько нелишних соображений в этом смысле.

Признаюсь, я не без волнения переступил порог канцелярии, в которой должна была решиться моя участь. Накатников был некогда моим другом - это правда, но в то же время я знал, что ему неизвестна была моя цивилизующая деятельность в одной из западных губерний... Это меня смущало, потому что я вел себя тогда... ах, как я себя тогда вел! К счастью, я мог утешить себя той мыслью, что современный контингент наших цивилизующих сил все тот же, который действовал и на западе, и внутри, и что, следовательно, как ни бейся, а обойти нас ни под каким видом нельзя.

Когда я вошел в приемную, все мои вчерашние спутники по вагону были уже налицо. Многие из них почистились, все были положительно трезвы. Такие физиономии встречаешь только в приемные дни в канцеляриях да в церквах перед причастием. Кроме их, набралось еще много другого народа, столь же решительного и столь же скудно, но чистенько одетого. Пьер опрашивал каждого поодиночке и главное внимание обращал на специальности, могущие служить подспорьем в деле цивилизации. В большей части случаев он встречал просителей как старых знакомых, уж известных ему по цивилизующей деятельности на западе и внутри. По движению его лица я убедился, что и мой приход не остался им незамеченным.

Странно играет судьба людьми. Я знал Пьера в школе и знал, что там он играл довольно незавидную роль. Как сейчас вижу его: сидит перед складным зеркальцем и вечно причесывает волосы. На губах улыбка, и около верхней губы, в углу, шевелится кончик языка; изнутри слышится какое-то неопределенное мурлыканье. Чешется-чешется, потом нагнется, заглянет в зеркальце, помурлычет, что-то поправит, и опять начнет мерно водить щет-

кой по голове. Никто не знал, о чем он думал, и даже думал ли о чем-нибудь. В те минуты, когда он бывал свободен от туалета, мы хотя и видали его движущимся, но всегда поневоле и всегда с определенной целью: что-нибудь взять, исполнить какое-нибудь правило, предписываемое уставом заведения. И всегда при этом кончик языка прилизывал зачинающийся над верхнюю губу ус.

Казалось, в нем происходила какая-то работа, только нельзя сказать, чтоб очень умная. В улыбке его (а он улыбался постоянно) виделось что-то сардоническое, вопросительное; как будто он сам себя спрашивал: "Чему же я, однако, улыбаюсь?" Говорил он редко, да и то односложными словами, и ежели бы не обязательная сдача уроков, которая все-таки требовала некоторой связности речи, едва ли кто-нибудь из нас имел бы возможность утверждать, в состоянии ли он сказать кряду два слова. Он никогда не дрался, никогда ни к кому не приставал; его можно было дразнить и даже щипать - он только пожимался и изредка произносил единственное, заветное слово: "шут"! Когда же случалось, что его раздражали свыше всякой меры, то он молча вскакивал из-за туалета, молча схватывал первый попавшийся под руку предмет: книгу, чернильницу, линейку, и молча же швырял его в обидчика. Таким образом, молча, улыбаясь и как-то машинально следуя за всеми товарищескими движениями, прожил он с нами шесть лет. Никто не мог назвать его своим другом, но все видели в нем доброго товарища. В курсе он вышел последним.

И вдруг мы узнаем, что наш Петя трется около какого-то генерала и что тот употребляет его в качестве цивилизатора!..

Но счастье ужасно изменяет человека. В ту минуту, как я пишу эти строки, Накатников уже состоит в чине штатского генерала, имеет на груди очень почтенное украшение... и говорит! Я не могу утверждать, что он говорит разумно, но он говорит, и этого уже для меня достаточно. Слова следуют друг за другом в порядке; по временам можно даже различить мысленное присутствие знаков препинания. Чего больше нужно? Прежняя бродячая улыбка еще мелькает на губах, но теперь она уже имеет характер благосклонности; кончик языка по-прежнему беспокойно прилизывает искусно заправленные концы усов, но теперь это движение уже не кажется просто инстинктивным, а выражает какую-то озабоченность. Голова его причесана еще тщательнее, безукоризненные бакенбарды обрамливают блистающее свежестью лицо; но ничто не напоминает ни о долгих часах туалета, ни о томительных совещаниях по поводу какого-нибудь непокорного волоска. Напротив того, кажется, что Пьер исключительно поглощен заботами своей миссии, а прическа тут так себе... пришла сама собою.

Как произошла эта метаморфоза - я с точностью объяснить не могу, но несомненно, что тут большую роль играло то случайное положение, которое Пьер успел занять. Положения обязывают. С расширением горизонтов явления самые общеизвестные и бесспорные утрачивают свою резкость и даже изменяют свои первоначальные названия. Глупость начинает называться благодушием, коварство - дипломатией, мошенничество - искусством жить на свете. В чине коллежского регистратора Пьер был глуп; теперь, в чине штатского генерала, он сделался благодушен. Глупость неприятна, и ежели не представляет положительного порока, то, во всяком случае, никого не украшает; напротив того, благодушие есть качество очень положительное и по преимуществу украшающее...

Пьер обошел всех по очереди; всем сказал слово ободрения и надежды, и когда приблизился к моему соседу, то я совершенно явственно услышал как бы случайно оброненное им слово: "шут"!

Я понял, что это слово было пущено по моему адресу, и, признаюсь откровенно, весь вспыхнул от удовольствия. Это слово разом перенесло меня к милой односложности нашего школьного прошлого. Мало того: оно заключало в себе отпущение всех моих недавних проказ. Я просветлел и переминался с ноги на ногу в ожидании аудиенции. Я видел в нем уже не товарища и не глупца, незаслуженно занявшего завидное положение, а какое-то высшее существо, которому я обязан был принести в жертву все. "До последней капли крови!", "не щадя живота!", "не токмо за страх, но и за совесть!" - вот единственные формулы, которые бессознательно вырабатывали мои мозги, под влиянием внезапного прилива преданности. Наконец просители были удовлетворены, и мы остались вдвоем.

- Шут! - повторил он, но так мило, так бесконечно-благоклонно, что я мог только произнести:

- Ради стараться, ваше превосходительство!

- Шут!

Он с "небесною" улыбкой оглядел меня с головы до ног и, оставившись на моем ополченском казакине, продолжал:

- Ба! и старый друг на плечах!

Я был побежден и уничтожен. Со слезами на глазах я рассказал печальную повесть моих грехопадений; признался ему во всем, даже...

- Ваше превосходительство! Я здесь перед вами... как перед отцом! казните, но не отнимайте от меня вашего расположения! - заключил я прерывающимся от волнения голосом.

Такая доверенность видимо польстила ему; он был тронут и с чувством пожал мою руку. Прошедшее было забыто; будущее от-

крывалось полное надежд и загадочных предприятий. Он объяснил мне всю важность предстоящих задач и, постепенно развивая свои мысли, *de fil en aiguille* {слово за слово.} пришел наконец к тому, что он называл "*la question du telegue russe*" {"вопрос о русской телеге"}. Этот вопрос, по его мнению, должен был явиться отправным пунктом нашей будущей цивилизующей деятельности.

- Первоначальный способ передвижения, - говорил он, - несомненно представляется нам в собственных ногах человека. Неоспоримо, что прародители наши двигались именно этим способом, удовлетворяя своим немногочисленным нуждам. Тем же способом двигаемся и мы, когда находимся внутри жилищ наших...

- В недавнее время заведены "посыльные", которые тоже... - осмелился вставить я от себя.

- Ну да, мы, наши прародители и "посыльные" - все это пользуется первоначальными способами передвижения. Но не прерывай меня, *mon cher*, потому что мне нужно высказать мою мысль вполне. Итак, я сказал, что первоначальный способ передвижения заключался в Пешковой ходьбе. Но по мере того, как человек порабощает природу и укрощает зверей, способы передвижения усложняются; на смену Пешковой ходьбы является езда верхом, на четвероногих. Выступает понятие о собственности, которая, на основании правила: *omnia mea mecum porto* {все свое ношу с собою.}, навьючивается, вместе с всадником, на одно и то же животное. Это уже шаг вперед, но, согласись со мной, что шаг очень ограниченный (я сделал знак головой и несколько подкатил глаза, как будто хотел сказать: *oh! comme je vous comprends, mon general!* {о! как я вас понимаю, генерал!})... Собственность ничтожна, перевозочные средства тоже вот ключ для объяснения существования народов пастушеских, кочевых. Они бродят, кочуют, не могут усидеть на месте... *enfin, tout s'explique!* {словом, все ясно.} Наконец появляется телега - этот неудобный и тряский экипаж! - но посмотри, какую он революцию произведет! Своею неудобностью он заставит обывателя остеречься излишних передвижений, и тем самым привяжет его к земле. Эта привязанность, с своей стороны, породит понятие о навозе. Видя постепенное накопление этого удобрительного материала, простодушный пастух спросит себя: что такое навоз? и в первый раз задумается, в первый раз осенится мыслью, что навоз, как и все в природе, существует не без цели. Он начинает дорожить навозом, он видит в нем *ses penates et ses lares* {своих пенатов и ларов.} - и вот устраивает около него свое жилище и, незаметно для самого себя, вступает в период оседлости (*oh! comme je vous comprends! comme*



je vous comprends, mon general!). Понимаешь? Человек заводит телегу, и этого простого факта, который чуть ли не каждый день проходит перед нашими глазами незамеченным, совершенно достаточно, чтоб он приобрел элементарные понятия о навозе и навсегда оставил кочевые привычки! Но этого мало: имея телегу, он полагает основание прочной цивилизации (oh, comme je vous comprends!). Понимаешь ли ты, какую радикальную реформу мы можем сразу произвести в быте этих несчастных бродяг, ничем не рискуя, ничего даже с собою не принося... кроме телеги! кроме простой русской телеги! Aussi, je leur en donnerai... du telegue! {Так вот я дам им... телегу!} Га!

Он кончил, а я стоял и все слушал. Я удивлялся только тому: как это мне самому сто раз не пришли в голову мысли столь простые и естественные. Каждый день я вижу сотни телег, а никогда-таки не приходило на мысль, что тут-то именно и сидит вся суть цивилизующего русского дела. По-видимому, и Пьер убедился, что я понял его намерения, потому что прервал свои объяснения и ласково сказал мне:

- Ну, на первый раз довольно! Я сегодня же доложу о тебе нашему генералу, и мы запишем тебя в гвардию. Да, mon cher, и у нас, ташкентцев, есть свои чернорабочие и свои гвардейцы! Que veu-tu! {Ничего не поделаешь!} Первые - это так называемые les pionniers de la civilisation {пионеры цивилизации.}, они идут вперед, прорубают просеки, пускают кровь и так далее. Все эти люди, которых ты сейчас у меня видел, - все это кровопускатели. Если они погибают, то, в общем ходе дела, это почти остается незамеченным. Этим кровопускателей каждую минуту нарождается такое множество, что они так и лезут из всех щелей на смену друг другу. Совсем другое дело - наша цивилизационная гвардия. Люди гвардии не прорубают сами просек, а только указывают и дирижируют работами. Им не позволено погибать, потому что им ведется подробный счет. Сверх того, они получают двойные прогонные и порционные деньги!

Должно быть, впечатление, произведенное на меня последними словами, было особенно сильно, потому что Накатников благосклонно улыбнулся и сказал:

- Понимаю! соловья баснями не кормят! C'est juste! {Правильно!} Желание скорей разрешить вопрос "о получении" с твоей стороны совершенно естественно, особенно если принять во внимание, что "старый друг", которого ты так добросовестно хранишь на плечах, должен как можно скорее уступить место новому другу, более приличной наружности. Завтра это дело будет покончено, а покамест...

Он дал мне некую ассигнацию и отпустил от себя, потому что новые толпы просителей ожидали его. Я не шел домой, а летел, точно у меня выросли сзади крылья. По дороге я забежал в Палкин трактир и разом съел две порции бифштекса.

---

Целый день я получал деньги.

Когда я пришел в главное казначейство и явился к тамошнему генералу (на всяком месте есть свой генерал), то даже этот, по-видимому, нечувствительный человек изумился разнообразию параграфов и статей, которые я сразу предъявил! А что всего важнее, денег потребовалась куча неслыханная, ибо я, в качестве ташкентского гвардейца, кроме собственных подъемных, порционных и проч., получал еще и другие суммы, потребные преимущественно на заведение цивилизующих средств...

15. Цивилизующие средства.

Ст. 20. Заготовление телег.

26. Береговое довольствие.

Ст. 14. Призрение шлющихся и охочих людей. И т. д. и т. д.

Я считал деньги с утра и до пяти часов. Сеня Броненосный, который получал при этом свои тощие ординарные порции и прогоны, только облизывался.

Я помню, что в этот день я все помнил.

Я помню, что на другой день я отправился на железную дорогу и взял место в спальном вагоне второго класса.

Я помню, что был одет в хорошее платье, что ел хорошее кушанье, что старая ополченка была спрятана в чемодан. Через плечо у меня висела дорожная сумка, в которой хранились казенные деньги.

Все это я помню...

---

Но каким образом я очутился в Ростове-на-Дону?!! И не в хорошем платье, а в моей старой ополченской поддевке?!! Где моя сумка?!!

---

Ужели я приехал сюда единственно для того, чтоб познакомиться с градским головою Байковым, которого я, впрочем, не видал?!!

Не может быть!

---

Я помню: я ехал...

Я ехал, я ехал, я ехал...

Я ехал.

Вероятно, по дороге я засмотрелся на какую-нибудь постороннюю губернию и...

Господи!

Тут есть какое-то волшебство. Злой волшебник превратил в Ташкент Рязанскую губернию... Рязанскую или Тульскую?!

Я помню: я пил...

----

В Таганроге меня арестовали.

- Откуда? куда? - спрашивали меня.

- Я помню: я ехал...

- Где казенная сумка?

- Я помню: я пил...

Что случилось? где я нахожусь?

Кругом меня ходят какие-то тени и говорят: "стоя на рубеже"... Потом приходят другие тени и говорят: "le principe du telegue russe"...

15. Ст. 20. Заготовление телег!!

Но ведь надобны же средства, mon cher! Телега... конечно, это не бог знает драгоценность какая, но ведь надо построить ее! Где средства? Где ж средства... коли я их все пропил... mon cher!

ОНИ ЖЕ

Ах! как я тогда себя вел!

Ташкент еще завоеван не был; на Западе дело было покончено; мы были свободны, но страсть к завоеваниям не умирала.

Ничего другого не оставалось, как обратиться внутрь...

Я помню, это было летом. Петербург погибал, стихии смешались. Наводнение следовало за наводнением; Адмиралтейство уже уплыло; с часу на час ожидали, что поплывет Петропавловская крепость. Публицисты гремели, общественное мнение требовало быстрой и действительной немезиды. Образовались, как водится, под предводительством отставных генералов, несколько частных компаний "для искоренения зла"; акции разбирались нарасхват, тем более что цена им была назначена копейка серебром. Как в 1612 году, общество пыталось спасти себя само, без разрешения начальства. Объявлен был поход против неблагонадежных элементов; крестоносцев потребовалось множество. К одной из таких компаний, под названием "Робкое усилие благонамеренности", приступил и я.

Как только кто-нибудь кликнет клич - я тут. Не успеет еще генерал (не знаю почему, но мне всегда представляется, что кличет клич всегда генерал) рот разинуть, как уже я вырастаю из-под земли и трепещу пред его превосходительством. Где бы я ни был, в каком бы углу ни скитался - я чувствую. Сначала меня мутит, потом начинают вытягиваться ноги, вытягиваются, вытягиваются, бегут, бегут, и едва успеет вылететь звук: "Ребята! с нами бог!" - я тут.

- Куда прикажете, вашество?
- А! ты опять здесь!
- Точно так, вашество!
- Благодарю, мне люди нужны!

Так именно было и тогда. Не помню, в какой губернии я скитался, но помню, в кармане не было ни гроша. И еще помню: мера беззаконий исполнилась... Взять тройку, подтянуться кушаком, подкрепитьсь тремя-четырьмя рюмками очищенной, сесть в телегу, перекреститься - все это было делом одной минуты. Затем скакать, скакать и скакать... И действительно, я прискакал в тот момент, когда генерал произносил возмутительную речь. Эта речь произвела на меня такое глубокое впечатление, что я и теперь помню ее от слова до слова. "Господа! - сказал он, - не посрамимся, но ляжем костью. Так, милостивые государи, говорил блаженной памяти его высочество великий князь Святослав Игоревич, намереваясь вступить в сокрушительный бой с Иоанном Цимисхием"... Генерал остановился, покраснел и прибавил: "Господа! я не оратор, но, как человек русский, могу сказать: ребята, наша взяла!.."

В это самое время я вошел. К удивлению, приемная зала была уже полна соискателей всех возрастов, состояний и наций. Очевидно, мутило не меня одного. Фонды компании в одну минуту возвысились с копейки до ломаного гроша. Сочувствующие, желающие поживиться, теснились, толкали друг друга, бросали кругом завистливые взгляды, так что генерал, чтобы предотвратить несчастье, должен был сказать: "Господа! не торопитесь! всем будет место! мне люди нужны!" И затем, обращаясь к одному из приближенных, продолжал: "Какой, однако, прекрасный наплыв чувств!"

Нас тут же всех поголовно переписали и велели немедленно явиться в правление для окончательного распределения по отрядам (*par escouades*). Я помню, в числе соискателей меня в особенности поразил один инородец: при трехаршинном росте и соразмерной тучности он выражал такую угрюмую решительность, что самые невинные люди немедленно во всем сознавались при одном его приближении.

Генерал наш долго любовался им, но, заметив, что это предпочтение во многих начинает возбуждать чувство патриотической ревности, тотчас же поспешил разуверить нас. "Господа! - сказал он, - не думайте, прошу вас, чтобы у нас требовались исключительно люди сверхъестественного роста! Нет! в нашем предприятии найдется место для людей всякого роста, всякой комплекции. Одно неперемное условие - это русская душа!" Слово "неперемное" генерал произнес с особым ударением.

- А немцу можно? - раздался в толпе чей-то голос.

Небесная улыбка озарила лицо генерала.

- Немцу - можно! немцу всегда можно! потому что у немца всегда русская душа! - сказал он с энтузиазмом и, обращаясь вновь к своему приближенному, прибавил: - О, если бы все русские обладали такими русскими душами, какие обыкновенно бывают у немцев!

Генерал на минуту задумался и пожевал губами.

- Наполеон Третий сказал правду, - произнес он, как бы в раздумье, что такое истинный француз? спросил он себя в одну из трудных минут, и отвечал: истинный француз есть тот, который исполняет приказания генерала Пьетри! И с тех пор, как он сказал себе это, все у него пошло хорошо!

- Так точно, ваше пр-ство! - прогремели мы хором.

Инородец шевелил глазами и простирали руки. Наконец перепись кончилась. Оказалось 666 соискателей; из них 400 (все-таки большинство!) русских, 200 немцев с русскими душами, тридцать три инородца без души, но с развитыми мускулами, и 33 поляка. Последних генерал тотчас же вычеркнул из списка. Но едва он успел отдать соответствующее приказание, как "безмозглые" обнаружили строптивость, свойственную этой легко воспламеняющейся нации.

- Мы тоже русские! - с наглостью говорили они. - У нас тоже русские души!

- Но вы католики, господа! - усовещивал генерал, - а этого я ни в каком случае потерпеть не могу!

- Какие мы католики -- мы и в церкви никогда не бываем!

- А! если так - это другое дело! но, предваряю, худо будет тому, кто солгал...

И затем, приказав восстановить поляков в правах и обращаясь к нам, прибавил:

- Ну, теперь с богом, господа!

С этими словами председатель компании "Робкое усилие благонамеренности" удалился в кабинет, оставив всех очарованными...

Счастливые, обласканные, мы гурьбой выходили от него и весело разговаривали.

- Ангел! - говорили одни.

- Какое знание человеческого сердца! - рассуждали другие.

Я лично был в таком энтузиазме, что, подходя к Палкину трактиру и встретивши "стриженую", которая шла по Невскому, приотпывая каблучками и держа под мышкой книгу, не воздержался, чтобы не сказать:

- Тише! Ммеррзавка!

Почему я это сказал, я до сих пор объяснить себе не могу. Но оказалось, что я попал метко, потому что негодная побледнела, как полотно, и поскорей села на извозчика, чтоб избежать народной немезиды. Есть какой-то инстинкт, который в важных случаях подсказывает человеку его действия, и я никогда не раскаивался, повинувшись этому инстинкту. Так, например, когда я цивилизовал на Западе, то не иначе входил в дом пана, как восклицая: "А ну-те вы, такие-сякие, "кши, пши, вши", рассказывайте! думаете ли вы, что "надзея" еще с вами?"

Я очень хорошо понимал, что остроумного тут нет ничего. "Надзея" надежда, "сметанка" - сливки, "до зобачения" - до свидания, - конечно, все это слова очень обыкновенные, но - странное дело - мы, просветители, не могли выносить их. Нам казалось, ну как не бить людей, которые произносят такие слова? Но в то же время, я был убежден, что паны найдут мою шутку необыкновенно веселую. И действительно, они просто надрывали животы от смеха, когда я произносил свое приветствие. (Каюсь, этому смеху многие даже были обязаны своим спасением.)

- О! какой пан милый! - восклицали они хором... Милый! заметьте, "милый", а не "милый"! Ах, прах вас побери!

Точно так было и теперь.

По-видимому, я не сказал ничего, а вышло, что сказал очень многое. К несчастью, я был голоден, и к тому не имел свободного времени следить за негодяйкой. Однако я все-таки был доволен, что успел изубытчить ее на четвертак, который она должна была заплатить извозчику.

У Палкина была почти такая же давка, как и в генеральской приемной, так как все мы, на первый случай, получили по несколько монет и спешили вознаградить себя за дни недобровольного воздержания, которое каждый из нас перед тем вытерпел. Но замечательно, что никто не спрашивал себе горячего, а все насыщались как-то непоследовательно, урывками, большею частью солеными и копчеными закусками, заедая ими водку. Трехаршинный инородец был тоже здесь, но водки не пил, а выпил жбан кислых щей и съел четверть жеребенка. Проглотив последний кусок, он отяжелел и долгое время не мог даже моргнуть глазами. Многие пользовались этим и безнаказанно показывали ему свиное ухо.

На всех пунктах шли оживленные разговоры.

- Нужно думать, что нам придется действовать по ночам, - догадывались одни.

- Еще бы! Днем-то "его" с собаками не сыщешь, а ночью - динь, динь! Коман ву порте ву? {Как поживаете?} Wieviel haben sie gewesen? {Сколько вас было?} Сейчас его, ракалию, за волосное

правление - не угодно ли прогуляться? Да не топыряться, сударь мой! Н-н-е то-пы-ри-ть-ся!

- А если же он уф спальни? - спросил тот самый немец, который сомневался, какая у него душа.

- А если же он уф спальни? - поддразнил его один из собеседников, - так что же, что уф спальни! Тебе же, немцу, лучше - прямо туда и при! Может, на стрижечку интересенькую набредешь!

Немчик покраснел.

- Что? Побагровел? Ах, немец, немец! чувствует мое сердце, что добра от тебя не будет. Ты пойми: тут каждая минута миллион триста тысяч червонцев стоит, а ты ломаешься: "уф спальни"!

- О, нет! я ничего! мне очень приятно!

- То-то "ничего"! Ты иди прямо, потомудохнуть тут некогда!

- Это дело нужно умненько вести, - рассуждали в другом месте, - потому тут как раз наскочишь!

- Не может этого быть!

- Что вы говорите: "не может быть"! Я сам, сударь, на собственной своей персоне испытал! Видите это пятно? Вот это!.. Ну? Вы думаете, что это родимое! нет, государь мой, это...

- Я полагаю, надо сначала вызвать дворника, - ораторствовали в третьем месте, - а когда он обробеет, то потребовать, чтоб указал путь... Когда же таким образом настоящая берлога будет приведена в известность, то изловить "его" не будет составлять никакой трудности... Нужно только, знаете, с шумом, с треском, чтоб впечатление было полное...

- Но если, слышав шум, "он" уйдет?

- Куда уйдет, под стол, что ли, спрячется? или в щель заползет? так за волосы оттуда вытащим, государь мой, за волосы!..

- Но если "он" вдруг лишит себя жизни?

- Те-те-те, это волосатый-то! он-то лишит себя жизни? Да вы, сударь, стало быть, не знаете их! Это благородный человек... ну, тот, конечно... для благородного человека жизнь что? тьфу!.. А то кого нашли! волосатого!

Словом сказать, все шумели, все волновались. Один инородец был исключительно предан варению принятой им пицци. Вскоре, впрочем, и он получил способность моргать глазами и поворачивать головой. Тогда он повернулся всем корпусом к Невскому и, увидев на улице жалкую собачонку, которая на трех ногах жалась около тротуара, отпер окно, вынул из кармана небольшой камень и пустил им в собаку. Последовал визг, и на губах его показалась улыбка! Только тогда мы поняли, какую роль должен был играть этот человек в предстоящем походе. Все на мгновение притихли.

Я вслушивался в эти разговоры, и желчь все сильнее и сильнее во мне кипела. Я не знаю, испытывал ли читатель это странное

чувство самораздражения, когда в человеке первоначально зарождается ничтожнейшая точка, и вдруг эта точка начинает разрастаться, разрастаться, и наконец охватывает все помыслы, преследует, не дает ни минуты покоя. Однажды вспыхнув, страсть подстрекает себя сама и не удовлетворяется до тех пор, пока не исчерпает всего своего содержания.

Что до меня, то я ощущал это чувство неоднократно. Обстановка, совещания, ожидание предстоящих подвигов - все это действует опьяняющим образом. Так было и теперь. Чем более я слушал, тем более напрягались мои душевные силы, тем более я ненавижу. Ночь, робеющий дворник, бряцания о тротуары и черные лестницы, remue-menage {кавардак.} в бумагах и письмах таково начало! Потом: краткое мерцание утренней зари, медленный благовест к заутреням, дрожь на проникнутом ночью свежестью воздухе, рюмка водки в ближайшей харчевне, шум, смех, изумление ранних прохожих... стой! слушай! В ком не произведет опьянения подобная перспектива? В таком-то возбужденном состоянии я вышел из Палкина трактира и уже хотел направить шаги в свою квартиру, как вдруг увидел идущего навстречу товарища по школе. Естественно, бросились друг к другу; изливания, воспоминания, вопросы... Радость была взаимная, потому что в школе мы были очень дружны, а после того потеряли друг друга из вида, и, следовательно, ни он обо мне, ни я об нем не имели решительно никаких сведений... И вдруг, после нескольких минут задушевной беседы, он говорит мне:

- Ах, какое время, мой друг! Какое ужасное время!

Я инстинктивно взглянул на него, он уловил этот взгляд, и вдруг... все понял!

- То есть, ты понимаешь меня, - заспешил он, как-то странно смеясь мне в лицо, - не в том смысле ужасное... пожалуйста, ты не подумай... однако, прощай! Мне надо по одному делу!

И он удалился, постепенно ускоряя свои шаги. Я несколько минут, как статуя, стоял на одном месте и безмолвно кусал усы. Если бы в эту минуту возле меня развернулась пропасть, я, наверное, бросился бы в нее!..

Меррзавец!

----

Pardon! Ведь было, однако, время... когда я был либералом!

Не удивляйся, читатель, и не гляди на меня с недоверием: да, было время, когда я не только был либералом, но был близок к некоторым знаменитым и уважаемым личностям (увы! теперь уже умершим!). Мы составляли тогда тесную, дружескую семью; у всех нас был один девиз: "добро, красота, истина".



Мы не только горячо говорили, но горячо чувствовали. Борьба романтизма с классицизмом, движение, возбужденное Белинским, Луи Блан, Жорж Занд - все это увлекало нас и увлекало совершенно искренно. Нас трогали идеи 48 года; конечно, не сущность их, а женерозность, гуманность... "Alea jacta est la grandeur d'ame est a l'ordre du jour" {Жребий брошен, время требует величия души!} - восклицали мы вслух с Ламартином.

Каким образом все это примирилось с уставом благоустройства и благочиния?

Это сделалось очень странно, но я помню, тут произошел какой-то сумбур.

Была одна минута, одна-единственная минута, когда вдруг все переменилось, когда выползли из нор какие-то волосатые люди и начали доказывать, что "добро", "красота", "истина" - все это только слова, которые непременно нужно наполнить содержанием, чтобы они получили значение.

- Что разумеете вы, например, под "добром"? - спрашивали нас эти люди, и спрашивали так дерзко, так самоуверенно, как будто и в самом деле возможность "распорядиться" исчезла навсегда из всех кодексов.

Однако мы были настолько любезны (заметьте: мы могли и не быть ими!), что отвечали.

Я помню, я в первый раз тогда покраснел. До тех пор все это было мне так ясно, так бесспорно - и вдруг... призывают к допросу!

- Добро! - говорили мы, - но разве каждому из нас не присуще это чувство? Разве каждый из нас не трепещет восторгом при одном его имени? Разве не странен самый вопрос: что такое добро?

Сказав это, мы сели, ибо были уверены, что ответили.

- Ну-с? - услышали мы вместо возражения.

- Наконец, - продолжали мы, - если в трудные минуты жизни мы жаждем утешения, то где же мы ищем его, как не в высоких идеях добра, красоты и истины? Ужели и это не объясняет достаточно, какое значение, какую цену имеет добро?

Мы кончили и опять сели, ожидая, что "они" поймут. Но в ответ на наши слова послышался холодный, как бы беззвучный смех. Я понял, что этот смех называется "отрицанием", и впервые тогда произнес: Меррзавцы!

После этого пошло дальше и дальше: после "отрицания" пришло "неуважение авторитетов", потом "безверие", потом "посягательство на чужую собственность", затем еще и еще... Теперь я чувствую, что я пришел, что я у пристани...

Иногда меня интересует вопрос: что было бы, если б был жив Грановский? Остался ли бы я его другом? Я понимаю, что сам по

себе этот вопрос праздный; но сознаюсь, в первое время моего вступления на арену благочиния он волновал меня довольно сильно. Бывали минуты, когда я предлагал этот вопрос на разрешение компетентным людям. Многие из них уклонялись, многие не отвечали ни да, ни нет; но один просто-напросто сразил меня.

- Вы! - почти крикнул он на меня, - вы... друг Грановского? Вы!.. Да он бы на порог квартиры своей вас не пустил!..

Меррзавец!

Я уже сказал, что мы действовали отрядами, *par escouades*.

Несмотря на позднее время, "он" сидел и читал книгу; подруга его беззаконий спала. Когда мы позвонили, он сам отворил нам дверь. "Он" не казался испуганным, ни даже изумленным, но как будто старался понять... Наконец он понял.

Первым моим движением было овладеть книгой.

Содержание ее было физиологическое.

- Вот эти-то книги и доводят вас, милостивый государь, до всего! сказал я, и уж не помню, как это случилось, но бросил книгу на пол и начал топтать ее ногами.

"Он" с любопытством и даже как бы с жалостью следил за моими произвольными движениями, однако не протестовал.

Из другой комнаты выглянуло испуганное лицо женщины.

- Это кто? - спросил я, указывая на нее.

- Это... моя жена.

- Около ракитового куста венчаны?

- К сожалению, я не настолько знаком с отечественными былинами, чтобы отвечать на ваш вопрос.

Это была уже дерзость.

- Я заставлю вас понимать себя! - вспылил я.

- Извините, но я не могу понимать больше того, сколько понимаю. Потрудитесь выразаться яснее.

- Гражданским браком? проклятым гражданским браком? - говорил я, выходя из себя.

- Теперь понимаю... Да, гражданским браком!

- Так вот для нее... Сударыня... как вас... Извольте получить... билет!

"Она" наскоро оделась и вышла к нам.

По-видимому, она еще не понимала.

- Что же! возьми! - сказал "он".

Но она все еще не решалась брать и взорами спрашивала у него, у меня, у всех - разъяснения этой загадки... Вдруг черты ее лица начали искажаться, искажаться... "Она" поняла... И что ж? Оказалось, что это была дочь почтенного действительного статского советника, увлеченная хитростью в сонмище неблагонамеренных...

Маррш!

----

Было еще позднее, и "он" уже спал. Сделавши несколько сильных ударов звонком, мы долго ждали на площадке, прислушиваясь, как за дверью возились и ходили взад и вперед, Возне этой, казалось, не будет конца.

- Да куда же, однако, девались мои носки? - долетал до нас "его" голос.

Наконец носки были отысканы и дверь отперта. "Он" узнал нас сразу и не только не показал никакого изумления, но даже принял гостей с некоторою развязностью.

Впоследствии открылось, что "он" уже "травленный".

- Ба! Гости! - сказал он довольно весело, - да уж нет ли тут старых знакомых? нет? Ну, и с новыми познакомимся? Marie! вставай: гости пришли!

Оказалось, что "он" был веселый малый и даже отчасти жуир. На столе, в кабинете, стояли неубранные остатки довольно обильной закуски: ветчина, сыр, балык, куски холодного пирога... Несколько початых бутылок вина и наполовину выпитый графин с водкой довершали картину.

- Господа! не угодно ли? - сказал "он", указывая на закуски, - от меня, с час тому назад, ушли приятели, так вот кстати и закуска осталась. А я покамест оденусь: ведь мне придется сопровождать вас? или, лучше, вам придется сопровождать меня - так?

- Точно так-с! - отвечал я, увлеченный его добродушием, и вместе с тем не мог не подумать, - если бы все они были таковы! Гостеприимен, ласков, словоохотлив!

Это был единственный случай, когда меня угостили закуской. Я уже начинал думать, что "они" не едят и не пьют, и вдруг... встречаюсь с картиной старинного дворянского хлебосольства! И где же встречаюсь?

Что привело этого человека в бездну вольномыслия? Непостижимо!!

Мы последовали приглашению радушного хозяина и, признаюсь, даже не заметили, как прошло время в любезной беседе.

Говорили обо всем, о социализме, о коммунизме, но без раздражения, без задора, и даже с видимым удовольствием. Один только раз я принужден был выразиться довольно строго, и именно по поводу той самой Marie, которую он уже вызывал в начале нашего прихода и которая теперь с самой изысканной любезностью потчевала нас пирогом и закуской.

- Эта особа... как вам приходится? - спросил я его.

- А! это... моя жена! Вам, может быть, нужно в спальную войти? Сделайте одолжение - не стесняйтесь! Я сам вам все покажу.

- Нет-с, покуда мы еще не имеем в этом нужды... Не жена... то есть как жена? - прибавил я, шутливо подмигнув одним глазом, - вокруг ракитового куста?

- Если вы под ракитовым кустом понимаете...

Но он не успел закончить.

- Довольно, государь мой! - сказал я строго, чтобы дать ему почувствовать, что вежливое обращение еще не дает права на дерзость.

Затем, когда мы закусили и выпили, он сам нам показал все. В целой квартире не было ни одной книги, ни одного клочка бумаги, так что я даже изумился.

- Вас изумляет отсутствие книг и бумаг? - поспешил он объяснить, заметив на моем лице недовольное движение, - но поймите же, наконец, что, начиная с сорок восьмого года, я периодически подвергаюсь точно таким посещениям, как в настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить некоторую опытность.

Признаюсь, во всяком другом случае подобная предусмотрительность огорчила бы меня, но на этот раз она даже обрадовала: так мне приятно было за нашего доброго, радушного... и, вероятно, не по своей вине увлеченного хозяина!

Под влиянием этого чувства я совершенно раскис.

- Вы не сердитесь, пожалуйста, Павел Иванович (так "его" звали), сказал я, - но я считаю своим долгом вам выразить, что давно не проводил так приятно время, как в вашем милом, образованном семействе.

- За что же тут сердиться?

- Да-с! Но за всем тем... моя обязанность... мой, если можно так выразиться, священный долг...

- Повелевает вам пригласить меня с собою? Что ж, ведь я с первого же раза сказал вам, что на всяком месте и во всякое время готов!

- Да-с; но могу вас уверить, что с своей стороны... все, что зависит.

- Ну, от таких курицыных детей, как вы, тут, пожалуй, ровно ничего зависеть не может... Однако довольно разговаривать: идем!

Тут только я заметил, что ему все-таки не совсем приятно было наше посещение. Марш!

----

Петербург погибал! Петропавловская крепость уже уплыла... Последний оплот! Это было зрелище ужасное: куда ни оглянись - везде дыра... Публицисты гремели, благонамеренные.... радовались!

Все чувствовали, что надо вырвать "зло" с корнем, все издавали дикие вопли... В чем заключалось зло? Какое оно отношение имело к данной минуте? Об этом никто себя не спрашивал, не рассуждал, не говорил. Чувствовалось одно: что минута благоприятна, что это одна из тех минут, к которым можно приурочить какую угодно обиду, и никто в суматохе ничего не разберет и не отличит. Если теперь упустить минуту, то кто может поручиться, поймаешь ли ее когда-нибудь за хвост?

Нет зрелища более поразительного, как зрелище радости благонамеренных! это какой-то гул: у-у! а-а! го-го! По-видимому, тут нет даже необходимой, для вразумительности, членораздельности, а за всем тем нельзя не чувствовать, что это единственные "передовые" звуки, возможные в известные минуты.

Еще вчера благонамеренный жался к сторонке, ходил с понурою головой, с бледными щеками и потухшими взорами; еще вчера он клялся и божился, что отныне подло быть негодяем, - и вдруг какая метаморфоза! Сегодня он цветет; походка у него уверенная, авторитетная; глаза блещут молниями; уста извергают победный вопль. Вы не можете объяснить, как совершилась победа, но чувствуете, что она совершилась и что вчерашний день утонул навсегда. *Vae victis!* {Горе побежденным!} Горе тому, кто попадет в эту минуту на глаза "благонамеренному"! Он в одно мгновение будет с ног до головы обрызган ядовитой слюной ябеды и клеветы!

Сильные общественные пертурбации необходимы для "благонамеренного": они дают ему возможность окрепнуть. Пожар поселяет в его сердце радостный трепет, наводнение, голод - приводят в восхищение!

В обыкновенное время, когда течение дел не представляет угроз, когда окрест царствует тишина, когда в обществе расцветает надежда на лучшее будущее - "благонамеренный" увядает, ибо сознает себя ненужным.

Самолюбие его страдает безмерно; он мечется и ищет исхода для своей деятельности и везде приходит не вовремя, везде видит себя лишним... Тишина тлетворным образом действует на его фонды, почти что исключает его из жизни. Притом, это явление до такой степени для него ново и необычно, что невольно возбуждает в нем подозрительность, населяет его воображение всевозможными страхами. "Тихо - стало быть, я пропал", - говорит себе благонамеренный, и нет меры его злополучию. Чтобы пищеварение совершалось в нем беспрепятственно, нужно, чтобы целые массы изнемогали под игом нравственных и физических истязаний, или, по крайней мере, чтобы кто-нибудь да стонал.

Если этого нет, он чувствует себя неловко и, чтобы смягчить свое горе, начинает предсказывать, накликают.

И вот, как бы в ответ на его предсказания, на горизонте появляется облако, в воздухе чувствуется удушливость, вдалеке слышатся раскаты грома...

Посмотрите, как постепенно он воскресает, как загорается румянец на его бледных щеках, какой страшной пастью разверзаются немотствовавшие дотолле уста!

"Я говорил, я предсказывал, я знал вперед, что это будет так!" хохочет он на все стороны. И льется этот зловещий, перекатистый хохот из края в край, вызывая к жизни давно уснувшие ненависти, давая плоть и форму тому, что смутно шипело и бессмысленно бормотало, не сознавая самого себя, не умея найти для себя ясного выражения...

Наступает минута какого-то адского откровения. "Либералы!" - раздается победный клич, и все, что чувствует себя бодрим, - все складывается в одну яму и немедленно отдается на поругание...

В таком положении дел очень естественно, что, как бы человек ни старался попасть в тон минуты, он всегда чувствует себя опереженным.

Так было и с нами, членами общества "Робкого усилия благонамеренности". Как мы ни бодрились, как ни старались сослужить, службу общественную возрастающий спрос на благонамеренность с каждым часом больше и больше затоплял нас. Мы уже не удовлетворяли потребности минуты, мы оказывались слабыми и неумелыми; нас открыто называли колпаками!! В конце концов мы сделались страдательным орудием, которое направляло свои удары почти механически.

Надо было видеть, какие люди встали тогда из могил! Надо было слышать, что тогда припоминалось, отомщалось и вымещалось!

Если вы имели с вашим соседом процесс; если вы дали займы денег и имели неосторожность напомнить об этом; если вы имели несчастье доказать дураку, что он дурак, подлецу - что он подлец, взяточнику - что он взяточник; если вы отняли у плута случай сплутовать; если вы вырвали из когтей хищника добычу - это просто-напросто означало, что вы сами вырыли себе под ногами бездну. Вы припоминали об этих ваших преступлениях и с ужасом ожидали. Не было закоулка, куда бы ни проникла "благонамеренность"...

Провинция колыхалась и извергала из себя целые легионы чудовищ ябеды и клеветы...

От Перми до Тавриды,

От хладных финских скал

До пламенной Колхиды...

Отовсюду устремлялись стада "благонамеренных", чтобы выместить накипевшие в сердцах обиды...

Они рыскали по стогнам, становились на распутьях и вопили. Обвинялся всякий: от коллежского регистратора до тайного советника включительно. Вся табель о рангах была заподозрена. Сводились счета; все прошлое ликвидировалось сразу... Делалось ясным, что, как бы ни тщился человек быть "благонамеренным", не было убежища, в котором бы не настигала его "благонамеренность" еще более благонамеренная.

Самые "благонамеренные", наконец, спутались и испугались - не за общество, а за самих себя и за детей своих.

Человек старался угадать не то, в чем он когда-нибудь преступил против ходячей политической морали, а то, существовали ли какие-нибудь пункты этой морали, в которых нельзя было бы совершенно свободно обвинить кого угодно и как угодно и на котором из этих пунктов обрушится обвинение именно на него? Тот, кого в этом обвинительном омуте постигало забвение, мог считать себя счастливым. Тот, кого не обвиняли прямо, а кому только издали грозили пальцем, должен был спешить исчезнуть, чтобы не раздражать своим видом торжествующей "благонамеренности". Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытым - вот лучший удел, которого мог желать человек...

Читатель! ты, который, пробегая настоящее признание, быть может, обвиняешь меня в разврате, размысли над правдивой картиной, которую сейчас нарисовало перо мое; проверь ее с твоими воспоминаниями и скажи, по совести: где находятся действительные, крайние границы нравственной распущенности во мне... или, может быть, в другом каком-нибудь месте?

----

На этот раз было почти утро... Целую ночь мы не смыкали глаз и уже начинали действовать нерешительно и вяло. Это был тот момент, когда на улицах начинает показываться какое-то колеблющееся, словно приготовительное движение: дворники метут мостовую, открываются двери булочных, съезжаются возы с овощами и зеленью; но настоящая толпа, настоящее движение еще не показываются. В такие минуты всего сильнее чувствуется цена теплой кровати. Самый бесприютный человек ищет себе уголка, к которому можно прислонить уставшую голову. Бодрственное состояние делается почти непереносимым и может быть поддержано лишь искусственным образом...

Мы спешили.

"Он" был уже, однако, одет. "Он" отворил нам дверь, держа в руках книгу, и, не отрывая от нее глаз, пошел перед нами, как

будто наше появление не составляло для него ничего непредвиденного и, пожалуй, даже не относилось к нему.

Равнодушие уже перестало удивлять нас. Однако это было уже не равнодушие, но что-то такое, чему нельзя подыскать имени. Мы всегда примечали, что как бы ни старался человек взглянуть в глаза беде, как бы ни примирялся он с неизбежностью и непоправимостью положения, в которое ставила его сила обстоятельств, но такое философское настроение никогда не оказывается вполне цельным. Всегда в него примешивалась хоть тень горечи, иронии или, по крайней мере, изумления. Человек не протестует, не жалуется, но восклицание: "Какие жалкие люди!" - так и светится во всех движениях, так и бьет всюду: и в интонации голоса, и в выражении глаз... всюду.

Читатель! как ни обидна подобная оценка, но даже и она может примирить! Чувствуется, что эту фразу говорит человек не совсем еще закоснелый, что вы не ничто в его глазах, что у него могут быть такие же уязвимые места, как и у вас, и у всякого; одним словом, что это слабый смертный, которому можно сделать больно, который имеет хоть какие-нибудь точки соприкосновения с вами. Как хотите, а это сознание успокаивает. Напротив того, тут, в этом рассеянном и сосредоточенном молодом человеке, не виделось ничего подобного. Как будто все давно им понято, решено и забыто.

Мы вошли в кабинет.

"Он" молча сел около окна и углубился в чтение. Естественно, это меня взорвало.

- Извольте стоять! - крикнул я на него. Он встал и продолжал читать. Извольте оставить книгу! Он положил книгу на стол.

- Мерзавец! - произнес я сквозь зубы, но так, что он, наверное, слышал мое восклицание; тем не менее ни малейшего движения не показалось на лице его.

- С вами живет какая-нибудь женщина?

- Смотрите! - сказал он, как будто отгоняя от себя что-то назойливое, прервавшее нить его мыслей.

Рассуждая хладнокровно, я должен сознаться, что при тогдашнем моем утомлении именно только такое адское равнодушие и могло обновить мои заснувшие силы. Я с яростью выбрасывал книги, швырял бумаги. Но он по-прежнему продолжал стоять у окна и без малейшего признака изумления смотрел на картину разрушения, которая быстро созидалась перед его глазами.

- Кто вы такой? - наконец бросился я к нему.

Он назвал себя. Он даже не сказал, что я сам должен знать, у кого я нахожусь. По-видимому, ему не приходило в голову, что можно иронизировать, удивляться, негодовать.



Это было до такой степени ново, что в голове у меня блеснула мысль: не подступиться ли к нему посредством великодушия?

- Общественное мнение указывает на вас как на причину зла, - сказал я, - опровергните это! Постарайтесь снять с себя столь ужасное обвинение! Я из участия к вам говорю это: мне жаль вас! Наконец, я прошу вас: спасите себя и дайте мне возможность участвовать в этом спасении!

- Идемте! - произнес он с таким видом, как будто ему бесконечно надоело мое кроткое излияние чувств...

Маррш!

----

Дальше! дальше!

"Он", очевидно, был философ и принял на себя труд убеждать нас.

- Мне кажется, господа, - говорил он, - что вы бьете совсем не туда, куда следует, и что, видя в занятиях умственными интересами что-то враждебное обществу, вы кидаете последнему упрек, которого оно даже не заслуживает!.. Ужели оно и в самом деле так расслаблено, что не может выдержать напора мысли, и первая вещь, от которой прежде всего необходимо остеречь его, - это преданность интересам мысли? Почему вы думаете, что для общества всего необходимее невежество? Почему, когда в обществе возникает какое-нибудь замешательство, первые люди, которые делаются жертвами вашей подозрительности, суть именно люди мысли, люди исследования? Согласитесь, что такое странное явление нельзя даже объяснить иначе, как глубоким презрением, которое вы питаете не только к обществу, но и к самим себе?

Я слушал его с удовольствием, да и нельзя было иначе, потому что *au fond il y a du vrai dans tout ceci!*.. {сущности все это правильно!..} Иногда мы действительно пересаливаем и как будто чересчур охотно доказываем миру, что знаменитое хрестоматическое двустишие: "Науки юношей питают" и пр. улетучивается из нас немедленно, как только мы покидаем школьные скамьи.

Я невольно вздохнул при этом соображении.

Он продолжал:

ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА  
ПАРАЛЛЕЛЬ ПЕРВАЯ

Ольга Сергеевна Персианова не без основания считает себя еще очень интересной вдовой. Несмотря на тридцать три, тридцать четыре года, она так еще моложава и так хорошо сохранилась, что иногда, а особенно вечером, при свечах, ею можно даже залюбоваться. Это тип женщины, которая как бы создана исключительно для того, чтоб любить, нравиться, *pour etre bien mise* {чтоб хорошо одеваться.} и ни в чем себе не отказывать.

Подобного сорта женщины встречаются в так называемом "свете" довольно часто. Их с малых лет сажают в специально устроенные садки и там выкармливают именно таким образом, чтобы они были *bien mises*, умели *plaire* {нравиться.} и приучались ни в чем себе не отказывать. По окончании выкормки целые выводки достаточно обученных молодочек выпархивают на вольный свет и немедленно начинают применять к делу результаты полученного воспитания. Разумеется, тут все зависит от того, красива ли выпорхнувшая на волю молодка или некрасива. Красивое личико гарантирует будущность блестящую и беспечальную; некрасивое - указывает в перспективе ряд слезных дней. Красивая молодка заранее может быть уверена, что жизнь ее потечет как в повести, то есть что она в свое время зацепится за шпору румяного кавалериста, который, после некоторых неизбежных во всех повестях перипетий, кончит тем, что приведет ее за собой в храм славы и утех. Там она будет показываться *bien mise*, будет ездить на рысаках, *causer* {болтать.} с кавалерами и никогда ни в чем себе не отказывать. А дальше что бог даст. Может быть, отыщется другой кавалерист, может быть, дипломат, а может быть... и сам Александр Дюма-фис. Напротив того, некрасивая молодка так и останется с своими *jolies manieres* {прекрасными манерами.} и с желанием ни в чем себе не отказывать. Она будет *bien mise* исключительно для самой себя, и ни один кавалерист не поведет ее ни в храм славы, ни в храм утех. А если и поведет, оболыщенный блестящим приданым или связями, то так там и оставит в храме одну. Без занятий, без цели в жизни, без возможности *causer*, она постепенно накопит в себе такой запас желчи, что жизнь сделается для нее пыткой. Из действующего лица в повести утех, каким она воображала себя во времена счастливой выкормки в патентованном садке, она сделается простою, жалкою конфидендкою, будет выслушивать исповедь тайных амурных слов и трепетных рукопожатий, расточаемых кавалеристами и дипломатами счастливым молодкам-красоткам, и неизменно при этом думать все один и тот же припев: ах, кабы все это мне! И так как ни одной капли из всего этого ей не перепадет, то она станет сочинять целые фантастические романы, будет видеть волшебные сны и пробуждаться тем больше несчастною, оставленною, одинокою, чем больше преисполнен был света, суеты и лихорадочного оживления только что пережитый сон.

Ольга Сергеевна принадлежала к числу молодок красивых, а потому счастье преследовало ее с первых шагов ее вступления в свет. Вышедши из патентованного садка шестнадцати лет, в семнадцать она уже зацепилась за шпору краснощекого ротмистра Петра Николаича Персианова и затем навсегда поселилась в хра-

ме утех полновластной хозяйкою. Целый год беспримерного блаженства встретил молодую женщину на самом пороге семейной жизни. Это был непрерывный ряд балов, *parties de plaisir* {увеселительных поездок.}, выездов, приемов, в которых принимали участие представители всех возможных родов оружия и дипломаты всех ведомств, "*C'était un reve*" {Это был сон.}, как она сама выражалась об этом времени. По возвращении с бала начиналось, собственно, так называемое семейное счастье и продолжалось вплоть до утра, когда молодые супруги принимались за туалет, предшествующий визитам или приему. От Ольги Сергеевны все были в восхищении: старики называли ее куколкой; молодые кавалеристы, говоря об ней, вращали зрачками. Она кружилась, танцевала, кокетничала, но ни разу не оступилась, а осталась верно своему Петьке до конца (*voilà ce que c'est que d'avoir reçu une éducation morale et religieuse!* {вот что значит получить моральное и религиозное воспитание!} говорили об ней старушки). Наконец, осьмнадцати лет, она сделалась матерью, одною из тех матерей, о которых благовоспитанные сынки говорят: у меня тамап такая миленькая, точно куколка! Это происшествие, в свою очередь, положило начало целому ряду новых подвигов, которые опять-таки дали Ольге Сергеевне возможность *être bien mise, causer, plaire* и ни в чем себе не отказывать. В течение шести недель после родов она неумоимо снаряжала своего маленького *Nicolas* и наконец достигла-таки того, что он в свою очередь сделался точно куколка.

- Он у меня совсем-совсем куколка! - говорила она, показывая *Nicolas* кавалеристам, товарищам ее мужа, - куколка! засмейся!

Кавалеристы хвалили "куколку" и в то же время искоса посматривали на другую куколку, на молодую мать.

По прошествии шести недель начались визиты. *Ma tante, mon oncle, mon cousin, la princesse Simborska, la comtesse Romanzoff, la baronne de Fok* {Тетя, дядя, кузен, княгиня Симборская, графиня Романцова, баранесса Фок.}, всех надо было обрадовать, всем сообщить, какой у нас родился "куколка".

- *Ma tante*, если б вы знали, какой он у меня куколка! *C'est un petit charme!* {Прелестный малютка!} И как все понимает! Представьте себе, на днях я одеваюсь, а он лежит у меня на коленях, и вдруг (следует несколько слов на ухо)... *mais imaginez-vous cela!* {представьте себе!}

- Ты сама еще куколка! - улыбаясь, отвечает *ma tante*, - но чувство матери, мой друг, - священное чувство! Ты никогда не должна забывать этого!

- Ах, как я это понимаю, *ma tante!* С той минуты, как у меня родился мой куколка, я точно преобразилась вся! *C'est toute une*

revelation {Это совершенное откровение.}. Этого противного Петьку я даже не пускаю к себе... et vous savez si je l'aime! {а вы знаете, как я его люблю!} Все думаю о том, как бы мне нарядить моего милого куколку! И если б вы знали, сколько я платиц ему сшила... tout un trousseau! {целое приданое!}

- Все это очень хорошо, мой друг, но не забудь, что для мальчика главное не в платицах, а в религиозном чувстве и в твердых нравственных правилах.

- О! я не забуду! я никогда этого не забуду, ma tante! И даже вот теперь, когда Петька вздумал в прошлый пост есть скоромное, я ему очень твердо объявила: mon cher! теперь не прежнее время! теперь у нас есть сын, которому мы должны подавать пример! si vous faites gras a table, vous iairez maigre ailleurs... {если вы будете много тратить на стол, вам придется экономить на другом...} И при этом так ему погрозила, что он со страху (vous savez, ma tante, comme c'est une grande privation pour lui! {вы знаете, тетя, какое для него это большое лишение!}) съел целую тарелку супу безо всего!!

- Ну, Христос с тобой, куколка! Поезжай, поделись своей радостью с дядей Павлом Борисычем!

У дяди Павла Борисыча повторилась та же сцена, что и у ma tante, с тою разницей, что вместо нравоучений о религиозном чувстве и твердых правилах нравственности дядя сказал следующее наставление:

- Ты делаешь очень мило, мой друг, что заботишься о своем куколке. Que ton marmot soit bien lave, bien vetu, qu'il soit presentable, enfin {Пусть твой мальчуган будет хорошо умыт, хорошо одет, словом, пусть будет презентабелен.}, - все это прекрасно, похвально и необходимо. Но помни, душа моя, что и для него настанет время, когда он будет думать не об атласных одеяльцах и кружевных чепчиках, а о другом атласе, о других кружевах. Vous savez, ma chere, de quoi il s'agit {Вы знаете, дорогая, что я имею в виду.}. Надобно, чтоб он встретил эту минуту с честью. Il faut que ce soit un galant homme {Надо, чтобы это был благородный человек.}. Чтоб он не обращался с женщиной, как извозчик или как нынешние национальгарды, которые, отправляясь в общество порядочных женщин, предварительно ищут себе вдохновения в манежах, кафешантанах и цирках! Чтоб женщина была для него святыня! Чтоб он любил покорять, но при этом умел всегда сохранять вид побежденного!

На что Ольга Сергеевна отвечала:

- Mon oncle! {Дядюшка!} ужели вы во мне сомневаетесь! Mais le culte de la beaute... c'est tout ce qu'il y a de plus sacre! {Но культ красоты... Это самое священное!} Я теперь совершенно перероди-

лась! Я даже Петьку к себе не пускаю - *et vous savez, comme c'est une grande privation pour lui!* {а вы знаете, какое для него это большое лишение!} - только потому, что он резок немного!

- Ну, Христос с тобой, куколка! Я с своей стороны высказался, а теперь уж от тебя будет зависеть сделать из твоего "куколки" un homme bien eleve {прекрасно воспитанного человека.}. Поезжай и поделись твоею радостью с братом Никитой Кирилычем.

И так далее, то есть того же содержания и с теми же оттенками сцены у братца Никиты Кирилыча, у *comtesse Romanzoff* и проч. и проч.

Таким образом прошли два года, в продолжение которых судьба то покровительствовала "куколке", то изменяла ему. Маман относилась к нему как-то капризно: то запоем показывала его всякому приезжающему гостю, то запоем оставляла в детской на руках няnek и бонны. Мало-помалу последняя система превозмогла, так что только в званые обеды и вечера куколку на минуту вызывали в гостиную вместе с хорошенькой швейцаркой-бонной и раскладывали перед гостями, всего в батисте и кружевах, на атласной подушке. Гости подходили, щекотали у "куколки" под брюшком, произносили: "брякишь!" или: "диковинное произведение природы!" и при этом так жадно посматривали на маман, что ей становилось жутко.

На двадцать первом году ("куколке" тогда не было еще трех лет) Ольгу Сергеевну постигло горе: у ней скончался муж. В первые минуты она была как безумная. Просиживала по несколько минут лицом к стене, потом подходила к рояли и рассеянно брала несколько аккордов, потом подбегала к гробу и утомленно-капризным голосом вскрикивала:

- Петька! глупый! ты как смеешь умирать! Ты лжешь! ты притворяешься! Дурной! противный! Ты никогда... слышишь, никогда! - не смеешь бросить твою Ольгу!

И слезы как перлы сыпались (именно сыпались, а не лились) из темно-синих глаз и, о диво! - не производили в них ни красноты, ни опухлости.

Но через шесть недель опять наступила пора визитов, и плакать стало некогда. Надо было ехать к *ma tante*, к *top oncle*, к *comtesse Romanzoff* и со всеми поделиться своим горем. Вся в черном, немного бледная, с опущенными глазами, Ольга Сергеевна была так интересна, так скромно и плавно скользила по паркету гостиных, что все в почтительном безмолвии расступались перед нею, и в один голос решили: *c'est une sainte!* {это святая!}

- *Ma tante!* - говорила между тем Ольга Сергеевна, - я потеряла свое сокровище! Но я счастлива тем, что у меня осталось другое сокровище - мой "куколка"!

- Друг мой, - отвечала ma tante, - я знаю, потеря твоя велика. Но даже и в самом страшном горе у нас есть всегда верное пристанище - это религия!

- Ах, как я это понимаю, ma tante! как я это понимаю! С тех пор, как я лишилась моего сокровища, я вся преобразилась! La religion! mais savez-vous, ma tante, qu'il y a des moments, ou j'ai envie d'avoir des ailes! {Религия! а знаете ли, тетя, бывают мгновения, когда мне хочется иметь крылья!} И если б у меня не было моего другого сокровища, моего "куколки"...

- Ну, Христос с тобой, сама ты куколка!.. Поезжай и поделись твоим горем с дядей Павлом Борисычем. Ты знаешь, как старик тебя жалуется.

У дяди Павла Борисыча те же жалобы и то же сочувствие.

- Я потеряла моего благодетеля, мое сокровище, mon oncle, - говорила Ольга Сергеевна, - вы знали, как он был добр ко мне! как он любил меня! как исполнял все мои прихоти! А я... я была глупенькая тогда! Я была недостойна его благодетельств! Я... я не понимала тогда, как дорого ему все это стоило!

- Мой друг, я очень понимаю всю важность твоей потери, - отвечал mon oncle, - mais ce n'est pas une raison pour maigrir, mon enfant {но это не повод, чтобы худеть, дитя мое.}. Вспомни, что ты женщина и что у тебя есть обязанности перед светом. Смотри же у меня, не худей, а не то я рассержусь и не буду любить мою куколку!

- Ах, mon oncle! вы один добрый, один великодушный! Vous penetrez si bien dans le coeur d'une femme! {Вы так хорошо понимаете сердце женщины!} Нет, я не буду худеть, я буду много-много кушать, чтобы вы всегда-всегда могли любить вашу маленькую, несчастную куколку!

- То-то! ты не очень слушайся тетку Надежду Борисовну! Она там постным маслом да изречениями аббата Гете кормит, а я этого не люблю! Ну, теперь Христос с тобой! Поезжай и поделись твоим горем с братом Никитой Кирилычем!

И т. д. и т. д.

Затем все впало в обычную колею. В течение целых четырех лет Ольга Сергеевна являла собой пример скромности и материнской нежности. "Куколка", временно пренебреженный, вновь выступил на первый план и сделался предметом всевозможных восхищений. Его одевали утром, одевали в полдень, одевали к обеду, одевали к вечеру. Утром к нему приезжал специальный детский доктор, осматривал, ощупывал, присутствовал при его купанье и всякий раз неизменно повторял одну и ту же фразу:

- О! этот молодой человек будет иметь успех!

На что Ольга Сергеевна столь же неизменно отвечала:

- Ah, mais savez-vous, docteur, qu'il devient déjà polisson! {А знаете, доктор, он уже начинает шалить!}

Перед обедом "куколку" прогуливали на рысаках по Невскому и по набережной; вечером его приводили в гостиную, всегда полную гостей, и заставляли расшаркиваться и говорить *des amabilites* {любезности.}. У "куколки" были две бонны: англичанка и немка, и одна *institutrice* {гувернантка.} - француженка. Сверх того, по распоряжению *ma tante*, его посещал отец Антоний, *le pere Antoine*, молодой и благообразный священник, который отличался от своих собратий тем, что говорил по-французски без латинского акцента, ходил в муар-антиковой рясе и с такою непринужденностью сеял семена религии и нравственности, как будто ему это ровно ничего не стоило... Идет и сеет, и, по-видимому, даже не замечает, что семена так и сыплются из всех пор его существа. При такой обстановке относительно "куколки" разом достигались все цели хорошего воспитания: и телесная крепость, и привычка к обществу, и прекрасные манеры, и так называемые краткие начатки веры и нравственности.

Не один из лихих кавалеристов, посещавших по вечерам салон Ольги Сергеевны, заглядывался на нее и покушался нарушить мир ее души. Это казалось тем менее трудным, что два года счастливого супружества должны были порядком-таки избаловать хорошенькую молодку, и, следовательно, при такой набалованности ей не легко было разом покончить с утехами прошлого. Сама *ma tante* выражала по секрету свои опасения на этот счет, а *mon oncle* даже прямо выражался: *pourvu que sa soit une bonne petite intrigue bien comme il faut le reste ne me regarde pas!* {лишь бы это была милая вполне порядочная интрижка - остальное меня не касается!} Но, к общему удивлению, Ольга Сергеевна закалилась, как адамант. По временам она, конечно, вспыхивала, щеки ее слегка алели, глаза туманились, грудь поднималась и не умела сдержать затаенного вздоха; но как-то всегда, в эти тяжкие минуты, подоспевал к ней на выручку "куколка". Он бурей влетал в гостиную и так уморительно расшаркивался, что Ольга Сергеевна мгновенно отрезвлялась. Отец Антоний, которому были известны все перипетии этой борьбы слабой женщины с целым корпусом кавалерийских офицеров, сравнивал ее с египетскими пустынножителями и для приобретения большей крепости в брани советовал соблюдать посты. Но даже и с этой стороны интересная вдова не могла считать себя совсем безопасною, потому что сам отец Антоний выслушивал ее "смущенный и очи спустя, как перед матерью виновное дитя", и Ольга Сергеевна так и ожидала, что он нет-нет да и начнет вращать зрачками, как любой кавалерийский корнет. *Ma tante* была так поражена этой неслыханной твер-

достью, что называла свою племянницу не иначе, как *ma sainte* {святая.}. Один *mon oncle* все еще надеялся, что когда-нибудь *cela viendra* {это придет.}, и продолжал предостерегать Ольгу Сергеевну насчет национальгардов.

И вдруг, через четыре года, Ольга Сергеевна является к *ma tante* и объявляет, что ей скучно.

- Но что же с тобой, мой друг? - спросила *ma tante*, пораженная этой неожиданностью.

- *Je ne sais, je sens quelque chose la* {Не знаю, чувствую что-то здесь.}, - отвечала Ольга Сергеевна, указывая на грудь, - одним словом, доктора в один голос приказывают мне ехать за границу!

- Но как же быть с "куколкой"?

- Я все обдумала, *ma tante*; я знаю, что я дурная... что, может быть, я даже преступная мать! - воскликнула Ольга Сергеевна и вдруг встала перед *ma tante* на колени, - *ma tante!* вы не оставите его! вы замените ему мать!

Жребий "куколки" был брошен. *Ma tante* согласилась заменить ему мать и взяла на себя насаждение в его сердце правил нравственности и религии. *Mon oncle* поручился за другую сторону воспитания, то есть за хорошие манеры и искусство побеждать, сохраняя вид побежденного. В результате этих соединенных усилий должен был выйти *un jeune homme accompli* {безупречный молодой человек.}, рыцарь вежливости и преданности, молодой человек, преисполненный всевозможных *bons principes, irgeux chevalier* {хороших убеждений, доблестный рыцарь.}, готовый во всякое время объявить крестовый поход против *manants et mescreants* {мужиков и нехристей.}. Ольга Сергеевна уехала вполне успокоенная.

Годы шли, а интересная вдова как канула за границу, так и исчезла там. Слух был, что она короткое время блеснула на водах, в сопровождении какого-то национальгарда (от судьбы, видно, не убежишь!), но потом скоро уехала в Париж и там поселилась на житье. Потом прошел и еще слух: в Париже Ольга Сергеевна произвела фурор и имела несколько шикарных приключений, которые сделали имя ее очень громким. *La belle princesse Persianoff* {Прекрасная княгиня Персианова.} сделалась предметом газетных фельетонов и устных скандалезных хроник. Называли двух-трех литераторов, одного министра (*de l'Empire* {империи.}), одного сенатора и даже одного акробата (неизбежное следствие чтения романа "*L'homme qui rit*"). Доходы с пензенских, тамбовских и воронежских имений проматывались с быстротою невероятною. Система залогов и перезалогов, продажа лесных и других угодий, находившая при покойном Петьке лишь робкое себе применение, сделалась основанием всех финансовых операций Оль-



ги Сергеевны. "Mais vendez donc cette maudite Tarakanikha qui ne vaut rien et qui ne nous est qu'a charge!" {"Но продайте же эту проклятую Тараканиху, которая ничего не стоит и является для нас только обузой!"} непрерывно писала она к одному из своих cousins {кузенов.}, наблюдавшему "из прекрасного далека" за именем ее и ее покойного мужа. И одна за другой полетели Тараканихи, Опалихи, Бычихи, Коняихи, все, что служило обременением, что вдруг оказалось лишним. Наконец репутация Ольги Сергеевны достигла тех пределов, далее которых идти было уж некуда. В газетах рассказывали подробности одной дуэли, в которой интересная вдова играла очень видную, хотя и не совсем лестную для нее роль. Повествовалось, о каком-то butor {грубияне.} из молдаван, о каких-то mauvais traitements {махинациях.}, жертвою которых была la belle princesse russe de P \*\*\*, и наконец о каком-то preux chevalier {о доблестном рыцаре.}, который явился защитником мальтретированной красавицы. Тогда петербургские родные встревожились.

- Et dire que c'etait une sainte! {И подумать только, ведь это была святая!} - восклицала ma tante.

- Я предсказывал, что знакомство с национальгардами не доведет до добра! - зловеще каркал mon oncle.

На семейном совете решено было просить... Разрешение не замедлило, и в силу его Ольга Сергеевна вынуждена была оставить очаровательный Париж и поселиться в деревне для поправления расстроенных семейных дел. В это время ей минуло тридцать четыре года.

А "куколка" тем временем процветал в одном "высшем учебном заведении", куда был помещен стараниями ma tante. Это был юноша, в полном смысле слова многообещающий: красивый, свежий, краснощекий, вполне уверенный в своей дипломатической будущности и в то же время с завистью посматривающий на бряцающих палашами юнкеров. По части священной истории он знал, что "царь Давид на лире играет во псалтыре" и что у законоучителя их "лимонная борода".

По части всеобщей истории он был твердо убежден, что Рим пал жертвою своевольной черни. По части этнографии и статистики ему небезызвестно было, что человечество разделяется на две отдельных породы: chevaliers и manants, из коих первые храбры, великодушны, преданны и верны данному слову, вторые же малодушны, трусливы, лукавы и никогда данного слова не выполняют. Он знал также, что народы, которые не роптали, были счастливы, а народы, которые роптали, были несчастливы, ибо подвергались усмирению посредством экзекуций. Сверх того, он курил табак, охотно пил шампанское и еще охотнее посещал

театр Берга по воскресным и табельным дням. О маман своей он имел самое смутное понятие, то есть знал, que c'est une sainte, и что она живет за границей для поправления расстроенного здоровья. Ольга Сергеевна раза два в год писала к нему коротенькие, но чрезвычайно милые письма, в которых умоляла его воспитывать в себе семена религии и нравственности, запас которых всегда хранился в готовности у ma tante. Он с своей стороны писал к маман чаще и довольно пространно описывал свои занятия у профессоров, так что в одном письме даже подробно изобразил первый крестовый поход. "Представьте себе, милая маман, их гнали отсюда, на них плевали, их травили собаками, однако ж они, предводимые пламенным Петром Пикардским, все шли, все шли". Но так как во время этого описания (он сам впоследствии признавался в этом маман) его тайно преследовал образ некоторой Альфонсинки и ее куплет:

A Provins

On recolte des roses

Et du jasmin,

Et beaucoup d'autres choses... {\*}

{\* В Провене собирают розы и жасмин и много кое-чего другого...}

то весьма естественно, что реляция о крестовом походе заканчивалась следующими словами: "в особенности же с героической стороны выказал себя при этом небольшой французский городок Provins (allez-y, bonne маман! c'est si pres de Paris) {Провен (поезжайте туда, милая мама! это так близко от Парижа).}, который в настоящее время, как видно из географии, отличается изобилием жасминов и роз самых лучших сортов".

Таков был этот юноша, когда ему минуло шестнадцать лет и когда с Ольгой Сергеевной случилась катастрофа. Приехавши в Петербург, интересная вдова, разумеется, расплакалась и прикинулась до того наивною, что когда "куколка" в первое воскресенье явился в отпуск, то она, увидев его, притворилась испуганною и с криком: "Ах! это не "куколка"! это какой-то большой!" выбежала из комнаты. "Куколка", с своей стороны, услышав такое приветствие, приосанился и покрутил зачаток уса.

Тем не менее более близкое знакомство между матерью и сыном все-таки было неизбежно. Как ни дичилась на первых порах Ольга Сергеевна своего бывшего "куколки", но мало-помалу робость прошла, и началось сближение. Оказалось что Nicolas прелестный малый, почти мужчина, qu'il est au courant de bien des choses {что он уже обладает некоторым опытом.}, и даже совсем, совсем не сын, а просто брат. Он так мило брал свою конфетку-маман за талию, так нежно целовал ее в щечку, рукулировал ей

на ухо de si jolies choses {так мило ворковал ей на ухо.}, что не было даже резона дичиться его. Поэтому минута обязательного отъезда в деревню показалась для Ольги Сергеевны особенно тяжкою, и только надежда на предстоящие каникулы несколько смягчала ее горе.

- Надеюсь, что ты будешь откровенен со мною? - говорила она, трепля "куколку" по щеке.

- Maman!

- Нет, ты совсем, совсем будешь откровенен со мной! ты расскажешь мне все твои prouesses; tu me feras un recit detaille sur ces dames qui ont fait battre ton jeune coeur... {подвиги; ты подробно расскажешь мне о женщинах, которые привели в трепет твое молодое сердце...} Ну, одним словом, ты забудешь, что я твоя maman, и будешь думать... ну, что бы такое ты мог думать?.., ну, положим, что я твоя сестра!..

- И, черт возьми, прехорошенькая! - прокартавил Nicolas (в экстренных случаях он всегда для шика картавил), обнимая и целуя свою maman.

И maman уехала и стала считать дни, часы и минуты.

----

Село Перкал\_и\_ с каменным господским домом, с огромным, прекрасно содержимым господским садом, с многоводною рекою, прудами, тенистыми аллеями - вот место успокоения Ольги Сергеевны от парижских треволнений. Комната Nicolas убрана с тою рассчитанною простотою, которая на первом плане ставит комфорт и допускает изящество лишь как необходимое подспорье к нему. Ковры на полу и на стенах, простая, но чрезвычайно покойная постель, мебель, обитая сафьяном, массивный письменный стол, уставленный столь же массивными принадлежностями письма и куренья, небольшая библиотека, составленная из избраннейших романов Габорио, Монтепена, Фейдо, Понсон-дю-Терайля и проч., и, наконец, по стенам целая коллекция ружей, ятаганов и кинжалов - вот обстановка, среди которой предстояло Nicolas провести целое лето.

Первая минута свидания была очень торжественна.

- Voici la demeure de vos ancetres, mon fils! {Вот жилище ваших предков, сын мой!} - сказала Ольга Сергеевна, - может быть, в эту самую минуту они благословляют тебя la haut! {там наверху!}

Nicolas, как благовоспитанный юноша, поник на минуту головой, потом поднял глаза к небу и как-то порывисто поцеловал руку матери. При этом ему очень кстати вспомнились стихи из хрестоматии:

И из его суровых глаз

Слеза невольная скатилась...

И он вдруг вообразил себе, что он седой, что у него суровые глаза, и из них катится слеза.

- А вот и твоя комната, Nicolas, - продолжала maman, - я сама уставляла здесь все до последней вещицы; надеюсь, что ты будешь доволен мною, мой друг!

Глаза Nicolas прежде всего впились в стену, увешанную оружием. Он ринулся вперед и стал один за другим вынимать из ножен кинжалы и ятаганы.

- Mais regardez, regardez, comme c'est beau! oh, maman! merci! vous etes la plus genereuse des meres! {Но взгляните, взгляните, какая красота! о, мама! спасибо! вы самая щедрая из матерей!} - восклицал он, в ребяческом восторге разглядывая эти сокровища, - этот ятаган... черт возьми!..

- Этот ятаган - святыня, мой друг, его отнял твой дедушка Николай Ларионыч - c'etait le bienfaiteur de toute la famille! - а je ne sais plus quel Turc {это был благодетель всей семьи! - у какого-то турка.}, и с тех пор он переходит в нашем семействе из рода в род! Здесь все, что ты ни видишь, полно воспоминаний... de nobles souvenirs, mon fils! {благородных воспоминаний, сын мой!}

Nicolas вновь поник головой, подавленный благородством своего прошлого.

- Вот этот кинжал, - продолжала Ольга Сергеевна, - его вывезла из Турции твоя grande tante, которую вся Москва звала la belle odalisque {прекрасная одалиска.}. Она была пленная турчанка, но твой grand oncle Constantin так увлекся ее глазами (elle avait de grands-grands yeux noirs! {у нее были большие-большие черные глаза!}), что не только обратил ее в нашу святую, православную веру, notre sainte religion orthodoxe, но впоследствии даже женился на ней. И представь себе, mon ami, все, кто ни знал ее потом в Москве... никто не мог найти в ней даже тени турецкого! Она принимала у себя всю Москву, давала балы, говорила по-французски... mais tout a fait comme une femme bien elevee! {как прекрасно воспитанная женщина!} По временам даже журила самого Светлейшего! Nicolas поник опять.

- А вот это ружье - ты видишь, оно украшено серебряными насечками - его подарил твоему другому grand oncle, Ипполиту, сам светлейший князь Таврический - tu sais? l'homme du destin! {знаешь? баловень судьбы!} Покойный Pierre рассказывал, что "баловень фортуны" очень любил твоего grand oncle и даже готовил ему блестящую карьеру, mais il paraît que le cher homme etait toujours d'une tres petite sante {но, кажется, милый человек отличался всегда очень плохим здоровьем.} - и это место досталось Мамонову.

- Fichtre! c'est le grand oncle surnomme le Bourru bienfaisant? {Черт возьми! так это дед, названный благодетельным буккой?} Так вот он был каков!

- Он самый! Depuis lors il n'a pas pu se consoler {С тех пор он не мог утешиться.}. Он поселился в деревне, здесь поблизости, и все жертвует, все строит монастыри. C'est un saint, и тебе непременно нужно у него погостить. Что он вытерпел - ты не можешь себе представить, мой друг! Десять лет он был под опекой по доносу своего дворецкого (un homme, dont il a fait la fortune! {человека, которого он облагодетельствовал!}) за то, что будто бы засек его жену... lui! un saint! {он! святой!} И это после того, как он был накануне такой блестящей карьеры! Но и затем он никогда не позволял себе роптать... напротив, и до сих пор благословляет то имя... mais tu me comprends, mon ami? {но понимаешь ли ты меня, мой друг?}

Nicolas в четвертый раз поник головой.

- Но рассказывать историю всего, что ты здесь видишь, слишком долго, и потому мы возвратимся к ней в другой раз. Во всяком случае, ты видишь, что твои предки и твой отец - oui, et ton pere aussi, quoiqu'il soit mort bien jeune! {да, и твой отец, хотя он и умер очень молодым!} - всегда и прежде всего помнили, что они всем сердцем своим принадлежат нашему милому, доброму, прекрасному отечеству!

- Oh, maman! la patrie! {О, мама! отечество!}

- Oui, mon ami, la patrie - vous devez la porter dans votre coeur! {Да, мой друг, отечество - вы должны носить его в своем сердце!} А прежде всего дворянский долг, а потом нашу прекрасную православную религию (si tu veux, je te donnerai une lettre pour l'excellent abbe Guete {если хочешь, я тебе дам письмо к милейшему аббату Гете.}). Без этих трех вещей - что мы такое? Мы путники или, лучше сказать, пловцы...

- "Без кормила, без весла", - вставил свое слово Nicolas, припоминая нечто подобное из хрестоматии.

- Ну да, c'est juste {верно.}, ты прекрасно выразил мою мысль. Я сама была молода, душа моя, сама заблуждалась, ездила даже с визитом к Прудону, но, к счастью, все это прошло, как больной сон... et me voila!

- Oh, maman! le devoir! la patrie! et notre sainte religion! {И вот я тут! О, мама! долг! отечество! и наша святая вера!}

Ольга Сергеевна, в свою очередь, поникла головой и даже умилилась.

- Ты не поверишь, мой друг, как я счастлива! - сказала она, - я вижу в тебе это благородство чувства, это je ne sais quoi! Mais sens donc, comme mon coeur bondit et trepigne! {Не знаю что! Посмотри,

как сердце мое бьется и трепещет!} Нет, ты не поймешь меня! ты не знаешь чувств матери! Mais c'est quelque chose d'ineffable, mon enfant, mon noble enfant adore! {Это что-то невыразимое, мое дитя, мое благородное обожаемое дитя!}

Этим торжество приема кончилось. За обедом и мать и сын уже болтали, смеялись и весело чокались бокалами, причем Ольга Сергеевна не без лукавства говорила Nicolas:

- А помнишь, душа моя, ты писал мне об одном городке Provins, который изобилует жасминами и розами; признайся, откуда ты взял это сведение?

- Maman! я получил его в театре Берга! Parbleu! on enseigne tres bien la geographie dans ce pays-la! {Право же! в этой стране хорошо преподают географию!}

Первое время мать и сын не могли насмотреться друг на друга. Ольга Сергеевна, как институтка, бегала по тенистым аллеям, прыгала на pas-de-geant; {гигантских шагах.} Nicolas ловил ее и, поймавши, крепко-крепко целовал.

- Maman! расскажите, как вы познакомились с рара?

- Папа был немного груб... но тогда это как-то нравилось, - слегка заалевшись, отвечает Ольга Сергеевна.

- Еще бы! Sacre nom! vous autres femmes! c'est votre ideal d'etre maltraitees! {Знаем мы вас, женщины! Вы любите, чтобы с вами грубо обращались.} Ну-с! как же ты с ним познакомилась?

- Мы встретились в первый раз на бале, и он танцевал со мной сначала кадрили, потом мазурку... Тогда лифы носили очень короткие - c'etait presqu'aussi ouvert qu'a present {они были почти так же открыты, как теперь.} - и он все смотрел... это было очень смешно!

- Еще бы не смотреть! est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un joli sein de femme. {что может быть прекраснее красивой груди женщины.} Ну-с, дальше-с.

- Потом он сделал предложение, а через месяц нас обвенчали. Mais comme j'avais peur si tu savais! {Но как я боялась, если б ты знал!}

- Еще бы! Кувырком!

- Колька! негодный! разве ты знаешь!

- Гм...

- Ведь тебе еще только шестнадцать лет!

- Семнадцатый-с... Я, maman, революций не делаю, заговоров не составляю, в тайные общества не вступаю... laissez-moi au moins les femmes, sarristi! {оставьте на мою долю хоть женщин, черт побери!} Затем, продолжайте.

- Et puis!.. c'etait comme une epopée! c'etait tout un chant d'amour! {А потом... это была сказка! Это была песня любви!}

- Да-с, тут запоешь, как выражается мой друг, Сеня Бирюков!

- Et puis... il est mort! {А потом... он умер!} Я была как безумная. Я звала его, я не хотела верить...

- Еще бы! сразу на сухояденье!

- Ах, Nicolas, ты шутишь с самым священным чувством! Говорю тебе, что я была совершенно как в хаосе, и если бы у меня не остался мой "куколка"...

- "Куколка" - это я-с. Стало быть, вы мне одолжены, так сказать, жизнью. Parbleu! хоть одно доброе дело на своем веку сделал! Но, затем, прошли целые двенадцать лет, maman... ужели же вы?.. Но это невероятно! si jeune, si fraîche, si pimpante, si jolie! {такая молодая, такая свежая, такая нарядная, такая хорошенькая!} Я сужу, наконец, по себе... Jamais on ne fera de moi un moine! {Никогда не сделают из меня монаха!}

Ольга Сергеевна алеет еще больше и как-то стыдливо поникает головой, но в это же время исподлобья взглядывает на Nicolas, как будто говорит: какой же ты, однако, простой: непременно хочешь mettre les points sur les i! {поставить точки над i.}

- Treve de fausse honte! {Прочь ложный стыд!} - картавит между тем Коля, - у нас условлено рассказать друг другу все наши proesses! {подвиги!} Следовательно, извольте сейчас же исповедоваться передо мной, как перед духовником!

Ольга Сергеевна на мгновение заминается, но потом вдруг бросается к сыну и прячет у него на груди свое лицо.

- Nicolas! Я очень, очень виновата перед тобой, мой друг! - шепчет она.

- Еще бы! такая хорошенькая! Mais sais-tu, petite mere, que meme a present tu es jolie a croquer... parole! {А знаешь ли ты, мамочка, даже сейчас ты прелестна, как херувим... клянусь!}

- Ah! tu viens de m'absoudre! mon genereux fils! {Ах! ты меня простил! Мой великодушный сын!}

- Не только абсудирую, но и хвалю! Итак...

- Ах, "он" так любил меня, а я была так молода... Ты знаешь, Pierre был очень груб, и хотя в то время это мне нравилось... mais "lui"! C'etait tout un poeme. Il avait de ces delicatesses! de ces attentions! {зато "он"! Это была настоящая поэма. Он был так нежен, так внимателен!}

- Та-та-та! Вы, кажется, изволили пропустить целую главу! а этот кавалерист, который сопровождал вас за границу? Тот, который так пугал mon grand oncle Paul своими усами и своими jurons?? {грубостями??}

- C'etait un butor! {Это был грубиян!}

- Passons {Дальше.}. Но кто же был этот "он", celui qui avait des delicatesses? {тот, который был так нежен?}

- Он писал сначала в "Journal pour rire", потом в "Charivari", потом в "Figaro"... Ах, если б ты знал, как он смешно писал! И все так мило! И мило и смешно! И как он умел оскорблять! Et avec cela brave, maniant a merveille l'epee, le sabre et le pistolet! {И вместе с тем бравый, чудесно владеющий шпагой, саблей и пистолетом!} Все журналисты его боялись, потому что он мог всех их убить!

- Et joli garçon? {И красивый мальчик?}

- Beau... mais d'une beaute! {Красив... изумительно красив!} Повторяю тебе, это была целая поэма! Et avec sa, adorant le trone, la patrie et la sainte eglise catholique! {И вместе с тем он обожал трон, отечество и святую католическую церковь!}

Ольга Сергеевна вздыхает и как-то сосредоточенно мнет в своей руке ветку цветущей сирени. Мысли ее витают там, на далеком Западе, au coin du boulevard des Capucines {на углу бульвара Капуцитток.}, Э 1, там, где она однажды позабыла свой bonnet de nuit {ночной чепчик.}, где Anatole, который тогда писал в "Figaro", на ее глазах сочинял свои милейшие blagues (oh! comme il savait blaguer, celui-la! {фантазии, шутки (о, как забавно фантазировал!)} и откуда ее навсегда вырвал семейный деспотизм! В эту минуту она забывает и о сыне и о его proouesses, да и хорошо делает, потому что вспомни она об нем, кто знает, не возненавидела ли бы она его как первую, хотя и невольную, причину своего заточения?

- Ну, а насчет Прудона как? - пробуждает ее голос Nicolas.

- N'en parlons pas! {Не будем говорить об этом!}

Ольга Сергеевна говорит это уже с оттенком гнева и начинает быстро ходить взад и вперед по кругу, обрамленному густыми лицами.

- Вообще, будет обо всем этом! - продолжает она с волнением, - все это прошло, умерло и забыто! Que la volonte de Dieu soit faite! {Да исполнится воля божия!} А теперь, мой друг, ты должен мне рассказать о себе!

Ольга Сергеевна садится, Nicolas с невозмутимой важностью покачивается на скамейке, обнявши обеими руками приподнятую коленку.

- Et bien, maman, - говорит он, - nous aimons, nous folichonnons, nous buvons sec! {Что ж, мама, мы любим, шалим, выпиваем!}

Маман как-то сладко смеется; в ее голове мелькает далекое воспоминание, в котором когда-то слышались такие же слова.

- Raconte-moi comment \_cela\_ t'est venu? {Расскажи мне, как это с тобой случилось?} - спрашивает она.

- Mais... c'est simple comme bonjour! {Но... это просто, как день!} картавит Nicolas, - однажды мы были в цирке... перед цирком мы много пили... et apres la representation... ma foi! le sacrifice etait



consomme! {И после представления... черт возьми! жертвоприношение было совершено!}

Ольга Сергеевна, ожидавшая пикантных подробностей и перипетий, смотрит на него с насмешливым удивлением. Как будто она думает про себя: странно! точь-в-точь такое же животное, как покойный Петька!

- И ты?.. - спрашивает она.

Но Nicolas подмечает насмешливый тон этого вопроса и спешит поправиться.

- Maman! - говорит он восторженно. - C'etait, comme vous l'avez si bien dit, tout un roeme! {Это была, как вы прекрасно сказали, настоящая поэма!}

Эта фраза словно пробуждает Ольгу Сергеевну; она снова вскакивает с скамейки и снова начинает ходить взад и вперед по кругу. Прошедшее воскресает перед ней с какою-то подавляющею, непреодолимую силою; воспоминания так и плывут, так и плывут. Она не ходит, а почти бежит; губы ее улыбаются и потихоньку напевают какою-то песенку.

"C'etait tout un roeme!" - мелькает у ней в голове.

----

Проходит несколько дней; рассказы о прошедших proesses исчерпываются, но их заменяет сюжет столько же, если не больше, животрепещущий. Дело в том, что Ольга Сергеевна еще за границей слышала, что в Петербурге народились какие-то нигилисты, род особенного сословия, которого не коснулись краткие начатки нравственности и религии и которое, вследствие того, ничем не занимается, ни науками, ни художествами, а только делает революции. Когда же она, сверх того, узнала, что в члены этого сословия преимущественно попадают молодые люди, то материнским опасениям ее не стало пределов. Она тотчас же собралась писать к "куколке", чтоб предостеречь и вразумить его, и, конечно, выполнила бы свое намерение, если б в эту самую минуту к ней не пришел Anatole с какою-то только что измышленною им bonne petite blague. Эта blague была так мила, так остроумна и весела, что Ольга Сергеевна целый день хохотала до слез и к вечеру не только утратила ясное представление о нигилистах, но даже почему-то вообразила, что это просто вновь открытая угнетенная национальность (les polonais, les italiens... les nihilistes! {поляки, итальянцы... нигилисты!}), которая, в этом качестве, имеет право на собственную свою конституцию и на собственные свои законы. Хотя же впоследствии события не один раз напоминали ей об ужасных делах этих "ужасных людей" и она опять собиралась писать по этому поводу к "куколке", но Anatole с своей стороны тоже не дремал и был так неистощим на

blagues, что все усилия думать о чем-нибудь другом, кроме этих прелестных blagues, остались тщетными. Так продолжалось все время до самого переселения в Перкали. Тут она окончательно припомнила все слышанное о нигилистах и решила немедленно испытать политические убеждения "куколки".

Завтрак кончился; Nicolas только что рассказал свою последнюю prouesse и, покачиваясь на стуле, мурлыкает: "Mon pere est a Paris"; {"Мой отец в Париже"}. Ольга Сергеевна ходит взад и вперед по столовой и некоторое время не знает, как приступить к делу.

- Надеюсь, мой друг, что ты не нигилист! - наконец отрезывает она, нигилисты - это те самые, которые гражданский брак выдумали!

- Maman! вы очень хорошо знаете, что я консерватор! - обижается Nicolas.

- Je sais bien que vous etes un noble enfant! {Я хорошо знаю, что вы благородный мальчик!} но знай, Nicolas, что если б когда-нибудь тебе зашла в голову мысль о революции... vous ne serez plus mon fils... vous m'entendez?.. {вы больше не будете мне сыном... вы меня понимаете?..}

- Maman! вы странная! вы лучшая из матерей, но вы не понимаете меня.

- Ah! les hommes sont bien mechants! {Ах! люди очень злы!} они так искусно расставляют свои сети, что я не могу... нет, нет, не могу не дрожать за тебя. И потому, если б когда-нибудь, по какому-нибудь случаю, тебя постигло искушение...

- Parbleu! je voudrais bien voir! {Черт возьми! желал бы я посмотреть!}

- Не шути этим, Nicolas! Люди вообще коварны, а нигилисты - это даже не люди... это... это злые духи, - et tu sais d'apres la Bible ce que peut un esprit malfaisant {а ты знаешь по Библии, что может злой дух.}. А потому, если они будут тебя искушать, вспомни обо мне... вспомни, мой друг!.. и помолись! La priere - c'est tout {молитва - это все.}. Она даст тебе крылья и мигом прогонит весь этот cauchemar de moujik {мужицкий кошмар.}. Дай мне слово, что ты исполнишь это!

- Maman! вы странная!

- Нет, дай мне слово! успокой меня!

- Даю вам миллион триста тысяч слов, что каждый из этих злых духов, при первом свидании, получит от меня такую taloche {взбучку.}, что забудет в другой раз являться с предложениями) О! я эти революции из них выбью! Я их подтяну!

Nicolas надувается и вскакивает; глаза его искрятся; лицо принимает торжественное выражение. Он таким орлом прохажива-

ется по зале, как будто на него возложили священную обязанность разыскать корни и нити, и он, во исполнение, напал на свежий и совершенно несомненный след.

- Мaman! - произносит он важно, - желаете ли вы, чтоб я открыл перед вами мою profession de foi? {свои убеждения?}

- Mon fils! {Мой сын!}

- Alors écoutez bien ceci {В таком случае слушайте.}. Я консерватор; я человек порядка. Et en outre je suis legitimiste! L'ordre, la patrie et notre sainte religion orthodoxe - voici mon programme a moi {И кроме того, я легитимист! Порядок, отечество и наша святая православная вера - вот моя программа.}. Что касается до нигилистов, то я думаю об них так: это люди самые пустые и даже - passez-moi le mot {простите за выражение.} - негодяи. Ils n'ont pas de fond, ces gens-la! ils tournent dans un cercle vicieux! {У этих людей нет никаких основ! они вертятся в заколдованном кругу!} Надеюсь, что теперь вы меня понимаете?

- Какой ты, однако ж...

"Умный", хотела сказать Ольга Сергеевна, но вдруг остановилась. Она совсем некстати вспомнила, что даже ее покойный Пьер ("le pauvre ami! {бедный друг!} он никогда ничего не знал, кроме телесных упражнений!") - и тот однажды вдруг заговорил, когда зашла речь о нигилистах. "И, право, говорил не очень глупо!" - рассказывала она потом об этом диковинном случае его товарищам-кавалеристам.

А Nicolas между тем надувается все больше и больше.

- Благодаря моему воспитанию, - ораторствует он, - благодаря вам, ma noble et sainte mere, la ligne de conduite que j'ai a suivre est toute tracee. Cette ligne - la voici: {моя благородная и святая мать, линия поведения, которой я следую, вполне ясна. Эта линия - следующая.} желай в пределах возможного, беспрекословно исполняй приказания начальства, будь готов, et ne te mele pas de politique {и не вмешивайся в политику.}. Один из наших гувернеров сказал святую истину: nul part, a-t-il dit, on n'est aussi tranquille qu'en Russie! pourvu qu'on ne fasse rien, personne ne vous inquiete!! {нигде так спокойно не живет, сказал он, как в России! лишь бы ничего не делать, никто тебя не тронет!!} А в переводе это значит: не возносись, не пари в облаках - и никто тебя не тронет. Но если ты желаешь парить - что ж, милости просим! Только уж не прогневайся, mon cher, если с облаков ты упадешь где-нибудь... ou cela ne sent pas la rose! {где не пахнет розами!}

- Merci! merci, mon fils! - страстно произносит Ольга Сергеевна.

Но Nicolas не слушает и, постепенно разгораясь, несколько раз сряду повторяет:

- Oui, dans cet endroit-la cela ne sentira pas la rose... je le garantie!  
{Да, там розами пахнуть не будет... за это я ручаюсь!}

Мало-помалу, раздражаясь собственной фантазией, он вступает в тот фазис, когда человеком вдруг овладевает какая-то нестерпимая потребность лгать. Он останавливается против мамы, несколько времени смотрит на нее в упор, как будто готовится к чему-то необычному.

- Вы знаете ли, maman, что это за ужасный народ! - восклицает он, - они требуют миллион четыреста тысяч голов! Je vous demande, si c'est pratique! {Я спрашиваю вас, целесообразно ли это!}

С минуту и мать и сын оба молчат, подавленные.

- Они говорят, что наука вздор... la science! {наука!} что искусство напрасная потеря времени... les arts! {искусства!} что всякий сапожник в сто раз полезнее Пушкина... Pouschkinn!

Новая минута молчания.

- Они отвергают брак, ils vivent comme des chiens avec leurs chiennes! {они живут, как кобели со своими суками!} Они не признают таинств, религии, церкви... notre sainte eglise orthodoxe! Et vous me demandez, si je suis nihiliste!! {нашей святой православной церкви! И вы спрашиваете меня, не нигилист ли я!}

Ольга Сергеевна не может больше владеть собой и бросается к Nicolas.

- Nicolas! Я вижу! я все теперь вижу! Tu es un noble et saint enfant! {Ты благородный и святой мальчик!} но скажи, ты знал? ты знал кого-нибудь из этих страшных людей? - с каким-то ужасом спрашивает она.

- Maman! Я видел одного из них на Невском: il etait mal reigne, pas du tout lave... {плохо причесан, неумыт.} и от него пахло!

- L'horreur! {Ужас!}

----

Политическая программа Nicolas не только успокаивает Ольгу Сергеевну, но даже внушает ей уважение к сыну.

- До сих пор я только любила тебя, - говорит она, - теперь я тебя уважаю!

На что Nicolas со всем энтузиазмом пламенной души отвечает:

- Oh! ma noble et sainte mere! mais sentez donc! sentez, comme mon soeur bondit et trepigne {О! моя добрая святая мать! попробуйте! попробуйте, как бьется и трепещет мое сердце.}

Вообще "куколка" доволен собой выше всякой меры. Во-первых, благодаря маме, он узнает, что он консерватор (до сих пор все его политические убеждения заключались в том, чтобы не пропустить ни одного праздничного дня, не посетивши театра Берга) и что ему предстоит в будущем какая-то роль; во-вторых, слова

Ольги Сергеевны об уважении окончательно возносят его на недостижимую высоту. Он целые дни ходит в забытии, целые дни строит планы за планами и, наконец, делается до того подозрительным, что впадает почти в ясновидение.

- Aujourd'hui j'ai reve! {Сегодня я видел сон!} - говорит он однажды. Мне снилось, что я сделался невидимкой и присутствую при их совещаниях! Можете себе представить, тамап, какие я при этом сделал открытия!

В другой раз он обращает внимание тамап на вредное направление умов, замеченное им между поселянами.

- Как хотите, тамап, - ораторствует он, - а чувство уважения к священному принципу собственности так мало в них развито, что я почти прихожу в отчаяние. Вчера из парка выгнали крестьянскую корову; сегодня, на господском овсе, застали целое стадо гусей. Я думаю, что система штрафов была бы в этом случае очень-очень действительна!

Наконец, в третий раз, он объявляет, что видел на селе настоящего нигилиста.

- Но кого же, мой друг? - изумленно спрашивает Ольга Сергеевна.

- Tu sais... ce seminariste... {Знаешь... этот семинарист...} сын нашего священника. Представь себе, встречается давеча со мной и пренагло-нагло подает мне руку... canaille! {каналья!}

Открытие это несколько смущает Ольгу Сергеевну. Она, с своей стороны, уже заметила Аргентова (фамилия заподозренного семинариста), и ей даже показалось, что он не только не нигилист, но даже "благонамеренный". Именно "благонамеренный", не "консерватор" - "консерваторами" могут быть только les gens comme il faut {порядочные люди.}, - а "благонамеренный", то есть смиренный, послушный, преданный. Аргентов был высокий и плотный молодой человек; голова у него была большая и кудрявая; черты лица несколько крупны, но не без привлекательности; вся фигура дышала силой и непочатостью. Все это Ольга Сергеевна заметила. "Il est du peuple, c'est vrai {Он из простого народа, это верно.}, - думала она про себя, - mais quelquefois ces gens-la ont du bon" {Но иногда у этих людей есть кое-что хорошее.}. И она до такой степени прониклась убеждением, что Аргентов "благонамеренный", что однажды, выходя из церкви, даже просила отца Карпа когда-нибудь привести его.

- После, - прибавила она, - теперь давайте мне насмотреться на моего "куколку"! Он у меня такой серьезный, непременно хочет оставаться со мной один! Ведь вы еще не скоро уезжаете отсюда, мсье Аргентов?

- Все зависит от местов-с, - отвечал молодой человек, - как скоро откроется вакансия, тогда уж будет не до знакомств-с, а надо будет думать о приискании невесты-с!

- Ну, будет время, еще познакомимся! - сказала Ольга Сергеевна, садясь в экипаж, между тем как Аргентов удалялся восвояси, напевая звучным басом: "Телесного озлобления терпети не могу".

С тех пор мысль об Аргентове посещала ее довольно настойчиво. В голове ее даже завязывались по этому случаю целые романы с длинными зимними вечерами, с таинственным мерцаньем лунного луча, и с этою страстною, курчавою головою, *si pleine de seve et de vigueur!* {так полной сока и силы!} Она полулежит на диване, глаза ее зажмурены, а его голос гремит и дрожит, и в ушах ее бессвязно раздаются какие-то страстные, пламенные слова. Ей сладко мечтать под эти страстные звуки, она не сознает даже содержания их, а только тихо-тихо поддается им, побежденная их страстностью... И как он мило брюзжит, когда она, в самом разгаре его диатриб, вдруг выйдя из забытья, "совсем-совсем некстати" обращается к нему с вопросом:

- А вы читали Оссиана, Аргентов?

- Не об Оссиане идет теперь речь, - кричит он на нее, вскакивая как ужаленный, - а о народных страданиях-с! Поймете ли вы это когда-нибудь, барыня?

"Странное дело! - думается ей, - сколько раз я предлагала этот вопрос... там... а Paris... и все "они" отвечали мне таким же образом! Все, все сердились".

И вдруг "куколка" разрушает весь этот *reve*, объявляя, что Аргентов нигилист! *Un homme qui n'a pas de religion!!* {Безбожник!} человек, который выдумал гражданский брак!!

- Но не ошибаешься ли ты, мой друг? - говорит она как-то робко. - Мне кажется... он благонамеренный!

- Нет, нет, у меня это уж инстинкт, и он меня никогда-никогда не обманывал! Все эти *filz de pore* {поповичи.} нарочно говорят глупые слова, чтоб скрыть, что они делают революции! А что у них на уме одни революции *c'est un fait avere!* {} И не меня они обманут своим смирением!

Одним словом, восторженность *Nicolas* растет до того, что он начинает вскакивать по ночам, кричать, кого-то требовать к ответу, что причиняет Ольге Сергеевне не мало тревоги.

- *Maman!* - восклицает он однажды, - *je sens que le mourrai, mais au moins je mourrai a mon poste! Touchez ma tete - elle est tout en feu!* {это факт доказанный!}

- Но ты бы чем-нибудь рассеял себя, - испуганно говорит она, посмотрел бы на наше хозяйство, позвал бы управляющего!

- Oh, maman! все это кажется мне теперь так ничтожным... si petit, si mesquin! {я чувствую, что умру, но, по крайней мере, умру на своем посту! Троньте мою голову - она вся в огне!}

- Но подумай, мой друг, у тебя будут дети; это твой долг, c'est ton devoir de leur transmettre intacts tes droits, tes biens, ton beau nom {твой долг - передать им неприкосновенными твои права, твое имущество, твое доброе имя.}.

- Encore un devoir! quel fardeau! et quelle triste chose, que la vie, maman! {Еще долг! какое бремя! и какая печальная вещь жизнь, мама!}

Но Ольга Сергеевна уже не слушает и посылает к Nicolas управляющего. Nicolas, с свойственной ему стремительностью, излагает пред управляющим целый ряд проектов, от которых тот только таращит глаза. Так, например, он предлагает устроить на селе кафе-ресторан, в котором крестьяне могли бы иметь чисто приготовленный, дешевый и притом сытный обед (и богу бы за меня молили! мелькает при этом у него в голове).

- Понимаешь? понимаешь? - толкует он, - я не того требую, чтоб были у них голландские скатерти, а чтоб было все чисто, мило, просто! - понимаешь?

Потом, не давши этой идее дальнейшего развития, он переходит к пчеловодству и доказывает, что при современном состоянии науки ("la science!" {"наука!"}) можно заставить пчел делать какой угодно мед липовый, розовый, резедовый и т. д.

- Понимаешь? понимаешь? я люблю липовый мед, ты - резедовый... и мы оба... понимаешь?

Наконец бросает и эту материю, грозит управляющему пальцем и с восклицанием "я вас подтяну!" - убегает к маман.

- Маман! да тут у вас какие-то Каракозовы завелись! - раздражается он.

С этих пор кличка "Каракозов" остается за управляющим навсегда.

----

Наконец Ольга Сергеевна вспоминает, что в соседстве с ними живет молодой человек, Павел Денисыч Мангушев, и предлагает Nicolas познакомиться с ним.

- Опять какой-нибудь Каракозов? - острит Nicolas.

- Нет, мой друг, это молодой человек - совсем-совсем одних мыслей с тобою. Он консерватор, il est connu comme tel {известен как таковой,}, хотя всего только два года тому назад вышел из своего заведения. Вы понравитесь друг другу.

- Гм... можно!

Павел Денисыч Мангушев живет всего в десяти верстах от Персиановых, в прекраснейшей усадьбе, ни в чем не уступающей

Перкалям. В ней все тенисто, прохладно, изобильно и привольно. Обширный каменный дом, густой, старинный сад, спускающийся террасой к реке, оранжереи, каменные службы, большой конный завод, и кругом - поля, поля и поля. Сам Мангушев - совершенно исковерканный молодой человек, какого только возможно представить себе в наше исковерканное всякими bons и mauvais principes {хорошими и дурными принципами.} время. Воспитание он получил то же самое, что и Nicolas, то есть те же "краткие начатки" нравственности и религии и то же бессознательно сложившееся убеждение, что человеческая раса разделяется на chevaliers и manants {рыцарей и мужиков.}. Хотя между ними шесть лет разницы, но мысли у Мангушева такие же детские, как у Nicolas, и так же подернуты легким слоем разврата. Ни тот, ни другой не подозревают, что оба они - шалопаи; ни тот, ни другой не видят ничего вне того круга, которого содержание исчерпывается чищением ногтей, анализом покроя галстуков, пиджаков и брюк, оценкою кокоток, рысаков и т. д. Единственная разница между ними заключалась в том, что Nicolas готовил себя к дипломатической карьере, а Мангушев, par principe, {из принципа.} всему на свете предпочитал la vie de chateau {жизнь в поместье.}. В последнее время у нас это уже не редкость. Прежде помещики поселялись в деревнях, потому что там дешевле и привольнее жить, потому что ни Катька, ни Машка, ни Палашка не смеют ни в чем отказать, потому что в поле есть заяц, в лесу - медведь, и т. д. Теперь поселяются в деревнях par principe, для того, чтоб сеять какие-то семена и поддерживать какие-то якобы права... Таким образом, если для Nicolas предстояло проводить в жизни шалопайство дипломатическое, то Мангушев уже два года сряду проводил шалопайство de la vie de chateau.

- Vous autres, gens de l'epée et de robe {Вы, люди военные и чиновники.}, - обыкновенно выражался Мангушев, - вы должны администрировать, заботиться о казне, защищать государство от внешних врагов... que sais-je! Nous autres, chatelains, nous devons rester a notre poste! {и прочее! Мы, помещики, должны оставаться на нашем посту!} Мы должны наблюдать, чтоб здесь, на местах, взошли эти семена... Одним словом, чтоб эти краеугольные камни... vous concevez? {понимаете?}

Выражение "краеугольные камни" он как-то особенно подчеркивал и всегда останавливался на нем. Он покручивал свои усики, пристально поглядывал на своего собеседника и умолкал, вполне уверенный, что все, что надлежало сказать, уже высказано. В сущности же, "краеугольные камни", о которых здесь упоминалось, состояли в том, что Мангушев по утрам чистил себе ногти и примеривал галстухи, потом - ездил по соседям или при-



нимал таковых у себя и, наконец, на ночь, зевая, выслушивал рапорты своих: *chef de l'administration* {управляющего.} и *chef du haras* {заведующего конным заводом.}.

- Я, *messieurs*, не знаю, что такое скука! - выражался он, рассказывая об употреблении своего дня, - моя жизнь - это жизнь труда, забот и распоряжений. *Nous autres, simples travailleurs de la civilisation, nous devons a nos descendants de leur transmettre intacts nos fortunes, nos droits et nos noms* {Мы, скромные работники на ниве цивилизации, должны передать нашим потомкам неприкосновенными наши владения, наши права и наши имена.} (Ольга Сергеевна от него заразилась этой фразой, когда рекомендовала "куколке" заняться хозяйством). Поэтому наше место - на нашем посту. Вы, господа военные и господа дипломаты, - вы защищаете отечество и ведите переговоры. А *nous - le role modeste des civilisateurs* {наш удел - скромная роль цивилизаторов.}. Мы сеем и способствуем прозябению посеянного. Я с утра уж принимаю рапорты, делаю распоряжения, осматриваю постройки, *mes batisses*, хожу на работы... И таким образом проходит целый трудовой день! У меня даже свой суд... Я здесь верховный судья! Все эти люди, которым нечего есть, все они приходят ко мне и у меня просят работы. Я могу дать, могу и отказать, - стало быть, я прав, говоря, что суд принадлежит мне. У меня нет ни одного безнравственного человека в услужении... *parce que la morale, mon cher, - c'est mon cheval de bataille* {ибо мораль, мой милый, - мой боевой конь.}. Я каждому приходящему ко мне наниматься говорю: хорошо, но ты должен быть почтителен! И они почтительны. Все эти краугольные камни... вы меня понимаете?

Дошедши до "краугольных камней", Мангушев опять умолкал, считая свою миссию совершенно исполненной.

*Nicolas* и Мангушев сразу поняли друг друга, хотя последний принял первого с оттенком некоторого покровительства.

- *Soyez le bienvenu!* {Добро пожаловать!} - сказал он ему, - *le descendant des Persianoff* {потомок Персиановых.} всегда будет желанным гостем в доме Мангушевых. Мы, сельские дворяне, конечно, не можем доставить вам тех высоких наслаждений, к которым привыкли люди столиц, но и у нас найдется для Персианова и чарка доброго старого вина, и хороший кусок дымящегося ростбифа. *Entrez, je vous prie* {Войдите, прошу вас.}.

Мангушев высказал это так серьезно, что *Nicolas* сразу почувствовал беспредельное благоговение к нему. Он был так щегольски и в то же время так просто одет, что *Nicolas* в своем мундирчике почувствовал себя как-то неловко (он в первый раз упрекнул себя, зачем надел мундир, и не послушался татап, которая советовала надеть легкий палевый костюм). В его воображении вста-

вал совсем не тот золотушный, вертлявый и исковерканный Мангушев, который действительно ломался перед его глазами, а подлинный представитель той *vie de chateau* {жизни в поместье.}, о которой он вычитал когда-то *dans ces bons petits romans* {в милых романах.}, воспитывавших его юность. Целая картина быстро пронеслась в его воображении. Молодой лорд, рассеивающий семена консерватизма, религии и нравственности; семейный очаг; длинные зимние вечера в старом, величественном замке; подъемные мосты; поля, занесенные снегом; охота на кабанов и серн; триктрак с сельским кюре; беседа за ужином с обильными возлияниями; общие молитвы с преданными седыми слугами, и затем крепкий, здоровый и безмятежный сон до утра... Одним словом, он совершенно позабыл, что находится в Глуповской губернии, где нет ни шато, ни кюре, играющих в триктрак, ни кабанов, ни консерватизма, ни религии, ни нравственности, а есть только высь да ширь, да бесконечно праздные и беспредельно болтающие Мангушевы.

- *Et la sante de madame?* {Как здоровье мадам?} - осведомился между тем Мангушев.

- *Merci. Maman se porte tres bien.*

- *Oh! votre mere est une noble et sainte femme!* {Благодарю. Мама чувствует себя превосходно. - Ваша мать благородная и святая женщина!}

Молодые люди вошли в кабинет и уселись на какой-то чрезвычайно мягкой и удобной мебели.

- *Et maintenant, causons. Charles! vite un dejeuner et une bouteille de notre meilleur!* {А теперь поболтаем. Шарль! скорее завтрак и бутылку лучшего вина!} - обратился Мангушев к расторопному малому, почтительно ожидавшему приказаний, - мсье Персианов! вы какое вино предпочитаете?

Nicolas вспыхнул, потому что до сих пор он сам еще не давал себе отчета относительно вина. Он неизменно душил шампанское, полагая, что дорогая его цена вполне достаточна, чтоб оправдать это предпочтение.

- *Mais... le Champagne!* {Но... шампанское!} - смущенно пролепетал он, все больше и больше краснея.

- *Pardon! Мы будем пить шампанское en son temps et lieu* {в свое время и на своем месте.} - надеюсь, что вы у меня обедаете? - а теперь... *Charles! vous nous apporterez de ce petit Bordeaux...* "Retour des Indes"... *C'est tout ce qu'il nous faut pour le moment... n'est-ce pas, mon cher monsieur de Persianoff?* {Шарль! принесите нам бордо... "Возвращение из Индии"... Ничего другого нам сейчас не надо... не правда ли, дорогой господин Персианов?}

Nicolas промычал в знак согласия.

- У меня в услужении все французы, - продолжал Мангушев, когда Шарль удалился, - и вам рекомендую то же сделать. Il n'y a rien comme un français, pour servir {Лучше француза слуги не найдешь.}. Наши русские более к полевым работам склонность чувствуют. Ils sont sales {Они грязные.}. Но зато, в поле за сохой... c'est un charme! {это восторг!}

Затем, уже начинается собственно causerie {болтовня.}.

- Ну-с, что нового в Петербурге?

- Mais... nous folichonnons, nous aimons, nous buvons sec! {Да что ж, шалим, любим, выпиваем!}

- Oh! cette bonne, brave jeunesse! {Милая, славная молодежь!} Мы, сельские дворяне, любимы вами из нашего далека и шлем вам отсюда наши скромные пожелания. Вам трудно в настоящую минуту, messieurs, и мы понимаем это очень хорошо; но поверьте, что и наша задача тоже нелегка!

Мангушев останавливается, как будто собирается с мыслями.

- У нас нет поддержки! - наконец говорит он и опять умолкает.

Nicolas делает вид, что умеет, так сказать, читать между строк.

- On est trop bon la-bas! {Там слишком мягкосердечны!} - продолжает Мангушев, - нет спора, намерения прекрасны, но нет этой пылкости, этого натиска, чтобы разом покончить с гидрою! А мы... что же мы можем сделать с нашими маленькими, разрозненными усилиями? Мы можем только помогать по мере наших слабых сил... и сожалеть!

- N'est-ce pas? mais n'est-ce pas? - радуется Nicolas, - je le dis mille fois par jour, qu'on est trop bon pour cette canaille-la {Не правда ли? не правда ли? я говорю тысячу раз на день, что правительство слишком мягко по отношению к этим негодьям!}.

- Et vous avez raison {И вы правы.}. Я день и ночь борюсь с этим злом... je ne fais que cela... {я только это и делаю...} И что ж! Я должен сознаться, что до сих пор все мои усилия были совершенно напрасны. Они проникают всюду! и в наши школы, и в наши молодые земские учреждения.

- Я уверен, что еще на днях видел здесь одного нигилиста, - восклицает Nicolas, - и если б не тамап...

- Ah! nos dames! ce sont des anges de bonte et de douceur! {Ах! наши дамы! это ангелы доброты и милосердия!} Но надо сознаться, что они нам много портят в нашей святой миссии!

- Но я был неумолим, - лжет Nicolas, - я прямо сказал тамап, что не желаю, чтоб в нашем селе процветали Каракозовы! И его уж нет!

- И хорошо сделали. Votre mere est une sainte {Ваша мать святая.}, но потому-то именно она и не может судить этих людей, как они того заслуживают! Но даст бог, классическое образование

превозможет, и тогда... Надеюсь, monsieur de Persianefi, что вы за классическое образование?

Nicolas надувается, как бы нечто соображая.

- Классицизм - этим все сказано, - продолжает между тем Мангушев, - это *utile dulce, l'utile et le doux* {полезное с приятным.} нашего доброго старого Горация. Скажу вам откровенно, monsieur de Persianoff, я никогда-никогда не скучаю. Как только я замечаю, что мне грустно, я сейчас же беру моего старика Гомера, и забываю все... С этой точки зрения иногда у меня даже нет сил ненавидеть этих нигилистов: я просто сожалею об них. У них нет этого наслаждения, которым пользуемся, например, мы с вами; *ils ne comprennent pas la poesie du coeur!* {они не понимают поэзии сердца!}

Nicolas глядит на Мангушева во все глаза и все больше и больше проникается благоговением к нему. А вместе с благоговением он проникается и потребностью лгать, лгать во что бы ни стало, лгать, не оставляя за собой ни прикрытия, ни возможности для отступления.

- Я сам... я очень люблю Гомера, но, признаюсь, впрочем, предпочитаю ему Вергилия. "*Les Bucoliques*" - *tout est la!* {"Буколики" - в них все!} Этим все сказано! - картавит он, самодовольно поворачиваясь в кресле и покручивая зачаток уса.

- *Vraiment?* {В самом деле?} вы любитель? Очень рад! очень рад! потому что в таком случае мы наверное сойдемся!

- Я еще в младшем курсе прочитал всего Корнелия Непота... *Fichtre, quel style!* {Черт возьми, какой стиль!}

- *Oh, quant au style - c'est Eutrope qu'il faut lire!* {Ну, что касается стиля - Евтропий - вот кого следует читать!} Эта деликатность, эта тонкость, эта законченность... и наконец, эта возвышенность... Надо прочесть самому, чтоб убедиться, что это такое!

Беседуя таким образом, новые друзья доврались наконец до того, что вытаращили глаза и стали в тупик. "*Et Esope donc!*" {А Езоп?} - начал было Nicolas, но остановился, потому что решительно позабыл, кто такой был Езоп и к какой он принадлежал нации.

- Ну-с, теперь мы позавтракаем! А после завтрака я вам покажу мой *haras* {конный завод.}. Заранее предупреждаю, что ежели вы любитель, то увидите нечто весьма замечательное.

За завтраком Мангушев пытался было продолжать "серьезный" разговор, и стал развивать свои идеи насчет "прав" вообще и в особенности насчет тех из них, которые он называл "священными"; но когда дошла очередь до знаменитого "*Retour des Indes*", серьезность изменила характер и сосредоточилась исключительно на достоинстве вина. Мангушев вел себя в этом случае как

совершеннейший знаток, с отличием прошедший весь курс наук у Дюссо, Бореля и Донона. Он следил глазами за движениями Шарля, разливавшего вино в стаканы, вертел свой стакан в обеих руках, как бы слегка согревая его, пил благородный напиток небольшими глотками и т. п. Nicolas, с своей стороны, старался ни в чем не отставать от своего друга: нюхал, смаковал губами, поднимал стакан к свету и проч.

- Mais savez-vous que c'est parfait! on sent le gout du raisin a un tel point, que c'est inconcevable! {Но знаете ли, это совершенство! аромат винограда силен до такой степени, что просто непостижимо!} - наконец произнес он восторженно.

- N'est-ce pas? {Не правда ли?} - не менее восторженно отозвался Мангушев, - ah! attendez! a diner je vais vous regaler d'un certain vin, dont vous me direz des nouvelles! {ах! подождите! за обедом я вас угощу одним вином, и посмотрим, что вы о нем скажете!} Затем разговор полился уж рекой.

- Я только раз в жизни пил подобное вино, - повествовал Мангушев, c'etait a Bordeaux, chez un nomme comte de Rubempre - un comte de l'Empire, s'il vous plait {это было в Бордо, у некоего графа де Рюбампре графа эпохи Империи, изволите ли видеть.} - га! это было вино! И хоть я не очень-то долюбиваю этих comtes de l'Empire {графов эпохи Империи.}, но это вино! Ah! ce vin! {Ах! какое вино!}

Мангушев развел руками, как бы давая понять, что дальше объяснять бесполезно. Nicolas сидел против него и завидовал.

- Я должен вам сказать, что судьба вообще баловала меня на этот счет. В другой раз, это было в Италии... в Сорренто, в Споленто - je ne sais plus lequel!.. {не помню, где именно!..} Приходим мы в какую-то остерию. Ну, просто, в грязную остерию, вроде нашей харчевни... vous pouvez vous imaginer ce que c'est! {вы можете себе представить, что это такое!} Жарко, устали, хочется пить. Разумеется, сейчас: una fiasco dal vino! - "Si, signor" {бутылку вина! - Хорошо, синьор.} и т. д. И что ж бы вы думали! Мне, именно мне, подают бутылку d'un certain lacrima Christi... ah! mais c'etait quelque chose! {знаменитые "слезы Христа"... ах! это было действительно нечто необыкновенное!} Представьте себе, что это была одна бутылка, хранившаяся у хозяина в погребе несколько десятков лет! Et puis, c'etait fini {А потом конец!}. Ни прежде, ни после я подобного вина не пивал!

Nicolas завидует еще больше, но в то же время чувствует, что и ему следует вставить свое слово в разговор.

- On dit que ce sont les oranges qui sont excellents en Italie? {Говорят, апельсины в Италии превосходны?} - картавит он с важностью.

- Oh! quant aux oranges, il faut aller les manger a Messine {Что касается апельсинов, нужно их есть в Мессине.}. Это все равно что груши, которые можно есть только на севере Франции. Везде это - груши, там - это божество!

- Et Naples! frutti di mare! {А Неаполь! устрицы, креветки!} восклицает Nicolas.

- Я ел их с утра до вечера и никогда не мог довольно насытиться. C'est tout dire. Mais vous n'avez pas l'idee de ce qu'on trouve a l'etranger en fait de vins et de comestibles} On y devient glouton sans y penser - parole d'honneur! {Этим все сказано. Но вы не можете себе представить, что можно найти за границей по части вин и кушаний! Там становишься обжорой, не замечая этого, - честное слово!} Перигор, Бордо, Марсель - все это усеяно! Тюрбо, тон, pate de foie gras - c'est a n'y pas croire! Et puis les huitres {паштет из гусиной печени - трудно поверить! А потом устрицы,}, и эта бесподобная, ни с чем не сравнимая bouillie-abaisse! {рыбный суп!}

- Et les femmes donc! {Ну, а женщины!}

- A qui le dites-vous! Ah, il y avait une certaine dona Innes... {Кому вы это говорите! Ах, там была одна донья Инесса...} Впоследствии она была в Петербурге у одного адвоката... les gueux! ils nous arrachent nos meilleurs morceaux! {Процельги! они вырывают у нас лучшие куски!} Но я... я встретился с нею в Севилье. Представьте себе теплую южную ночь... над нами темное синее небо... кругом все благоухает... и там вдали, comme dit Pouschkinne:

Бежит, шумит

Гвадалквивир...

Мы идем, впиваем в себя этот волшебный воздух и чувствуем - mais a la lettre {буквально.} чувствуем! - как вся кровь приливает к сердцу! И вдруг... ОНА! в легкой мантилье... на голове черный кружевной капюшон, и из-под него... два черных, как уголь, глаза!.. Oh! mais si vous allez un jour a Seville, vous m'en direz des nouvelles! {Если вы когда-нибудь будете в Севилье, вы сможете порассказать!}

У Nicolas захватывает дыхание. Потребность лгать саднит ему грудь, катится по всем его жилам и, наконец, захлестывает все его существо.

- Je vous dirai qu'une fois il m'est arrive a Petersbourg... {Скажу вам, что однажды со мной в Петербурге случилось...} - начинает он, но Мангушев, с своей стороны, так уж разолгался, что не хочет дать ему кончить.

- О! наши северные женщины! c'est pauvre, c'est mesquin, cela n'a pas de seve! {они бедны, жалки, в них нет остроты!} Надобно видеть их там! Там это зной, это ад, это что-то такое, что мы, люди севера, даже понять не можем, не испытавши лично там, на

месте! Но зато, раз на месте, мы одни только и можем оценить южную женщину! Знаете ли вы, что только южная женщина умеет целовать как следует?

Nicolas окончательно багровеет.

- Вы не верите? - и между тем нет ничего святее этой истины. Она не целует - она пьет... elle boit! вот поцелуй южной женщины! Я помню, это было однажды в Венеции, la bella Venezia... {прекрасной Венеции...} Мы плыли в гондоле... вдоль берегов дворцы... в окнах огни... вдали звучат баркаролы... над нами ночь... mais de ces nuits qu'on ne trouve qu'en Italie! {из тех ночей, которые бывают только в Италии!} И вдруг она меня поцеловала... oh! mais se baiser!., c'etait quelque chose d'ineffable! c'etait tout un poeme! {о! этот поцелуй!.. это было нечто несказанное! это была настоящая поэма!} Увы! это был последний ее поцелуй!

Мангушев потупился, Nicolas впился в него глазами.

- Elle est morte le lendemain {На следующий день она умерла.}. Она, женщина юга, не могла выдержать всей полноты этого блаженства. Она выпила залпом всю чашу - и умерла! Вы можете себе представить мое положение! J'ai ete comme fou... Parole d'honneur! {Я был как безумный... Честное слово!}

Nicolas хочет сказать un compliment de condoleance {слово соболезнования.}, но, благодаря "Retour des Indes", слова как-то путаются у него на языке.

- Certainement... si la personne est jolie... c'est bien desagreable! {конечно... если особа хорошенькая... это очень неприятно!} - бормочет он.

- Parbleu! si la personne est jolie! allez-y - et vous m'en direz des nouvelles! {Черт побери! если особа хорошенькая! поезжайте туда, и вы заговорите об этом по-иному!} - восклицает Мангушев, и так как завтрак кончен и лгать больше нечего, то предлагает своему новому другу отправиться вместе на конный завод.

- Vous verrez mon royaume! {Вы увидите мое царство!} - говорил он, там я отдыхаю и чувствую себя джентльменом!

Начинается выводка; у Мангушева в руках бич, которым он изредка пощелкивает в воздухе. Жеребцы и кобылы выводятся одни за другими, одни других красивее и породистее. Но Мангушев уже не довольствуется тем, что его "производители" действительно бесподобны, и начинает лгать. Все они взяли ему по несколько призов, опередили "Чародея", "Бычка" и т. д.

- Вот, - говорит он, - этот самый "Зяблик" (c'est le doyen du haras) двадцать два приза взял - parole! {он - главный на конном заводе... Честное слово!}

- Quel producteur! {Какой производитель!} - восторженно восклицает Nicolas.

За "Зябликом" следует кобыла "Эмансипация", за "Эмансипацией" - жеребец "Консерватор" и проч. У Nicolas искрятся глаза и захватывает дух, тем более что Мангушев каждую выводку непременно сопровождает историей, которая неизменно начинается словами: "Представьте себе, с этою лошадыю какой случай у меня был". "Куколка" выражает свой восторг уж не восклицаниями, а взвизгиваньем и захлебываньем. Мало того: он чувствует себя жалким и ничтожным, сравнивая этих благородных животных с скромными "Васьками" и "Горностоями", украшающими конюшню села Перкалей.

"Et dire que cet homme a tout cela!" {И подумать, что этот человек владеет всем этим!} - думает он, поглядывая с завистью на торжествующего Мангушева.

За обедом "куколка" словно в чаду. Он слабо пьет и почти совсем не притрогивается к кушаньям.

- Этот "Зяблик" не выходит у меня из головы. А "Консерватор"! А эта "Ласточка"... *quelles hanches!* {какие задние ноги!} - взвизгивает он поминутно.

Мангушев видит восторженность пламенного молодого человека и удостоверяется, что в нем будет прок. На этом основании он предлагает Nicolas выпить на ты и берет с него слово видеться как можно чаще. Новые восторги, новые восклицания, новое лганье, сопровождаемое заклинаниями.

- Слушай! когда ты поедешь в Париж, - говорит Мангушев, - ты меня предупреди. Я тебе дам письмо к некоторой Florence - *et vous m'en direz des nouvelles, mon cher monsieur!* {Флоранс - и ты порасскажешь мне потом, милейший!}

От Florence разговор переходит к Emilie, от Emilie - к Ernestine, и так как в продолжение его, следует бутылка за бутылкой, то лганье кончается только за полночь.

А в Перкалях еще не спят. Ольга Сергеевна стоит на террасе, вглядывается в темноту ночи и ждет своего "куколку" ("*Oh! les sentiments d'une mere!*" {О! чувства матери!} - говорит она себе мысленно).

- *Maman! quel homme! quel homme!* {Мама! какой человек! какой человек!} - восклицает Nicolas, выскакивая из коляски и бросаясь в объятия матери.

----

Каникулы кончились; Nicolas возвращается в "заведение". Он скучает, потому что чад только что пережитых воспоминаний еще туманит его голову. Да и все вообще воспитанники глядят как-то вяло. Они рука об руку лениво бродят по залам заведения, передают друг другу вынесенные впечатления, и не то иронически, не то с нетерпением относятся к ожидающей их завтра науке.



- Ты что-нибудь знаешь из "свинства" (под этим именем между воспитанниками слывет одна из "наук")?

- Ты прочитал "Черты"?

- Messieurs! на завтра "Чучело" задал сочинение на тему: сравнить романтизм "Бедной Лизы" Карамзина с романтизмом "Марьиной рощи" Жуковского каков "Чучело"!

В таком роде идет перекрестный разговор, относящийся до наук. В залах и классах неприятно, голо и даже как будто холодно; лампы горят, по обыкновению, светло, но кажется, что в этом свете чего-то недостает, что он какой-то казенный; хочется спать и между тем рано. Раздается звонок, призывающий к ужину, но воспитанники не глядят ни на крутоны с чечевицей, ни на "суконные" пироги. Менее благовоспитанные (плебеи) с негодованием отодвигают от себя "cette mangeaille de porcseau" {еду для свиной.} и грозятся сделать "историю"; более благовоспитанные (аристократы) ограничиваются тем, что не прикасаются к кушанью и презрительно пожимают плечами, слушая нетерпеливые возгласы плебеев. Увы! в "заведении" уже есть "свои" аристократы и "свои" плебеи, и эта демаркационная черта не исчезнет в стенах его, но отзовется и дальше, когда и те и другие выступят на широкую арену жизни. И те и другие выйдут на нее с убеждением, что человеческая раса разделяется на chevaliers и manants {рыцарей и мужиков.}, но одни выйдут с правом поддерживать это убеждение путем практики, другие - лишь с правом облизываться на него и поддерживать его только в теории. Первые будут стараться не замечать последних, будут называть их "amis-cochons"; вторые будут ненавидеть первых, будут сгорать завистью к ним, и за всем тем ползут в грязь, чтоб попасться им на глаза и заслужить их улыбку!

- Simon! - с каким я познакомился консерватором! - сообщает "куколка" другу своему Сене Бирюкову, - quel homme! {какой человек!}

- Шут!

Этот Сеня отличается тем, что настоящего разговора вести не может и выражает свои мысли, по возможности, короткими словами. Только в минуты сильного душевного потрясения он позволяет себе проговориться какою-нибудь пословицей вроде: "На том стоим-с!" или: "Бей сороку и ворону!" Тем не менее между товарищами он слывет типом истинного chevalier.

- Сам ты шут! Слушай! Мы виделись с ним чуть не каждый день и, наконец, так сошлись в убеждениях, что поклялись друг другу составить общество "избавителей".

- J'en suis! {Присоединяюсь к нему!}

- Ты понимаешь, что это никак не будет "тайное" общество... напротив того, совсем-совсем явное! Il s'agit des nihilistes, vois-tu! {Видишь ли, дело идет о нигилистах!}

- Tenez-la, monseigneur! {По рукам, сударь!}

- Каким он угощал меня вином... "Retour des Indes"... га! это было винцо!

- Jus divin! du raisin! {Божественный сок! винограда!} - мурлыкает Сеня. - На минералках я познакомился с Joyeux!

- Ты глуп, Сеня. Надобно было с Альфонсинкой познакомиться, а ты все к мужчинам лезешь!

- A bas! ça viendra! {К черту! это придет со временем!}

- А еще я у него пил другое вино... Представь себе, эту бутылку подарил его дедушке Потемкин... Tu sais, l'homme du destin! {Помнишь, тот баловень судьбы!}

Сеня, вместо ответа, облизывает свои усики.

- Она лежала сто лет в каком-то углу, в подвале... и я первый, первый открыл это чудо! Однажды, мы сидим вдвоем и пьем... oh! nous avons joliment trinqué ce soir-la! {мы чудесно выпили в тот вечер!} И вдруг я ему говорю: Мангушев! я уверен, что у тебя в подвале хранится какое-нибудь чудо! Натурально, он тотчас же дал мне pleins pouvoirs (oh! c'est un vrai chevalier, celui-la) {полномочия (о! это истинный рыцарь).}, и не прошло минуты, как уж она была в моих руках!

- Выпили?

- Еще бы! Потом он рассказывал мне свое путешествие за границей. Oh! maintenant, je suis au courant de tout! {О! теперь я в курсе всего!} Я знаю, где найти лучшее вино, лучший обед, устрицы, одним словом, все! Ensuite, il m'a donné des détails sur une certaine signora italienne... oh! quels détails! {Тут же он мне рассказал подробности об одной итальянской синьоре... да еще какие подробности!}

- Sapristi! {Черт возьми!}

- Представь себе, они, эти южные женщины, не целуют, а пьют!

- A bas! {Дьявол!}

- А в довершение всего, он дал мне письмо к здешней Берте... en attendant le moment où je pourrai aller en Italie {в ожидании, когда я смогу отправиться в Италию.}. Но ты понимаешь, как это с его стороны мило!

- Был?

- Еще бы! Сейчас с машины заехал к Огюсту, pour me faire decrotter {чтобы почиститься.}, и оттуда прямо к ней. Mais quelle adorable creature! {что за очаровательное создание!} Все следующее воскресенье я с нею. C'est convenu {Решено.}.

В этом роде разговор ведется за полночь. На другое утро Nicolas встает с головною болью и употребляет тщетные усилия, чтоб сравнить романтизм "Бедной Лизы" с романтизмом "Марьиной рощи". Он подбегает к Сене и спрашивает его:

- Ты сравнил?

Сеня молча показывает лист бумаги, на котором размашистым почерком изображено:

"Романтизм "Бедной Лизы" настолько же выше романтизма "Марьиной рощи", насколько седая и мудрая старость выше резвой и неопытной юности. Но должно сказать, что оба автора находились долгое время при дворе и пользовались милостями монархов.

С. Бирюков".

- Шут!

Так проходит неделя "наук". В воскресенье Nicolas бежит к Берте и там отдыхает от всей абракадабры, которую принято называть ученьем.

- Vous n'avez pas l'idee, ma chere, comme ils nous bourrent de sciences, ces bourreaux!

- Les barbares! {Вы себе представить не можете, моя милая, как они пичкают нас науками, палачи! - Варвары!}

Дни проходят за днями; воспитание идет своим чередом между будничными "науками" и праздничною Бертой. Но вот истекают и последние два года, и здание окончательно увенчивается. За два месяца до выпуска Nicolas находится как в чадy. Он осведомляется о лучшем портном, лучшем bottier {сапожнике.}, лучшем confectioneer de linge {продавце белья.} и допускает по этим предметам une analyse detaillee et raisonnee {подробный систематический анализ.}. Наконец останавливается на Жорже, Лепретре и Леон. По воскресеньям он разрывается между ними, тогда как татап, приехавшая нарочно по этому случаю из Перкалей, покупает экипажи, мебель, устраивает квартиру - un vrai nid d'oiseau! {настоящее гнездышко!}

- Mais regarde donc, comme ce sera joli! {Но посмотри же, как это будет красиво!} - говорит она ему, водя по комнатам их будущего жилища, - tu seras la comme dans un petit nid! {ты будешь здесь, как в гнездышке!}

- Maman! vous etes la meilleure des meres. Jamais! non, jamais je ne saurai... {Мама! вы лучшая из матерей. Никогда! нет, никогда мне не удастся...}

Nicolas закусывает губу и умолкает, потому что наплыв чувств мешаает ему говорить. Как бы после некоторого колебания, он бросается к татап и крепко-крепко обнимает ее. Ma tante, свидетельница этой сцены, приходит в умиление.

- Nicolas! tu es un noble enfant! {Николя! ты благородный мальчик!} говорит она со слезами на глазах.

- Ma tante, c'est a vous que je dois ce que je suis! {Тетя, это вам я обязан тем, что я вышел таким!} - восклицает Nicolas и от maman с тою же стремительностью бросается к ma tante и также обнимает ее.

Наступают экзамены, на которых "куколка" отвечает довольно рассеянно. Но начальство знает причину этой рассеянности и снисходит к ней. Сверх того, оно знает, что все эти благородные молодые люди, *la fleur de notre jeunesse* {цвет нашей молодежи.}, завтра же начнут свое служение обществу и никогда не изменят ни долгу, ни именам, которые они носят. Следовательно, если они и не вполне твердо знают, в котором году произошло падение Западной Римской империи, то это еще небольшая беда.

Наконец бьет и минута освобождения. Nicolas выходит из стен заведения, восторженно простирает вперед правую руку и, как бы обращаясь к невидимому врагу, торжественно произносит:

- А теперь, *messieurs...* поборемся!

#### ПАРАЛЛЕЛЬ ВТОРАЯ

Просим читателя последовать за нами в одно из закрытых заведений конца тридцатых годов, в которых воспитывались дети дворян преимущественно небогатого состояния. Там воспитывается "палач", герой настоящего рассказа.

"Палач" уж шестой год выживает в "заведении"; четыре года провел он в первом классе, и теперь доживает второй год во втором. Настоящая его фамилия Хмылов, но товарищи называют его "палачом", и эта кличка, по-видимому, утвердилась за ним навсегда.

Хмылов принадлежит к числу тех легендарных юношей, о которых в школах складываются рассказы самого чудесного свойства. Так, например, рассказывали, будто бы он, узнав однажды, что начальство решилось исключить его за леность из заведения, подавал в губернское правление просьбу об определении его в палачи, "куда угодно, по усмотрению высшего начальства". Еще говорили, будто на душе его лежит сто одно убийство и что мать его - та самая Танька, ростокинская разбойница, которая впоследствии сделалась героиней романа того же имени. Один ученик даже уверял, что видел у "палача" разрыв-траву и какую-то "мертвую воду", с помощью которой он будто бы мог весь класс сначала повергнуть в сон, а потом всех дочиста обобрать. И как ни фантастичны были эти рассказы, но "палач" отчасти оправдывал их своим хищным видом и какою-то таинственной отчужденностью, с которою он держался в кругу товарищей и которая, быть может, зависела не столько от него самого, сколько от случайно

сложившихся, при поступлении его в заведение, обстоятельств.

"Палачу" было невступно осьмнадцать лет; роста он был не громадного, но внушительного, сухощав, но сложен крепко и мускулист; брил бороду и обладал необычайною физическою силою. Среди прочей мелюзги-товарищей он казался Голиафом. В минуты доброго расположения духа он сажал на каждую руку по ученику, а третьего ученика помещал у себя верхом на плечах, и с такою ношей делал два-три конца бегом по огромной рекреационной зале. Но подобные добрые минуты были редкими проблесками в его школьной жизни; вообще же "палач" был угрюм и наводил своей силой панический страх на товарищей. Особенности наружного вида породила взаимную отчужденность; отчужденность, в свою очередь, привела к озлоблению, с одной стороны, и к непрерывным приставам - с другой. "Палач" любил бить, и притом бил почти всегда без причины, то есть подстерегал первого попавшегося мальчугана и с наслаждением тузил его, допуская при этом пытку и калеченье.

Но в то же время он был трус, и в особенности боялся начальства, о котором, по-видимому, с детства составил себе понятие как о чем-то неотразимом. Товарищи знали это и, ненавидя "палача", устраивали, от времени до времени, на него облавы и травли, с таким расчетом, чтобы в решительную минуту можно было прибегнуть к защите начальства. В коридоре, в рекреационной зале, в саду, всегда недалеко от дремлющего надзирателя, мелюзга собиралась толпой, и с криком: "палач! палач!" приближалась к нему. Заслышав этот крик, "палач" вздрагивал и бежал вперед, сложив руки крестом на груди, выгнув шею и стараясь увлечь толпу подальше. Но навстречу ему бежала другая толпа такой же мелюзги и с тем же криком: "палач! палач!" Тогда он останавливался, с проворством кошки оборачивался назад и выхватывал из толпы первого попавшегося под руку мальчугана. Начиналась расправа; весь дрожа и тяжело поводя ноздрями, "палач" вывертывал своему пациенту руку и, шипя, произносил:

- Забью!

И бог знает чем могли бы оканчиваться эти пароксизмы бешенства, если б обезумевшего от ужаса мальчугана не выручал надзиратель.

- A genoux, Khmiloff! a genoux, tete remplie d'immondices! {На колени, Хмылов! на колени, голова, полная гадостей!} - гремел голос надзирателя, и "палач" с какой-то горькой усмешкой отрывался от своей жертвы и угрюмо, но беспрекословно, становился на колени.

Невежественность "палача" была изумительная; леность - выше всего, что можно представить себе в этом роде. И ко всему

этому какое-то неизреченное презрение к чему бы то ни было, что упоминало об ученье, о книге. Вообразить себе этого атлета-юношу, с его запасом решимости и свирепости, встречающегося где-нибудь в глухом переулке один на один с "наукою", значило заранее определить участь последней. Наверное, он обратит в пепел бумажные фабрики, взорвет на воздух университеты и гимназии и подвергнет человеческую мысль расстрелянию. Он сам удивлялся, каким образом он мог научиться грамоте. "Сама пришла", - говорил он, тщетно пытаясь разрешить этот вопрос сколько-нибудь удовлетворительным образом. И действительно, правильнее этого решения нельзя было придумать. Никто не видал, чтобы он что-нибудь учил или читал, и вся деятельность его в смысле образования ума и сердца ограничивалась перепискою переводов и сочинений на заданную тему, с черняков, которые обыкновенно писались для него другими. Узнавши, что учитель словесности задал, например, переложение в прозу басни "Дуб и Трость", он, незадолго до класса, подходил к кому-нибудь из товарищей, клал перед ним чистый лист бумаги, на котором, в виде заголовка, собственной его рукой было написано: "Дуб и Трость, переложение в прозе, которое "такой-то" обязан составить для Максима Хмылова", и спокойно при этом произносил:

- Через полчаса!

И через полчаса его действительно уже видели сидящим на задней скамейке и переписывающим готовое переложение. Вся фигура его как-то неестественно при этом натуживалась и скашивалась в одну сторону; язык высовывался из угла рта, и крупные капли пота выступали на лбу.

Родись этот юноша несколько позже, то есть в то время, когда вред, от наук происходящий, был приведен российскими романистами и публицистами в достаточную ясность, ему не было бы цены. Но, к несчастью для него, он начал учебное поприще в то наивное время, когда "наука" (быть может, по новости ее) казалась еще чем-то ценным, когда никто не понимал ясно, что значит это слово, но всякий был убежден, что "науки юношей питают" и что человеку, не знающему арифметики, грозит в жизни какая-то беда. Поэтому, не менее товарищей, не любили "палача" и учителя и надзиратели. У каждого из них Хмылов имел свое прозвище. Француз-учитель называл его "animal" и "tete remplie de foin"; {скотиной и головой, набитой сеном.} учитель-немец обращался к нему не иначе, как "o du, ungeschickter, unnutzer Khmiloff"; {} латинский учитель именовал его "canis rabiosus" {неловкий, бесполезный Хмылов.} и "pecus campī" {бешеная собака.}. С каким-то злорадством заставляли они его позировать, на потеху целому классу. Входит, например, на кафедру monsieur Menuet,

маленький поджарый французик, скорее похожий на извозчика, нежели на учителя, и первым долгом считает немедленно заполучить Хмылова.

- Eh bien, animal de Khmiloff! lisons! Paragraphe 44. Imparfait de l'indicatif! {Итак, скотина Хмылов! Читаем! Параграф 44. Прошедшее время изъявительного наклонения!}

Хмылов читает:

"Лорске жете петит, ме метр ете контант де моа" {Когда я был маленьким, учителя были довольны мною.}.

- Etre content de toi, cretin! de toi, qui es le bourreau de tes maitres! Animal, va! {Быть довольным тобою, кретин! тобой, палачом твоих учителей! скотина!}

- Господин Менует! не извольте ругаться!

- Ah! tu raisonne encore! Voyons, archi-imbecile, continuons: Paragraphe 49. Imparfait et passe defini! {Ах! ты еще рассуждаешь! Ну, архиглупец, продолжаем: параграф 49. Времена прошедшее несовершенное и прошедшее!}

Хмылов читает:

"Пьер легранд дежене а сенк ер дю матен, иль дине а миди е не супе па"... Е иль буве {Петр Великий завтракал в пять часов утра, обедал в полдень и не ужинал... И выпивал.}, - вставляет он неожиданно.

- Ou as-tu lu cela! reponds, triple animal! ou as-tu lu, que Pierre-le-Grand, se monarque des monarques, buvait? {Где ты прочитал это?! отвечай, трижды скотина! где ты прочитал, что Петр Великий, этот монарх из монархов, выпивал?}

- Се листоар {В истории.}, господин Менует.

- "Се листоар"? - передразнивает monsieur Menuet, - et si par extraordinaire l'on te donnait la verge aujourd'hui, au lieu de samedi, ca serait une autre histoire, triste idiot, va! Eh bien, voyons! cite-moi les exemples du paragraphe 52! "Que prenez vous le matin?" {В истории... А если бы в виде исключения тебе всыпали розог сегодня, вместо субботы, это была бы вторая история, идиот! Ладно, посмотрим! приведи мне примеры из параграфа 52! "Что едите вы утром?"}

"Палач" оживляется; он почти не смотрит в книгу и довольно правильно рапортует:

"Же пран юн тасс де те у де кафе авек дю пен блян; ле суар же манж юн транш де во у де беф у де мутон"... {Я выпиваю чашку чаю или кофея с белым хлебом, вечером съедаю кусок телятины, или говядины, или баранины...}

- Comme il y va! il sent bien qu'il s'agit de manger, l'animal! Mais acheve donc, acheve, imbecile infect et venimeux! Dis: "je vous remercie, madame, j'ai tant mange que je n'ai plus faim!" {Как он тут

разошелся! Он прекрасно понимает, когда дело идет о еде, скотина! Но кончай же, кончай, заразный, ядовитый дурак! Скажи: "благодарю вас, мадам, я столько съел, что больше не хочу!"}

- Же фен {Я голоден.}.

- Ah, tu as faim, vieux tonneau fele, impossible a emplir! tu as faim, hippopotame plein d'age! Va donc te mettre a genoux, execrable ganache. Nous verrons, si de cette maniere-la tu parviendras a te rassasier! {Ах, ты голоден, старая лопнувшая бочка, которую невозможно наполнить! Ты голоден, древний гиппопотам! иди, стань на колени, мерзкий тупица! Посмотрим, не насытишься ли ты таким способом!}

"Палач", не торопясь, встает с места, проходит мимо скамей при общем смехе товарищей и становится на колени, ворча сквозь зубы:

- Вы всегда меня, господин Менует, притесняете!

Даже законоучитель-батюшка и тот считал своим долгом слегка поковырять в Хмылове, или, как он выражался, "измерить глубины сего океана празднолюбия". А потому, обладая особливый даром прозорливства, он всегда огорошивал "палача" следующим вопросом:

- А нуте, кто из вас здесь дубиной прозывается? Вставай, дуб младый, сказывай, что есть ад?

Хмылов вставал и без запинки отчеканивал:

- Карцер есть слово греческое, и означает место темное, преисполненное клопами, у дверей коего дремлет сторож Мазилка!

- Так, младый дуб, так. Спасибо, хоть сам себе резолюцию прочитал...

Иди ж, душа, во ад и буди вечно пленна...

сиречь, изволь идти в карцер...

И "палач", нимало не прекословя, складывал тетрадки, дабы благополучно проследовать в карцер.

Только однажды, когда учитель-немец, по обыкновению, обратился к нему:

- Also doch, unnutzer palatsch Khmiloff... {Ну-с, бесполезный палач Хмылов...}

"Палач" вдруг пустил ему в упор:

- Колбаса!

Но и тут сейчас же струсил и безусловно сдался в плен надзирателю, заточившему его на неделю в карцер.

Даже дядьки - и те терпеть не могли "палача", так что, когда он, после обеда или ужина, приходил в буфетную, чтобы поживиться остатками от общей трапезы, то они всегда гнали его от себя, говоря: "Видно, мало нагребил у учеников? к дядькам грабить пришел!"



Родом "палач" был из Орловской губернии, и не без гордости говаривал: "Мы, орловцы, - проломленные головы", или: "Орел да Кромы - первые воры!" Отец его считался в числе лиц, "почтенных доверием господ дворян", то есть служил исправником и, вследствие непреоборимой горячности своего нрава, почти никогда не выходил из-под суда. Но даже и для этого закаленного в суровой школе уголовной палаты человека Максимка представлял что-то феноменальное. Поэтому, когда он привез "палача" в заведение, то следующим образом отрекомендовал его инспектору классов:

- Откровенно вам доложу, Василий Ипатыч, это такой негодяй... такой негодяй... ну, знаете, такой негодяй, каких днем с огнем поискать! Бился я с ним, хотел отдать в пудретное заведение, да по дворянству стыдно! Дворянин-с. А потому, ежели желаете оказать ему благодеяние, - дерите! Спорить и прекословить не буду. Мало одной шкуры, спустите две. А в удостоверение, представлю при сем в презент сто рублей.

- Я учиться не стану! воля ваша! - утрюмо проговорил "палач", стоявший тут же в сторонке и вслушавшийся в рекомендацию отца.

- Слышали-с? Изволили слышать, какое это золото! Дерите-с! сделайте милость, дерите-с! - убеждал отец инспектора, и затем, обращаясь к сыну, присовокупил: - А тебе, балбес, повторяю: если ты сто лет в первом классе просидишь - я и тогда не возьму тебя из заведения! Сто лет буду за тебя деньги платить, а домой - ни-ни! Так тут и околевай!

Хмылов был принят и, быть может, благодаря сторублевой рекомендации и ежегодным присылкам живностью и домашними припасами, не был изгоняем из заведения (в то время еще не существовало правила, в силу которого больше двух лет в одном и том же классе оставаться нельзя). Но с тех пор, как "палач" поступил в заведение, никто из родных никогда не посетил его, так что он казался совсем забытым. Денег ему тоже никогда не присылали, а так как казенная пища была совершенно недостаточна для питания его мощного организма, то он всегда был голоден.

Чтобы наполнить желудок, он прибегал или к обложению товарищей произвольными данями, или к грабежу. Система даней заключалась в том, что он заказывал трем-четырем ученикам (обыкновенно выбирая самых робких): кому полбулки, кому бутерброд с мясом.

- Слыхал я, - говорил он, - что бутерброды делаются таким образом: взяв два куска хлеба, положить их один на другой, а посредине поместить кусок жареной говядины...

Или:

- Другие за булку дают два листа бумаги, а я беру только полбулки, и не даю ничего...

И был уверен, что у него будет столько полбулок и бутербродов, сколько он пожелает.

Система грабежа заключалась в том, что в приемные дни, когда воспитанников посещали родные, "палач" становился у дверей приемной комнаты и с волнением прислушивался и приглядывался в замочную скважину. По форме передаваемых пакетов он угадывал об их содержании и затем, как хищный зверь в клетке, начинал беспокойно метаться по коридору, ведущему из приемной в класс. Ученики знали этот обычай и без прекословия вынимали кто пирог, кто яблоко, кто горсть орехов и отдавали "палачу". В эти минуты он был почти ласков. Он обирал дани в громадный бумажный тюрик, и по окончании грабежа отправлялся в класс на заднюю скамейку, где он имел постоянное пребывание и которая поэтому называлась "палачевскою". Там он раскладывал награбленное добро, рассортировывал его, и затем начинал истреблять.

- Господа! "Палач" жрет! - раздавалось по классу. Это был самый ненавистный для него крик, потому что,

вслед за тем, мальчишки, как бесенята, вскарабкивались на скамейки, подбегали к "палачевской", бросали в "палача" песком и книгами и вообще старались всячески портить "палачов корм". "Палач" огрызался и рычал, но не решался оставить место, потому что по опыту знал, что если он хоть на минуту погонится за кем-нибудь из своих мучителей, то корм его будет мгновенно расхищен. Поэтому он старался как можно скорее уничтожить награбленное и, когда процесс истребления приходил к концу, отяжелевал. В таких случаях он боком садился на лавке и посоловелыми глазами смотрел в упор на рассеявшуюся мелюзгу, улыбаясь, барабанил пальцами по конторке и как бы говоря: а нуте, не угодно ли будет пристать ко мне теперь!

По субботам "палача" секли. В заведении, где он воспитывался, существовало насчет этого очень своеобразное обыкновение. Каждую субботу, после всеобщей, учеников строили в два ряда по бокам рекреационной залы, и затем, по воцарении гробовой тишины, инспектор классов громким и ясным голосом вызывал на середину тех, которые получили, в течение недели, известное число нулей.

- Господин Хмылов! - обыкновенно начинал инспектор.

Хмылов выходил и исподлобья высматривал, какой урядник будет сечь, Кочурин или Купцов, так как Кочурин сек больно, а Купцов - нестерпимо. Сообразно с этим он возвышал или понижал температуру своего духа и затем, молча перекрестясь, ложил-

ся на скамейку.

- Шестьдесят! - командовал инспектор.

- Василий Ипатыч, не приказывайте держать! - уже лежа, обращался к нему Хмылов.

- Дядьки! оставить господина Хмылова лежать свободно!

- Ж-ж-ж-и-и! - раздавалось в воздухе.

Хмылов лежал вольно и не выпускал ни единого стога. Иногда он закусывал губу и с ожесточением царапал себе грудь, чтобы нейтрализовать одну боль посредством другой. Когда отсчитывали последний, шестидесятый удар, он проворно соскакивал со скамейки и как ни в чем не бывало принимался натаскивать на себя нижнее платье.

Между учениками ходила легенда, будто "Танька, ростокинская разбойница", еще в детстве выкупала "палача" в каком-то болоте, в мертвой воде, и с тех пор палачово тело сделалось твердо, как чугун.

Но в одну из суббот совершилось нечто совсем непредвиденное. Инспектор классов, сделав обычный парад, вдруг, сверх всякого чаяния, объявил:

- В течение целой недели господин Хмылов получил только один нуль, и потому сечен сегодня не будет. Во внимание к столь очевидному знаку милосердия божия, всем лентяям, с разрешения господина директора, объявляется на сей раз прощение! Господа! будьте признательны господину Хмылову.

"Палач" вдруг сделался героем дня. Его окружили и поздравляли со всех сторон, но он казался скорее сконфуженным, нежели обрадованным. Удивленно озирался он по сторонам и очевидно недоумевал, серьезно ли его поздравляют или нет. И сомнения его были далеко не безосновательны, потому что поздравления с каждой минутой делались шумнее и шумнее" и наконец превратились в явное пристаиванье.

- Палач! палач! - раздавалось со всех сторон.

И через минуту Хмылов, с налитыми кровью глазами, уже бежал без памяти по коридору, преследуемый криками беспощадной мелюзги.

У "палача" был только один друг - "Агашка".

Судя по кличке, можно бы предположить в этом юноше что-нибудь женственное, но в действительности было совершенно противное. "Агашка" был рослый детина, столь же сильный, как и "палач", и в то же время безусловно безобразный. Круглое, плоское и скуластое лицо его, снабженное маленькими глазками, широким ртом и мясистым носом, с раздувающимися ноздрями и почти без переносицы, было до такой степени оригинально, что сразу вызывало потребность окрестить обладателя этих сокро-

вищ каким-нибудь прозвищем. И вот, когда он в первый раз вошел новичком в класс, один, из учеников, взглянув на него, крикнул: "Господа! Агашка пришла!" И, должно быть, прозвище попало метко, потому что с тех пор новичок так и пошел гулять с ним по заведению.

Настоящая фамилия "Агашки" была Голопятов, а родом он был из мелкопоместных дворян той же Орловской губернии, откуда происходил и "палач". Это было первым поводом для сближения между ними.

Однажды, по окончании классов, встретившись с Голопятовым в коридоре, "палач" первый подошел к нему.

- Вы откуда? - спросил он его.

- Орловской губернии Мценского уезда.

- Значит, Амченина к нам на двор... так?

- Пожалуй.

- Ну, а я Кромской. Орел да Кромы - первые воры. Будем знакомы.

Вторым поводом к дружбе была физическая сила, которою несомненно обладал "Агашка". До поступления его, "палач" чувствовал себя одиноким; теперь он получил возможность тягаться, бороться и вообще производить всяческие эксперименты силы. Как только звонок возвещал рекреацию, оба спешили в зал и вступали в единоборство. "Агашка" был прост и потому бился чисто, так сказать, первобытно; "палач" был лукав и потому увертывался, извивался, пользовался слабыми сторонами противника и прибегал к подножкам. Поэтому первый был почти всегда побеждаем, но второй все-таки понимал, что, не ровен случай, и "Агашка" может искалечить его. Уставши бороться, они ходили взад и вперед по коридору, разговаривая о силе, приводя примеры силы и предаваясь самому фантастическому лганью по поводу силы.

- У меня дядя телегу за колесо на всем скаку останавливает! - хвастался "Агашка".

- А у меня был прадедушка, так тот однажды у черкасского быка рог изо лба вывернул! - отзывался "палач". - Да он и фальшивую монету делал! прибавлял он совсем неожиданно.

Когда и этот разговор истощался, они молча сравнивали свои кулаки: и тот и другой выставит кулак, и меряются.

- Только у меня, брат, костистее, - молвит "палач", - мой кулак настоящий... сухой!

- Ну, брат, и моим можно душу из оглоблей вышибить! - возразит "Агашка".

И опять начнут молча ходить, покуда опять придет охота мерить кулаки.

Иногда разговор разнообразился.

- Ты как полагаешь, Хмылов? - спросит "Агашка", - кто шибче дерет, Кочурин или Купцов?

- Кочурин шибче, Купцов больней. У Кочурина рука вольная, и сердце играет; у Купцова рука словно как не своя, да и дерет он словно как не сам. Кочурин до тридцати ударов рубцы только кладет, а Купцов с первого удара кожу просекает. Купцова я боюсь.

- Да, это так; Купцов - это, я тебе скажу...

- Нет, прошлого года, как-то раз оба урядника больны или в отлучке были, так меня, вместо них, ламповщик драл... вот, я тебе скажу, драл!

- Больно?

- Шкуру спустил! Довольно тебе сказать, что даже я обезумел! Как только это шестьдесят сосчитали, так я, сам уж не помню как, при всех и при инспекторе, сейчас ему в зубы!

Молчание.

- Гм... Нет, вот на площади, должно быть, дерут! - задумчиво молвит "Агашка".

Опять молчание.

- Слыхал я, что средство есть, - опять молвит "Агашка".

- Это маслом натираться? Пробовал я.

- Лучше?

- Оно, конечно... как не лучше! Скользит! Да только инспектор-шельма сейчас же рассмотрел - так и сыграл я вничью. Нет, да это что! хорошо бы вот в юнкера поступить!

- Да, дранья-то бы не было!

- В юнкерах-то? Что ты! опомнись! да там так дерут... так дерут! А уж как бы начальство осталось довольно! То есть, скажи только: жги! рви!.. ну, то есть, так бы...

По временам друзья подходили к уряднику Кочурину, который через день дежурил в коридоре.

- А что, Кочурин, твоя, что ли, очередь драть в следующую субботу? интересовался "палач".

- Моя.

- То-то; ты, брат, не очень!

- Распишу - ничего!

- Нет, брат, я тебе говорю, ты не очень! потому, брат, я и сам... я, брат, и в зубы...

По воскресеньям друзья чувствовали какую-то особливую, бешеную скуку. Оба были забыты родственниками, оба никуда не выходили из стен заведения. Наборовшись досыта, пересказавши друг другу всевозможные анекдоты о силе, они начинали придумывать, как бы уразнообразить день.

- Косушку надо, - решал "палач".

- Можно бы и полштоф, только деньги как? Слимонить нынче трудно: начали, подлецы, запирать.

- Вот я намеднись грамматику Цумпта нашел, - разве ее в мытье снести?

- Ладно. Валяй, Хмылов, к Кольчугину! А коли еще Евтропия на придачу захватишь - два двугривенных... это как свят бог!

"Палач" перелезает через ограду сада и, в одной куртке, без шапки, бежит вон из заведения. Через час друзья уже приютились где-нибудь в темном углу, распивают сивуху и заедают ее колбасой.

- Ты больше ешь, Голопятов, - уговаривает "палач", - потому ежели теперича пить да не есть - беда!

- Да, это так, при вине без еды нельзя! - отвечает "Агашка". - У меня тоже дядя был, так тот ничего не ел, только разве маленький кусочек хлеба с солью, а все пил, все пил; так поверишь ли, под конец он словно ртутью налитой сделался! Руки дрожат, голова мотается... страсть!

Через два часа оба спят как убитые, растянувшись на лавке.

Однажды в год, перед каникулами, за "палачом" приезжал рассыльный из земского суда, в кибитке, запряженной парюю тощих обывательских лошадей. Ученики чутьем угадывали этот приезд, и через минуту рассыльного уже со всех сторон обступала мелюзга.

- За "палачом" приехал?

- Танька, ростокинская разбойница, жива?

- В каком лесу вы нынче на промысел выходите? Рассыльный тарасил глаза, не понимая сыплющихся на него вопросов.

- За кем ты приехал? - переспрашивал его кто-нибудь вновь.

- За барчонком, за Максимом Петровичем.

- Ну, он самый - "палач" и есть. А отец у него тоже палач? И мать палачиха?

Такого рода сцены повергали Хмылова в неописанное волнение. Он за несколько недель начинал готовиться к ним и старался устроить как-нибудь так, чтобы выскользнуть из заведения незамеченным. Но это никогда ему не удавалось благодаря неповоротливости рассыльного и прозорливости учеников. Сконфуженный, выходил он в швейцарскую и, бросая направо и налево тревожные взоры, спешил как можно скорее юркнуть на улицу.

- Палач! - кричали ему вслед.

Кибитка, покачиваясь и подсакивая по мостовой, труса удаляется от стен заведения и, наконец, совсем выезжает из Москвы. Очутившись за городом, Хмылов поспешно снимает с себя куртку, с наслаждением вдыхает зараженный воздух заставы, и жадно

вглядывается в бесконечно вьющуюся впереди ленту большой дороги.

- Ишь ты, дорога-то! - говорит он.

- Да... большая! - отзывается с облучка рассыльный, - а позволь, Максим Петрович, узнать, за что они тебя палачом обзывают?

- Так... подлецы... не знают сами... жрать хочу... денег нет... грабить должен! - бессвязно бормочет "палач", и в голосе его слышится несвойственное ему дрожание.

"Палач" отворачивается и смотрит в сторону. В эту минуту его ненавистное прозвище жжет его.

- Какой я палач, Сергеич! - наконец произносит он, - я волк - вот что!

- Уж будто и волк?

- Да, волк. Голоден... всегда... вот как волк... ну, и травят!

Сергеич задумчиво покачивает головой.

- А ты бы, сударь, не все грабежом, - говорит он, - а иногда и лаской. Вот папеньку-то за грабеж ноне под суд отдали!

- Врешь?

- Всех отдали под суд: и папеньку, и дяденьку Софрона Матвеича. Софрон-то Матвеич, сказывают, таких делов наделал, что и каторги-то ему, слышь, мало.

- Вре-ешь?

Лицо Хмылова оживает и светлеет. Выражение этого лица как будто говорит: ай-да молодцы... Хмыловские!

- Верно говорю, - продолжает Сергеич. - Теперича из губернии целый кагал приехал Софрона-то Матвеича судить. Так он перед ними, перед чиновниками-то, словно вьюн на сковороде, - так и пляшет!

- Врешь! не станет дядя подличать! На каторгу, так на каторгу - разве на каторге не те же люди живут? Вот я хоть сейчас... что же!

"Палач" задумывается; в воображении его рисуется "Нижегородка", этапная тюрьма, конвой, угрюмые лица арестантов, и среди их он, звенящий кандалами и наручниками...

- Ну что, а Маришка как? - спрашивает он, выходя из задумчивости.

- Маришку бросить надо - вот что. Она нынче и легла и встала - все с Федькой-поваром!

- Ишь подлая!.. А Микешка-фалетур?

- Микешке барин наперед сказал, что только ему и озоровать что до первого набора!

- Вре-ешь?

Через шесть часов обывательские лошаденки кой-как дотаскивают путешественников до Подольска, где назначен первый рас- таг. Сергеич суетится около кибитки, вытаскивая из-под сена ку-

лек с залежавшеюся домашней провизией. "Палач" усматривает между тем висящий на гвоздике у облучка Сергеичев кисет с махоркой и потихоньку высыпает из него трубки на две табаку.

- Что ж ты не спросишь, здоровы ли папенька с маменькой? - укоризненно говорит ему Сергеич на постоялом дворе, где Хмылов успел уж расположиться под образами и с жадностью оплетает жареную курицу.

- А ну их! денег не дают!

Через четверть часа он стоит под навесом постоялого двора и целится камнем в курицу, копающуюся в навозе.

Курица испускает неистовое кудахтанье и, отчаянно хлопая крыльями, убегает.

----

В прежние времена небогатые помещики, при выборе усадебной оседлости, руководствовались следующими соображениями: во-первых, чтобы церковь стояла перед глазами, а во-вторых, чтобы мужик всегда под руками был. Отгородит помещик попросторнее местечко в ряду с крестьянскими избами (большей частью в низинке, чтоб зимой теплее было) и складет там дом не дом, берлогу не берлогу, вообще что-то такое, что зимой заносит снегом, а летом чуть-чуть виднеется из-за тына. Потом, спереди разведет палисадник, в котором не то что гулять, а повернуться негде, а сзади и по бокам настроит людских, да застольных, да амбарушек, да клетушек - и пойдет этот нескладный сброд строений чернеть и ветшать под влиянием времени и непогод, да наполняться грязью, навозом и вонью. Ни сада, ни воды, ни даже просто дали перед глазами. Только и вида, что церковь, сиротливо стоящая посреди площади, да направо и налево ряд покосившихся крестьянских изб, разделяемых улицей, на которой от навоза и грязи проезда нет. Зато барин знает, что в какой избе делается, что говорится, какой мужик действительно по болезни не выходит на барщину, какой только отлынивает; у кого отелилась корова, что принесла и т. д.

Такого именно сорта была усадьба Петра Матвейча Хмылова, стоявшая на самой середине небольшого села Вавилова. Тут все было пригнано к общему типу помещичьих усадеб средней руки: и почерневший одноэтажный дом с подслеповатыми окнами и ветхою крышей, и классический палисадник, и великое множество клетушек, в которых десятками лет скоплялся и сберегался никому не нужный хлам. Внутри дома дрожащие половицы, стены, оклеенные побеленной газетной бумагой, мебель, на которой жутко сидеть, и великое изобилие бутылей с настойками и наливками, расставленных по окнам. Вне дома отсутствие воды, тени, всего, на чем мог бы отдохнуть глаз. Куда ни взглянешь -



езде навоз и грязь. Даже пруд, выкопанный в стороне на площади, - и тот покрыт плесенью и пухом домашней птицы, а по берегам до безобразия изрыт и загажен.

В усадьбе Петра Матвеича живут три поколения. Он сам с женою Ариной Тимофеевной, два сына-подростка (независимо от "палача", с которым мы уже познакомились) и старый дедушка Матвей Никанърыч. Братец Софрон Матвеич владеет собственной усадьбой, стоящей на той же площади, в нескольких десятках саженей от главной усадьбы.

Дедушке за восемьдесят лет; он совсем выжил из ума и помнит одно слово: рви! Лет двадцать назад (в конце двадцатых годов) он сотворил какую-то совершенно неслыханную штуку, за которую быть бы ему на каторге, если б добрые люди не надоумили его сказаться умершим. Вздумано - сделано; добыли форменное свидетельство, что такого-то числа и года боярин Матвей Никаноров Хмылов волею божией помре, представили документ в уголовную палату - и живет с тех пор старик, в виде контрабанды, на усадьбе у старшего сына Петра Матвеича.

Дедушка, несмотря на преклонные лета, старик бодрый и блаженной. Взамен потухшего ума в нем развилась назойливая проказливость, которая никому не дает покоя. С утра до вечера он неутомимо шнырит из комнаты в комнату, тут отдерет от стены кусок обоев, там - обмажет мебель грязью или жеваным хлебом. И все время неумолкаемо бормочет и свистит. "Согрешили мы!" говорит, глядя на него, Арина Тимофеевна, и с какою-то безнадежностью ждет, что вот-вот он или дом подожжет, или битого стекла в наливку насыплет, или девке Маришке глаза песком засорит. Но домашние не решаются поступать с ним круто, потому что подозревают, что у него есть значительный куш, который он припрятал в то время, когда решил сказаться умершим. Куда он спрятал свое имущество - этого, несмотря на все старания, никто доискаться не может, но загадочность некоторых поступков полупомешанного старика дает полный повод предполагать, что действительно старик что-то скрывает. По временам он исчезает куда-то, словно сквозь землю проваливается, и всегда неожиданно, сюрпризом. Едва успеют хватиться старика, а он уж опять тут как тут, откуда-то возвращается и знай себе бормочет да посвистывает. Все это, разумеется, интриговало и даже мучило домашних, и Петр Матвеич, который даже в пьяном виде не переставал быть почтительным сыном, не раз приступал к отцу с объяснениями по этому предмету.

- Откройтесь! - говорил он, - откройтесь, добрый друг папенька! снимите с души вашей тяжкий грех!

Но старик бессмысленно смотрел на него и бормотал:

- Рви... сам... сам... сам рви!

Пробовал заводить речь об этой материи и Софрон Матвейч: этот старался подействовать на воображение старика не столько почтительностью, сколько угрозой.

- Папенька! - говорил он, - ведь ежели теперича допросить вас как следует - ведь вы скажете-с! как свят бог скажете-с!

Но на это увещание старик даже не произносил своего любимого слова "рви", а только слегка вздрагивал и изменялся в лице. Быть может, он смутно догадывался, что Софрон Матвейч принадлежит к числу тех людей, которые, раз решив в уме своем предприятие, ни над чем не задумаются, чтоб достигнуть его осуществления.

Наконец, прибегали и к третьему способу: заставляли детей следить за стариком. И действительно, младшему сыну, Ване, чуть-чуть не удалось напасть на след. Однажды он подсмотрел, как дедушка вышел из дома, как он перешел через двор, и потом, согнувшись и подобравши полы халата, стал куда-то прокрадываться позади скотных изб. Но покуда маленький шпион раздумывал, не лечь ли ему на брюхо, чтоб ловчее подползти к старику, последний точно чутьем догадался, что за ним следят. Он внезапно выпрямился во весь рост, как ни в чем не бывало повернул назад, и, поравнявшись с внуком, поднял его за плечи на воздух...

С тех пор дедушку оставили в покое и с каким-то тупым недоумением ожидали, что вот-вот или умрет старик, или переменят форму ассигнаций - и тогда пиши пропало. Софрон Матвейч с особенной настойчивостью указывал брату на эти случайности.

- Покаетесь, братец, да поздно будет! - говорил он своим хнычущим, вкрадчивым голосом, звук которого был до такой степени мучителен, что Арина Тимофеевна, несмотря на двадцать пять лет жизни в семействе Хмыловых, не могла его слышать без того, чтоб в ней не упало сердце.

Петр Матвейч, вместо ответа, как-то алчно вздрагивал и дико вращал глазами.

- Я сам родителя моего чту, - продолжал между тем (Эофрон Матвейч, - и каждый день, утром и вечером, возношу сердце об их долголетию. Однако, и за всем тем, с своей стороны мнением полагал бы, что ежели теперича, без ущерба для их здоровья, на время их в чулан запереть, или, например, в пище сокращение допустить...

Петр Матвейч, не дослушав до конца, вскакивал как ужаленный и с простертыми дланями устремлялся вперед, сам не зная куда.

- Куда ты? куда? на убийство собрался? - кричала ему вслед Арина Тимофеевна, - ишь тебя "зуда"-то раззудил! И глаза, как у

быка, кровью налились!

Но старик и сам предупреждал возможность "убийства". Почув, что об нем идет речь, он скрывался в чулан, или на сеновал, или в другое неприступное место, и оставался там до тех пор, пока наступившая в доме тишина не удостоверяла, что Софрон Матвейич ушел восвояси, а Петр Матвейич, окончательно ошалелый от водки, заснул где-нибудь богатырским сном.

Так шли дни за днями, и старик продолжал жить, оставаясь загадкой для целого семейства. Никто не мог сказать наверное, в уме ли он или не в разуме, а также при чем он состоит: при настоящем ли капитале, заключающемся в ассигнациях, или при кипе старой газетной бумаги, которую он, быть может, и сам принимал за кипу ассигнаций.

Петра Матвейича многие разумели злым человеком, но, говоря по правде, он был ни добр, ни зол, а только чрез меру лих. Рассудка он не имел, но, несмотря на свои с лишком пятьдесят лет, обладал замечательно горячим темпераментом, которым и руководствовался во всех своих действиях. Это была, так сказать, талантливая скотина, готовая бежать, лететь в огонь, в воду, в преисподнюю, бить, сокрушать, везде, всегда, во всякое время, на всяком месте. Только на небо влезть он не мог, да и то потому, что, читая каждый день "иже еси на небеси", полагал, что там живет какое-то особенное, уж совсем высшее начальство, контролировать которое ему, исправнику, не по чину. Местные помещики знали эту всегдашнюю готовность Хмылова и, говоря об нем, выражались так: у нас исправник лихой! он подтянет! И он действительно с такою любовью предавался подтягиванию, что даже постоянного местожительства нигде, кроме тарантаса, указать не мог. Подобно буйному вихрю, рыскал он день и ночь по углам и закоулкам уезда, издавляя грозясь нагайкою и собственноручно творя суд и расправу. Он налетал как орел из-за сизых туч и сек. Затем летел дальше, опять сек и опять летел дальше. Что такое сечение? Какое ощущение вызывает оно в истязуемом субъекте? Эти вопросы никогда не являлись его уму, потому что и самое сечение было, в его глазах, только обрядом, входящим в круг его обязанностей как исправника. Он знал, что в одних случаях нужно надеть мундир, в других - сечь, и согласно с этим располагал своими поступками. "Запорю!", "в гроб заколочу!", "в бараний рог согну!" - таков был обычный способ его собеседования, и он произносил эти слова без сознательной злобы, хотя голос его гремел как труба, глаза таращились и у рта показывалась пена. Он не понимал, чтоб исправник мог говорить, не обрывая, не простирая рук и не сквернословя. В сквернословии видел он почти обязательную формальность, соблюдение которой влекло за собой для

него названия: "молодец" и "лихой", несоблюдение - названия: "мямля", "тряпка" и "баба".

- Уж это, батюшка, должность такая, - объяснял он, - повесь-ка я на стену вот этот инструмент (он указывал на нагайку) - голову на отсечение отдаю, что через два дня весь уезд вверх ногами пойдет!

И действительно, никогда, даже дома, не выпускал нагайки из рук.

Взятку он любил, но никогда не подбирался к ней, как тать в ночи, не сочинял предварительных проектов насчет ее обретення, не каверзничал, а брал с маху. И притом брал исключительно с имущих, а неимущих только сек. Сечение представляло, в его глазах, прерогативу; взятка была лишь уступкой мамоне, делаемой нередко даже в ущерб прерогативе. Поэтому он и взятку старался облечь в форму грабежа. Нужно денег - летит на гуртовщика, потом летит на лесопромышленника, потом на содержателя крупчаткой мельницы, и всегда берет без дела, без повода, здорово-живешь. Нет нужды в деньгах - оставляет толстосумов в покое, а неимущих продолжает сечь. Иногда он выказывал даже замечательное бескорыстие и делал в назначенных к получению кушах значительные и ничем не мотивируемые сбавки. Но это допускалось лишь в тех случаях, когда пациенты льстили его самолюбию, то есть говорили ему в глаза, что он лихой, что он в одном своем кулаке держит целый уезд, и что не будь его - им пришлось бы тошно. Толстосумы знали эту слабую струну исправника и пользовались ею.

- А я, сударь, был намерен в Латышове, - говорит, например, промышленник, на которого наложена сторублевая дань, - ну, и подивился-таки!

- А что?

- Шелковые стали, с тех пор как ручки-то вашей отведали!

- То-то; вас не подтяни, вы все разбойниками будете!

- Что говорить! по нашем брате палка плачет - это верно!

- Ну, черт с тобой, давай пятидесятную... живо! Благодаря этому обстоятельству у него никогда не было лишних денег, да и те, которые были, он любил пропить, прогулять и вообще рассорить более или менее непроизводительным образом.

- Я, - говорил он, - не то, что другие; я с народа беру, да в народ же и пуцаю.

Водку он пил не запоем, но во всякое время и столь же много, как бы запоем. Поэтому, хотя он никогда не бывал окончательно и безобразно пьян, но постоянно находился в тумане и никогда отчетливо не понимал, куда тычет руками. Там, где он "раскидывал свой шатер", происходило одно из двух: либо сечение, либо

гульба. Поэтому господа дворяне выражались, что он проживает свои доходы как благородный человек, а толстосумы даже называли его душевным человеком.

- У нас исправник - душа человек! - говорили они, - он с тебя возьмет, да он же и за стол рядом с собою посадит!

Перед начальством Петр Матвееч трепетал. Но не просто трепетал, а любил трепетать, трепетал не только за страх, но и за совесть. Он страстно любил встречать, провожать, устремляться, застывать на месте, рапортовать, а потому всякий проезд начальства, хотя бы и не совсем того ведомства, к которому он принадлежал, был для него торжеством. Прознав о предстоящем "проследовании" через его уезд, он загодя приходил в волнение, скакал по дорогам, свидетельствовал ямских лошадей, заготовлял квартиры, сеял направо и налево мужицкие зубы, и даже прекращал на время употребление водки, так что самое лицо делалось у него белое. Подстерегши начальство, под дождем и морозом, на границе уезда, он вытягивался в струну, замирал и рапортовал; потом кидался в телегу и как бешеный скакал вперед, оглашая воздух гиканьем.

- Мы, батюшка, перед начальством - все одно что борзые-с, - говорил он, - прикажут: разорви! - и разорвем-с!

И точно, слушая, как он говорил это, видя, как он вращал при этом глазами и как лицо его становилось из красного фиолетовым и даже синеватым, невозможно было усомниться ни на минуту. Разорвет.

Начальство знало это и хвалило Хмылова.

- Хмылов, - выражалось оно, - это лихой! этот подтянет!

Даже крестьянские мальчишки и те, наслушавшись расточаемых со всех сторон Хмылову похвальных аттестаций, говорили:

- Вот погоди! ужо проедет исправник - он те подтянет!

Дома Петр Матвееч бывал только наездами, на сутки, на двое, не больше. Налетит, перевернет все и всех вверх дном - и опять исчезнет недели на две. Он сам охотно сознавался, что ничего не смыслит в деревенском хозяйстве, и ставил это себе не в порок, а в достоинство.

- Какой я деревенский хозяин! - выражался он, - я хозяин уезда - вот я кто!

Поэтому, как бразды хозяйственного управления, так и воспитание детей он вполне предоставил жене, требуя только, чтобы в случаях телесной расправы с детьми она не сама распоряжалась, а доводила о том до его сведения.

- Вы, бабы, - говорил он, - не сечете, а только мажете. А их, разбойников, надо таким манером допросить, чтоб они всю жизнь памятовали.

И так как дети действительно росли разбойниками, то каждый налет Петра Матвеича в деревню неизменно сопровождался экзекуцией. "В гроб ракалий заколочу!", "Запорю мерзавцев!" - вот единственные проявления родственных отношений, которые были обычными в этой семье. Но опять-таки и здесь на первом плане стояла не сознательная жестокость, а обряд. Петр Матвеич помнил, что он и сам рос разбойником, что его самого и запарывали, и в гроб заколачивали, и что все это, однако ж, не помешало ему сделаться "молодцом". А следовательно, и детям те же пути не заказаны. Растут, растут разбойниками, а потом, глядишь, и сделаются вдруг "молодцами".

К отцу Петр Матвеич относился довольно равнодушно. Хотя предположение о таинственном капитале и волновало его, но волновало лишь потому, что этим капиталом все домашние мозолили ему глаза. Но старик был к нему почти ласков и, по-видимому, даже искал у него защиты против ехидства Софрона Матвеича. В присутствии старшего сына дедушка прекращал свои проказы, переставал бормотать, свистать и наполнять дом гамом. По временам он даже останавливался перед Петром Матвеичем и с какою-то непривычною ему задушевностью в голосе произносил:

- Рви!

- Помилуйте, папенька, я свои обязанности очень знаю! - Нажал на это Петр Матвеич.

Но старик оставался непреклонен и повторял:

- Рви! рви! рви!

Петр Матвеич на минуту задумывался, потом внезапно приказывал запрягать тарантас и летел навстречу гурту. В эти дни исправник был неумолим и грабил все, что положено, не поддаваясь ни резонам, ни лести, не Арина Тимофеевна была женщина смиренная, но отличалась тем, что даже в домашнем обиходе никогда не могла с точностью определить, чего ей хочется. Может быть, поест, может быть, испить, а может быть, и просто по двору побродить, случалось это с нею с тех пор, как Петр Матвеич (молодые еще они тогда были) однажды ударил ее под пьяную руку по темени.

- Как ударил он, это, меня по темю, - рассказывала она всегдашней своей собеседнице, попадье, - так с тех пор и нет у меня понятия. Хочется чего-то, и сама вижу, что хочется, а чего хочется - не разберу.

Уже смолоду она была рохлей, а с годами свойство это возросло в ней до геркулесовых столпов. День-деньской она слоняется то по дому, то по двору, то по деревне, там подберет, тут погрозит, и все как-то без толку, словно впросонье. Идет неведомо куда и так безнадежно смотрит, как будто говорит; да уйдите вы, распосты-

лые, с моих глаз долой! Потом на минуту встрепенется и примется "настоящим манером" хозяйничать. Старосту назовет кровопивцем, повара - вором, девку Маришку - паскудою. Совершивши этот подвиг, опять притихнет, сядет у окна, расстегнет у блузы ворот и высматривает, не прошмыгнет ли через двор Маришка-поганка на кухню к подлецу Федьке.

- И то бежит! бежит! - вдруг восклицает она, стремительно вскакивая с места и с каким-то жадным любопытством приглядываясь, как Маришка с быстротою ящерицы скользит по двору, скользит, скользит и наконец проскальзывает в отворенную дверь кухни.

Или вдруг встревожится, отчего детей долго не видать, а они уж тут как тут. Одного ведут за ухо, потому что у петуха крыло камнем перешиб; другой сам бежит с расквашенным носом.

- Смерти на вас нет! - криком крикнет Арина Тимофеевна и тотчас же распорядится: одному даст щелчок в лоб, другому вихор надерет.

Такого рода хозяйственные и воспитательные распоряжения исчерпывали собой весь день. Затем, вечера Арина Тимофеевна проводила в обществе попадьи и жаловалась ей на судьбу.

- Нет моей жизни каторжнее, - говорила она, - всем-то я припаси! всем-то я приготовь! И курочку-то подай! и супцу-то свари! все я! все я!

Попадья покачивала головой и бросала кругом суровые взгляды, как бы выражая ими неодобрение домашним, причиняющим столько тревоги Арине Тимофеевне.

- Сколько старик один слопает, так это бог только видит! бог только видит! - продолжала хозяйка, ударяя себя кулаком в грудь, - словно у него не брюхо, а прорва! Так и кладет! так и кладет! Набегаются это день-деньской по углам-то, да пуще, да пуще!

- Слыхала я, сударыня, насчет крестов, которые каждому человеку при рождении назначаются... - вставляла свое слово попадья.

Но Арина Тимофеевна не слушала ее и продолжала:

- И все-то мне тошно! все-то мне постыло! Вот хоть бы Маришка-поганка. Так хвостом и вертит, так и вертит! Каково мне это видеть-то!

Жалобы лились, как река, до тех пор, пока сам собою не истощался несложный репертуар их. Тогда Арина Тимофеевна прощалась с попадьею, удалялась в спальню и приносила Маришке окончательную жалобу.

- Измучилась я с вами, словно день-то кули ворочала. Теперь бы вот богу помолиться - ан у меня и слов никаких на языке нет. А завтра опять вставай! опять на муку мученскую выходи!

Если б у Арины Тимофеевны спросили, любит ли она мужа, она наверное ответила бы: как не любить! ведь он муж! Если б спросили, любит ли она детей, она ответила бы: как не любить! ведь они дети!

- Щемит мое сердце по них! - говорила она, - так-то щемит! так-то ноет!

Но в чем именно проявлялось это материнское щемление сердца - этого, конечно, не мог бы определить мудрейший из мудрецов. Иной раз щемит сердце оттого, что севрюжинки соленьей захотелось; иной раз оттого, что кваску хорошо бы испить; иной раз оттого, что вдруг об детях дума в голову западет.

- Это у тебя все от праздности да от жиру! - молвит ей в укор Петр Матвейч, когда она чересчур разохается.

- Как же, с жиру! дети-то, чай, мои! - огрызнется она. Потом на минуту смолкнет, и опять начнет у ней сердце щемить.

- Вот, - скажет, - хорошо, кабы у нас дом полная чаша был!

- Это еще что?

- Да так... все, чего ни потребууй, все бы сейчас... яичка бы захотелось - яичко бы на столе! Говядинки... супцу... все бы сейчас, в секунд!

- Вот дуру-то бог послал!

- По-твоему, я дура, а по-моему, ты дурак. Чем ругаться-то, лучше бы отца допросил, куда он миллион свой спрятал?

Среди фантазий, беспорядочно бродивших в голове Арины Тимофеевны, мысль о том, что у дедушки есть какой-то куш, который он неизвестно куда запрятал, в особенности угнетала ее. Она носилась с этой мыслью с утра до вечера, ложилась с нею спать и, наконец, даже бредила ею во сне. Начав с одной тысячи, воображение постепенно увеличивало и увеличивало вождеденную сумму и, наконец, остановилось на миллионном размере. Дальше Арина Тимофеевна не умела считать.

- А ты верно знаешь, что миллион? - спрашивал ее Петр Матвейч. - Как же не верно! Сколько лет жил! сколько грабил!

- Ах, дура, дура!

- Ты умен! Другие на таких местах поди какие капиталы наживают, а он, блаженный, все двугривенничками да пятиалтыничками, да и те деревенским девкам просорит!

Разговоры эти обыкновенно кончались тем, что Петр Матвейч выскакивал из-за стола и приказывал закладывать тарантас.

Что могло сделаться из детей в подобном семействе - это понятно само собой. Уже в силу утвердившейся семейной номенклатуры, это были "пащенки", "выродки", "балбесы" - и ничего больше. Росли они по-спартански, то есть кувыркались по двору, лазали по деревьям, разоряли птичьи гнезда, дразнили козла, науськи-



вали собак на кошку и по временам даже воровали. С малых лет их головы задумывались над тем, что хорошо бы в кучера или в рассыльные идти да иметь в руках нагайку ременную и хлестать ею направо и налево, "вот как папенька хлещет".

- Какого им дьявола воспитания! - говорила Арина Тимофеевна, - и так, балбесы, походя жуют!

- Я их воспитаю... а-р-р-р-апником! - прибавлял с своей стороны Петр Матвеич.

На десятом году старшего сына, Максимку (он же и "палач"), засадили за грамоту. Призвали сельского попа, дали мальчугану в руки указку и положили перед ним азбуку с громаднейшими азами.

- Ты его, отец Василий, дери! - рекомендовал при этом Петр Матвеич, ведь он у нас идол!

И действительно, Максимка оправдывал это прозвище. Исподлобья смотрел он на классный стол, словно упирающийся бык, которого ведут под обух.

- Ишь ведь как смотрит! чует, пащенок, чем пахнет! Я тебя... воспитаю!

И началась для Максимки та ежедневная мука, которая называется грамотою.

- Аз-буки-веди, бря, вря, гря, дря, жря, - мрачно твердил он по целым часам, ковыряя в носу и бесцельно озираясь по сторонам.

- Ты в книгу-то нос уткни! по сторонам-то не глазей! - внушал отец Василий.

Максимка с каким-то бесконечно-скорбным выражением в лице устремлял глаза в книгу, как будто говорил: вот вещь, постылее которой нет ничего на свете!

- Я, отец Василий, в кучера хочу! - вдруг произносил он.

- Вот вырастешь - может, и в пастухи определяют!

- А по мне, хоть и в пастухи! у меня тогда большой-большой кнут будет!

- Ладно. Это когда-то еще будет. А теперь тверди: лря, мря, нря... ну, что еще в носу нашел!

- Лря, мря, нря, - угрюмо повторял Максимка, - а ежели я буду пастухом, зачем же мне грамота?

- И пастуху нужна грамота. Грамотный-то и кнутом с пониманием хлещет.

- Врете вы все. Вон Антипка, у него болона на лбу, а как он кнутом щелкает! Его все коровы знают.

По временам в "ученье" вмешивалась Арина Тимофеевна.

- Каков у нас идол-то? - спрашивала она, зайдя в классную комнату.

- Башка! - отвечал обыкновенно отец Василий, глядя Максиму по голове.

- Ну, и слава те господи! Может, хоть один с разумом выйдет!

В два года Максимка выучился читать и писать, грамматику до глагола и первые четыре правила арифметики. Это так ободрило Арину Тимофеевну, что она начала даже заявлять желания несколько прихотливые.

- Ты бы его, батюшка, языку-то тому выучил! - говорила она отцу Василью.

- Какому же, сударыня, языку?

- А вот тому-то, что не говорит-то! ну, вот, что мертвый-то!

- Латинскому? что ж... никак, я его еще помню?

Но Петр Матвеич прямо назвал эти затеи преувеличенными и объявил, что везет Максимку в "заведение". Будущий "палач", услышав об этом решении, даже повеселел.

- Да ты, никак, балбес, обрадовался? - укоризненно заметила ему Арина Тимофеевна.

- Что ж дома-то! дома тиранят, и там будут тиранить! так лучше уж там! Я в кучера убегу.

Максимка был сдан в "заведение" и забыт. Через четыре года очередь "ученья" стояла уж за Федькой-разбойником, а там, гляди, попевал и Ванька-воряга.

- Всех-то всему научи! всем-то всего припаси! - жаловалась Арина Тимофеевна.

Такова была картина, которую представляло семейство Хмыловых. Но чтобы сделать ее вполне ясною, необходимо сказать хоть несколько слов о другом представителе этой фамилии, о братце Софроне Матвеиче.

Софрон Матвеич был младший брат и представлял совершенную противоположность Петру Матвеичу. Если в основании всех поступков последнего лежала необузданность темперамента, то в характере первого преобладающей чертой являлась сознательная жестокость и какое-то неизреченное ехидство. Петр Матвеич буянил, дрался и шел напролом; Софрон Матвеич каверзничал, извивался и зудил. Петр Матвеич имел голос резкий, не уступавший протодиаконскому, и способный разбудить самую сонную окрестность; Софрон Матвеич говорил тихо, вкрадчиво, словно хныкал. Когда Петр Матвеич говорил: "Папенька! как почтительный сын убеждаю вас...", то исход его речи был неизвестен: может быть, разорвет папеньку на части, а может быть, плюнет и отойдет; когда же Софрон Матвеич начинал: "Позвольте мне, добрый друг, папенька...", то исход этой речи был известен заранее, ибо всякому было понятно, что "зуда когда-нибудь непременно вызовет старика". По внешнему виду Петр Матвеич был высок, коре-

наст и постоянно грозил испытать на себе действие паралича; напротив того, Софрон Матвейч походил фигурой на отца, то есть был мужчина среднего роста, юркий, сухой и несомненно живучий, ходил неслышными шагами, крадучись, и несколько пригибал голову, как будто уклонялся от угрожавшего ему откуда-то удара. Петр Матвейч относился к церкви легкомысленно и редко бывал у службы; напротив того, Софрон Матвейч был к церкви усерден, молился всегда на коленях и притом со слезами. В довершение всего, Петр Матвейч имел должность видную и блестящую, а иногда даже позволял себе мечтать о возможном преуспевании на поприще администрации; напротив того, Софрон Матвейч занимал не блестящее, но солидное место уездного стряпчего, и никогда ни о каком преуспевании не мечтал.

Несмотря на тихий, приниженный вид, все боялись Софрона Матвейча. При взгляде на его задумчивое и как-то сомнительно улыбающееся лицо, всякому сейчас же невольно приходило на мысль: вот человек, который наверно обдумывает какое-нибудь злодейство. С просителями Софрон Матвейч был вежлив необыкновенно, даже мужикам говорил не иначе, как "голубчик" и "дружок".

- У тебя, дружок, дельце в суде? - спрашивал он таким голосом, что у просителя непременно сердце екнуло в груди.

И затем, заручившись "дельцем", он начинал играть с ним. То дополняет, то запросцы делает, то просто скажет: а ну, не трог, маленько поокруглится!

- Тебе чего, миленький? об дельце небось справиться пришел? Идет оно у нас, дружок, живым манером бежит! Подмазочки бы вот надо.

И, получивши подмазочку, кланялся, жал просителю руку и чувствительнейше благодарил.

Вообще, он облюбовывал и смаковал просителя, как артист, и потому не сразу обдирал его, а любил постепенно вызудить у него жизнь. Ежели читатель видал когда-нибудь, как ручная лисица поступает с подстреленной вороной, предназначенной ей на обед, то он может иметь приблизительное понятие о том, что происходило между Софроном Матвейчем и просителем. Лисица не набрасывается на свою жертву, не рвет ее на куски, а долгое время полегоньку то там, то тут покусывает. Куснет - и отскочит в сторону, даже задумается, словно забудет. Потом опять изогнется и со всех ног кинется к вороне, но, не тронув ее, отпрянет назад. Даже ворона смотрит на эти маневры с изумлением, как будто говорит: Христос с тобой! ведь я было испугалась! Потом опять скачок, и опять, и опять, - до тех пор, пока не вызудит у вороны жизнь. Тогда потихоньку оциплет и съест. Точно так поступал и

Софрон Матвейч: он разорял полегоньку, со вздохами, с перемежками, но разорял дотла, до тех пор, пока последний грош не вызудит. Тогда уж съест окончательно.

В усадьбу Софрон Матвейч наезжал редко. Человек он был холостой и хозяйством не занимался. Но всякий раз, как приедет в Вавиловку, непременно кому-нибудь что-нибудь да прокусит.

- Ты, Палаша, никак, опять с прибылью? - обращался он к судомойке Палаше, которая, по своему девичеству, каждый год носила ребят, - ах, дружок, как это грешно! знаешь, как бог-то за это наказывает? что блудницам в аду-то приуготовано? Ах, друг мой! друг мой! Ну, нечего делать, посадите ее, миленькие, в холодную, да кушать-то, кушать-то, дружки, не давайте!

Скажет и сотворит при этом крестное знамение.

Старик-дедушка при одном упоминании о Софроне Матвейче дрожал и изменялся в лице. Арина Тимофеевна тоже ненавидела его и уверяла, что Максимка весь в него уродился.

- Телом-то в отца, а нравом в Софронку. Софронка меня в те поры испугал, как я тяжела была, ну и вышел Максимка в него.

Даже Петр Матвейч крестился и вздрагивал, когда Софрон Матвейч, по обыкновению своему, неслышно подкрадывался к нему.

Один "палач" \_любил\_ дядю и говорил про него:

- Вот дядя - это человек! Этот не сробеет, даром что с виду тихеньким кажется!

----

"Палача" ждут дома без нетерпения; едва ли даже не позабыли, что за ним послано.

Да и не до него теперь. Весь дом в унынии; Арина Тимофеевна ходит из угла в угол как потерянная и вздыхает; разбойники дети благонравно сидят по местам; дворовые суетятся; на дворе то впрягают, то распрягают лошадей; мужики нагружают у барского крыльца подводы. Один дедушка свеж и бодр и пуще прежнего щелкает, свистит и горланит какую-то нескладицу. Сам Петр Матвейч каждую ночь приезжает в Вавилово вместе с Софроном Матвейчем. Приехавши, оба брата о чем-то шушукуются, потом делают распоряжения, вследствие которых на другой день опять нагружаются подводы, а к утру обоих и след простыл.

Рассыльный говорил правду: в город одновременно наехали две комиссии, из которых одна занималась исследованием действий исправника, а другая выворачивала наизнанку уездный суд. И так как члены комиссии нуждались в пище и питии, то вавиловские запасы видимо истощались. И вдруг, в такую критическую минуту, когда дома каждая ложка супа, так сказать, на счету, наезжает откуда-то совсем забытый сын.

- Вот уж правду-то говорят: гость не вовремя хуже татарина! - встречает Арина Тимофеевна "палача".

- Вы, маменька, только рот разинете, так уж и сморозите! - отвечает "палач", целуя у матери руки.

- Бесчувственный ты балбес! Слышал ли, по крайности, что с отцом-то делается?

- Как не слышать! об нем по всей дороге, от самой Москвы в рога трубят!

"Палач" отворачивается от матери и идет в залу. Но там дедушка, подкравшись на цыпочках к двери, уже сторожит внучка и в одно мгновение ока мажет его по губам какою-то дрянью.

- Убью! - пускает "палач" вдогонку старику, который, учинив проказу и подобрав халат, бежит во все лопатки в другие комнаты.

- А папеньку-то судить будут! - докладывает "палачу" Федька-разбойник.

- И дяденьку тоже! - присовокупляет Ванька-воряга.

- Цыц, бесенята... жрать хочу! живо! - командует "палач" и, в ожидании еды, направляет стопы в девичью.

Там стоит девка Маришка, нагнувшись к сундуку, наполненному полотнами, и отбирает из них те, которые потоньше.

- Маришка! жрать... смерть моя! - говорит он, придавая своему голосу почти мягкий оттенок.

- Не до вас теперь, барин! видите, дело делаю! - отвечает Маришка, и еще ниже нагибается к сундуку, чтобы не встретиться взорами с "палачом".

- Ты, подлая, с Федькой связалась?

- Еще с кем?

- Тебе говорят: с Федькой! Да ты не верти хвостом, а гляди на меня!

- Не образ!

- Говорят, гляди!

Маришка, все еще нагнувшись к сундуку, неохотно поворачивает к нему голову и, взглянувши, восклицает:

- Ах, да какие вы, барин, большие!

- То-то большой! ты смей только!

- Что сметь-то! сами-то, чай, давным-давно меня на какую-нибудь кузнечиху {Магазинная девушка с Кузнецкого моста, в Москве. В сороковых годах девицы эти не отличались особенной строгостью поведения. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)} сменяли!

- Ну, там на кого бы ни сменял! То я, а то ты! Тебе и по закону так следует. Да брось ты полотна-то! гляди на меня!

Маришка выпрямляется и сконфуженно становится перед ним.

- Что тут у вас делается? взбесились, что ли, даже поесть не допросишься?

- Ах, барин, столько у нас здесь напастей! столько напастей! Целая орава папеньку-то судить наехала, и все-то жрут, все-то пьют! кажется, что только добра папенька нажили - все туда, в эту прорву пойдет!

- А ты... с Федькой?

"Палач" рычит, но рычит не опасно. Маришка понимает это.

- Вы, барин, всегда... - говорит она, - и что только вам этот Федька поперек встал - диковина!

- Верти хвостом-то! Отец зол?

- И не подступайся! Намеднись Никешку чуть-чуть под красную шапку не отдали.

"Палач" крутит зачаток уса и сурово произносит:

- Ну, и черт с ним! я сам в солдаты уйду!

В эту минуту Арина Тимофеевна, как буря, влетает в девичью и расстраивает интересный tete-a-tete {}.

- Вырос, батюшка! - язвит она, - ума не вынес, а не хуже стоялого жеребца ржет! Смотри, как бы Федька-подлец не приревновал!

- Да и у вас, маменька, ума немного! - огрызается "палач", - вот покормить небось не догадаетесь!

- Надоело! - вдруг прибавляет он, зевая и потягиваясь, как будто и в самом деле он бог весть сколько времени толчется в этом доме, и все ему безмерно в нем опостылело.

В зале, на столе, "палача" ждут холодные объедки.

- Ишь ведь! куска живого нет! - озлобленно произносит он, жадно обгладывая кость, - Федька! нельзя ли, братец, цопнуть! спроворь!

Федька устремляется со всех ног в пространство; минуты через три он возвращается назад, бережно неся что-то под полой халата.

- Где бог послал? - спрашивает "палач", принимая из рук брата пузырьки с водкой.

- У Михея кучера из полштофа вылил.

- Ну, это, брат, не порядки. Кучер - он человек дорожный, ему без водки нельзя. Ты бы по окнам у родительницы пошарил.

- Смотрит... нельзя!

- Смотрит! а ты так воруи, чтоб смотрела, да не видала. А на будущее время, чтоб не были вы без дела, вот вам урою каждый день мне чтобы косушка была.

Насытившись и в пропорцию выпивши, "палач" отправляется на конный двор и встречается там с фореитором Никешкою. разговор наедине.

- Здорово, Никешка! - кричит он ему.

Никешка вытягивается во фронт и на солдатский манер произносит:

- Здравия желаю, ваше благородие-е-е!

- В солдаты?

- Точно так, ваше благородие-е-е!

- И я в солдаты уйду! надоело!

- Это точно, ваше благородие... прискучило!

- Хорошо, Никешка, в солдатах! Встал утром... лошадь вычистил... ранец... Щи, каша... ходи! вытягивайся! Ну, да ведь солдат работы не боится!

- Зачем, ваше благородие, работы бояться! Я теперича так себе сердце настроил, что заставь меня сейчас целому полку амуницию вычистить - так вот сейчас и-и!

- Солдат человек привышный! Солдат, ежели начальство прикажет: жги! рви! - он и сожжет и разорвет, все как следует! Потому, он человек подначальный!

"Палач" входит в конюшню и осматривает стойла.

- Трезорка жив? - Точно так, ваше благородие!

- И Полканка жив?

- Жив, ваше благородие!

- Как бы, братец, их на кошку науськать!

На зов Никешки, держа хвост по ветру, как бешеные, прискакивают два пса. "Палач" и Никешка становятся в углу конного двора и замирают в ожидании; псы, раскрыв пасти, нетерпеливо стоят около них, вертят хвостами и потихоньку взвизгивают. Наконец на заборе появляется кошка. Озираясь, крадется она по верхней перекладинке, поползет и остановится; потом почешет задней лапой за ухом, зевнет, оглянется, нет ли кого, и опять поползет. Наконец, не видя ниоткуда опасности, соскакивает на землю внутрь двора.

- Ату! ату его! - вдруг как безумные подхватывают "палач" и Никешка.

Псы летят; кошка сначала заминается, но через мгновение тоже летит, задеря хвост, к забору, цепляется когтями за столб, с быстротою молнии вспалзывает наверх, и как окаменелая становится там, оцетинившись и выгнувши спину. Псы стоят у подошвы забора и, не сводя с кошки глаз, виляют хвостами и жалобно взвизгивают.

- Стиксовали, подлецы! - гремит "палач", - Никешка! учить их!

Начинается учение: собак дерут за уши, бьют чем попало; воздух наполняется тем особенным собачьим визгом, которому в целом мире звуков нет ничего подобного. На шум прибегают братишки и старый дедушка. Последний стоит в воротах, подбрав полы халата, и сам, в каком-то ребяческом экстазе, визжит и

лает.

- Ты чего прибежал? - обращается "палач" к старику, - стары годы вспомнил?

- Он так-то людей в стары годы собаками травил! - вставляет свое слово Никешка.

- Рви! - огрызается дедушка и видимо сконфуженный удаляется восвояси, при общем грохоте веселящихся.

- Маришку-то, ваше благородие, оставить надо! - докладывает Никешка, когда гвалт унялся.

"Палач" злобно фыркает.

- Она теперича у Федьки-повара и легла и встала! А я вам, ваше благородие, другую ягоду припас!.. такая-то ягода! вот так уж ягода!

- Потрафляй, Никешка, потрафляй!

День кончился; "палач" окончательно вступил в свою домашнюю колею, то есть побывал и на конном, и на скотном, и на огороде. В десять часов вечера он ужинает вместе со всем семейством и на все вопросы матери угрюмо отмалчивается.

- Да отвечай, идол, произвели ли тебя в классы-то? - чуть ли не в десятый раз спрашивает его Арина Тимофеевна.

- Завтра отцу все скажу! - отвечает "палач", выходя из-за стола, и, ни с кем не простясь, удаляется в боковушку, где ему постлали постель.

Около полуночи он слышит впросонках звон колокольцев, стук подъезжающего экипажа, хлопанье ворот и дверей и, наконец, шаги отца в передней.

- Балбес приехал? - раздается голос Петра Матвеича.

"Ну, пошла пыльня в ход!" - мысленно произносит "палач", переворачиваясь на другой бок.

----

Отцу, однако ж, не до Максимки. На другой день, часов в шесть утра, он уже собрался в город и только мимоходом успел взглянуть на сына.

- Ну что, олух царя небесного, экзамена не выдержал? - поздоровался он с ним.

- Не выдержал-с.

- Повесить тебя мало, ракалия!

- Я, папенька, в юнкера желаю-с.

- Сказал: сгною подлеца в заведении! и сгною!

- Воля ваша-с.

Присутствовавший при этом Софрон Матвеич тоже счел долгом вступить в разговор.

- Что ж ты, душенька, у папеньки-то ручки не целуешь? а-а-ах, милый друг! у родителя-то! да ты знаешь ли, миленький, как



родителей-то утешать надобно?

- Я, дяденька, в военную службу желаю-с!

- И что это у вас, други милые, за болезнь такая: все в военную да в военную! все бы вам убивать! все бы убивать! А знаешь ли ты, голубчик, что штатский-то слово иногда пустит, так словом-то этим убьет вернее, чем из ружья! Вот она, гражданская-то часть, какова!

- Что с ним, с оболтусом, разговаривать! - прерывает Петр Матвейч медоточивую речь брата, - вот ужо свалим с рук губернтскую саранчу - я с тобой разделаюсь!

Дни идут за днями во всем их суровом однообразии, закаляя характер "палача". Он совсем не видит отца и, пользуясь этим обстоятельством, дает полный простор своим вкусам и наклонностям. С раннего утра он уже на конюшне, травит собаками кошку или козла, хлопает арапником, рассекает кнутом лубья, курит махорку, сплевывает в сторону и по временам устраивает, с целью грабежа, экспедиции на погреб, в кладовую и даже на крестьянские огороды.

- Скучно у вас, Никешка! - говорит он своему наперснику.

- Супротив Москвы как же можно!

- Я, брат, в Москве такие штуки удирал! такие удирал! с Голопятовым через забор в питейный бегали. Голопятова знаешь?

- Нет, таких не слыхали.

- Амченина-то Голопятова не знаешь? Ведь он тут, поблизости, в Амченске живет!

- Слыхали, что барин хороший, - лжет Никешка.

- Уж такой, брат, это человек! Мы с ним однажды Кубарихин дом вдвоем разнесли!

- Ишь ты! да уж где нам супротив Москвы!

- У вас даже питейного нет. Я со скуки хочу научиться табак нюхать.

- И от табаку тоже большого способья нет. Тошнит от него спервоначалу. А мы, барин, вот что: давайте в церкву ходить, да на крылосе петь.

- Чудесно. Вот это, брат, отлично ты вздумал!

"Палачу" так скучно, что он с жаром хватается за поданную Никешкой идею и немедленно приводит ее в исполнение. Он вербует в певчие младших братьев, дворовых и деревенских мальчишек, собирает их на задворках и производит спевки.

- Эк, Голопятова нет! вот бы рявкнул! - жалуется он. Мало-помалу, вместо лая и визга собак, воздух оглашается стихирами и прокимнами. Две недели кряду продолжается это новое столпотворение, и "палач" до того предается своей забаве, что делается почти неузнаваем. Только встанет утром - уже бежит на спевку;

пообедает, напьется чаю на скорую руку - и опять на спевку. Он похудел, сделался богомолен и богобоязнен, а мальчишек совсем смучил. По временам он даже помышляет, не пойти ли ему в монахи.

- Жрут эти монахи... страсть! - решает он, и тотчас сообщает о своем решении Никешке.

- Что ж, в монахи так в монахи! я к вам служкой пойду! - отвечает Никешка.

- Заживем мы с тобой... лихо!

Однако и эта затея недолго гнездится в уме его, потому что Арина Тимофеевна, узнав стороной об его планах, считает долгом объяснить ему, что монахам не дают мяса.

- Что лопать-то будешь? - спрашивает она его.

"Палач" смущается, ибо совершенно определенно сознает, что без мяса ему жить невозможно.

- Знаешь ли ты, балбес, как настоящие-то угодники живут? Одну просвирку на целую неделю запасет, голубчик, да и кушает! А в светло христово воскресенье яичко-то облупит, поцелует, да и опять на блюдо положит! А ведь тебе, олуху, мясища надобно!

- Врете вы все! не может человек без мяса жить!

- Еще как живет-то! живет да еще работает! Ты спроси вот у мужичка, когда он мясо-то видит! И как только бог его поддерживает! все-то он без мяса! Ни у него говядинки! ни у него курочки! Ничего.

Арина Тимофеевна впадает в чувствительность. Она готова разглагольствовать на эту тему хоть целый день, готова даже погоревать и поплакать, но "палач" сразу осаживает ее.

- Ну, распустили нюни! - восклицает он и, не дожидаясь дальнейших разглагольствований, уходит из дома.

Как ни огорчительно открытие, сделанное Ариной Тимофеевной, но оно западает в душу "палача" и производит перелом в его образе мыслей.

- Ну их к шуту! - говорит он Никешке, - мать говорит, что монахам мяса не дают!

- Что ж, можно и оставить!

Идея о монашестве предается забвению, спевки прекращаются, и на место их лай и визг собак опять вступают в права свои.

Среди этого содома Арина Тимофеевна ходит как потерянная и без перемежки вздыхает.

- Но отчего он такой кровопивец? - думается ей, - нет чтобы книжку почитать или в уголку тихонько посидеть, как другие дети! Все бы ему разорвать да перервать, да разбить да проломить!"

Бродит Арина Тимофеевна по комнатам и все думает, все думает. А на дворе гвалт, гиканье, свист, рев.

- Лаской, что ли, с ним как-нибудь! - наконец додумывается она и немедленно решается воспользоваться этой мыслью.

- Хоть бы ты, Макся, поговорил с матерью-то! - обращается она к сыну.

- Об чем мне с вами говорить!

- Ну все же, хоть бы утешил!

- Горе, что ли, у вас?

- Как не быть горю! у меня, Макся, всегда горе! нет моему горю скончанья! вот хоть бы об вас, об деточках... ну, щемит у меня сердце, щемит, да и вся недолга!

- Ну, и пуцай щемит!

- Или вот теперича кровопивцы из губернии налетели! что они пропили! что проели! Что было добра нажито - все повытаскали!

- И опять это дело не мое.

- Как же не твое, Макся... Ты хоть бы пожалел, мой друг!

- Меня, маменька, не разжалобите!

Арина Тимофеевна на минуту умолкает, видимо обиженная равнодушием сына.

- И что это за народ такой нынче растет... бесчувственный! - наконец произносит она, поглядывая в окошко.

- Вы, маменька, про чувства не говорите со мною. Я даже когда меня дерут - и то стараюсь не чувствовать. У нас урядник Купцов, прямо скажу, шкуру с живого спускает, так если бы тут еще чувствовать...

"Палач" постепенно одушевляется; он ощущает твердую почву под ногами.

- Один раз, - говорит он, - я товарища искалечил, так меня сам инспектор бил. Бьет это, с маху, словно у него бревно под руками, бьет, да тоже вот, как вы, приговаривает: бесчувственный! Так я ему прямо так-таки в лицо и сказал: ежели, говорю, Василий Ипатыч, так бьют, да еще чувствовать...

"Палач" от волнения задыхается, словно пойманная крыса; лицо его вспыхивает, ноздри раздуваются, и сам он от времени до времени вздрагивает.

- Меня вот товарищи словно волка травят, - продолжает он, - соберутся всей ватагой, да и травят. Так если б я чувствовал, что бы я должен был с ними сделать?

Он смотрит на мать в упор; глаза его сверкают таким диким блеском, что Арина Тимофеевна, не понявшая ни одного слова из всего, что говорил сын, пугается.

- Да ты обалдел, что ли, как на мать-то смотришь! - начинает она, но "палач" уже ничего не слышит.

- Теперича, к примеру, я хочу в юнкера поступить, - гремит он, - так ежели начальство мне скажет: "Хмылов! разорви!" - как, по-вашему? Я и в то время должен какие-нибудь чувства иметь? Извините-с!

"Палач" быстро поворачивается, и через минуту сугубый гвалт возвещает о благополучном прибытии его на конный двор.

Арина Тимофеевна опять задумывается, или, лучше сказать, в голову ее опять начинают заглядывать какие-то обрывки мыслей, которые она тщетно старается съютить. То вдруг заглянет слово "убьет!", то вдруг мелькнет: "Это он с матерью-то! с матерью-то так разговаривает!" Наконец она вскакивает с места и раздражается.

- Желала бы я! - восклицает она иронически, - ну, вот хоть бы глазком посмотрела бы, что из этого ирода выйдет!

Но вот и губернская саранча уехала восвояси; Петр Матвеич свободен и приезжает в Вавиловку отдохнуть.

- Теперь я с тобой, мерзавец, разделаюсь! - говорит он сыну, располагаясь в кресле с таким спокойным видом, как будто собрался приятно провести время.

- Вся ваша воля-с.

- Сказывай, ракалья, будешь ли ты учиться?

- Я, папенька, в полк желаю-с.

- Будешь ли учиться?

- Я, папенька, ежели вы меня в полк не отдадите, убегу-с!

- К-к-кан-налля!

Петр Матвеич вытягивается во весь рост, простирает руки, и до такой степени таращит глаза, что кажется, вот-вот они выскочат. "Палач" закусывает губу и ждет.

- Нагаек! - кричит Петр Матвеич задавленным голосом.

Экзекуция начинается: удар сыплется за ударом. Петр Матвеич бледен; в глазах его блуждает огонь, горло пересохло, губы горят.

- Убью! в гроб заколочу! - уже не кричит, а шипит он тем же задавленным голосом.

"Палач" словно замер: ни стоны, ни звука.

- Убить, что ли, сына-то хочешь! - вдруг раздаётся испуганный голос Арины Тимофеевны.

Она бледна и дрожит. Как кошка, вцепляется она в полы мужнина сюртука и силится его оттащить.

- Да оттащите! оттащите, ради Христа! Убьет... ах, убьет!

Петра Матвеича с трудом оттаскивают. Он шатается словно пьяный и смотрит на всех потухшими глазами, как будто не сознает, где он и что тут случилось. "Палач" страдает, но, видно, перемогает себя. Он встряхивает волосами, на губах его блуждает вызывающая и вместе с тем исполненная инстинктивного страха

улыбка. Но нервы его, очевидно, не могут выдерживать долее. Не проходит минуты, как лицо его начинает искажаться, искажаться, и, наконец, какое-то ужасное рычание вылетает из его груди, рычание, сопровождаемое целым ливнем слез.

- Плачь, батюшка, плачь! - увещевает его Арина Тимофеевна, - плачь! легче будет!

Но он ничего не слышит и стремглав убегает из комнаты.

----

Сцена сечения произвела на весь дом подавляющее действие. Все как будто опомнились и в то же время были до того поражены, что боялись словом или даже неосторожным движением напомнить о происшедшем. Прислуга ходит на цыпочках, словно чувствует за собою вину; Арина Тимофеевна потихоньку плачет, но, заслышав шаги мужа, поспешно утирает слезы и старается казаться веселою; бабушка мелькает там и сям, но бесшумно и испуганно, как будто тоже понимает, что теперь не то время, чтобы озоровать; младшие дети сидят смиренно и рассматривают книжку с картинками. В самом Петре Матвеиче заметна перемена: он похудел, осунулся, мало ест и совсем не пьет. "Палач" примечает это общее уныние и всячески старается эксплуатировать его в свою пользу. Он целые дни где-то скрывается; приходит домой только обедать, молча ест, выбирая самые лучшие куски, после обеда целует у родителей ручки, и тотчас же опять уходит вплоть до ужина.

- Здоров? - как-то не удержался однажды спросить его Петр Матвеич.

- Слава богу-с; гной теперича в ранах показался-с, - ответил "палач", но с такою язвительною почтительностью, что Петр Матвеич весь вспыхнул и чуть было опять не потребовал нагаек.

На самом же деле "палач" уже почти позабыл об экзекуции и проводит время на обычной арене своих подвигов, то есть на конном дворе. Но он сделался как-то солиднее в своих поступках, не бурлит, не хлопает арапником, не дразнит козла, а или заваливается спать на сеновал, или беседует с кучерами. Станет где-нибудь в углу, курит махорку, сплевывает и ведет разумную речь о коренниках, об иноходцах, о том, какие должны быть у "настоящей" лошади копыта, какой зад и т. д.

- У "настоящей" лошади зад должен быть широкий... как печка! потому у "ей" вся сила в заду! - утвердительно говорит "палач".

- Нет, вот я у одного троечника коренника знал, так у того был зад... страсть! - рассказывает кучер Михей, - это под гору полтора-раста пудов спустить - нипочем!

- По "саше"? - вопрошает "палач", подделываясь под тон своей аудитории.

- По саше и по простой дороге - как хошь! И сколько раз у него эту лошадь торговали, тысячи давали...

- Не продал?

- Ни в жисть! "Дай ты мне сто пудов золота, говорит, умру, а лошади не отдам!"

- И что за житье, ваше благородие, этим извозчикам - умирать не надо! вступается Никешка.

- На что лучше! - восклицает Михей, - еда одна что стоит! Щи подадут не продуешь! Иному барину в праздник таких не есть!

"Палач" задумывается и полегоньку посасывает трубочку. Воображение его играет; он видит перед собой большую дорогу, коренника, переступающего с ноги на ногу и упирающегося широким задом в громадный воз; офицеров, скачущих мимо; постоянный двор, и на столе щи, подернутые толстым слоем растопившего свиного сала...

- Папушник с медом есть будете? - слышится ему словно вприсонках.

- Вы бы вот что, ваше благородие, - прерывает его мечты Никешка, поклонились бы вы папеньке-то: наградите, мол, папенька, меня тройкой лошадей... А я бы вам, ваше благородие, в работниках послужил!

- Что ж, Никешка - парень ловкий! Он это дело управит! - подтверждает Михей.

- А уж какую бы мы тройку подобрали - на удивление! - продолжает Никешка, - ну, просто, то есть, и в гору и под гору - как хошь!

- А ты это видел? - осаживает его "палач", снимая куртку и показывая спину, усеянную подживающими рубцами, - так вот ты пойдя да и поклонись папеньке-то, а он тебе еще вдвое засыплет!

Или:

- Кучер, коли ежели он настоящий ездок, непременно должен особенное такое "слово" знать! - повествует Михей.

- Да, без этого нельзя! - подтверждает и "палач".

- Теперича, ежели ты в грязи завяз или в гору встал - только скажи это самое "слово", - хоть из какой хошь труппы тебя лошадь вывезет! а не скажешь "слова" - хоть до завтра бейся, на вершок не подвинешься!

И т. д. и т. д.

Одним словом, "палач" благодушествует и, зная, что отцу до поры до времени совестно смотреть ему в глаза, пользуется своим положением самой широкой рукой.

Иногда, наскучивши анекдотами о коренниках, о том, как однажды Никешка на ровном месте пять часов бился, "хочь ты что хошь", о том, как один ямщик в однупряжку сто верст сделал и

только на половине дороги лошадей попоил, "палач" отправляется к дяденьке Софрону Матвейчу, который тоже отдыхал в Вавилонке после ревизорского погрома, и слушает рассказы этого нового Одиссея.

- Я, дяденька, в полк уйду! - обыкновенно начинает "палач".

- И что ты это заладил одно: в полк да в полк! На войну хочешь? так на войне-то, брат, бабушка еще надвое сказала: либо ты убьешь, либо тебя убьют!

И затем начинался бесконечный ряд рассказов о преимуществах гражданской службы.

- Гражданская-то служба разве не то же стражение? - повествует дяденька, - только всего и разницы, что по военной части двое стражаются, а по гражданской части один стражается, а другой претерпевает стражение. И сколько я этих гражданских стражений в своей жизни выиграл, так ежели бы все счастье, кажется, и фельдмаршалом-то меня сделать мало!

"Палач" оглядывает мизерную, словно объединенную фигуру Дяденьки и улыбается.

- А ты не гляди, миленький, что я ростом не вышел; я, душа моя, такие дела делывал, что другому даже в генеральских чинах во сне не приснится.

Дяденька выпрямляется во весь рост и, тыкая себя перстом в грудь, продолжает:

- Я только говорить о себе не люблю, а многим, даже очень многим в жизни своей такие права предоставил, что ежели они после того рук на себя не наложили, так именно только по христианству, как христианский закон вообще запрещает роптать! Насекина, например, Павла Ивановича знаешь?

- Это пьяненького-то?

- Это теперь он пьяненький, а прежде был он у нас предводителем, туз козырный был! Гордый человек был, тиранил, жег, сек. Дворянин ли, мужик ли все, говорит, передо мной равны! Вот он каков, "пьяненький"-то, в старые годы был! А кто гордыню-то эту из него извлек? Я, Софрон Матвеев Хмылов, ее извлек! Походил около него, распланировал все как следует, потом дал стражение - и извлек!

- Да я, дяденька, помилуйте...

- погоди, мой друг, дай сказать! Или возьмем теперича хоть палагинское дело. Убили рабы своего господина, именем его воспользовались - одними деньгами, душа моя, сто тысяч было! - бежали, пойманы, уличены! По-твоему, как надлежит в этом случае поступить? Отдуть душегубов кнутом, сослать куда Макар телят не гонял - и дело с концом? Ну, нет, не будет ли этак-то очень уж просто! С имением-то, скажи ты мне, как поступить? Да

опять же и где это имение взять? Потому эти самые душегубы во всем прочем чистосердечно повинились, а насчет имения такую аллегория, такую аллегория поют, что и боже ты мой! Ну, думаю, други милые, не хотите волей сказывать, придется стражение вам дать. И как бы ты полагал? - не успел я это стражение до половины довести, как они уж все до полушки отдали!

- Да ведь я, дяденька, не об вас. Вы, известно...

- Нет, да ты слушай, что потом будет! Отдавши, это, все до полушки, сидят они в остроге год, сидят другой - и вдруг возгордились! Мы-ста! да вы-ста! из нас, говорят, жилы вытянули, а резону нам не дают! И даже очень громко этак-то побалтывают. Что ж, делать нечего, пришлось и в другой раз стражение дать... только уж после этого другого-то стражения...

Софрон Матвейч внезапно останавливается и вместо продолжения прерванного рассказа присовокупляет:

- Так вот они каковы, гражданские-то стражения! Коли ежели да с умением, да с сноровочкой - большую можно пользу для себя получить!

"Палач" смотрит на дядю с благоговением, почти с алчностью. Глаза его так и бегают.

- Я десять губернаторов претерпел! - продолжает Софрон, Матвейч хныкающим голосом, - я пятнадцати ревизорам очки, вставил! И всякой-то на меня с наскоку наезжал: "Я, дескать, этого разбойника Хмылова в бараний рог согну!" АН дашь ему стражение - он и притих! Статский советник Ноздрев у нас был, так тот, как приехал в город, так и рычит: подайте мне его! разорву! Каково мне это слушать-то? каково? Однако я выслушал, доложил, опять выслушал, опять доложил - и стал он у меня после того шелковый... Даже поноску носить выучился, и так, это, привык, что в глаза, бывало, мне смотрит, когда же, мол, ты скажешь: пиль!

- Да ведь то вы, дяденька! вы, дяденька, умный!

- Не то чтобы слишком умен, а человеческое сердце, душа моя, знаю. Другой смотрит на человека, и ничего в нем не видит, а я проникаю. Я даже когда не нужно - и тогда проникаю. Идешь это по улице, видишь человека и все думаешь: а кто знает, может быть, этому человеку со временем придется стражение дать!

Но как ни привлекательны рисуемые дядей картины гражданских сражений, "палач" не поддается соблазну. Он понимает, что ему тут делать нечего. В нем, если хотите, имеется достаточный запас той одервенелой жестокости, которая на самые большие мучения позволяет смотреть хладнокровно, но нет ни настойчивости, ни остроты ума, ни прозорливости. Ни к каким комбинациям он неспособен, и потому даже в шашки порядком не мог



научиться играть.

- Нет, дяденька, - говорит он, - я уж в полк!

- Что ж, в полк так в полк! Коли нет призвания, так и соваться нечего. Л ведь и я, душа моя, не сразу тоже в чувство пришел. С мужика с простого начал, а потом, постепенно, и губернаторов постиг. Бывало, папенька приведет мужика-то и скажет: "Софрон, учись!" Ну, и начнешь его узнавать. Ходишь около него, всякий суставчик попытаешь, все ищешь, где у него струна-то играет. Нашел струну - и ликуй, потому тут он уж и сам перед собой, словно клубок, разворачиваться начнет. Ты только дергай, дергай его за нитку-то, а он, что больше дергаешь, то ходчей да ходчей все разворачивается. И такой вдруг понятный делается, что даже вчуже удивительно, как это сразу ты его не постиг!

И живет таким родом "палач" под сенью родительского крова, живет изо дня в день и не видит исхода своему страстному желанию оставить науку и поступить в полк. Эта мысль преследует его день и ночь. Ни рассказы дяди, ни беседы на конном дворе не могут заставить ее позабыть. Вот и каникулы подходят к концу, а он все при том же, при чем был и в начале своего приезда в деревню.

Порой он решается бежать, но куда? с чем? При всей неразвитости, он понимает непрактичность этой мысли, и потому не без удовольствия ожидает момента, когда его опять повезут в Москву, и опять очутится он в стенах "заведения". Там он, по крайней мере, увидится с "Агашкой", а это свидание возбуждает в нем какие-то смутные надежды. Что будет? - он сам еще не может определить, но что нечто, наверное, будет - в этом он не сомневается.

- Голопятов выручит! - говорит он себе и с этою сладкою мыслью засыпает в последний раз под кровлей скромного вавилонского дома.

----

И действительно, "Агашка" - первое лицо, с которым "палач" встречается в "заведении".

- Хмылов! меня опекун в полк отдает! - объявляет он сразу.

"Палач" бледнеет.

- Так это... верно? - спрашивает он потухшим голосом.

- Через месяц, как дважды два. А ты как?

"Палач", вместо ответа, снимает с себя куртку и показывает следы рубцов, оставшиеся на спине.

- Это... за полк! - говорит он. "Агашка" вдруг проникается великодушием.

- Уйдем вместе! - говорит он, - вместе горе тяпали, вместе и уйдем!

- Да ведь ты... сам собою... и без того... - заикается "палач".

- Не хочу просто выходить... уйду! Или вот что: удерем, Хмылов, какую-нибудь такую штуку, чтоб нас обоих разом выгнали!

"Палач" с какою-то робкою радостью смотрит на своего друга.

- Да ты что, подлец? не веришь мне? - великодушествует "Агашка", - да я теперь ни за что без тебя из заведения не уйду!

Приятели целуются и заключают наступательный союз. Начинается целый ряд подвигов, слава которых, постепенно возрастая, наполняет наконец Москву. Родители с недоумением вопрошают друг друга, правда ли, что какие-то ученики "заведения" взяты будочником в кабаке; правда ли, что еще какие-то ученики того же "заведения" пойманы в ту минуту, как хотели взломать церковную кружку; правда ли, что еще какие-то ученики забрались ночью в квартиру женатого надзирателя Сен-Романа... В течение двух-трех недель "палач" и "Агашка" вдвоем совершили столько, что, казалось, будто в их подвигах участвовало не меньше ста человек.

Через месяц оба друга сидят уже в карцере; еще неделя - и за обоими приехали посланные от родных.

Друзья веселы и всецело поглощены ощущением испытываемого ими счастья. Они бодро проходят через рекреационную залу, мимо столпившихся товарищей, которые на этот раз даже не пускают вдогонку Хмылову "палача". Смутный говор удивления провожает их до самой швейцарской.

Вот они на пороге, вот уже и стены заведения остаются позади их. "Палач" останавливается и в каком-то неопisanном волнении сжимает руку "Агашки".

- Не про-па-дем! - восторженно восклицает он, отчетливо разделяя каждый слог своей краткой речи.

- Не пропадем! - словно эхо, повторяет за ним "Агашка".

### ПАРАЛЛЕЛЬ ТРЕТЬЯ

У начальника отделения, статского советника Семена Прокофьяча Нагорнова, родился сын. Это был плод пятнадцатилетней бездетной супружеской жизни, и потому естественно, что появление его на свет произвело на родителей впечатление не совсем обыкновенное. Миша был еще во чреве матери, а родители уже устраивали его будущее, спорили о предстоящей ему карьере и ни одной минуты не сомневались, что у них родится именно сын, а не дочь. Анна Михайловна, с легкомыслием женщины, пророчила, что сын у нее будет военный; напротив того, Семен Прокофьяч изъявлял надежду, что Мише суждено со временем сделаться "министерским пером".

- Ему, матушка, карьеру надобно делать, а не мостовую гранить, говорил будущий отец, - а потому мы отдадим его в такое заведе-

ние, где больше чинов дают.

Затем, рассчитавши, что Миша, пойдя по этой дороге, осьмнадцати лет уже может быть титулярным советником и что производство из коллежских регистраторов в титулярные советники, за выслугу лет, потребует не менее десяти лет, Нагорнов прибавлял:

- Даже теперь можно уже сказать, что наш Михайло Семенович состоит на службе на правах канцелярского чиновника, кончившего курс в уездном училище!

Нагорновы были люди простые и добрые и, как муж, так и жена, принадлежали к очень почтенному чиновничьему роду. "Мы искони крапивные!" шутя говаривал Семен Прокофьич и отнюдь не скорбел о том, что в ряду его предков не было ни князя Тарелкина, который был знаменит тем, что целовал крест царю Борису, потом целовал крест Лжедмитрию, потом целовал крест Василию Ивановичу Шуйскому, и которому за все эти поцелуи наконец выщипали бороду по волоску; ни маркиза Шассе-Круазе, который был знаменит тем, что в одном нижнем белье прибежал из Парижа в Россию и потом, в 1814 году, вполне экипированный, брал Париж вместе с союзниками. Отец Семена Прокофьевича уже умерший, служил советником в управе благочиния; отец Анны Михайловны, по фамилии Рыбников, находился еще в живых и служил архивариусом в одном из министерств, но так как имел генеральский чин, то назывался не архивариусом, а управляющим архивом.

Обе семьи жили чрезвычайно дружно и по воскресеньям обыкновенно собирались за обедом у Нагорновых, а так как у Анны Михайловны было еще три сестры-девицы, то в небольшой квартире начальника отделения бывало довольнолюдно и шумно. Это были единственные дни, когда Нагорнов весь отдавался отдохновению, не скреб с утра до ночи пером и даже позволял себе партикулярные разговоры. Скромный обед разнообразился праздничной кулебякой с сигом, которую все ели с тем аппетитом, с каким обыкновенно едят люди очень редкое и лакомое блюдо, и которая каждое воскресенье давала повод для одного и того же неизменного разговора.

- Я пятьдесят лет на свете живу, и, благодарение моему богу, никогда из Петербурга не выезжал (и батюшка и дедушка безвыездно в Петербурге жили!), и за всем тем все-таки могу сказать утвердительно, что этой рыбки да еще нашей корюшки нигде, кроме здешней столицы, достать нельзя! Вот в Ревеле, говорят, какую-то вкусную кильку ловят - ну, той, в свежем виде, никогда не видал, а чего не видал, о том и спорить не стану! - беседовал Семен Прокофьич, тщательно выскребывая ножом с тарелки со-

ринки рыбы и капусты и отправляя их в рот.

- В Шлюшине, сказывают, этого сига множество! - возражал Михайло Семеныч Рыбников.

- Помилуйте, батюшка! какой же в Шлюшине сиг! Ладожский ли сиг или наш невский!

- Ну, да и кусается же этот невский сижок! - вставляла свое слово Анна Михайловна, - Зина! Евлаша! Леля! сестрицы! что ж вы! с сижком! - обращалась она к сестрам, которые, в качестве сущих девиц, не были свободны от некоторого жеманства.

- Они у меня скромницы! - шутил старик Рыбников, - при людях не едят, а вот после обеда на кухню заберутся, так уж там и с сижком, и с кашкой, и с рисцем... пожалуй, и платья-то расстегнут!

Сестрицы слегка зарумянивались, а остальные присутствующие заливались добродушным хохотом.

Затем разговор переходил к жареному гусю, по поводу которого тоже высказывалось мнение, что против петербургского гуся никакому другому не устоять.

- Слышал я, - говорил Нагорнов, - будто в Москве, в Новотроицком трактире каких-то необыкновенных гусей подают, да ведь это славны бубны за горами, а мы поедем нашего, петербургского!

- У нас гуси лапчатые! - замечал, в свою очередь, старик Рыбников, вновь возбуждая во всей компании веселый смех.

После обеда старцы уединялись в кабинете и попыхивали копеечные сигары, прислушиваясь к женскому стрекотанию, немолчно раздававшемуся в спальне, и изредка перебрасываясь замечаниями.

- Так так-то, батюшка, ваше превосходительство! - говорил Семен Прокофьич.

- Да, есть тово... немного! - отвечивал, позевывая, Михайло Семеныч.

И таким порядком проходило воскресенье за воскресеньем, без всякой надежды, чтоб в эту жизнь когда-нибудь проникнул свежий, живой элемент.

Только в середине пятидесятых годов, когда русская жизнь как будто тронулась, воскресные обеды Нагорновых несколько оживились, ибо каждую неделю являлась какая-нибудь новость, которая задевала за живое и о которой трудно было не потолковать.

- Вот и марки почтовые проявились! и инспекторский департамент упразднен! - сообщал Семен Прокофьич, относившийся, впрочем, к реформам с большою благосклонностью, а что, ведь ежели теперича все сообразить, сколько в течение одной прошлой недели переформировано, так я думаю, что даже самого

обширного ума на такую работу не достанет!

- Это вам, молодым людям, в диковинку эти реформы-то! возражал старик Рыбников, - а у меня, брат, в архиве все эти реформы как на ладони видны во как! За какую связку ни возьмись, во всякой какую-нибудь реформу сыщешь!

- Ну, нет, батюшка! Это не так! прежде на бумаге-то города брали, а теперь настоящее дело пошло! Я сам в комиссии о распространении единомыслия двадцать лет членом состоял - и что ж! сто один том трудов выдали, и все-таки ни к какому заключению прийти не могли! Потому - рано было! А теперича разом весь этот материал и двинули! Возьмем хоть бы почтовые ящики - какое это для всех удобство! Написал письмо, пошел в департамент, опустил мимоходом в ящик - и покоен! Нет, как же можно! Только бы, с божьего помощью, потихоньку да полегоньку, да без революций!

- Давай бог! давай бог!

Но скоро и о почтовых ящиках разговоры исчерпались, или, лучше сказать, они сделались такими же скучными и вялыми, как и разговоры о пироге с сигом. И вдруг, в это серенькое затишье, в эту со всех сторон запертую и ничем не смущаемую среду ворвалось что-то новое, быть может когда-то составлявшее предмет заветнейших мечтаний, но давным-давно уже, за давностию лет, оставленное и позабытое... Анна Михайловна совершенно неожиданно оказалась беременною, и вот, в одно из воскресений, Семен Прокофьич следующей речью встретил своего тестя:

- Подобно тому как древле Захария, священник Авиевой чреды, на склоне дней своих...

- Ну, брат, исполать! - не дал докончить ему обрадованный Рыбников, молодец! где же она? где же Анюта?

- А вот и самая она Елизавет! - как-то блаженно улыбаясь, ответил Семен Прокофьич, указывая на выходящую из спальни Анну Михайловну, которой щеки на сей раз алели уже не от одних хлопот по приготовлению пирога, но и от той сладкой застенчивости, которую ощущает всякая женщина, готовящаяся в первый раз подарить своей стране гражданина, - сего числа особа эта утвердительно может сказать: взыгра младенец во чреве моем!

- Ну, брат, не ждал! Молодец! молодец, Анюта! и ежели теперича внук... вы непременно Михаилом его назовите!

- Что будет мне сын, а вам внук - в этом я никакого сомненья не имею, потому что в моей фамилии никогда женского пола не было, да и вообще, по всему оно так видимо! Ну, и Михаилом мы его тоже назовем: пускай будет такой же достойный Михаиле Семеныч, как и тезоименитый его дед!

В этот день обед был как-то особенно торжествен и оживлен. Радость прокралась в эту скромную, тесную столовую и осветила ее лучом своим. Лица расцвели и покрылись словно гляncем; груди вздымались под наплывом наполнявшего их блаженства; глаза застилались туманом счастья и неизреченной веры в какое-то сладкое, светлое, полное всевозможных благ будущее.

- Батюшка! откушайте-ка пирожка! Сегодня мы и поедим и попьем! У меня, батюшка, сегодня праздникам праздник, торжество из торжеств! - говорил Семен Прокофьич, - на склоне дней моих... Анюта! друг мой! не тревожься!

- Да, брат, теперь надо вам подумать... и крепко подумать! Потому что ежели ему теперича хорошее начало положить, так это, брат, на всю жизнь пойдет!

- Я, батюшка, уж все обдумал. Анюта сначала предлагала в конную гвардию его определить, но теперь, благодарение богу, мы так общими силами порешили: отдать нашего младенца в такое заведение, где больше чинов дают!

- Это, брат, правильно, потому что без чинов тоже нельзя. Хоть и поговаривают об уничтожении, а я так полагаю, что никогда им скончанья не будет!

- И мы проживем, и дети наши, с божьего помощью, проживут, и никто чином конца не увидит! А вы, сестрицы, как полагаете? по штатской или по военной пустить нашего Михайлу Семеныча?

Сестрицы, в качестве сущих девиц, вместо ответа конфузливо катали из хлеба шарики.

- Они, брат, у меня штатские! в архиве воспитание получили! - шутил Рыбников.

- Ну, и слава богу! Я, батюшка, так думаю, что первее всего следует достигать, чтоб перо у него хорошее было и чтоб на начальство он правильный взгляд имел. Потому что, ежели при нынешнем стремительном направлении да еще хорошее перо... можно заранее поручиться, что он каждого начальника уловить будет в состоянии!

- Да; перо... хоть оно и гусиное...

- Я по себе, батюшка, знаю, что значит "перо". Теперича, у меня начальник всего только одно слово и может говорить, да и то не для всех вразумительно, однако я это слово понимаю, а потому он мною и дорожит. Мало того: иное время он даже слово-то, которое знает, высказать тяготится, только лоб морщит, а я все-таки понимаю!

- Все равно что иероглиф!

- Иероглиф - это так точно. Только надобно к этому иероглифу ключ иметь, а как скоро его имеешь, то прочая вся приложатся. А что бы я сделал, кабы пером не владел!

С этих пор воскресные беседы получили иной характер. Несмотря на то что героем являлся все один и тот же нетерпеливо ожидаемый Михайло Семеныч, в разговорах явилось какое-то неистощимое разнообразие. Старики были рады не сказанно и строили предположения за предположениями. Конечно, проскакивали между ними и не совсем радостные. Припоминалась, например, тяжелая, трудная молодость, припоминались характеры начальников и как трудно было ладить с ними. Но эти мгновенные тени тотчас же рассеивались перед твердой уверенностью, что Миша непременно будет скромный, работающий и в то же время талантливый мальчик, который легко овладеет тайнами "пера", а следовательно, сумеет поработить всякого начальника.

- С начальником, батюшка, только ладить надо уметь, - говорил Семен Прокофьевич, - а как скоро его обладил, то поезжай на нем без опасности!

- Я, брат, таких начальников видал, что даже поноску носить были готовы! - подтверждал Рыбников.

- И даже с удовольствием-с. Потому что начальник - он в себе помощи не находит, ну, и обращается к подчиненному! и уж рад-рад, коли его кто выручить может!

Одним словом, ввиду ожидаемого нового человека, допускалось даже легкое кощунство, ибо не было возможности устроить желанным образом его судьбу без того, чтобы как-нибудь не потеснить других. Что Миша во что бы ни стало должен создать себе карьеру - это стояло вне всякого сомнения; а может ли он достигнуть этого иначе, как сделавшись необходимым кому-нибудь из сильных мира сего? Очевидно, не может, потому что у него нет ни блестящих связей, ни знатной родни, ни денег. Стало быть, он должен понравиться, а понравиться он может лишь в том случае, когда сильный мира настолько беспомощен, что не может без Миши ни шагу ступить. Тогда только этот сильный, но беспомощный найдется в необходимости, в отплату за избавление его от беспомощности, поделиться с своим избавителем хотя одним куском того бесконечного пирога, около которого неотступно кишат мириады закусывателей, и как ни стараются, а все не могут окончательно доконать его. И Миша несомненно додерется до этого куска и будет, как и все прочие, глодать и сосать его, потому что было бы даже несправедливо предоставить это право людям, которые могут только "морщить лоб", и лишать его человека, которому известны все тайны "пера"...

Под шумок этих мечтаний и предположений Анна Михайловна, с своей стороны, деятельно готовилась. Сестрицы ежедневно бегали в квартиру Цагорновых, где, кроме них, появилась еще новая гостья, в лице повивальной бабки, Христины Карловны

Либефрау. Женщины не выходили из спальни и неустанно между собою шушукались, кроили, шили, перебирали старые рубашки Семена Прокофьяча и рвали их. Результатом этой суеты было то, что еще за месяц до родов в квартире начальника отделения появилась детская кроватка и везде лежали вороха всякого белья.

Наконец, в один морозный декабрьский день, предчувствия заботливых родителей насчет того, что у них непременно будет сын, а не дочь, осуществились самым буквальным и блистательным образом: в этот день Михаиле Семеныч Нагорнов увидел свет.

----

Нет надобности рассказывать, как шло первоначальное воспитание Миши. За ним ухаживали, его мыли и пичкали все, начиная от Анны Михайловны с сестрицами и кончая Семеном Прокофьячем и стариком Рыбниковым. В доме его называли не иначе, как Михаилом Семенычем, и все до единого глядели ему в глаза, хотя Семен Прокофьяч, по временам, и высказывал какую-то особенную воспитательную теорию, которая явно клонилась к ущербу Миши. Теория эта была, впрочем, не новая и заключалась в том, что всякого младенца, для его же пользы, необходимо направлять на путь истинный посредством лозы.

- Да, это так! - говорил он тоном непреложного убеждения, - исстари уж так оно повелось, да и по себе я знаю, что человеку без розги даже человеком сделаться невозможно.

- Это ангела-то божья! Это радость-то нашу! - накидывалась на него Анна Михайловна, - так тебе и дали! да ты ошалел, в департаменте-то сидючи!

- Я не об Михаиле Семеныче речь веду, а вообще, с теоретической точки зрения дела обсуждаю! Вы, женщины, серьезного разговора вести не можете, потому что с вами даже об создании мира если заговоришь, так вы и тут свои тряпки и шиньоны сумеете приплести! Об Михаиле Семеныче - не знаю, а вообще - оно так! Даже государственные люди - и те это средство на себе испытывали!

Но Миша, как бы подозревая коварные подходы отца, рос так тихо и благонаравно, что решительно не давал ни малейшего повода к применению мер строгости. Едва начал он лепетать, как обнаружил необыкновенную понятливость и ласковость. Он так трогательно повторял утром и вечером: "Спаси, господи, папеньку, маменьку, дедушку, тетенек, начальников, покровителей и всех православных христиан", и так мило при этом картавил и сюсюкал, что сердца родителей таяли от удовольствия. Четырех лет он знал наизусть "Отче наш" и "Все упование мое", аккуратно после обеда и чаю целовал ручки у папаши и мамыши и каждое



воскресенье непременно сопровождал Семена Прокофьяча к обеду. Трудно было не радоваться на этого милого ребенка, когда он, совершенно готовый в путь, вбегал в кабинет отца и торопил его в церковь.

- Папа! скорее! звонят! - кричал он своим звонким детским голосом.

- Сейчас, душенька! трезвонить еще будут!

- Мне, папаша, ждать нельзя! я часы слушать хочу!

С каким-то особенным чувством гордости и блаженства шел Семен Прокофьяч по Малой Подъяческой, ведя за руку сына, который истово и солидно переступал за ним своими маленькими ножками.

- Ваш-с? - спрашивали его встречавшиеся по дороге другие начальники отделений, которыми особенно изобилует эта местность.

- Сам делал! - шутил Семен Прокофьяч, - вот какого пузыря вырастил! По гражданской части пустить намерены?

- В департамент, батюшка, в департамент! Сначала в заведение отдадим (без этого нынче нельзя), а потом и на большую дорогу поставим!

И затем, в течение целого обеда, непременно шла речь о Мише, о его необыкновенном благонравии и набожности.

- Даже затормошил меня! - повествовал Семен Прокофьяч, - "часы", говорит, слушать хочу!

- А намеднись, - хвасталась Анна Михайловна, - просто даже удивил! "Мама, говорит, купи мне ризу!" Я спрашиваю: зачем тебе, душенька? - "А я, говорит, дома каждый день обедню слушать буду!"

- Что ж! Это недорого стоит! - вступался старик Рыбников, - погоди, Михаиле Семеныч, я тебе ужо ризу подарю, да уж и камилавку кстати состряпаем - служи себе да послуживай!

И действительно, к величайшей радости Миши, у него вскоре явились и риза, и камилавка, и вырезанное из бумаги кадило. Запасшись этими принадлежностями, он целые дни расхаживал по комнатам, размахивая кадилом и во весь свой детский голос выкрикивая: аллилуйя!

Чем более вырастал Миша, тем благонравнее и понятливее он становился. Когда на восьмом году его усадили за грамоту, то оказалось, что он ловит азы и склады на лету. И что всего важнее, не только с быстротою усваивает себе грамоту, но в то же время смотрит учителю в глаза и в рот. Словом сказать, и в этом случае он обнаружил такую ласковость, что даже учитель (дешевенький из кантонистов) был уязвлен ею до глубины души и никогда не отзывался родителям об Мише иначе, как с волнением.

- Это такой, - восклицал он, - такой, доложу вам... ну, просто такой-с...

- Ну, и слава богу! - говорила Анна Михайловна с блаженной улыбкой.

- Нет-с, вы себе представить не можете! Это такой-с... это, можно сказать, гордость-с... Это просто именно...

Родители радовались и приглашали учителя в воскресенье отведать кулебяки с сигом.

Природа дала Мише понятливость; благонравие дала ему среда, или, лучше сказать, квартира, в которой он воспитывался. Эта квартира была совершенно своеобразная, так сказать, не самостоятельная, а служившая продолжением департамента. Обстановка, в которой жило семейство Нагорновых, вовсе не говорила о том, что тут живут люди, которые бьются со дня на день и думают только о том, как бы спастись от нищеты. Напротив, здесь виделась даже известная степень изобилия и запасливости. Но за всем тем на всем лежала такая печать наготы, монотонности и безрадостности, что свежий человек, без всяких посторонних внушений, понимал, что позволь себе хозяин хотя на пядь отступить от самой строгой аккуратности - и вся эта запасливость разлетится в прах. Все было пригнано и урезано так, чтобы жизнь вращалась только около необходимого, не позволяя себе никакого отклонения в сторону, а тем менее баловства. Если на мебели можно сидеть - ну, и слава богу; если в подсвечник можно вставить свечу - вот все, что требуется. Вся роскошь заключалась в чистоте и в той казенной симметрии, с которою была расположена каждая вещь. Казалось, что эту квартиру когда-то обмобилировали, засадили туда каких-то людей, не совсем арестантов, но и не совсем неарестантов, и потом закупорили со всех сторон, с тем чтобы туда никогда не проникала струя свежего воздуха. Затем постепенно образовалась какая-то кисленькая атмосфера, к которой живущие в ней так привыкли, что уже не обнаруживали ни малейшего поползновения освежиться. Эти люди отмеривали время с такою же безучастною объективностью, с какою аршинник меряет материю: вот отмерено двадцать четыре аршина, потом предстоит отмеривать еще двадцать четыре аршина, потом еще, а там гроб - и конец отмериванию. Вне стен квартиры - все было неизвестность и мрак. Внешний мир наполнен подводных камней, опасностей и обид. Попробуй-ка сунься выйти на улицу - как раз наскочишь на сорванца, который или язык тебе покажет, или архивной крысой обзовет, или просто до смерти замистифирует. А дома, между тем, тепло и уютно; знаешь, где какая вещь лежит, ни на что не наткнешься и уж, конечно, не поскользнешься на пространстве каких-нибудь пяти-шести сажен. Стало быть, жить

следует таким образом: как можно больше прижиматься к стороне, никого не затрогивать и твердо знать, в какие часы какая обязанность предстоит, не смешивая и тем более не допуская легкомысленной забывчивости.

Быть может, этот безрадостный склад жизни возбуждал когда-то в сердце смутный ропот, но с течением времени он так всосался в плоть и кровь, что сделался второю природой. Ни Семена Прокофьяча, ни Анну Михайловну даже не порывало никуда: не только в гости или в театр, но просто прогуляться. Они выходили из квартиры только по нужде: он - в департамент, она - на рынок, и забыли даже о возможности каких-либо других отлучек. За все последнее время Семен Прокофьяч только два раза вышел прогуляться, да и тут не обошлось без неприятностей. В первый раз налетел на него какой-то сорванец, объявил себя старым знакомым, очень искусно выпытал, что у Семена Прокофьяча была приятельница, какая-то Катерина Прохоровна, уверил, что она умерла, и в ту самую минуту, когда старик Нагорнов вошел во вкус, стал охать и ахать, показал ему язык и убежал. В другой раз налетел другой сорванец, снял шляпу, перекрестился и поцеловал его прямо в орден Святыя Анны, который Семен Прокофьяч очень тщательно и не без некоторого хвастовства расстилал у себя на груди. Все это было обидно и больно, все убеждало сидеть дома и как можно реже переступать за порог его.

В такой атмосфере Миша невольно складывался благонаправленным, аккуратным, усидчивым и почтительным ребенком. С самой ранней юности слух его все чаще поражали два слова: служба и департамент. С утра до вечера он слышал разговоры о департаменте, в которых сосредоточивалось все: и сетования, и радости, и надежды, и предвидения будущего. Спрашивал ли он утром, куда папаша сбегает, - ему отвечали: в департамент. Кто в передней дожидается с портфелем? - курьер привез бумаги от директора департамента. Чему папаша радуется? - ему привезли орден из департамента. Отчего папаша встревожен? он боится, чтоб его не обошли в департаменте наградой. Начинал ли он резвиться шумливее обыкновенного - его останавливали фразой: не шуми, не мешай папаше, у него завтра доклад в департаменте. В скрипе пера, в щелканье косточками счетов, раздававшемся по вечерам в тиши отцовского кабинета, в той торопливости, с которою подавался обед по приходе отца, - везде слышался департамент.

Даже когда Семен Прокофьяч заваливался после обеда всхрапнуть на диване, и тогда невольно приходило на ум: так может храпеть только человек, намаявшийся утром в департаменте! Одним словом, было очевидно, что папаша был прикреплен к

департаменту таинственной пуповиной, которую ежели разорвать, то папаша изойдет кровью, а за ним следом изойдет кровью и все то, что раз навсегда заперто в этой квартире.

Правда, что представления Миши о департаменте еще были довольно фантастичны. Он не понимал действительной департаментской организации, а скорее представлял ее себе в виде какого-то загадочного царства теней. Войдя в это царство, папаша перестает быть папашей, сохраняет только крест на шее и, окруженный Васильем Прохорычем, Авдеем Дмитричем, Алексеем Иванычем и Владимиром Николаичем (так назывались столоначальники Нагорнова), витает в пространстве, созерцая лицо директора и непрестанно славословя пред ним. Но вот пробило четыре часа - и видения исчезают. Папаша снова делается папашей, надевает пальто и вместе с прочими воплотившимися тенями, словно из темной трубы, выползает из-под арки Главного штаба. Через минуту все пространство от Малой Миллионной до Подъяческих наполняется бледными, изнуренными лицами, на которых читается одна настоящая мысль: пора водку пить!

Но как ни фантастичны были эти мечты, важно было то, что в мозгу Миши уже внедрилась идея департамента. Департамент - это целое будущее; департамент - это глухой переулок, из которого можно выйти только назад по Большой Морской в Подъяческую. Департамент - это сама неизбежность, это шхера, около которой как ни лавируй, все-таки никак не минешь, чтобы не наткнуться на нее.

- И благодетельная шхера-с! тут не разобьешься, а слаще, чем в наилучшей гавани отдохнешь! - объяснял Семен Прокофьич, когда кто-нибудь позволял себе выразить в его присутствии хоть какое-нибудь сомнение насчет живительных свойств департамента.

Или:

- Ты попробуй-ка сунься в другом месте поискать - ан тут оступись, в другом месте промах дал, а в третьем и вовсе оказался негодным! А в департаменте-то, как у Христа за пазушкой! дело у тебя постоянное, верное... как калач! Не только никаких выдумок от тебя не требуют, но даже если бы Ты и горазд был на выдумки, так запрет тебе на них положат! Пиши! округляй! а выдумывать предоставь прощелыгам да проходимцам. Так-то-с!

Благодаря такой обстановке Миша незаметно научился смотреть на родительскую квартиру как на продолжение департамента, на отца - как на ходячий осколок департамента, и даже на самого себя как на дитя департамента.

- А скоро, папаша, я в службу пойду? - часто приставал он к Семену Прокофьичу.

- Вот, душенька, выучишься, а там с богом и на службу! Вместе будем лямку тянуть!

- И мундир мне, папаша, дадут?

- И мундир дадут, и крест дадут... все как у папаши! Будь только прилежен да благоденствен, а начальство уж наградит!

Слушая такие речи, Миша усугублял рвение и, никогда не теряя из вида департамента, с какою-то восторженностью зубрил: "Города, стоящие на Волге, суть: Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, Корчева и т. д."

- А чем замечателен город Лаишев? - по временам испытывал его отец.

- Лаишев, уездный город Казанской губернии, стоит при реке Волге, имеет собор и рыбные ловли.

- Ну, а город Свияжск, например?

- Свияжск, уездный город Казанской губернии, стоит при слиянии реки Волги и Свияги, имеет собор и рыбные ловли.

- Ну, а город Чебоксары?

- Чебоксары, уездный город Казанской губернии, стоит на реке Волге, имеет собор и рыбные ловли.

- Да так ли, полно? что-то ты уж очень сходственно говоришь!

- Это так точно-с, Семен Прокофьич! - вступался учитель, - Михаиле Семеныч наш не слукавит-с! Это такой ребенок... такой, доложу вам, ребенок-с...

И шли дни за днями, укрепляя в Мише веру в ожидающее его департаментское будущее и обогащая его ум познаниями. Наконец, Ветлуги, Мценски и Новосили неизгладимыми буквами навсегда утвердились в его памяти. Мише минуло двенадцать лет. Это был срок, в который заранее назначено было отдать его в "заведение".

----

"Заведение", в которое поступил Миша Нагорнов, имело специальностью воспитывать государственных младенцев. Поступит в "заведение" партикулярный ребенок, сейчас начнут его со всех сторон обшлифовывать и обгосударствливать, - глядишь, через шесть-семь лет уж выходит настоящий, заправский государственный младенец.

Государственный младенец тем отличается от прочих людей вообще и от людей государственных в особенности, что даже в преклонных летах не может вырасти в меру человека. Вглядитесь в его жизнь и действия - и вам сразу будет ясно, что он совсем не живет и не действует, в реальном значении этих слов, а все около чего-то вертится и что-то у кого-то заимствует. Или около человека, или около теории, вообще около чего-то такого, что с ним, государственным младенцем, не имеет ничего общего. В низмен-

ных слоях общества это свойство обнаруживается с особенною наглядностью. Очень часто вы встречаете малого лет сорока, пятидесяти, которому совершенно развязно говорят:

- Федя! возьми, брат, там на столе рублевую и беги в лавку за икрой!

Или:

- Федя! слетай, брат, к Ивану Иванычу, скажи ему, что нам без него жить невозможно!

Федя берет рублевую, бежит в лавку, приносит фунт икры и без утайки двадцать копеек сдачи. И вы чувствуете, что никому из zde предстоящих подобного приказания отдать нельзя, а Феде можно. Быть может, у Феде седина в бороде пробивается, быть может, у него есть жена и дети, а его все-таки посылают в лавочку за икрой, и ему не приходит даже в голову протестовать против подобного помыкания. Почему? - а потому просто, что он не вырос и никогда не вырастет в меру человеческого роста, потому что он не живет, не поступает, а вертится и гоношит.

В высших сферах это состояние вечного младенчества выступает не так рельефно, во-первых, потому, что человек-планета, около которого вертится человек-спутник, не всегда бывает для простого глаза видим, а во-вторых, потому, что если человек-планета и видим, то он заявляет о своем присутствии в более мягких формах. Сколько спутников имели и имеют, например, такие планеты, как Меттерних, Наполеон, Бисмарк и другие? Сколько спутников имели и имеют другие, еще более таинственные планеты, как, например: неуклонное исполнение обязанностей, строгость, натиск, нелюбезное применение правосудия и так далее? - На эти вопросы ни один мудрец даже приблизительно не ответит. Стоит начертить круг, дать ему название системы или принципа, чтобы в этом круге появились мириады вечных недорослей, которые, по первому манию, и в лавочку за икрой побегут, и подслушать не прочь, а в случае крайности даже из ружья выпалить готовы.

- Федя! подслушай!

- Опасно!

- Да ты не толкуй, а пойми, что тебе говорят: надо подслушать!

А у Феде тем временем уж и морду перекосило от усердия и натуги; он только для остротки, для вида протестовал, а на самом деле уж даже смекнул, как эту штуку устроить.

- Надо это дельце умненько сделать, - говорит он, - вот разве...

И начинает развивать целый план, один из тех планов, которые всегда как-то разом рождаются в головах недорослей, не богатых инициативой, но изобилующих всевозможными исполнительными каверзами. Ему и боязно, и в то же время он сознает,

что не подслушать для него никак невозможно. Подобно выдрессированному зайцу, приближается вечный недоросль к взведенном курку ружья, дрожа всем телом, хватается зубами за веревочку, спускает курок... и прежде чем ружье успеет выпалить, падает в обморок. Кажется, тут есть все: и отвращение к огнестрельному оружию, и страх и даже обморок, а все-таки он спустит курок и в этот, и в другой, и в миллионный раз, потому что этого требует от него система, это предписывает человек-планета: Меттерних, Наполеон III, Бисмарк...

Миша Нагорнов с самых ранних лет обнаруживал готовность вертеться и быть вечным недорослем. Уже дома он умел смотреть старшим в рот и в глаза и знал, когда следует поцеловать в ручку и когда - в плечо. В "заведении" этим благонадежным зародышам было суждено распуститься в пышный цвет. Он не просто слушался, а слушался с удовольствием, с радостью. Глаза его при этом блестели, рот улыбался, сердце билось; одним словом, все его существо принимало благодарное участие в подвиге послушания. Это был даже не подвиг для него - это было требование его натуры. Он понимал надзирателя с одного слова и всегда шел дальше этого слова, то есть отгадывал сокровенную его мысль, доканчивал ее и комментировал в ущерб себе и на пользу послушанию. Несмотря на общий довольно высокий уровень благонравия в заведении, Миша даже между благонравными был благонравнейшим. Он вовсе не был смирен в банальном значении этого слова; нет, он был даже резов, но это была та милая, откровенная резвость, которая так по сердцу воспитателям и которая свидетельствует о всегда открытом сердце воспитываемого.

"Нагорнов ведет себя и учится хорошо не потому, что этого требуют уставы заведения, а потому, что ему приятно учиться и вести себя хорошо", говорили об нем начальники и, высказывая эту истину, обнаруживали несомненную проницательность и знание человеческого сердца, не всегда начальству свойственное.

- Я, мамаша, не понимаю, как можно быть последним в классе! - на первых же порах сообщил он Анне Михайловну - нас в классе тридцать три человека, а всегда как-то так случается, что я и по наукам, и по поведению первый!

- Это оттого, что ты слушаешься, душенька!

- Я, мамаша, не то чтобы боялся чего-нибудь, а так... приятно! Вот у нас один ученик Погорелов есть, так тот тоже все уроки знает, а все-таки никогда первым не будет! Во-первых, он сидит на задней лавке, а у нас, мамаша, кто хочет первым быть, должен сидеть на передней лавке, чтоб его всегда видели... Потому что, согласитесь сами, мамаша, ежели бы я, например, сидел на задней лавке, мог ли бы учитель видеть, что я всегда готов отвечать?

- Само собой, мой друг.

- Или вот тот же Погорелов: ведет-ведет себя хорошо - да вдруг и нагрубит!

- Ты, душенька, с мерзавцами-то не связывайся!

- Я, мамаша, ни с кем не связываюсь, у кого баллы дурные. Потому я не знаю... мне кажется, что с ними мне не об чем говорить!

И действительно, ему не об чем было говорить с теми непослушными, вечно глядящими в лес детьми, экземпляры которых, несмотря на обшлифование, все-таки нередки в заведениях. Не то чтобы он преднамеренно обегал их, но природе его был положительно противен протест, которого они были вместилищем. "Послушание" нашло в нем себе полнейшее осуществление. Он был резв без угловатости, смирен без уныния, и притом резв и смирен именно тогда, когда это как раз сходилось с уставами заведения. Он вовсе не был произведением дрессировки, насильственным образом заставляющей пригибаться под гнетом известных требований; он представлял собой непосредственное олицетворение самого устава. Он инстинктом угадывал, когда следует быть резвым и когда следует быть смиренным. В часы резвости он был даже резвее и шумливее других, но для устава это было не только не оскорбительно, но даже очень приятно. Что означает резвость ребенка? - она означает, что ребенок доволен собою, своими воспитателями, "заведением", всею обстановкой. Она означает, что в ребенке играет благодарное сердце, что он с спокойной совестью обращается к своему невинному вчерашнему дню и с светлым доверием взирает на свой невинный завтрашний день. Такая подкладка резвости восхитительна даже в том случае, если она выражается несколько шумно. Миша знал это и потому в назначенные для резвости часы бегал рысью, скакал галопом, кувыркался, оглашал рекреационную залу криком, и при этом никогда не приходило ему в голову скрыться из района гувернерского наблюдения. С своей стороны, и воспитатели любовались его резвостью, ибо видели, что дитя не повесничает, а резвится, и резвится - потому что оно довольно и исполнено доверия.

- Nagornoff, mon ami! vous etes tout en nage! allons, reposons-nous, mon enfant! {Нагорнов, мой друг, вы весь в поту! пойдём отдохнем, дитя мое!} - говорил ему мсье Петанлер, и говорил таким голосом, в котором явственно звучала нота бесконечного благожелательства к милому ребенку.

Нагорнов хватал эту ноту на лету и, прекратив кувырканье, садился невдалеке от мсье Петанлера и делался смиренным. Но не принужденье виделось в его глазах, а удовольствие, внушаемое сознанием, что его усадили именно в ту самую минуту, когда ему



самому приходило на мысль, что следует сесть. Пройдет десять минут, он просыпнет, и мсье Петанлер, конечно, скажет ему:

- Allons, mon ami! amuser-vous donc! Que diable! a votre age il ne faut pas rester toujours serieux! {Порезвитесь же, друг мой! В вашем возрасте не следует быть всегда серьезным!}

И Миша опять начнет играть в веревочку, прыгать, скакать - и все от души.

Так шло "поведение" этого мальчика; так же шли и "науки". Он понимал, когда следует учиться и когда следует слушать. В часы репетиции он весь уходил в учебник, зажимал себе уши, мерно качался всем корпусом и, изредка выпрямляясь, с каким-то гордовольным видом произносил фразу из учебника, вроде: "раздался звук вечеревого колокола - и дрогнули сердца новгородцев", или: "les Novogorodiens disaient oui, et disaient oui et perdirent leur liberte"{Новгородцы такали, такали и лишились свободы.}

- Филимонов! - обращался он к своему товарищу по лавке, - почему Карамзин сказал: "раздался звук вечеревого колокола" и "дрогнули сердца новгородцев", а не "звук вечеревого колокола раздался" и "сердца новгородцев дрогнули"?

- А почему я знаю! я у него в голове не был!

- Чудак! потому что так сильнее! "Раздался!", "Дрогнули" - тут натиск есть. Надо, чтобы именно эти, а не другие слова сразу поразили читателя!

И затем он опять весь уходил в учебник, зажимал себе уши и мерно покачивался всем корпусом.

Но во время классов тетрадки и книги всегда лежали перед ним закрытыми. Подобно фокуснику, производящему опыты магии на ничем не покрытом столе, он, казалось, говорил учителю: смотри! я беспомощен! ни под лавкой, ни на лавке у меня ничего нет, а попробуй-ка спросить меня! И учитель понимал это и как бы магнитом влекся к Нагорнову. Вызывает, например, русский учитель:

- Господин Осликов! "Осел и Соловей" - какая это часть речи?

- Глагол-с.

Миша Нагорнов мгновенно весь просветляется и ест учителя глазами.

- Извольте спрягать!

- Я осел и соловей, ты осел и соловей, он...

Осликов умолкает, замечая, что учитель подставил ему ножку. Нагорнов просветляется больше и больше.

- Господин Нагорнов! объясните господину Осликову, какая часть речи "Осел и Соловей"?

- "Осел и Соловей" - это заглавие одной из самых нравоучительных басен дедушки Крылова. Это не часть речи, а соединение

трех слов, из которых два: "осел", "соловей" - суть имена существительные, а третье "и" - союз.

- Садитесь, господин Нагорнов, а вы, господин Осликов... И так далее.

Одним словом, между воспитателями и учителями, с одной стороны, и Нагорновым - с другой, образовалась непрерывная симпатия, и что всего важнее, образовалась совершенно естественно. Но за всем тем, Миша не подольщался и не шпионствовал, - качества, которые особенно не нравятся товарищам. Он и в этом смысле мог бы считаться образцом, потому что угадывал сущность устава не только по отношению к начальству, но и по отношению к товариществу. Он сразу поставил себя таким образом, что никто ни в чем не мог его обвинить. Всякий видел, что Миша чист, как хрусталь, что он не предумышленно хорошо ведет себя и учится, а потому что иначе вести себя и учиться не может. Часто он даже помогал ленивым и тупым, - объясняя перед классом урок, переводя заданный отрывок из "De viris illustribus" {"О знаменитых мужах"}, решая математические задачи и проч., но ни подсказывать, ни иным образом фальшивить не соглашался ни за что. Он даже лавку выбрал такую, на которой сидели юноши разумные, не нуждавшиеся в подсказыванье, и был бесконечно счастлив, что может без помехи всецело предаваться почтительному и радостному услуживанию за выражением глаз и рта учителя.

- Подлец ты, Нагорнов! - брякнет от времени до времени Осликов, в устах которого слово "подлец" не имело, впрочем, никакого сознательно ругательного значения, - "Солитер" (так звали в "заведении" учителя русской грамматики по причине невероятно длинного его роста) капкан в некотором роде человеку ставит, а тебе и горя мало. Еще радуется, выскакивает!

- Послушай, душа моя! - ответит Нагорнов, - не могу же я, наконец! Чем же я виноват, что Амплий Васильевич ко мне обращается?

И Осликов удовлетворяется этим объяснением, ибо, в сущности, сам сознает, что Нагорнову нельзя иначе и что, с другой стороны, и "Солитеру" тоже ничего иного не остается, как обратиться за разрешением вопроса не к кому другому, а к Нагорнову, у которого от природы все разрешения на лице написаны.

Когда в заведении происходили так называемые "истории", никто из товарищей никогда не мог наверное определить, участвовал ли в них Нагорнов или уклонился от участия. Скорее всего, что в такие торжественные минуты об нем совсем переставали думать. Как-то само собой разумелось, что Нагорнову тут быть не для чего, что это совсем не его дело. Тем не менее, приготавливаясь

к "истории", от него не скрывались и свободно развивали перед ним проекты классных возмущений, не опасаясь, что он сошпионит. И действительно, он не только не шпионил, но, заодно с другими, выносил на себе последствия "историй".

- Eh bien, Nagornoff, mon ami! nous savons parfaitement que vous n'avez pas pris part dans cette vilaine histoire! Soyez donc sincere, mon enfant! Racontez-nous, comment cela s'est passe! {Ну-с, Нагорнов, мой друг! мы превосходно знаем, что вы не принимали участия в этой нехорошей истории! Будьте же искренним, дитя мое! Расскажите нам, как это произошло!} уговаривал его мсье Петанлер, залучив куда-нибудь в уединенную комнату.

- Pardonnez-moi, monsieur, j'ai ete coupable comme les autres! {Извините, мсье, я виновен, как и другие!} - отвечал Миша, то краснея, то бледнея под гнетом насилия, которое он должен был сделать над собой, чтобы наклеветать самому на себя.

- Vous mentez, mon ami, vous qui ne mentez jamais! Prenez garde, cher enfant! n'entrez pas dans cette voie pernicieuse qui a deja gate la carriere de maint jeune homme! {Вы лжете, мой друг, вы, который никогда не лжет! Берегитесь, дорогое дитя! Не вступайте на этот гибельный путь, который испортил карьеру многих молодых людей!}

- Je vous assure, monsieur, que je ne mens pas! {Уверяю вас, мсье, что я не лгу!}

Нагорнова отпускали, но он явственно слышал, как мсье Петанлер, хотя и ничего от него не добившись, все-таки вслед ему говорил: va, genereux jeune homme! {иди, благородный молодой человек!}

Таким образом, даже самые "преступления" не только не пятнали его, но даже служили на пользу, сообщая ему, в понятиях начальства, оттенок чего-то рыцарского.

- Так как я не могу верить, чтобы воспитанник Нагорнов участвовал в вашей недостойной шалости, то, лишая весь класс отпуска в следующее воскресенье, я для господина Нагорнова делаю исключение! - сказал однажды инспектор, после одной из подобных историй.

Но Нагорнов твердою стопой вышел из рядов и решительно произнес:

- Позвольте и мне разделить участь моих товарищей!

Инспектор ласково взглянул на него, потрепал по щеке и, прошептал: "Toujours le meme! toujours bon et genereux!" {Все такой же! все такой же добрый и благородный!} - проследовал в свои апартаменты.

Просьба первого ученика была удовлетворена, и он поделил участь своих товарищей.

Анну Михайловну такие истории всегда приводили в волнение. Во-первых, они лишали ее случая видеть Мишу в воскресенье дома, и во-вторых, она, как женщина, постоянно трепетала, как бы Миша как-нибудь в солдаты не угодил.

- Какие-нибудь негодяи, мерзавцы кашу заварят, - жаловалась она, - а наш терпи! Их домой не пускают - и нашего не пускают! их в солдаты - и нашего в солдаты!

Но защитником Миши в этих случаях являлся сам Семен Прокофьевич.

- Что касается до солдат, то ты это чересчурхватила, - говорил он, а относительно товарищества вот что скажу: товарищей тоже выдавать не следует. Почему знать, кто чем в будущем делается? Может, прохвостом, а может, и с неба звезды хватать станет! Ты его теперь выдашь, а он в свое время тебе припомнит: а помнишь ли, скажет, любезный друг, как я перед учителем дубина дубиной стоял, а ты в ту пору надо мной фривольничал? Так-то вот.

- Все же таки...

- И все-таки ничего. Без ума головорезничать наш Михайло Семеныч не станет - не таков он у нас, - а держаться около товарищей полезно и нужно, это я всегда скажу. Нынче такое время, что не знаешь, с кем говоришь и к кому завтра! под начало попадешь. Уж я на что старик - и то берегусь. Сегодня он по тротуару гремит, а завтра он начальником над тобой будет. Ты ему сегодня, покуда он по тротуару гремит, сгрубил, а завтра он тебя в бараний рог согнет... Вот тут и угадывай!

Соображения эти несколько успокоивали Анну Михайловну, и едва успевали отобедать, как она уже летела в "заведение", завернув в салфетку пирог с сигом, до которого в эти дни, разумеется, никто не дотрогивался. И умиление ее возрастало до крайних пределов, когда сам Петанлер, узнав о ее приезде, подходил к ней и говорил:

- Ваш сын, сударыня, - это утешение родителей, слава заведения и гордость товарищей!

----

Судебная реформа произвела в "заведении" необыкновенное, почти отуманивающее действие, особенно с той минуты, когда на деле последовало открытие новых судов, и ученики увидели их лицом к лицу. Витии гремели, присяжные заседатели глядели беспомощно и метались словно в предсмертной агонии; судьи старались казаться бесстрастными. В публике ходили слухи о каких-то баснословных кушах, о каких-то компаниях, составляющихся с целью наипоспешнейшего ободрания клиентов. Говорили, что из Москвы нарочно приезжал какой-то грек и предлагал разостлать по всей России такую паутину, чтобы ни один клиент

не мог миновать ее, а раз попавшись, не мог бы из нее выпутаться.

- Позвольте, однако ж, - спорили в публике, - ежели всех клиентов сразу умертвить, - что ж останется в будущем?! Ведь это значит подрывать будущее!

- Какое там еще будущее! - отвечали спорщикам, - во-первых, клиент бессмертен: сегодня умерщвлен один, завтра народится другой; во-вторых, ежели переведется клиент, разве нельзя фабрикацией гороховой колбасы заняться или по железнодорожной части куски рвать? Тут, батюшка, каждая минута дорога!

Повествовали, что такой-то взял с клиента тридцать процентов, такой-то уготовал себе место председателя конкурса с фельд-маршальским жалованьем, так что все доходы с имения несостоятельного должника должны будут пойти на удовлетворение расходов по конкурсу...

Но суды открывались постепенно, потому что "людей не было"; адвокатские ряды пополнялись тоже медленно, тоже потому, что "людей не было". До тех пор были только звери, у теперь понадобились люди. Но для людей, если таковые находились, ворота были отворены настежь; будь только человеком - и можешь быть обнадежен,

Что под каждым здесь листом

Ты найдешь и стол и дом...

Карьера! Это слово спирало в зобу дыхание. Прежде карьера была вещь относительно трудная, достижимая только для некоторых, "особливою знатностью отличающихся людей". Худородный человек должен был употребить невероятные усилия, чтобы добратся до пирога. Сколько нужно было съесть грязи! сколько перецеловать плечиков! сколько поставить банок к пояснице, наболевшей и словно помертвевшей под гнетом ожиданий в приемных, передних и канцеляриях! Алчущий пирога, предварительно допущения к нему, должен был проглотить шпагу, съесть раскаленный железный орех, запить стаканом дегтя и т. д. Теперь - пирог стоял ничем не защищенный, при открытых дверях, и всех приглашал насладиться. "Все приидите! все насладитесь! Всякий да яст!" И тот, кто пришел в шестом часу, и тот, кто пришел в девятом часу! Лишь бы был человек! Жри!

Человек! Но где же клеймо, с помощью которого можно было бы отличить человека от тысячеглавого змия? На первых порах многие затруднялись этим вопросом и вследствие того робели рекомендоваться в качестве людей. Но вскоре одумались и начали действовать вольным духом. В самом деле, кто же тот юродивый простец, который, облизываясь на пирог, скажет о себе: хотелось бы мне отведать сего пирога, но, к сожалению, я не человек!

Не правильнее ли предположить, что даже тот, кто воистину не человек, скорее скроет это печальное обстоятельство, нежели публично поведает об нем, добровольно воздерживаясь от пирога? В древние времена юродивым было довольно трудно скрыть свое юродство, ибо тогда люди ходили с лампадами: погаснет лампада, навоняет - значит, нет тебе царства небесного. Нынче и тут облегчение: юродивый без лампы ходит и, следовательно, имеет возможность напакостить с гору, прежде нежели наполнит вселенную зловонием...

Таким образом, люди нашлись...

И что за карьера предстояла им! С одной стороны - лестная обязанность защищать общество от поползновений преступной воли, обязанность, сопровождаемая прекраснейшим содержанием и надеждами на блестящее будущее, в случае оправдания начальственного доверия. С другой - лестная обязанность ограждать невинного, защищать попранное право собственности, - обязанность, сопровождаемая тысячными кушами, пением, танцами, увеселительными прогулками с Деверией, Шнейдершей, а, пожалуй, хоть и с целым персоналом любого кафешантана...

- Ты что получил за такое-то дело?

- Да что! всего пять тысяч! не стоило руки марать!

- А я через год думаю лавочку закрыть! Нароботаю тысяч двести - триста - и на боковую!

Такого рода разговоры слышались везде, да других (по крайней мере, в течение первого, горячего времени) и не было... Рестораны переполнены; шампанское льется рекой; облитые потом татары бегают, не слыша под собою ног; ассигнации мелькают в воздухе, как мухи в жаркий летний день... Кто сии ликующие, стремящиеся затмить своим ликованием ликование железнодорожных деятелей? Это они, это вчерашние рыбаки, это сегодняшние ловкачи-ташкентцы, отведавающие отечественного пирога!

Специалисты по части убийств, специалисты по части личных оскорблений и купеческих самодурств, специалисты по части скопчества, специалисты по части бракоразводных дел - все посыпалось словно из рога изобилия. Пальты, сапоги, саквояжи, ситцы, люстрины... пожалуйста, господин! к нам пожалуйста!

Жрать!!!

Рубль, выглядывающий из кармана ближнего-простеца, мешает спать. "Зачем тебе, простофиля, рубль? зачем ты зажал его в руке? - разожми! Я возьму этот рубль, зажгу его на свечке и закурю им сигару!"

Дальше рубля взор ничего не видит. Ни общего смысла жизни, ни смысла общечеловеческих поступков, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Все сосредоточилось, замкнулось, заклепа-

лось в одном слове: жрать!

Естественно, что этот неистовый клич, немолчно раздававшийся по стогнам города, не мог не взволновать воображения птенцов "заведения". В этом кличе открывалась своего рода система, новый круг, в котором им суждено было вертеться, и они ринулись туда с головой. Птенец, у которого вчера другой мысли не было, кроме: "раздался звук вечеревого колокола", сегодня, пользуясь праздничным днем, уже намечает на Невском чистокровный рыжий экземпляр, и не без уверенности говорит себе: "моя!" Слыша, что происходит в мире больших, каждый птенец сознает себя человеком, ибо каждый понимает, что в нем имеется достаточный запас юркости и способности, чтобы вместе с другими кричать: лови! не задерживай талии! следующий! следующий!

Но если "птенцы" были взбудоражены, то родители, в свою очередь, от полноты чувств могли только произносить: ах! Они смотрели на своих подростков, представляли себе, что ждет их в будущем, и говорили: ах! Они шли по Невскому, встречались с камелией, и их осеняла мысль, что, может быть, через год эта самая камелия (увы! нынче родители уже и об этих детских удобствах пекутся!)... ах! Проходя мимо Елисеева, Дюссо, Бореля, они восклицали: ах! Даже на художественную выставку смотрели какими-то плотоядными, завидующими глазами... Только бы поскорее, только бы курс кончить, а что все эти Елисеевы, Борели, кокотки, художники будут в наших руках - в этом нет сомнения! За это ручается врожденная юркость "птенцов", их способность кричать всегда и при всяком случае: лови! не задерживай!

Подобно другим, Миша Нагорнов ходит как отуманенный. Он ропщет на бога и на людей за то, что ему еще два года предстоит маяться в "заведении". Он чувствует себя уже готовым, то есть настолько же юрким, как X. или Z., давно уже приобретшие себе титул "ловкачей". Он даже пробовал однажды свои силы: переделся в штатское платье и под именем "аблаката" Иванова явился в камеру мирового судьи защищать дело "о излишне затребованном за котлету четвертаке".

- И защитил! - говорил он, весь пылая, собравшимся вокруг него товарищам, - ах, господа! вы представить себе не можете, какое это чувство!

В "заведении", вместо баров, игры в веревочку и пятнашки, завелась игра в суды. Явились судьи, прокуроры, адвокаты. Присяжные заседатели избирались из учеников младшего класса на том основании, что они, как дети, должны были сохранить совесть во всей неприкосновенности. Обвинялся обыкновенно ленивейший из учеников, Осликов, на том основании, что ему, как неспособному и притом сыну очень бедных родителей, не пред-

стоит в будущем никакой блестящей карьеры, а следовательно, и готовиться не к чему, кроме скамьи обвиняемых. Обвиняли его в самых разнообразных преступлениях, так что если б сложить их все вместе и показать ему эту массу злодейств в яркой картине, то даже он, несмотря на свою непонятливость, понял бы и пришел бы в ужас от неключимости содеянного им.

Едва пробил звонок, возвещающий рекреацию, как уже ученики бегут в зал и торопливо садятся по местам. Слышится сдержанный говор; Осликов уже засел на скамью подсудимых и окидывает товарищей безучастным взглядом; защитник Тонкачев вбегает запыхавшись, как будто сейчас только перехватил в буфетной, и наскоро перелистовывает бумаги. Он изредка обращается к Осликову и шепчет ему, настолько, однако ж, громко, что передние ряды публики слышат: смотри же, болван, показывай, как я учил. Я тут за тебя распинаться буду, а ты, пожалуй, сдуру брякнешь!.. По другую сторону залы сидит обвинитель Нагорнов, которого открытая физиономия блещет сладкою уверенностью, что вот-вот сейчас этого самого Осликова он без масла проглотит. Суд намеренно мешкает. Присяжные заседатели вздыхают и рассуждают о том, нельзя ли как-нибудь отпроситься. Наконец влетает судебный пристав (тоже из ленивых) и возглашает: суд идет! Все встают и молча ожидают, покуда судьи усядутся.

Некоторое время судьи шепчутся. Они понимают, что судьям необходимо совещаться, хотя бы они сейчас только вышли из совещательной комнаты. Судья потому и судья, что он никогда не может всего предвидеть, и потому всегда должен совещаться. Наконец шептанье оканчивается; председатель, ученик старшего класса Кнабенвурст, вынимает бумажки с именами присяжных. Он делает это так опрятно, как будто показывает фокусы. "Смотрите, господа! - так, кажется, и говорит он, - вот полтинник, но вы можете быть уверены, что, покуда он находится в этих руках, он никогда не превратится ни в полуимпериал, ни даже в целковый!" Присяжные заседатели выбраны и начинают отлынивать.

- Помилуйте, ваше превосходительство, я сижу в мелочной лавочке - кто же теперича за меня сидеть будет! - отговаривается один.

- Я даже не понимаю, каким образом позволили себе привлечь меня... я в государственной службе состою! - удивляется другой.

- Я и по домашности-то моей даже самого простого обстоятельства рассудить не могу! - оправдывается третий.

Суд шепчется и оставляет все отговорки без последствий. Заседатели вздыхают и, понуриив головы, садятся на лавке вблизи прокурора. Один из них немедленно притворяется спящим.



На сей раз Осликов является в роли отставного солдата Дорофеева и обвиняется в краже со взломом. Но он ни в чем не сознается.

- Ничего я этого, ваше превосходительство, не знаю. Я человек слабый, пьяный! - говорит он.

- Расскажите же нам, как все это было! - настаивает тем не менее председатель.

Защитник Тонкачев вскакивает как ужаленный.

- Ввиду такой-то статьи такого-то тома и такой-то статьи таких-то правил, запрещающих домогаться от обвиняемого признания, - говорит он, - я требую, чтобы мое заявление было записано в протокол.

Суд снова шепчется.

- Ввиду сейчас приведенных защитником законов, - говорит наконец председатель, - подсудимый! вы можете не сознаваться! Это ваше право! Защитник! настаиваете ли вы на том, чтобы ваше заявление было записано в протокол?

Защитник расшаркивается и говорит, что данным подсудимому правом не сознаваться он удовлетворен даже превыше своих желаний. Он видит теперь, что перед ним действительно суд скорый, милостивый и правый...

- Приступим же к выслушанию свидетелей.

Показания свидетелей отличаются сбивчивостью и неопределенностью. Потерпевшая сторона, содержатель ночлежной, Савелий Потапов, не может утвердительно сказать, точно ли найденный у Дорофеева грош принадлежал ему, Потапову.

- Мой будто зубом покусан был, а этот новый, - говорит он.

Прокурор вскакивает и пронизывает Потапова взором.

- Так вы точно помните, что у вас накануне грош был?

- Да, это точно... был! Был грош - это верно.

- Этого для меня достаточно-с!

Прокурор что-то отмечает карандашом на бумаге; защитник, в свою очередь, нечто записывает. Другой свидетель показывает:

- Это точно, что он возле меня на нарах лежал...

- Так вы точно помните, что он лежал? Это не показалось вам? вы подтверждаете это и теперь? - допекает прокурор.

- Лежал - это верно! Рядом легли - рядом и встали!

- Этого для меня совершенно достаточно!

- Если для обвинителя этого достаточно, то для меня...встает с своего места защитник, но председатель прерывает его, говоря, что он в свое время может сказать все, что находит нужным в защиту подсудимого.

- Я прошу занести в протокол мое заявление, что защита не свободна! настаивает Тонкачев.

Председатель шепчется и объявляет, что защита может, если желает, сделать нужное, по ее мнению, замечание.

Тонкачев встает, расшаркивается и заявляет, что он отлагает замечание до произнесения защитительной речи. Тем не менее он считает своим долгом с гордостью заявить, что видит перед собой суд скорый, милостивый и правый, который наверное отнесется к его несчастному клиенту с тою же гуманностью, с какою относился и к его собственным заявлениям...

Наконец перекрестный допрос кончился. Слово за прокурором. Миша Нагорнов несколько бледен, но глаза его так и пронизывают. Голос его сначала дрожит, но потом постепенно делается тверже и тверже, и под конец начинает словно отчеканивать.

"Господа судьи! господа присяжные заседатели! - говорит он. Пятнадцатого июня, на Сенной площади, совершилось преступление, не яркое по своему внешнему выражению, но яркое по своей сущности; преступление, доказывающее с очевидностью, до какой степени недостаточны и слабы в нашем обществе понятия о праве собственности. Я не стану, господа присяжные, доказывать вам, как необходимо, чтобы в обществе существовали твердые понятия о собственности; вы сами принадлежите к почетному сословию собственников и лучше меня можете понять, какие важные последствия сопряжены для общества и для вас с сохранением этой твердыни, на которой зиждется благополучие государств и народов. Криминалисты на счет этот единогласны: общество, не признающее собственности, - говорят они, - подобно стаду диких зверей, из которых каждый стремится растерзать другого. Этого, я полагаю, совершенно достаточно, чтобы помочь вам встать на ту высоту, на которой следует стоять при обсуждении предстоящего нам дела. Итак, в июне 18\*\* года, на Сенной площади, здесь в Санкт-Петербурге, так сказать, в центре промышленного движения, почти под глазами полицейского надзора, совершено дерзкое преступление. В ночь этого числа, в одну из ночлежных квартир, которыми изобилует эта мрачная местность, пришел ночевать отставной солдат Дорофеев, а на другой день утром, когда хозяин квартиры, Савелий Потапов, проснулся и, по своему обыкновению, пошел в сундук, то сундук этот оказался распертым, замок у сундука сломанным, пробой сорванным. При этом считаю долгом обратить ваше внимание, господа присяжные, на следующее обстоятельство, к которому я впоследствии обращусь. Обстоятельство это заключается в том, что до того времени Дорофеев почти каждый день посещал ночлежную Потапова, но дней за пять поссорился с хозяином и до пятнадцатого числа ночевать к нему не ходил.

Такова, милостивые государи, фабула преступления. Спустимся же с факелом правосудия в дебри преступления и постараемся осветить их. Но прежде чем идти далее, я должен объяснить вам, господа присяжные, значение так называемых косвенных улик.

Что такое косвенная улика? Это такой признак преступления, который хотя сам по себе не имеет никакого значения, но, будучи сопоставлен с другими, тоже не имеющими собственного значения, признаками, будучи рассматриваем, так сказать, в связи с целым рядом такого же рода признаков, составляет совершеннейшее доказательство. Предположим, например, что в городе совершено убийство. Убит Z., которого видели, как он вчера в таком-то часу вечера выходил из кабака вместе с X., и о котором с тех пор никто ничего не слышал. Вот это-то обстоятельство, что X. вышел из кабака вместе с Z., и есть первое звено в цепи косвенных улик, которыми впоследствии поражен будет X. Взятое отдельно, оно, конечно, ничего не значит. X. мог выйти вместе с Z. из дверей кабака, но, пройдя по улице несколько шагов, они могли разойтись в разные стороны - совершенно исключить такого рода возможность нельзя. Но тут начинается ряд последующих улик. Во-первых, у X. найдена на руке царапина. И эта улика, конечно, сама по себе недостаточна, ибо X. мог оцарапать руку случайно, ему могла оцарапать ее кошка и так далее. Но вот является вторая улика: на ногах у X. найдены сапоги убитого, которые были на последнем в то время, когда его видели в кабаке; это уже значительная прибавка к сумме улик, хотя сама по себе и она все-таки ничего не значит. Мало ли каким образом мог приобрести X. сапоги Z.? Он мог купить их, мог поменяться с ним, мог, наконец, выпросить! Все это далеко не невозможно. Но здесь на помощь является третья улика: X. не может объяснить употребление своего времени между моментом выхода вместе с Z. из кабака и моментом, когда Z. найден мертвым на улице. Вы скажете, что и этот факт не имеет решительного значения; вы скажете, что X., под влиянием винных паров, мог забыть, где он был, что он мог забыть это по рассеянности, что он, может быть, провел это время в предосудительном месте и ему не хочется в том сознаться? Я первый со всем этим согласен, господа присяжные, но потому-то и убеждаю вас: обращайтесь внимание не на каждую косвенную улику в отдельности, а на их совокупность. Совокупность - это уже не отдельная какая-нибудь улика, но целая, так сказать, совокупность, или, другими словами, ряд улик, взаимно друг друга проверяющих и подтверждающих!

Совокупность - это единственное орудие, которое имеет правосудие для борьбы с злом! Зло уклончиво и лукаво, господа присяжные; оно совершает свои деяния в темноте ночи; оно окутыва-

ет их мраком, составляет для них искусственную обстановку, обманывает, замечает следы! Но здесь-то именно и настигает его недремлющее око правосудия! Ежели ты там не был, то где же ты был? ежели ты не помнишь, где был, то почему у тебя на руке царапина? Каким образом очутились на твоих ногах чужие сапоги? И так далее, и так далее покуда, наконец, из всех этих мелких и, по-видимому, ничтожных признаков не образуется \_самое совершеннейшее\_ доказательство!

Вот эту-то "совокупностью улик" и намерен воспользоваться я относительно лица, сидящего пред вами на скамье обвиненных.

Первая косвенная улика - это самый сундук, который был вам предъявлен. Он носит на себе все признаки взлома, и, конечно, сам подсудимый не будет столь смел, чтоб утверждать, что он в таком виде вышел из рук творца.

Взлом существует - это факт!!

Но взлом сделан не просто для взлома, а с преступною целью воспользоваться чужою собственностью - это тоже факт!! Еще вечером пятнадцатого июня 18\*\* года Потапов считал себя обладателем двоих старых пестрядинных портов, одной почти новой рубашки и монеты, называемой в простонародье семишником. Утром, шестнадцатого числа, этих вещей у него не стало. Они исчезли, испарились, улетучились - все, что угодно, но только исчезли со взломом, с помощью сломанного всяческого замка и сорванного пробоя! Это вторая косвенная улика!

Зачем Дорофеев пришел к Потапову? Защита, быть может, скажет, что таково было обыкновение Дорофеева, что квартира Потапова была ночлежным домом, в котором каждую ночь ночевало множество лиц! Но, во-первых, господа присяжные, к словам защиты вообще следует относиться с некоторым недоверием. Защита \_заинтересована\_ в оправдании своего клиента (сильное движение со стороны Тонкачева (ого!); председатель с беспокойством смотрит на Мишу, но последний, не смущаясь, продолжает); скажу более: от этого оправдания зависит самое материальное обеспечение защиты (Тонкачев вскакивает)... Но прекратим, однако же, этот разговор, который - я сознаю - не всем может здесь нравиться... Итак, продолжаю. Во-вторых, говорю я, почему же Дорофеев пришел ночевать к Потапову именно в ту самую ночь, когда у последнего совершена кража... кража со взломом, господа присяжные! Или тут есть игра природы? или чудесное какое-нибудь стечение обстоятельств? Мы охотно согласились бы с этим предположением, если бы не жили в просвещенном девятнадцатом веке, когда вера в чудеса уже значительно утратила свою силу! Да, господа присяжные, тут нет ни игры природы, ни чуда, а просто-напросто есть третья косвенная улика!

Чтоб доказать, что тут нет никакого чуда, нам не нужно даже ссылаться на просвещенное время, среди которого мы живем. Мы так легко, самыми обыкновенными средствами, можем распутать эту кажущуюся случайность, что она даже в ваших глазах, господа присяжные, утратит всякое право претендовать на название случайности. И действительно, следствие с полною ясностью раскрывает нам, что перед этим Дорофеев кряду пять дней не ночевал у Потапова, а имел приют у другого ночлежника, Кузьмы Герасимова. Почему так? - на этот вопрос следствие отвечает прямо: Дорофеев был во вражде с Потаповым, и именно поссорился с ним за пять дней перед кражею, и именно из-за той почти новой рубашки, которая, как я сказал выше, вместе с прочим имуществом исчезла в ночи пятнадцатого июня 18\*\* года. За пять дней перед тем Дорофеев просил Потапова продать ему означенную выше рубашку; Потапов соглашался, но просил пятьдесят копеек; Дорофеев давал только сорок. Торг не состоялся, но злоба запала глубоко в сердце Дорофеева. Он уже тогда не мог сдержать ее, и при посторонних людях сказал Потапову: погоди ж ты! Во сколько же раз должна была возрасти эта злоба в течение последующих пяти дней! Не забудьте, господа присяжные, что Дорофеев человек неразвитый, человек нрава грубого, человек, которого ежеминутно должна была точить мысль об этой почти новой рубашке, на которую он, по-видимому, давно уже смотрел завистливыми глазами! В виду этого соображения, ссора Дорофеева с Потаповым является уже не просто четвертой косвенной уликой кражи со взломом, но и уликой преднамеренного ее совершения!

Но идем дальше. Свидетель Онуфриев утверждает, что сам слышал, как Дорофеев чиркал спичкою, чтоб добыть огня, а свидетель Прохоров прямо показал, что, лежа подле Дорофеева, он очень отчетливо слышал, как последний ворочался с боку на бок. Свидетельства подавляющие! Тем не менее Дорофеев возражает против них и, смею так выразиться, с невозмутимою наглостью утверждает, что он добывал себе огня и ворочался на нарах, потому что хотел идти за естественной надобностью! Позволяю себе, однако ж, думать, господа присяжные, что вы оцените это объяснение, как оно того заслуживает. Как! и здесь является эта всегдашняя бесчестная уловка людей, промышленяющих темным и опасным ремеслом незаконного стяжания! И вы поверите ей! Вещь неслыханная ("chose inouie")! Этих людей как-то всегда обуревают естественные надобности именно в те минуты, когда им предстоит привести в исполнение их темные глубоко обдуманые замыслы! Естественная надобность! что может быть законнее этой причины!! Но, спрашиваю я вас, разве Дорофеев был в первый раз в этом доме, чтоб не иметь полной возможности удо-

влетворить своей надобности без помощи огня? Разве он не знает всех входов и выходов? не знает, как расположена всякая нара, как нужно пройти, чтоб достигнуть желаемого? Нет, он знает все это; он не знает определительно только одного: где стоит хозяйский сундук, тот сундук, который ему предстоит взломать. И вот, пользуясь темнотою ночи, уверенный, что ночлежники, после тяжкого трудового дня, заснули сном, который позволяю себе назвать непробудным, он зажигает спичку и идет. Куда идет? что хочет совершить? - он не рассказывает нам об этом. Но мы... мы уже угадываем его преступные намерения! Мы следили шаг за шагом за его действиями, и позволяем себе думать, что у нас прибавилась еще пятая косвенная улика, и притом такая, которая, кроме кражи со взломом, свидетельствует еще и о нераскаянности обвиняемого.

Наконец, и еще улика - шестая: у Дорофеева на другой день, утром, при обыске, найден был за голенищем сапога семишник. Конечно, Дорофеев утверждает, что эти две копейки составляют его собственность, - но где ж доказательства справедливости этого показания? Кто видел, что у Дорофеева вечером пятнадцатого числа 18\*\* года были эти две копейки? И почему у него оказалось именно две, а не три, не пять, не десять, не двадцать копеек? Опять игра случая! Странная это игра, господа присяжные! выгодная для подсудимого, но которую, благодаря вашему просвещенному суду, ему положительно придется на будущее время оставить! Правда, что сам Потапов показывает, что бывший у него семишник \_будто бы\_ покусан зубом, между тем как монета, найденная у Дорофеева, имеет вид совершенно новый. Но можно ли верить Потапову, потерпевшему от преступления? Почему не предположить, что им овладело сострадание к своему старинному квартиранту? что он, давая сбивчивые показания, действовал под влиянием угроз, внушений, мольбы? Но вас, господа присяжные, подобные колебания в показаниях потерпевшей стороны не должны останавливать; или лучше сказать, на вас они должны иметь силу совершенно в обратном смысле. Вы должны сказать себе: эти колебания не больше, как колебания; а за ними стоит неоспоримая, неопровержимая и со всех сторон непререкаемая истина, которую я позволяю себе формулировать следующим образом: вчера пропало две копейки, сегодня - найдено тоже две копейки. Ни больше, ни меньше.

Вы спросите, может быть: где же другие вещественные доказательства, исчезнувшие из сундука вместе с семишником? где двое старых пестрядинных портов? где почти новая рубашка? где носовой платок, о котором, по незаявлению претензии со стороны потерпевшего лица, обвинение может только догадываться? На

это я могу отвечать одно: не знаю. Но в то же время позволяю себе предложить следующую догадку. Ежели означенного имущества не оказалось у Дорофеева, то не значит ли это, что он его спрятал? Отсутствие вещественных доказательств разве всегда равносильно несуществованию их? Нет, в большей части случаев, тут не только нет тождества, но есть даже доказательство совершенно противного. Поймите меня, господа присяжные! Когда человек боится показать какую-нибудь вещь, то ему ничего другого не остается, как спрятать ее, - это аксиома. Следовательно, ежели мы не находим искомого, даже после самого тщательного обыска, произведенного у преступника, то это еще не значит, что искомого у него нет, а означает только, что он имел основания \_тщательно\_ от нас его скрыть. Таково мое внутреннее, глубокое убеждение.

Я кончил, господа присяжные. Вы знаете изречение: да будет суд правый и милостивый, и, конечно, постараетесь не односторонне, но всесторонне отнестись к предстоящему вам подвигу. Пусть будет ваш суд правым и \_милостивым\_, но в то же время, пусть будет он милостивым и \_правым\_. Пусть над преступником прострется ваше милосердие, но в то же время пусть кара, достойная преступления, настигнет его! Тогда, и только тогда вы будете на высоте вашего призвания, и докажете враждебным элементам, неустанно подтачивающим священнейшие основы общества, что милосердное око правосудия не дремлет. Оно не дремлет, милостивые государи, хотя оно \_око\_, а не \_глаза!\_ Единственное око - но и тому вы не дадите сомкнуть вежды! Какое величественное зрелище, милостивые государи!"

В зале проносится смутный говор: речь обвинителя произвела эффект. Нагорнов, красный и запыхавшийся, опускается на стул. Однако, несмотря на изнеможение, он еще находит в себе достаточно силы, чтоб послать через зал вызывающий взгляд Тонкачеву. В публике слышится вопрос: вывернется или провалится Тонкачев?

Тонкачев, очень чистенький мальчик, с виду похожий на jeune premier (он уже в старшем классе и заранее усвоивает себе все замашки заправских адвокатов из породы jeunes premiers). Он очень развязно помахивает pinse-nez и без малейшего смущения, даже с некоторою дерзостью, начинает защитительную речь. Ядовитость и ирония так и брызжут в каждом его слове.

"Господа судьи! господа присяжные! Прежде всего считаю своею обязанностью отдать полную справедливость обвинению. Старательность и усердие, с которым оно составлено, заслуживает величайшей похвалы. Скажу более: я совершенно уверен, что никогда, ни перед одним судом не было сказано столь усердной

обвинительной речи, как та, которую вы сейчас слышали. Господин прокурор знает, что ежели материальное обеспечение адвоката зависит от оправдания клиента, то, с другой стороны, почести, которые ждут впереди каждого члена прокуратуры, отчасти обуславливаются успехом..."

Миша, весь бледный, вскакивает с своего места и дрожащим голосом произносит:

- Господа судьи! я протестую! я всеми силами моей души ("de toutes les forces de mon ame", - мелькает у него в голове) протестую против инсинуации, которую позволяет себе защита!

Судьи шепчутся; в зале обнаруживается сдержанное волнение.

- Защитник! приглашаю вас оставаться в пределах защиты! - произносит, наконец, председатель.

"Господа судьи! я вовсе не имел намерения оскорблять кого бы то ни было; я хотел только сказать, что для защиты иметь дело с противником, который так старательно оправдывает доверие своего начальства, - очень приятно.

Затем продолжаю, и ежели обвинение, как выразился господин прокурор, попыталось "спуститься с факелом правосудия в дебри преступления", то я, с своей стороны, постараюсь с тем же факелом спуститься в дебри обвинения и водрузить знамя освобождения в развалинах невинности.

Вещь замечательная, господа ("chose remarquable, messieurs!" - мелькает у него в голове)! Перед вами сейчас говорил один из лучших представителей нашего обвинительного искусства; вы слышали речь, продолжавшуюся более получаса, речь, старавшуюся быть убедительной, и, по-видимому, построенную очень искусно..."

Миша судорожно подсакивает на стуле; глаза его бегают от председателя к защитнику. Наконец председатель вновь выходит из бездействия.

- Приглашаю защитника, - говорит он, - воздержаться от оценки талантов господина прокурора. Оценивать эти таланты имеет право лишь непосредственное его начальство.

"Но что же осталось в вашем сознании, господа присяжные, теперь, когда речь прокурора уже произнесена? Разберите внимательнее вынесенные вами сейчас впечатления, и, наверное, вы найдете вынужденными ответить на мой вопрос только одним словом: ничего. Да, ничего, ничего и ничего. Это очень прискорбно, но это так. Я первый отдаю справедливость ораторским средствам моего противника, его непреборимому усердию, и за всем тем очень рад за моего клиента, что единственный ясный результат, который вытекает из речи прокурора, - это "ничего"!"



Нагорнов хочет вновь обидеться; председатель, видя это, начинает есть защитника глазами; еще одно лишнее слово - и Тонкачеву угрожает прекращение защиты.

"Вам говорят, милостивые государи, что никаких прямых улик, которые доказывали бы, что преступление, о котором идет речь, совершено обвиняемым Дорофеевым, в виду обвинительной власти не имеется. Я охотно этому верю. Так как мой клиент невинен, то было бы даже странно, если бы против него были какие-нибудь действительные, а не мнимые доказательства. Что же, однако, привело его сюда, на скамью обвиненных? А вот, говорят вам: против него существуют улики косвенные. Это очень любопытно. Что же такое эти косвенные улики? К, величайшему удовольствию нашему, ответ на этот вопрос дает само обвинение. Косвенные улики, говорит оно, это те самые, которые ничего не стоят. Это обрывки чего-то неясного, неизвестно откуда идущего, это подслушанные сплетни досужих кумушек, это беспорядочная сорная куча, из которой торчат обглоданные арбузные корки, лоскутки бумаги, кухонные остатки, - одним словом, все, что никому не нужно, чем всякий гнушается, между чем ни под каким видом нельзя отыскать не только внутренней, но и механической связи...

Господа присяжные! Во всем этом скрывается целое искусство, и искусство не очень важное, но, во всяком случае, очень замечательное. Искусство играть ничего не значащими объедками, чтобы воспользоваться ими в интересах обвинения. Чтобы показать вам, что игра подобного рода не только возможна, но и легка, я сейчас приведу вам несколько образчиков.

Следствие показывает, например, что обвиняемый не был тут; обвинение хватается за этот факт и уже формулирует его так: обвиняемый не был тут, следовательно, он был где-нибудь, следовательно, и конечно, он был там, где совершено преступление. Вот один образчик игры в косвенные улики. Каким образом очутилось здесь "конечно" - этого, конечно, не объяснят даже знаменитые духи, советовавшие господину Корбе в такую-то ночь посильнее взволновать госпожу Алымову. (В публике раздастся: браво! Председатель грозит очистить залу заседания.) Другой образчик: накануне пропало две копейки, сегодня найдено тоже две копейки; следовательно, это те самые две копейки, которые пропали вчера. Откуда взялось это следовательно? разве мало находится в обращении двухкопеечников? Пусть прокурор заглянет в свой собственный кошелек! Пусть поищет в нем! Быть может, он найдет там такой же семишник, этот salaire {заработок.} бедного, к которому он с таким презрением относился. (Миша вскакивает, безмолвно протестуя против

приписываемой ему аристократической гадливости!) Почему же этот двухкопеечник, который в сию минуту находится в кошельке господина прокурора, - не тот двухкопеечник, который в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое июня 18\*\* года пропал у Потапова?

Но я не хочу идти далее и не стану продолжать вопросов по каждой из указанных обвинением улик. Это бесполезно. Ведь это дело решенное: само обвинение заранее объявило, что каждая из этих пресловутых улик, взятая сама по себе, не стоит ломаного гроша...

Но вам говорят: важность заключается не в каждом признаке преступления, взятом в отдельности, а в их совокупности! Совокупность! Какое страшное, подавляющее слово! Что же, однако, означает оно? Увы! Я сейчас буду иметь честь объяснить вам, господа присяжные, что оно означает.

Возьмите арбузное зерно, прибавьте к нему несколько хлебных крох, подсыпьте перцу, налейте уксусу, коли хотите, бросьте несколько обрезков бумаги - и спросите себя, что из этого может выйти? Обвинение утверждает, что из этого выйдет арбуз (в публице смех), но я... я позволяю себе усомниться в этом! Я прямо думаю, что это будет смесь предметов, которые, не имея никакой ценности, взятые порознь, еще менее имеют таковой, взятые вместе! Это совсем не "совокупность", а именно смесь, жалкая, никому не надобная смесь...

Тем не менее изобретенный господином прокурором арбуз (новый взрыв смеха в публице; Миша делается красен, как раскаленное железо), при известных условиях, делается настолько опасным, что равнодушно относиться к нему невозможно. Так, например, в настоящем случае, это уже не арбуз, а разрывной снаряд, который мог бы убить моего клиента, если бы судьба его зависела от суда менее просвещенного и гуманного, нежели ваш. Но ведь он мог бы убить не одного моего клиента, а и каждого из вас, господа присяжные. Каждый из вас наверное где-нибудь находился во время совершения преступления; каждый из вас может найтись в невозможности объяснить употребление своего времени; у каждого из вас (даже у господина прокурора!) могут найтись две копейки; стало быть, каждого из вас, вследствие этих ничтожных, ничего не объясняющих признаков, можно привлечь к суду? Подумайте, господа, что будет с обществом, в котором господину прокурору будет дана возможность во всякое время по своему усмотрению и в кого попало пускать изобретенным им арбузом!

Нам говорят: берегитесь! неблагонадежные элементы подтачивают священнейшие основы общества! Осуждайте! ибо если преступление останется ненаказанным, то общество превратится в

скопище диких зверей, которые будут хватать друг друга за горло! Но позвольте же, господа! Осуждайте, карайте, преследуйте, будьте беспощадны, но не забудьте, что стрелы ваши должны попадать в действительного преступника, а не в прохожего, который случайно очутился на пути пущенного прокурором разрывного снаряда! Если кража, совершенная у Потапова, взывает к небу о мщении, то почему же непременно казнить Дорофеева, а не каждого из нас, по усмотрению господина прокурора? Почему, наконец, не казнить первую попавшуюся под руку куклу, чтобы на ней показать пример наказуемости? Я сам не утопист, милостивые государи! Я далеко не принадлежу к числу жалких последователей жалкой теории абсолютной неменяемости, которою гнусные исчадия современного нигилизма думают отвести глаза правосудию! Нет, я не нигилист! Напротив того, я глубоко убежден, что преступная воля должна быть наказана, что преступник, как говорит бессмертный Гегель, не только имеет право на наказание, но может даже требовать его; однако, согласитесь, милостивые государи, что странно и даже несправедливо было бы ожидать, чтобы подобное требование исходило от человека чистого, совсем непричастного содеянному! Дорофеев невинен - зачем же он будет требовать, чтобы его наказали!..

Затем, обращаясь к случаю, по поводу которого доверие начальства призвало вас, господа присяжные, произнести приговор, я просто нахожу излишним говорить что-либо в оправдание моего клиента. Да, он ночевал у Потапова, он чиркал спичкою, он приторговывал у потерпевшей стороны "почти новую" рубаху - я охотно допускаю все это, но ни в чем, решительно ни в чем не вижу преступления! Я не проникал в тайники души Дорофеева - эти тайники, господа, открыты только богу! - но, оставаясь на почве фактов, я могу быть совершенно покойным. Господа присяжные заседатели! вы не захотите обмануть доверие начальства! вы объявите подсудимого Дорофеева невинным!"

Эта речь производит эффект потрясающий. Осликов будет оправдан - это несомненно. Тонкачев с какою-то неизреченною самоуверенностью качается на стуле. Как будто хочет сказать: и зачем вы меня из пустяков тревожили! Зачем отняли понапрасну столько драгоценных минут! Нагорнов понимает это; он догадывается, что, как обвинитель, он хватил несколько через край, и потому отказывается от возражения. В публике слышится сдержанный смех; слово: арбуз! нагорновский арбуз! - летает по рядам, и можно предвидеть, что слово это не скоро забудется в заведении. Но у Нагорнова есть звезда, и она выручает его в ту самую минуту, когда противники считают его уже погибшим.

- Подсудимый Дорофеев! что имеете вы прибавить в свою защиту? обращается председатель к Осликову.

Осликов лениво встает и, ковыряя в носу, озирает присутствующих. Тонкачев с ужасом начинает подозревать, что клиент его позабыл все внушения, которые были ему даны перед заседанием.

- Да что говорить, ваше высококородие! - произносит наконец Осликов, мой грех! я украл!

Тонкачев кидается к Осликову; Нагорнов поднимает голову и, сложив на Грудях руки, бросает своему противнику взгляд, исполненный неизреченного торжества. Общий взрыв хохота, под шум которого никто не слышит речи, которую председатель, в виде бесконечно тянущейся канители, обращает к присяжным заседателям, вручая им лист с вопросными пунктами и убеждая их оправдать доверие начальства.

- Если вы найдете, что подсудимый виноват, - взывает председатель, - то скажете: виновен; если же найдете, что подсудимый не виноват, то скажете: невиновен. Идите же, и пусть бог просветит сердца ваши!

Присяжные заседатели уходят, и через минуту выносят приговор: виновен - по всем вопросам. Суд присуждает Осликова к лишению всех прав состояния и к заключению в арестантских ротах в течение пяти лет.

Ученики спешат в классы. Мсье Петанлер ловит на дороге Тонкачева.

- Ecoutez, Tonkatschoff! - говорит он, - vous avez ete brillant, meme eblouissant de verve et d'esprit! mais la verite a ete, comme toujours, du cote de Nagornoff! Comment ne comprenezvous pas qu'il est impossible, qu'un nigaud comme Oslikoff ne soit pas coupable! Mais... au nom de Dieu! {Послушайте, Тонкачев! - вы были блестящи, даже ослепительны по вдохновению и уму! Но истина была, как всегда, на стороне Нагорнова! Как вы не понимаете, что такой балбес, как Осликов, не может не быть виновен!.. Побойтесь бога!}

----

По воскресеньям Миша рассказывает о своих подвигах родителям.

Со времени открытия новых судов между родителями поселилось некоторое разногласие относительно будущности сына. Анна Михайловна придерживается адвокатуры; Семен Прокофьевич склоняется на сторону прокурорского надзора.

- Да ты слышал ли, в департаменте-то сидя, какие они куски рвут! убеждает Анна Михайловна мужа.

- Всех денег, матушка, не ограбишь. Да ведь если очень-то шибко по чужим карманам лазить начнешь, так и в Сибирь, пожалуй,

угодишь! Лавров-то ведь не далеко. Ну, и Бельмесов тоже. Гуляет он до поры до времени, а я все-таки надеюсь, что Туруханска ему не миновать. Жадны. А у начальства-то под глазами, он у нас все равно что у Христа за пазушкой будет! А может быть, еще политический процесс - так ты вот и понимай тут!

Сам Миша тоже не мог определительно сказать, куда ему хочется: в адвокаты или в прокуроры. Иногда, идет он мимо Милутиных лавок и думает: непременно в адвокаты пойду! ведь все, все, что тут ни есть, - все мое будет! Каждый день по четыре коробки сардинок съедать буду!

В другой раз его пленяет прокурорский мундир и сопряженная с ним неуклонность. Да это и не мудрено, потому что ведь тут все-таки не то, что жулика защитит - тут, с позволения сказать, общество в опасности! Для дитяти оно даже очень лестно. Нарушенное общественное спокойствие! попранное право собственности! низринутые в прах авторитеты! - какие величественные, повергающие в трепет задачи! И какая дорога впереди! сколько поводов для волнений на этом пути, в начале которого стоит какой-нибудь жалкий судебный следователь или секретарь суда {Автор оговаривается: что должности судебного следователя и секретаря суда очень почтенные должности - в этом нет сомнения; следовательно, ежели они представляются жалкими, то не с точки зрения автора, а с точки зрения Миши Нагорнова. Для обвинения в диффамации тут нет повода, разве что кто-нибудь вздумает преследовать Мишу Нагорнова. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)}, а в конце - министр! А тут еще, чего доброго, политический процесс наклюнется... будущее-то, будущее-то какое впереди!

- Ведь это, батюшка, не адвокатишка какой-нибудь, который, задержав хвост, по управам благочиния летает, а в некотором роде... гард де ссо! {министр юстиции.}

Но надо сказать правду: молодость все-таки брала свое, и представление о четырех коробках сардинок почти всегда одерживало верх над честолюбивыми мечтами. Миша не мог пройти мимо человека, чтобы не видеть в нем "клиента", а раз усмотревши клиента, он уже невольно ел его глазами.

- Я, маменька, Плотицына сегодня во сне видел! - открывался он Анне Михайловне в минуту, когда аппетит уж очень сильно начинал тревожить его.

- Уж как бы хорошо! уж так бы хорошо! ах, как бы хорошо! - вместо ответа восклицала Анна Михайловна, и даже вся краснела от волнения.

- Да вы, маменька, попросили бы папеньку!

- Кто с ним, с упрямым, стоворит! А какие куски-то они рвут! ах, мой друг, как рвут!

- Да это само собой! Неужто ж потачку давать! Тридцать процентов, батюшка! тридцать процентов, милости просим-с!

- Ведь нынче шагу без него, мой друг, ступить нельзя! Дыхнуть без него, без кровопивца, возможности нет! Ты шаг вперед - он два! И все-то забегает, все-то вперед бежит, все-то норовит подножку тебе подставить!

- Однако ж какое это, маменька, величественное здание!

- Ведь уж коли попал ты ему в лапы - так там и держись! И не шевелись! Все равно что в капкане! Уж он тебя луцтит-луцтит! Он тебя чистит-чистит! Путаает-путаает! И до тех пор он тебя на волю не выпустит, покуда, что называется, как стельку не обстрижет!

- Ну, маменька, не все так! Вот у нас Благолепов адвокат есть, так тот даже сам с удовольствием, по силе-возможности, клиенту подарит! Намеднишь выиграл дело одной клиентки, ну, клиентка и приезжает к нему. Что, говорит, Василий Васильич, вы с меня за труды положите? А он, знаете, покраснел этак, да так прямо и брякнул: "Я, говорит, сударыня, за добрые дела деньгами не беру, а вот кабы вы просвирку за меня вынули!"

- Ну, уж это какой-то... необнакновенный какой-то! Однако ж, как бы ты думал! хоть просвиркой, а все-таки взял! Иной раз, душа моя, и просвирка... ах, как это иногда важно, мой друг! Молитва-то! ведь она, кажется... и ничего в ней нет... ан смотришь, и долетела! АН он в другом месте уйму денег урвал, или вот в лотарею двести тысяч выиграл! за молитву-то!

- Ну, маменька, у него и билета-то, пожалуй, не сыщется!

- Не говори этого, мой друг! ах, не говори! как знать, чего не знаешь!

- А как бы, маменька, хорошо-то! Вот, говорят, Отпетый такую "деверию" завел, что вся кавалерия смотрит да зубами щелкает!

- Ну, это, мой друг, тоже опасно. По-моему, лучше копить. Ведь эти прорвы, душа моя... много, ах, много деньжищ нужно, чтобы до сытости их довести! У нас, мой друг, у директора такая-то была, так он не то что все состояние свое в нее ухлопал, а и казну-то, кажется, по миру бы пустил, кабы вовремя его за руку не ухватили! Вот он теперича и живет да поживает в Архангельской губернии, а она, рыжая прорва, и о сю пору по Невскому на рысаках гарцует!

- А хорошо бы, маменька!

- Уж как бы не хорошо, кабы не эта их жадность! Опрятны они очень - вот чем берут! Нашей русской против них - и ни боже мой! Только и дерут же они за эту чистоту! Годиков этак пять-шесть пофорсила - глядишь, либо домину в четыре этажа вывела, или в

ламбарт целую уйму деньжищ спрятала! А брильянтов-то сколько! а кружев-то!

- Им, маменька, без брильянтов нельзя. А что касается до богатства, так я от одного адвоката за верное слышал, что у иной, кроме брильянтов да кружев, ничего и нет. Да и те" как получит, сейчас же у закладчика заложит, да у него же опять и берет напрокат!

- Уж будто бы бедность такая! все, чай, сколько-нибудь накопит!

- Ей-богу, маменька, так. Ведь они до сих пор все больше между офицерами обращались. Адвокаты-то только теперь в ход пошли, а прежде все с офицерами! Ну, а возьмите сами, сколько ей сперва нужно денег истратить, чтобы офицера-то заманить! Первое дело - квартира, ковры, белье, второе экипаж, третье - туалет, чтобы новый каждый день был...

- И за все-то, мой друг, с нее вдвое! за все-то вдвое против других дерут! Потому, всякий знает, что она нечестная - ну, и берут! Она и торговаться-то даже, мой друг, не смеет, а так прямо и отдает!

- Вот видите! Платье-то, может быть, на ней пятьсот рублей стоит, а офицер-то возьмет да за обедом его шампанским обольет!

- И обольет! Ты думаешь, не обольет! Да и как еще обольет-то! Офицер ведь он горд! На, скажет, подлянка! понимай, каков я есть!

- Так вот то-то и есть! Тут, маменька, уж не об четырехэтажных домах приходится думать, а об том, как бы самой-то лет пяток-другой продышать!

- Где уж об домах думать! да еще то ли с ними делают! Еще нынче все-таки потише стало, а прежде, бывало, как порасскажет папенька!..

- Уж будто и папенька!!

- А ты как бы об отце-то своем полагал! Тоже, батюшка, сахар медович был! Это чтобы "деверию" встретить, да, высуня язык, целые сутки за ней не пробегать - да упаси бог, чтобы он случай такой пропустил! Пыталась я первое-то время плакать от него! Бывало, он рыскает там, по Мещанским-то, а я лежу одна-одиношенька на постели, да все плачу! все плачу! И ни одним, то есть, словом никогда я его не попрекнула, чтобы там взгляд какой-нибудь или жест недовольный... Никогда! Всегда - милости просим!

Анна Михайловна лжет, и Миша тоже очень хорошо знает, что Семен Прокофьич имеет об "девериях" самые первоначальные, так сказать, детские понятия. Но им обоим приятно лгать, потому что предмет-то лганья очень уж занятен. Они ходят обнявшись по комнате и мечтают. Анна Михайловна мечтает о том, сколько бы у нее было изюму, черносливу, вермишели, макарон, одним словом, всего, чего только душа спросит. Мечтания Миши обра-

щены больше в сторону "кокотки".

- Еще бы не хорошо! уж так-то бы хорошо! - восклицает Анна Михайловна.

- Ах, маменька! - стонущим голосом вторит ей Миша и ни с того ни с сего целует ее.

Но вот является Семен Прокофьич, только что совершивший утреннее воскресное поклонение директору. Беседа разом принимает другой характер.

- Ну, что, молодец, опять кого-нибудь в каторжные работы сослал? спрашивает счастливый отец.

- Нет, только на пять лет в арестантские роты! Да и то, папенька, преступник уж сам сознался! Чуть-чуть было Тонкачев не загонял меня!

- Как же это ты, брат, маху дал! Ай, ай, ай!

- Да ведь трудно, папенька!

- А ты напирай, братец! Он от тебя, а ты за ним! Он в сторону, а ты беги кругом - да встречу! Вот, братец, как дела-то обделывать нужно!

- Да я, папенька, и так...

- Ну, да ведь и то сказать, не все же на каторгу! Спасибо и в арестантские роты на пять лет! Ну, и пуцай его посидит! За дело! Вперед не блуди!

- А у нас, папаша, на будущей неделе, в "заведении" политический процесс готовится!

- Ну, вот и дело! Вот этих лохматых да стриженных - это так! Катай их!

- А я бы, право, Мишеньку в адвокаты отдала! - как-то нерешительно заговаривает Анна Михайловна.

Этого робкого заявления достаточно, чтобы в одно мгновение прогнать хорошее расположение духа Семена Прокофьича.

- И что тебе, матушка, за охота мне перед обедом аппетит портить! брюзжит он. - Вот дай срок умру, тогда хоть в черти-дьяволы, хоть в публичный дом его отдавай!

Высказав это, Семен Прокофьич, огорченный и раздраженный, уходит к себе в кабинет и вплоть до самого обеда не показывается оттуда.

Ничто не изменилось в течение шестнадцати лет в воскресных обедах Нагорновых, только посетители их как будто повыцвели. Дедушка Михаиле Семеныч уж не управляет архивом и с тех пор, как находится в отставке, как-то опустился, перестал шутить и, словно мхом, весь оброс волосами. Он худо слышит, глядит как-то тускло и беспомощно и плохо ест. Сестрицы-девицы по-прежнему остаются сущими девицами, но уже не краснеют и не стыдятся при слове "мужчина", но сами охотно заговаривают о самопомо-



щи, самовоспитании и вообще обо всем, что имеет какое-нибудь прикосновение к женскому вопросу. Сам Семен Прокофьич, с тех пор как его сделали генералом, постоянно задумывается и что-то шепчет про себя, как будто рассчитывает, к какому же, наконец, празднику дадут ему звезду. Пирог с сигом подается по-прежнему, но невский сижок до такой степени поднялся в цене, что вынуждены были заменить его ладожским и волховским. Одним словом, жизнь видимо угасает в этом семействе и, может быть, даже давно угасла бы, если б от времени до времени не пробуждал ее Миша прикосновением своего скромного, но все-таки молодого задора.

- Нынче, батюшка, у нас кулебяка не прежняя! - начинает беседу Семен Прокофьич, обращаясь к старику Рыбникову, - нынче невскими-то сижками князя да графы... да вот аблакаты лакомятся, а с нас, действительных статских, и ладожского предовольно! Да ведь и то сказать, чем же ладожский сиг - не сиг!

Рыбников мычит что-то в ответ, но, очевидно, только из учтивости, потому что ничего не слышит, хотя Нагорнов и старается говорить как можно отчетливее.

- Прежде, батюшка, ваше превосходительство, говядина-то восемь копеечек за фунт была, а нынче бог так привел, что и за бульонную по двадцати копеечек платим. Дорог понастроили, думали, что хоть икра дешевле будет, а и тут легости нет. Вот я за самую эту квартиру прежде пятьсот на ассигнации платил, а нынче она уж пятьсот-то серебром из кармана стоит-с! Так-то вот!

Общее молчание. Все понимают, что Семен Прокофьич к чему-то ведет свою речь, и ждут понурившись. И действительно, по тем подергиваньям, с которыми он режет пирог и посылает в рот куски его, видно, что на сей раз дело не обойдется без нравоучения.

- А сыночек вот в аблакаты устремляется! - раздражается наконец Семен Прокофьич, - а от этих, прости господи, сорванцов и бедствия-то все на нас пошли!

Молчание делается еще глубже и тягостнее.

- У отца за душой гроша нет, а у сынка уж актрисы на уме... да как эти... камелиями, что ли, они у вас прозываются?

- Камелиями, папенька.

- Камелия, батюшка, - это цветок такой. Цветками назвали! настоящим-то манером стыдно назвать, так по цветку название выдумали!

- Помилуйте, папенька, разве я...

- Я не об тебе, мой друг, а вообще про молодежь про нынешнюю... Зависть, батюшка, ваше превосходительство, у них какая-

то появляется, коли они у которого человека в кармане рубль видят! Мысли другой никакой нет! Так вот и говорит тебе в самые глаза: не твой рубль, а мой! И так это на тебя взглянет, что даже сконфузит всего! Точно ты и в самом деле виноват перед ним! точно и в самом деле у тебя не свой, а его рубль-то в кармане!

Миша слушает, уткнувшись в тарелку. Очевидно, он недоволен. Как представитель молодого поколения, он считает своим долгом хотя пассивно, но достойно протестовать против клеветы на него.

- Иду я это, батюшка, намеренюсь по Катериновке, - продолжает обличать Семен Прокофьич, - а передо мной два школяра идут. "Вот бы, - говорит один, - кабы в этой канаве разом всю рыбу выловить - вот бы денег-то много забрать можно!" Так вот у них жадность-то какова! А того и не понимает, малец, что в нашей Катериновке, кроме нечистот из Зондерманландии, и рыбы-то никакой нет!

При слове "Зондерманландия" старик Рыбников обнаруживает некоторое оживление.

- Да, брат, бывали! бывали мы там! - шамкает он.

- Вот он, аблакат-то этот, как нахватает чужих-то денег, ему и не жалко! В лавку придет - всю лавку подавай! На садок придет - весь садок подавай! А мы терпи! Он чужой двугривенчик-то за говядину отдает, а мы свой собственный, кровный, по милости его, подавай!

- Бывали! бывали! - прерывает старик Рыбников, думая, что речь все идет об Зондерманландии.

- Нет, да вы, батюшка, ваше превосходительство, послушали бы, какой у них аукцион насчет этих деверий-камелий идет! Офицер говорит: полторы, говорит! Он: две, говорит!

Офицер опять: две с половиной! Он: три, говорит! Откуда он деньги-то берет! Вы вот что мне, батюшка, объясните!

- Да... да... в Зондерманландии... это точно!

- И ведь ничего-то у него на уме, кроме стяжанья этого, нет! Не то чтобы государству или там отечеству... послужить бы там, что ли... Нет, только одну мысль и держит в голове: как бы мамон себе набить!

Семен Прокофьич постепенно приходит в такой азарт, что даже бросает на тарелку нож и вилку.

- А нас взяточниками обзывают! - гремит он, - мы обрезочки да обкусочки подбирали - мы взяточники! А он целого человека зараз проглотить готов - он ничего! он благородный! Зачем, мол, сей человек праздно по свету мыкается! Пускай, мол, он у меня в животе отлежится!

Гусь стоит посреди стола нетронутым. Анна Михайловна и сестрицы притихли; у Миши слегка вздрагивают губы; даже старик Рыбников начинает понимать, что происходит нечто неладное.

- И вот тебе мой отцовский завет, Михайло Семеныч! - в упор обращается к сыну старик Нагорнов. - В аблакаты - ни-ни! Просвирками-то, брат, не проживешь, да ты и теперь уж над просвирками-то посмеиваешься! Ты, брат, может, на границу засматриваешься, что там аблакат-то в почете! Так ведь там он человек вольный: сегодня он аблакат, а завтра министр - вот оно что! А ты здесь что! и сегодня мразь, и завтра мразь. Мразь! мразь! мразь!

----

Миша убеждается, что, благодаря отцовскому предупреждению, двери в адвокатуру для него закрыты. Он решается идти в прокуроры, и в согласность этому решению приучает себя слегка голодать. "У прокурора, - говорит он себе, - живот должен иметь форму вогнутого зеркала, чтобы служил не к обременению, а чтобы всегда... везде... ваше превосходительство!.. готов-с!"

Тип надорванного, с вогнутым животом, и всегда готового исполнителя тип еще нарастающий, будущий... но он будет. Или, лучше сказать, он существовал искони, но временно как бы поколебался и утратил свою ясность. Это все тот же русский Митрофан, готовый и просвещаться и просвещать, и сражаться и быть сражаемым. В последнее время он несколько замутился благодаря новизне некоторых положений и неумению с желательной скоростью освоиться с ними; но несомненно, что он воспрянет, что он вновь сделается чистым, как скло, и овладеет браздами...

Миша уже и ведет себя так, как будто он заправский прокурор. Строго, сдержанно, немножко сурово. Из уст его так и сыплются: "по уложению о наказаниях", "по смыслу такого-то решения кассационного департамента", "на основании правил о судопроизводстве", "в Своде законов гражданских, статья такая-то, раздел такой-то, изображено" и т. д. Даже в дружеской беседе с товарищами он все как будто обвиняет и убеждает кого-то сослать в каторгу.

- Тебя, брат, за такие дела, по статье такой-то, следовало бы, по малой мере, в исправительный дом на три года запрятать! - говорит он, - да моли еще бога, что смягчающие обстоятельства натянуть можно!

В большой зале, в ресторане Бореля, светло и людно. Говор, смех, остроты и шутки не умолкают. Татары бесшумно мелькают взад и вперед, переменяя тарелки, принимая опорожненные бутылки и устанавливая стол новыми. Это пируют за субботним товарищеским ужином будущие прокуроры, будущие судьи, будущие адвокаты.

Приближается время выпуска, и молодые люди постепенно эмансипируются. Частенько-таки собираются они то в том, то в другом ресторане и за бокалом вина обсуждают ожидающие их впереди карьеры. Начальство знает об этом, но, ввиду скорого выпуска, смотрит на запрещенные сходки сквозь пальцы.

Разговор дробится по группам. На одном конце стола ведут речь о том, что выгоднее: в столице быть адвокатом или в провинции?

- Ловкачев! ты куда?

- Странный вопрос! разумеется, в адвокаты! не в судьях же пять лет на одном стуле сидеть!

- Я, брат, тоже в адвокаты, да только думаю в провинцию. Здесь уж очень много нашего брата развелось!

- Что ж! это мысль!

- Я, брат, на днях одного провинциального адвоката встретил, так очень хвалит! Такое, говорит, житье, что даже поверить трудно!

- А как, однако?

- Да тысяч пятнадцать, двадцать в год! Только, говорит, у нас деликатесы-то бросить надо!

- То есть, в каком же это смысле?

- А так, говорит, какая сторона больше даст - ту и защищай!

- Это само собой! да там дела-то все мозглявые!

- Это нужды нет! Мне, говорит, хоть по зернышку, да почаще! Ведь он там один как перст - ну, все и захватил! А ежели приедет, говорит, еще адвокат сейчас, говорит, в другой город переберусь!

- Да; двоим - это точно... пожалуй, и делать там нечего!

- А теперь, представь себе, как ему хорошо! Что ни дело, то верный выигрыш, потому что у него и противников-то настоящих нет. Народ бессловесный все, стало быть, истец ли, ответчик ли, как только не успел заручиться им, так уж и знает заранее, что дело его пропало. Для меня, говорит, любое дело защитить - все одно что в вист с тремя болванами партию сыграть!

- Да! это мысль! об этом стоит подумать!

В другой группе, средоточием которой служит Миша Нагорнов, идет тот же разговор, но с другими вариациями.

- Нет, Проходимцев, я с тобой не согласен! - ораторствует Миша, - в существовании прокурора есть тоже свои хорошие стороны!

- Еще бы не было! даже египетские аскеты, когда жевали акрид, - и те находили, что существование их имеет свои хорошие стороны!

- Ну, нет-с; тут не акридами пахнет. Это не совсем так. Я заранее приглашаю тебя на прокурорский обед, и будь уверен, что ты всегда найдешь у меня кусок сочного "бульи", и стакан доброго

вина!

- "Бульи"!

- Что ж! и "бульи" не у всякого адвоката бывает! Конечно, есть между ними такие, которые из трюфлей не выводят - я заранее уступаю тебе, что в прокуратуре я этого не найду! - ну, да ведь это из десятка у одного, трюфли-то! Но чего у тебя никогда не будет в твоей адвокатуре - это возможности восходить по лестнице должностей, это возможности расширять твои горизонты и встать со временем на ту высоту, с которой человеческие интересы кажутся каким-то жалким миражем, мгновенно разлетающимся при первом появлении из-за туч величественного светила государственности!

- Ну, еще когда доползешь до этой высоты-то!

- Нет, отчего ж! Я понимаю, что препятствия будут, и даже препятствия очень серьезные! Но мне кажется, что ежели я сумею заслужить доверие моего начальства, то самые препятствия обратятся мне же на пользу! Они только закалят меня и в то же время утратят характер непреодолимости!

- Вот закал-то этот...

- Да ты пойми, душа моя, два-три хороших убийства - и у меня дело в шляпе... Я уж на виду! А если тут не повезет, можно по части проекцев пройтись! Проектец, например, по части изменения судебных уставов... какие тут виды-то представиться могут!

- Так, значит, будем резаться друг против друга?

- Значит, будем резаться!

В других пунктах стола идут разговоры более отрывочные.

- Да с этого дела, - выкрикивает кто-то, - не то что тридцать, сто тысяч взять мало! Это уж глупо! Это просто-напросто значит дело портить!

- Ну, брат, сто тысяч - дудки! Кабы нашего брата поменьше было - это так! Я понимаю, что тогда можно было бы и сто тысяч заполучить! А теперь... откажись-ка от тридцати-то тысяч - десятки на твое место явятся! Нет, брат, нынче и за тридцать тысяч в ножки поклонисься!

- Я наверное это знаю, - выкрикивает другой, - что ежели ты ему вперед тысячи рублей не выложишь, он пальцем об палец для тебя не ударит! Намеднишь в Пензу по делу о растлении малолетней его приглашали, так он прямо наотрез потребовал: первое - восемь тысяч на стол - это уж без возврата, значит! второе, ежели вместо каторги только на поселение - еще восемь тысяч; третье - ежели совсем оправлю - двадцать тысяч!

- Ну, это, брат, молодец!

- Господа! - выкрикивает третий, - я предлагаю составить компанию для отравления этой немки!

- Какой немки? какой немки? - сыплется со всех сторон вопросы.

- Да вот той, которая двадцать миллионов долларов в наследство получила! Боковая линия пятидесяти процентов не пожалеет, чтоб ее извести!

- Этот-то вопрос не важный! - выкрикивает четвертый, - вопрос-то об единоутробии! Да ежели его как следует разработать, какой свет-то на всю судебную практику прольется! Ведь мы впотьмах, господа, бродим! Ведь это что ж, наконец!

И вдруг, среди этого хаоса восклицаний, вопросов и пререканий, влетает в зал цвет, слава и гордость адвокатуры, сам господин Тонкачев.

Тонкачев уже два года, как вышел из "заведения", и с тех пор с честью подвизается на поприще адвокатуры. Это вообще очень изящный молодой человек; на нем черная бархатная визитка и тончайшее, ослепительной белизны белье. Претензий на щегольство - никаких; но все так прилично и умненько пригнано, что всякий при взгляде на него невольно думает: какой, должно быть, способный и основательный молодой человек! Стулья с шумом раздвигаются, чтобы дать место новому и, очевидно, дорогому гостю.

- Тонкачев! вот это мило! вот это сюрприз! - восклицают молодые люди, обступая адвокатскую знаменитость.

- Извините, господа, я попросту! Я здесь в соседней комнате ужинал вдруг, слышу, знакомые голоса! Думаю, отчего старых приятелей не навестить!

- И прекрасно! выпьем вместе! Человек! шампанского! Господа! за здоровье Владимира Васильевича Тонкачева!

- Принимаю и благодарю. И, в свою очередь, пью за вас, господа. Пью за эту блестящую плеяду будущих молодых деятелей, которым через два месяца суждено испробовать свои силы! Приветствую в вас то еще недалекое и навсегда для меня незабвенное прошлое, когда и я, полный молодых надежд, выступал из стен заведения! Приветствую в вас то прекрасное будущее, которое, впрочем, прекрасно не для одних вас, но с вами и, так сказать, по случаю вас - и для всей страны! Да, господа, это мое глубокое, несокрушимое убеждение: вы призваны совершить перерождение горячо любимой нами родины и, конечно, будете стоять на высоте этого призвания! С такими бодрыми, сильными, смелыми деятелями можно смотреть вперед с доверием. Можно смело поднимать завесу будущего - и не опасаться! Пускай подкапывается под нас злоба, пускай обращает она на нас свой змеиный шип -

мы останемся твердыми, как скала! Волны клеветы будут лизать ноги наши, но никогда не достигнут до головы. Мы не утописты, господа, не политики, не идеологи - следовательно, у нас даже мест таких не имеется, в которые клевета могла бы без труда запустить свое жало! У нас нет даже ахиллесовой пяты. Мы простые, честные труженики. Мы употребляем в дело свой труд, свои познания, и получаем за это посильное вознаграждение: вот наша роль, господа; роль в высшей степени скромная, но и в высшей степени плодотворная. Итак, господа, повторяю: я счастлив, поднимая за вас этот бокал! За вас я пью, за эту блестящую плеяду будущих молодых деятелей, которым суждено довершить то, что так счастливо начали их предшественники!

Тонкачев произнес эту речь совсем невзначай и с такою легкостью, что, казалось, как будто вошел человек и плюнул. Тем не описаннее был произведенный ею в молодежи фурор.

- Bravo, Тонкачев! вот так спасибо! Это, что называется, по-товарищески! Человек! шампанского! - раздавалось со всех сторон.

Но вот, среди поцелуев и обниманий, к Тонкачеву приближается Миша с бокалом в руках.

- Позвольте мне, - начинает он взволнованным голосом, - позвольте мне, вашему бывшему противнику по состязательному процессу, приветствовать в вас славу, надежду и гордость нашего молодого, только что нарождающегося сословия адвокатов! Из-за скромных стен нашего заведения мы следили за вашими успехами и радовались им. Мы, смею так выразиться, гордились ими. На долю нашего заведения выпал счастливый жребий, господа. Сколько дало оно стране высокопоставленных лиц, сколько людей, отмеченных печатью гения! Следовательно, выходя из стен школы, мы прямо уже видим перед собою примеры, которых вполне достаточно, чтоб ободрить молодой дух и вдохнуть в молодое сердце решимость следовать по стопам предшественников. Что может быть величественнее, поучительнее, благотворнее, как зрелище людей, неуклонно шествующих по стезе долга! А мы, мы видим это зрелище постоянно, и постоянно имеем возможность вдохновляться им! Чтоб быть твердыми, нам не нужно особенных усилий: нам стоит только взглянуть вперед. Там, в этом блестящем сонмище людей, посвятивших себя служению истине, мы встретим не только полезный пример, но и действительную помощь, совет и ободрение. Нам ли не преуспевать? нам ли не подвигаться быстрым и твердым шагом по лестнице должностей! Через два месяца мы выходим, господа. Через два месяца мы предстанем перед вами, Владимир Васильевич! перед вами и вашими славными сподвижниками! Вы не отвернетесь от нас, вы подадите нам руку помощи, которая так необходима для нашей

неопытности! Я убежден в этом, и в этой сладкой уверенности, с чувством заранее несущейся от сердца признательности, поднимая за вас бокал мой! За Владимира Васильевича Тонкачева, господина! За красу и гордость нашего заведения! За славу нашего молодого, только что нарождающегося сословия адвокатов!

Восторг школяров не знает пределов. Тонкачева качают, Нагорнова качают, потом поочередно качают Ловкачева, Проходимцева, даже Осликова.

- Ты, Осликов, как? - спрашивает его Тонкачев.

- А я, брат, кажется, на скамье подсудимых сидеть буду! - отвечает Осликов, залпом выпивая громадную рюмку коньяку и заедая ее булкой с икрой.

- Ну, в таком случае бери меня в защитники! - любезно предлагает Тонкачев, - только, чур, не виниться, как, помнишь, в тот раз!

- Я, брат, нонче тверд. Невиновен - кончено дело! Общий взрыв хохота.

Тонкачев усаживается в центре стола и начинает беседовать.

- В нашем деле, господина, больше всего смелость нужна! - ораторствует он, - смелость и находчивость; это средство на судей без ошибки действует!

- Да, удивительно, как вы зининское дело выиграли! - восклицает Ловкачев.

- А почему я его выиграл? Потому что нашелся! А не найдись я, не пусти в ход того блестящего парадокса... помните?.. противная сторона откатала бы меня!

- Ну, с вами-то не так легко справиться!

- Я, господина, вот как рассуждаю: адвокат должен не про сто говорить, а говорить, так сказать, с картинками. Вот как книжки: и с картинками и без картинок издают, так и адвокатская речь: может быть и с картинками и без картинок. Чуть только суд задумываться стал - ну, тут уж не плошай! Все картинки, какие есть, - все на стол разом выкладывай!

- Но ведь для этого талант особенный нужно иметь!

- Без таланта, батюшка, ничего нельзя. За талант-то, собственно, и деньги нам платят. За талант, за смелость, за уменье найтись. Наше дело такое, что тут все в соображение принимать следует: и характер судей, и домашнюю их обстановку, и даже случайность всякую. Да, даже просто случайность. Иногда, кажется, вот-вот проиграл дело, ан подвернется под руку случай - и поправился! Я даже в запасе всегда какую-нибудь случайность имею. Анекдот там, что ли, цитату... ну, просто глупость какую-нибудь. Дам противнику выговориться, да тут его и накрою: в некотором, мол, царстве, в некотором государстве жил-был истец... И пошел! и пошел!



- Удивительно! бесподобно!

Тонкачев окончательно входит в роль и начинает, так сказать, прорицать...

- Мне стоит только взглянуть на состав суда, - говорит он, - чтоб сейчас же определить, выиграю я дело или проиграю. Вот тут-то именно и нужна мне сноровка. Ежели состав суда благоприятный, я все силы употреблю, чтоб дело было рассмотрено именно в этом заседании; ежели состав суда неблагоприятный - я из кожи лезу, чтоб мое дело было отложено. Вы думаете, как я кондыревское дело выиграл? - именно этот фортель в ход пустил! Вижу, Левушка Сибаритов в числе судей сидит - ну, думаю, плохо дело. И подвел, знаете, кулеврину! И до тех пор откладывал да откладывал, покуда Левушку в Чернолесск председателем не перевели. Тогда и покончил.

В публике слышится ропот удивления.

- Я не такие еще штуки выделывал! Один раз я перед присяжными показывал, как через веревочку прыгают. Встал посередке зала и начал прыгать. Оправдали. Другой раз стал доказывать, что один человек может целый папушник съесть - и съел. Я к одному из будущих заседаний такую штуку приготавливаю, такую штуку! Вот увидите!

- Расскажите, Тонкачев! Ну, пожалуйста!

- Нет, господа, покуда это секрет. Я должен поразить неожиданно, чтобы никто не опомнился. У меня, господа, сто пять дел в производстве было сколько отчаянных между ними, ну самых, то есть, таких, что даже издали взглянуть на него противно! - и девяносто семь из них выиграл! Заметьте: из ста пяти дел только восемь проигранных! Такого *tour de force* даже Отпетый не совершал!

- Тонкачев! шампанского! *servez-vous!* {пожалуйста!}

- Нет, господа, вы уж позвольте мне самому фетировать вас! человек! двенадцать бутылок! вы, господа, какое предпочитаете?

- Редерер! Редерер!

- А я, грешный человек, предпочитаю *Heidzick-cabinet!* Суше. А впрочем, можно от времени до времени и ледерцу пропустить. Только предварительно надлежит по коньячкам пройтись, чтобы приличное осаже сделать после всего этого изобилия плодов земных!

Попойка возобновляет течение свое и принимает более и более шумный характер. Через час пирующие уже перестают понимать друг друга. Один Тонкачев, что называется, ни в одном глазе, и только хвастает в несколько более усиленных размерах, чем обыкновенно.

- Вот когда вы выйдете из заведения, все ко мне приходите! - говорит он, - так прямо и приходите! Я всех в помощники приму! Мы целую фабрику заведем! Мы такое судоговоренье устроим, что небу жарко будет! Истец ли, ответчик ли - все будет одно, все в наших руках. Сам истец, сам и ответчик! Вот мы какую штуку удерем! Я, ты, он - все одно! все один черт!

Наконец дело доходит до того, что некоторые из беседующих начинают плакать, другие смеяться, третьи призывать небо и землю в свидетели. Один из школьников подходит к зеркалу и, заведев там свое изображение, начинает к нему придирааться. Опьянел наконец и Тонкачев.

- А ведь по правде-то, - говорит он коснеющим языком, - как ежели по совести... свиньи мы, господа! Ничего-то ведь у нас за душой. Ну просто, так сказать, в душе кабак... ей-богу, так!

Далеко за полночь молодых людей не без труда развозят по домам татары.

----

Наконец сдан и последний экзамен. Будущие прокуроры и адвокаты рассыпаются по стогнам Петербурга.

Миша вышел первым. В щегольском фраке, с капитанским чином на плечах, он с выпускного обеда является в отчий дом. Но так как он навеселе, то ему кажется, что перед ним не скромная квартира Семена Прокофьяча Нагорнова в Подьяческой, а величественное здание суда.

- Принимая во внимание, - говорит он, останавливаясь в дверях передней и указывая на отца, - принимая во вниманье, что этот человек совершил преступление с полным сознанием содеянного, и притом без всяких уменьшающих вину его обстоятельств, а потому полагаем...

- Друг ты мой! - восклицает Анна Михайловна в какомто неописанном волнении.

- Ну, Христос с ним! выпил... Христос с ним! - с нежностью говорит Семен Прокофьяч, крестя сына.

- И за что они меня в прокуроры отдали! Я в адвокаты хочу! всхлипывает Миша каким-то наболевшим голосом, и слезы градом катятся из глаз его.

Будущего прокурора укладывают спать.

#### ПАРАЛЛЕЛЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Никто не мог сказать определительно, каким образом Порфирий Велентьев сделался финансистом. Правда, что еще в 1853 году, пользуясь военными обстоятельствами того времени, он уже написал проект под названием:

Дешевейший способ продовольствия армии и флотов!!

или

Колбаса из еловых шишек с примесью никуда негодных мясных обрезков!!

В котором, описывая питательность и долговосхраняемость изобретенного им продукта, требовал, чтобы ему отвели до ста тысяч десятин земли в плодороднейшей полосе России для устройства громадных размеров колбасной фабрики, взамен же того предлагал снабжать армию и флот изумительнейшею колбасою по баснословно дешевым ценам. Но, увы! тогда время для проектов было тугое, и хотя некоторые помощники столоначальников того ведомства, в котором служил Велентьев, соглашались, что "хорошо бы, брат, разом этакой кус урвать", однако в высших сферах никто Порфирия за финансиста не признал и проектом его не соблазнился. Напротив того, ему было даже внушено, чтобы он "несвойственными дворянскому званию вымыслами впредь не занимался, под опасением высылки за пределы цивилизации". На том это дело и покончилось. Порфирий года четыре прожил смиренно, состоя на службе в одном из департаментов министерства финансов.

Но молчание его было вынужденное, и втайне Велентьев все-таки давал себе слово во что бы ни стало возвратиться к проекту о колбасе. Перечитывая стекающиеся отовсюду ведомости о положении в казначействах сумм и капиталов всевозможных наименований, он пускался в вычисления, доказывал недостаточность употреблявшихся в то время способов для извлечения доходов, требовал учреждения особого министерства под названием "министерства дивидендов и раздач", и, указывая на неисчерпаемые богатства России, лежащие как на поверхности земли, так и в недрах оной, восклицал:

- Столько богатств - и втуне! Ведь это, наконец, свинство!

Но никто уже не верил ему. Даже помощники столоначальников и те сомневались, хотя каждому из них, конечно, было бы лестно заполучить местечко в "министерстве дивидендов и раздач". Все считали Велентьева полупомешанною и преисполненною финансового бреда головой, никак не подозревая, что близится время, когда самый горячечный бред не только сравняется с действительностью, но даже будет оттеснен последнею далеко на задний план...

Наконец наступил 1857 год, который всем открыл глаза. Это был год, в который впервые покачнулось пресловутое русское единомыслие и уступило место не менее пресловутому русскому галдению. Это был год, когда выпорхнули целые рои либералов-пенкоснимателей и принялись усиленно нюхать, чем пахнет. Это был год, когда не было той скорбной головы, которая не попыталась бы хоть слегка поковырять в недрах русской земли, добро-

душно смешивая последнюю с русской казною.

Промышленная и акционерная горячка, после всеобщего затишья, вдруг очутилась на самом зените. Проекты сыпались за проектами; акционерные компании нарождались одна за другою, как грибы в мочливое время. Люди, которым дотоле присвоивались презрительные наименования "соломенных голов", "гороховых шутов", "проходимцев" и даже "подлецов", вдруг оказались гениями, перед грандиозностию соображений которых слепли глаза у всех не посвященных в тайны жульничества. Всех русских быков предполагалось посолить и в соленом виде отправить за границу. Все русские болота представлялось необходимым разработать, и извлеченные из торфа продукты отправить за границу. X. указывал на изобилие грибов и требовал "устройства грибной промышленности на более рациональных основаниях". Z. указывал на массы тряпья, скопляющиеся по деревням, и доказывал, что если бы эти массы употребить на выделку бумаги, то бумажные фабрики всех стран должны были бы объявить себя несостоятельными Y. заявлял скромное желание, чтобы в его руки отданы были все русские кабаки, и взамен того обещал сделать сивуху общедоступным напитком. Хмель, лен, пенька, сало, кожи - на все завистливым оком взглянули домашние ловкачи-реформаторы и из всего изъявляли твердое намерение выжать сок до последней капли. Повсюду, даже на улицах, слышались возгласы:

- Ванька-то! курицын сын! скажите, какую штуку выдумал!

Одним словом, русский гений воспрянул...

Но как ни грандиозны были проекты об организации грибной промышленности, об открытии рынков для сбыта русского тряпья и проч. - они представлялись ребяческим лепетом в сравнении с проектом, который созрел в голове Велентьева. Те проекты были простые более или менее увесистые бульжники; Велентьев же вдруг извлек целую глыбу и поднес ее изумленной публике. Проект его был озаглавлен так: "О предоставлении коллежскому советнику Порфирию Менандрову Велентьеву в товариществе с вильманстрандским первостатейным купцом Василием Вонифатьевым Поротоуховым в беспошлинную двадцатилетнюю эксплуатацию всех принадлежащих казне лесов для непременно оных, в течение двадцати лет, истребления"... Перед величием этой концессии все сомнения относительно финансовых способностей Порфирия немедленно рассеялись. Все те, которые дотоле смотрели на Велентьева как на исполненную финансового бреда голову, должны были умолкнуть. Столоначальники и начальники отделений, встречаясь на Подьяческой, в восторге поздравляли друг друга с обретением истинного финансового человека минуты. Директоры департаментов задумывались; но в этой задум-

чивости проглядывал не скептицизм, а опасение, сумеют ли они встать на высоту положения, созданного Велентьевым. Словом сказать, репутация Велентьева как финансиста установилась на прочных основаниях, и ежели не навсегда, то, по крайней мере, до тех пор, пока не явится новый Велентьев, с новым, еще более грандиозным проектом "о повсеместном опустошении", и не свергнет своего созию с пьедестала, на который тот вскарабкался.

Само собой разумеется, что часть славы, озарившей Велентьева, должна была отразиться и на вильманстрандском купце Поротоухове. О Поротоухове еще менее можно было сказать, каким образом он сделался финансистом. Большинство помнило его еще под именем Васьки Поротое Ухо, сидельцем кабака в одной из великорусских губерний; хотя же он в этом положении и успел заслужить себе репутацию балагура, но так как в те малопросвещенные времена никто не подозревал, что от балагура до финансиста рукой подать, то никто и не обращал на него особенного внимания. Тем не менее должно полагать, что Васька занимался не одним балагурством, но умел кое-что и утаить. И вот, в одно прекрасное утро, он явился в одно из присутственных мест, где производились значительные торги на отдачу различных поставок и подрядов, и под торговым листом совершенно отчетливо подписался: "Вильмерстанский первостатейнай купец Василей Велифантьяф Портаухаф сим пат Писуюсь". Присутствующие так и ахнули. Поротоухов - первостатейный купец? Не может быть! Васька! ты ли это?! Но Поротоухов смотрел так светло и ясно, как будто он так и родился "вильмерстанским купцом". По-видимому, он расцвел в одну ночь, расцвел тайно от всех глаз, с тем чтобы разом явить миру все благоухания, которыми он был преисполнен. И расцвел не затем, чтобы в мале завянуть, а затем, чтобы явиться финансистом-практиком, правою рукой того плодотворного дела, душою которого суждено было сделаться Велентьеву.

Таким образом, на нашем общественном горизонте одновременно появилось два финансовых светила. Другое, более слабонервное общество не выдержало бы, но мы выдержали. Велентьев и Поротоухов пошли в ход. Железными когтями вцепились они в недра русской земли и копаются в них доднесь, волнуя воображение россиян перспективами неслыханных барышей и обещанием каких-то сокровищ, до которых нужно только докопаться, чтобы посрамить остальную Европу.

Но общественное мнение, справедливо угадав в Велентьеве и Поротоухове людей, отвечающих потребностям минуты, все-таки не совсем правильно взглянуло на те условия, в силу которых они появились на арене общественной деятельности не в качестве прохвостов, какими бы им надлежало быть, но окруженные орео-

лом авторитетности. Оно увидело в них баловней фортуны, гениальных самоучек, в которых идея о всеобщем ограблении явилась как плод внезапного откровения. Это было заблуждение. Не с неба свалилась к этим людям почетная роль финансовых воротил русской земли, а пришла издалека. Над ними прошло целое воспитание, вследствие которого они так же естественно развились в финансистов самоновейшего фасона, как Миша Нагорнов - в неусыпного служителя Фемиды, а Коля Персианов - в администратора высшей школы.

----

На этот раз займемся собственно Порфишей Велентьевым, предоставляя себе поговорить о Василье Поротоухове при случае.

Отец Порфиши, Менандр Велентьев, происходил из духовного звания. Даже и теперь, в одной из подмосковных губерний, имеется село Велентьево, в котором Порфишин дед был, в течение сорока лет, священником. Благодаря существовавшему в двадцатых годах спросу на молодых людей из духовного звания Менандру посчастливилось, да к тому же и способности у него были прекрасные. Еще будучи в семинарии, он с такою легкостью усваивал себе всю книжную мудрость, от патристики до догматического богословия включительно, что отец ректор не раз решался переименовать его в Быстроумова, но, к счастью для Менандра, а еще более для Порфиши, почему-то не успел наложить на род Велентьевых неизгладимое клеймо племени Левитова. Впоследствии, как отличный, Менандр был переведен в Духовную академию, в Петербург, где тоже блистательно кончил курс, но, при выходе из академии, духовной карьеры не пожелал, а предпочел ей карьеру чиновника. Обстоятельства поблагоприятствовали ему и тут. В это самое время князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур искал для своего сына воспитателя, и, по совету жены, обратился к единственному в то время надежному источнику истинного просвещения - к Духовной академии. Отец ректор порекомендовал князю Менандра Велентьева.

Князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур был первый из русских Ферлакуров. Княжна Оболдуй-Щетина была последнею представительницей знаменитого рода князей Оболдуев-Щетин. Дабы не дать угаснуть воспоминанию об этом роде, княжна, вышедши замуж за французского эмигранта Ферлакура, исходатайствовала, чтобы к фамилии последнего была присоединена и ее собственная. Таким образом устроился трисоставный князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур. Новоиспеченный князь Российской империи оказался вполне достойным внезапно постигшего его счастья. Он сразу понял, что настоящее отечество для празднующегося там, где представляется возможность кататься как сыр в масле, и

затем, нимало не колеблясь, принял православие, и с этой минуты не иначе говорил о себе, как "мы, русские". Долгих усилий ему стоило, чтобы полюбить севрюжину с хреном, но так как он понял, что без этого быть истинно русским нельзя, то не только полюбил севрюжину, но даже охотно пил квас, а о каше выражался не иначе как: "Каша есть мать наша". Он щеголял тем, что он русский, хотя и Ферлакур, и предсказывал, что недалеко время, когда все французские Ферлакуры будут русскими. В разговоре он любил вклеивать малоупотребительные слова, вроде "токмо", "вящий", "вмале", "книжица", "иждивение" и т. д. Но когда он, наконец, написал книжицу, в которой изобразил, какими неисповедимыми путями он дошел до сознания истин святой православной веры, то все признали, что более благонадежного русского, чем этот русский Ферлакур, - и желать не надо. Пользуясь этим благоприятным поворотом мнения высших административных сфер, князь достиг того, что неторопливыми, но верными шагами шел себе да шел по лестнице должностей и, наконец, получил совершенно обеспеченное положение в ведомстве Святейшего синода.

Таким образом, когда Менандр Велентьев поступил, в качестве домашнего воспитателя, в дом князя Оболдуй-Щетина-Ферлакура, последний был уже наверху почестей и славы.

Менандр скоро и ловко освоился с своим новым положением. Он понял, что ему следует быть почтительным без низкопоклонства, откровенным без фамильярности и, наконец, по крайней мере, в такой же степени русским, как и князь Оболдуй-Щетина-Ферлакур. Последнее было для него, конечно, довольно легко, потому что он не только ел севрюжину с хреном, но и гороховицу употреблял довольно охотно. Но найти середину между почтительностью и низкопоклонством, отыскать ту ноту, которая не позволяла бы откровенности перейти в фамильярность, было несколько труднее. Как и все семинаристы, Менандр был до крайности угловат, и потому решительно не владел своим телом. Он не знал, что делать с руками (по временам он порывался их прятать, как бы под гнетом ощущения рясы на плечах), и вообще всею фигурой напоминал танцующего медведя. Желание попасть в тон и показать знание светских приличий убивало его и заставляло делать тысячи несообразностей. Он то спешил и устремлялся, то вдруг останавливался и упирался, как бык; то чрезмерно улыбался, стараясь сложить губы наподобие сердечка, то вдруг насупливал брови и по целым часам глядел исподлобья. По-французски он понимал отлично, но разговор его был нерешительный, как будто его постоянно преследовала мысль: а не по-латыни ли я говорю? Сверх того, он был ширококост и говорил таким

открытым басом и с такою невозмутимою рассудительностью, как будто непрерывно проповедовал или вразумлял. Но что в особенности вредило ему, так это тогдашний модный костюм, которым он поспешил обзавестись. Вообразите вишневого цвета с искрой фрак, совершенно облизанный спереди и с узенькими фалдочками назад, штаны в обтяжку, высокий галстух, до того туго повязанный, что всякий фронт того времени казался всегда живущим под угрозой паралича, и наконец прическу, состоящую из кока посреди лба, гладко выстриженного затылка и волос, зачесанных на виски в виде толстых запятых, - и вы будете иметь возможность представить, как должен был казаться смешным в таком виде этот плотный семинарист, только что перешедший с академической парты в великолепные салоны первого русского Ферлакура.

Но Менандру, что называется, везло, и потому даже нелепая внешность послужила ему в пользу.

Княгиня была женщина еще не старая, но не очень красивая и набожная. В обществе ее уважали за то, что она умела умно вести теологические споры, но так как даже и в то суровое время молодые люди предпочитали амурные разговоры теологическим, то княгиня постоянно видела себя окруженною людьми, имевшими не менее статского советника на плечах. Но статские и действительные статские советники говорили так резонно, что даже на нее наводили тоску. С одной стороны - старый Ферлакур с своими "книжицами" и "иждивениями", с другой - какой-нибудь генерал-майор Толоконников, читающий на *soiree causante* { проект "немедленного воссоединения унии, буде нужно, даже с помощью оружия", - вот убивающая обстановка, в которой ей суждено было влачить изо дня в день свое существование. Поэтому, хотя княгиня и не сознавалась даже самой себе, что отсутствие в ее салонах молодого элемента раздражало ее, но по временам сами статские советники замечали, что на нее находят порывы какой-то странной теологической резвости. То вдруг начнет цитировать Вольтера и энциклопедистов, то возбудит вопрос о папской непогрешимости и окажет явную склонность к поддержанию ее (подивимся, читатель! где-то, на отдаленном севере, слабая женщина еще в двадцатых годах провидела вопрос, повергающий в смущение современную католическую Европу!). Статские советники слушали, хлопали глазами и расходились по домам "смущенные и очи спустя". А княгиня, оставшись наедине с самой собою, начинала вздыхать, швыряла теологические диссертации на пол, садилась к окну и с каким-то безнадежным томлением устремляла вдаль глаза свои. Ждала ли она чего-нибудь? сознавала ли даже, что чего-то ждет? - на эти вопросы я отвечать не берусь. Я знаю толь-



ко, что когда маленькому князенку стукнуло десять лет, она с каким-то лихорадочным нетерпением начала торопить старого Ферлакура, чтоб он как можно скорее приискивал сыну воспитателя.

Княгине понравилась и неловкость Велентьева, и даже его необыкновенный французский язык. Тут было много пикантного, много такого, над чем можно было поработать. Она прямо взяла Менандра под свое покровительство и, надо сказать правду, повела дело приручения дикаря с большим тактом. Прежде всего, она внушила ему полное доверие к себе своим ровным, мягким и открытым обращением. Из своих отношений к нему она изгнала всякую подготовленность, все, что могло бы намекнуть Велентьеву, что она выдерживает школу, а не свободно относится к нему. Потом, она предприняла внушить ему, что она "святая" (*une sainte*), и в этом качестве имеет некоторое право снисходительно указывать людям на их недостатки, без всякого намерения оскорбить их самолюбие. Пользуясь тем, что Менандр занимал должность воспитателя ее сына, она часто и подолгу беседовала с ним, но никогда не давала заметить, что его открытый бас по временам уже слишком переходит в порывистый вой или глубокомысленное урчание, а только нюхала спирт и противопоставляла этим странным голосовым тонам мягкие и ровные тоны своего собственного голоса.

Вслушиваясь в ее свободно льющуюся, хотя и несколько бесцветную речь, Велентьев невольным образом сравнивал ее с своими захлебываниями и начинал догадываться, почему княгиня ощущает потребность нюхать спирт, когда он говорит. И вследствие этих сравнений, его собственная речь невольным образом, хотя и не без некоторой с его стороны работы, становилась все более и более спокойною. Та же самая тактика была с успехом применена и относительно прочих внешних манер. Княгиня начала с того, что, идя к обеду, потребовала, чтоб Велентьев подавал ей руку, но когда она сделала это в первый раз, то Менандр, во-первых, бросился к ней со всех ног и чуть не обрушился на нее всем корпусом, и, во-вторых, изогнулся таким образом, что сам князь удивился и сказал: "Нет необходимости, друг мой, столь вяще изломиться". С тех пор княгиня всегда сама подходила к Менандру, брала его за руку и в качестве "святой" позволяла себе незаметно сообщать его корпусу надлежащее направление. В результате оказалось, что через какой-нибудь месяц Велентьев говорил очень приятным и изъятым от всякой натуги басом и имел походку настолько непринужденную, что княгиня без всякого риска могла даже при гостях призывать его к себе с другого конца комнаты.

По вечерам княгиня читала с Велентьевым Боссюэта и Массильона. Начинала она всегда сама, но потом, под предлогом утомления, передавала книгу Менандру. Велентьев, путаясь и краснея, выводил латинские фразы и употреблял невероятные усилия, чтобы произносить их как можно более в нос. Княгиня с ангельским терпением выносила эту тарабарщину, и только тогда, когда можно было сделать это без неприличия, вновь брала у Менандра книгу и продолжала читать сама.

- Вы читаете с большим одушевлением, - дружески говорила она, - я редко слышала чтение до такой степени ясное, как ваше; но произношение у вас еще недостаточно выработано. При ваших блестящих способностях, вы, конечно, в самое короткое время успеете преодолеть небольшие трудности языка.

И действительно, постепенно Менандр до того наострился, что даже сам старый Ферлакур, выслушав, в одно прекрасное утро, его рапорт о вчерашних воспитательных занятиях юного князька, в изумлении воскликнул:

- Ah ca! ah mais! mais il est tout a fait comme il faut, ce coquin de seminariste! {Вот так так! ну-ну! но он вполне порядочный, этот плут семинарист.} Еще одно вящее усилие, мой юный друг, и днесь все будет к наилучшему концу!

По временам княгиня посвящала его и в тайны светского разговора. Обыкновенно это случалось вечером, когда в доме не было гостей, когда старый князь уезжал в клуб, а маленький князек уже спал. Начитавшись Массильона, перебрав все доводы pro и contra {"за" и "против".} воссоединения церковей, княгиня в задумчивости полулежала на кушетке, а Менандр, сложив губы сердечком (от этой скверной привычки даже она не могла его отучить), сидел против нее.

- Ах, что-то будет за гробом? - произносила княгиня, закрывая глаза.

- Я полагаю, будет жизнь бесконечная, - отвечал Велентьев.

Княгиня некоторое время молча вздыхала. Не особенно высокая грудь ее слегка колебалась, голова закидывалась назад; складки темной шелковой блузы мягко вздрагивали.

- Нет, я не об том, - начинала она вновь, - я хотела бы знать, что такое ангелы?

- Ангелы-с - это бесплотные духи. По крайней мере, так учит наша святая православная церковь.

- Однако многие праведные люди их видели. Согласитесь, что если б они были совсем-совсем бесплотными, разве можно было бы видеть их?

- Нетленным очам, ваше сиятельство, я полагаю...

- Ах нет, опять не то! Знаете ли, я бы сама хотела быть ангелом! Только тогда, быть может, я убедилась бы, что такое значит "бесплотная", и в то же время плоть есть.

- Ваше сиятельство! Ежели судить по сердцу, то и в настоящее время едва ли впадет в ошибку тот, кто будет утверждать, что вы ангел!!!

- Вы думаете?.. Однако... я не бесплотная...

Княгиня взглядывала на него исподлобья. Велентьев краснел как рак и начинал тяжело дышать.

- Я не бесплотная, - тихо повторяла княгиня, снова закрывая глаза и окончательно впадая в мечтательность.

Через несколько времени Менандру было объявлено, что он причислен с чином коллежского секретаря к одной из канцелярий. Но так как на его руках лежало более важное дело воспитания молодого Ферлакура, то само собой разумеется, что все его обязанности относительно государственной службы должны были ограничиваться получением за отличие чинов. Это было время его перевоспитания, то время, когда он должен был совлечь с себя ветхого семинариста и облечься в ризу серьезного молодого человека, до тонкости понимающего приличия света. Княгиня продолжала заниматься его перевоспитанием со всем увлечением экзальтированной женщины. Она переговорила с ним все разговоры того времени, но под конец как-то всегда сводила речь к ангелам и старалась допытаться, в чем заключаются особенности ангельского жития. Он же, с своей стороны, осмелился до того, что мало-помалу стал заводить речь о "телесном озлоблении" и, по зрелом рассмотрении этого предмета, приходил к заключению, что "сколь сие ни прискорбно кажется, но надобно оное, по возможности, утишить, дабы душа могла свободнее воспарить".

- Какой вы, однако ж, материалист, Менандр! - с легким укором выговаривала ему княгиня.

- Невозможно, ваше сиятельство! - возражал он, - извольте рассудить сами; естественное ли дело, чтобы душа человеческая чувствовала себя свободною, коль скоро сдерживающие ее узы не находят себе надлежащего разрешения?..

Княгиня на минуту задумывалась и потом, как бы про себя, произносила:

- Au fond, peut-etre, vous etes dans le vrai! {В сущности, быть может, вы правы!}

А молодой Ферлакур между тем подрастал, приятнейшим образом проводя время в девичьей, в обществе няnek и горничных, и лишь по временам ощущая на себе воспитательное влияние Велентьева.

Года через три Менандр, однако ж, сообразил, что, предаваясь разговорам об ангельском житии и телесном озлоблении, он не только не уйдет далеко, но даже может скомпрометировать свое будущее. Он понял, что как ни ангелоподобна княгиня, но к этой ангелоподобности уже начинает примешиваться некоторое количество "телесного озлобления". Затем представился вопрос: что такое княгиня и что такое он сам? Вопрос этот Велентьев, нимало не обольщаясь, разъяснил себе таким образом: княгиня - женщина избалованная, капризная и притом властная; он же - червь, в самом реальном значении этого слова. Поэтому он решился оставаться, в отношениях своих к княгине, на почве исключительной дружбы, не увлекаясь никакими любовными фантазиями, как бы ни легко казалось их осуществление...

В это время молодой Ферлакур поступил в университет. Затем, хотя обязанности воспитателя и продолжали по-прежнему лежать на Велентьеве, но он был уже настолько свободен, что мог, без ущерба для этих обязанностей, искать для себя и других занятий. Вследствие этого, он начал порываться на действительную службу, и устроил это дело так ловко, что сама княгиня убедилась, что действительно государственному механизму чего-то не достает и что этот пропуск может быть лучше всего восполнен Велентьевым, у которого кстати была наготове целая законодательная система, ждавшая только удобного случая для своего осуществления.

- Законы, ваше сиятельство, к тому должны быть направлены, чтобы всех людей добродетельными сделать! - так формулировал Менандр свой взгляд на законодательство.

- Странный вы человек, Велентьев! разве кто-нибудь сомневался, что люди обязаны быть добродетельными! Но как этого достигнуть? - возражала княгиня.

- Достигнуть, ваше сиятельство, всего возможно, если правительством будут допущены необходимые в сем случае приспособления.

- Я понимаю: вы хотите сказать, что в основание законодательства следует положить систему наказаний и наград?

- Точно так, ваше сиятельство. Ежели для добродетели будут ассигнуемы от правительства поощрения и награды, а пороку будут указаны в перспективе арестантские роты и смиренные дома, и ежели указания эти будут выполнены неупустительно, то всякому вразумительно будет, по какой стезе ему надлежит идти.

- Да, но вы забываете, что смиренные дома уже существуют, а что касается до наград, то вряд ли казна будет в состоянии...

- Ваше сиятельство! Я так об этом предмете думаю, что истинно добродетельный человек, и не обременяя казны, сам себя сумеет

вознаградить, если ему будут преподаны надлежащие к тому средства!

Одним словом, при содействии княгини, Менандр в скором времени очутился в самом центре той кипучей деятельности, среди которой неслышно, но неуклонно разрабатывается общественное прокрустово ложе...

Двадцатые года были уже на исходе, и прежний пиетизм заменился страстью к законодательству. Канцелярия, в которой приютился Велентьев, занималась преимущественно законами. Там писались новые законы, изменялись, согласовались и редижировались старые. Целые полчища семинаристов окунали перья в сокровищницу первозданного, неиспорченного человеческого мышления и, "замаравши их тамо", предавались "изобретению неослабных и для всеобщего употребления пригодных правил и узаконений". Целые вороха подготовительных работ валялись в шкафах и по столам; тут были и предварительные объяснительные записки, и сравнительные таблицы, и какие-то громадные листы, с наклеенными на них печатными вырезками. Слонообразные юноши-семинаристы без усталости копались в этих ворохах, и начальство, взирая на них, с удовольствием помышляло, что существуют же на свете телеса, которых даже подобная работа сломить не может.

Здесь Велентьев встретил товарищей по академии, с которыми временно разлучила его суровая обязанность воспитательства. Тут были они все: и Гиероглифов, и Мудров, и Быстроумов, и Словущенский. На них лежали тогдашние упования России, и, как известно, лежали не напрасно. Товарищи встретили Менандра не только без зависти, но даже с сердечностью и радушием. Вскоре они ввели его в свой интимный кружок, который, по-видимому, преследовал какие-то особые цели и потому имел внешние признаки недозволенного правительством общества.

Кружок этот назывался "Дружеским союзом для изыскания средств и достижения целей". Цель союза формулировалась так: произвести повсеместное парение духа, имея притом в виду достижение высших блаженств. В тридцатых годах - это уже не дозволялось. Ближайшим средством к этой цели предлагалось следующее: опутать Россию целою сетью семинаристов-администраторов и семинаристов-законодателей, так как им одним, "яко видевшим процветший в единую от нощей жезл Ааронов", вполне доступно истинное представление о высших блаженствах. Будучи введен в это общество, Велентьев немедленно и с полною ясностью определил себе тот путь, по которому ему надлежит идти, то есть предпринял изгнать от него все относящееся к парению духа, яко противоправительственное.

Как и во всяком обществе людей, соединившихся с известными целями, в "союзе" были две партии: радикалы и умеренные. Во главе радикалов стояли: Гиероглифов и Мудров, во главе умеренных (иначе "суетных") находились: Быстроумов и Словуценский. Как составители законов, эти молодые люди руководили всем движением; за ними уже стояли целые полчища Рождественских, Спасских, Неглигентовых и проч., имевших более скромные должности в различных департаментах.

Радикалы не только серьезно, но даже щепетильно относились к "парению духа"; они небрегли внешностью, были чрезмерно худы и длинны, одевались плохо, причесывались по принуждению и жадно глотали всякую пищу, не разбирая достоинств ее. Словом сказать, они охотно отдали бы на поругание тела свои, лишь бы достигнуть "высших блаженств".

"Я желал бы, чтобы псы терзали меня!" - вдохновенно говорил Гиероглифов. Напротив того, "суетные" были люди слегка тронутые материализмом, и хотя признавали "парение духа" лучшей формой человеческого счастья, но признавали это под условием укрощения телесного озлобления при посредстве "незастенчивых и дозволенных правительством лакомств". Им улыбался суровый с виду, но в сущности очень покладистый правительственный материализм, в виде приношений, взяток, акциденций и проч. По наружному виду, это были люди кругленькие и сытенькие; одевались они не без семинарской щеголеватости, причесывались каждый день, и не только не признавали правила "предлагаемое да ядим", но, напротив того, всегда выбирали, по возможности, лучшие куски. Тел своих на поругание они не отдавали, а, напротив, желали в "полном Спокойствии и мире душевном сквозь горнило испытаний пройти, дабы впоследствии от трапезы блаженств благочинно и непрепятственно вкушать".

Менандр Велентьев сразу встал на сторону "суетных" и даже скоро сделался руководителем и главой этой партии. Случайно высказанное им княгине убеждение, относительно средств для укрощения телесного озлобления, глубоко запало ему в душу. Сначала укротить, а потом - воспарить. Немедленно по вступлении в союз он напечатал за подписью Z. в одном из журналов того времени статью под названием "Что означает истинное умерщвление человеческой плоти?", в которой доказывал, что истинное умерщвление плоти есть "благопотребное и в дозволенных законом размерах оной удовлетворение". "Неспорно, - писал он, - что плоть человеческая имеет естество в достаточной степени гнусное, но так как мы оную ни уничтожить, ниже сократить не вольны, то и вынуждаемся принять оную во внимание". Статья эта наделала большого шума; Гиероглифов и Мудров написали

каждый по ответной статье, в которых изъяснили, что хотя г. Z. им и неизвестен, но, должно быть, имеет душу низкую, так как даже имени своего под статьей подписать не дерзнул. Тогда Велентьев написал другую статью под названием "Что сим достигается?" победоносным образом доказав, что сим достигается именно то самое свободное парение духа, о котором хлопчут и Гиероглифов с Мудровым. "Когда дух наш свободно и бодро парит?" - вопрошал он себя, и тут же отвечал на вопрос: "Тогда, когда плоть молчит; молчит же она не тогда, когда чувствует себя угнетенною, но тогда, когда требования ее вполне и на законном основании удовлетворены".

Полемика эта, как и все полемики, никакой пользы для науки духознания не принесла, но для самого Велентьева имела результат очень существенный. Вопрос о телесном озлоблении выяснился для него настолько ясно, что его неотступно начало преследовать страстное представление о месте советника в одной из казенных палат. Получить место советника питейного отделения и потом воспарить - такова была отныне заветная мечта Велентьева, мечта, осуществление которой сделало его равнодушным даже к "изобретению пригодных законов". Только в звании советника он надеялся найти для себя ту награду, которую, по его же словам, истинно добродетельный человек, не обременяя казны, сам для себя получить может. Получить место по питейной части и затем приличным образом пристроиться, избрать себе в подруги девицу не весьма знатную, но и не низкого рода, не весьма богатую, - но и не бесприданницу, не весьма красивую, но и не нарочито уродливую, - таков был план, на котором остановилась мысль Менандра.

К счастью для Велентьева, привести в исполнение оба эти предположения оказалось нетрудным.

Если в синодальном ведомстве играл видную роль князь Оболдуй-Ферлакур, то в финансовом ведомстве такую же роль играл эйзенахский уроженец фон Юнгфершафт, в то время уже возведенный в графское Российской империи достоинство. Франко-германской распри еще не существовало; вопрос о национальностях дремал под сению венских трактатов, а потому все выходцы поддерживали друг друга без различия национальностей. Ферлакур шепнет словечко Юнгфершафту насчет местечка по питейной части; Юнгфершафт, в свою очередь, порекомендует Ферлакуру какого-нибудь архимандрита - и, благодаря взаимным услугам, дела об определениях и увольнениях шли как по маслу. Архимандриты, советники, исправники, - все видели себя агентами одной и той же короны, только по разным предметам, распределение которых хранилось в высшей регистратуре. Велентьеву при-

шлось дожидаться не долго. Княгиня так усердно хлопотала, что чрез месяц после того, как зародилась идея о месте, Менандр уже являлся к самому Юнгфершафту и получал от него наставления, каким образом следует обращаться с российскими финансами. Граф был сухой и бесстрастный старик, говоривший глухим и однообразным басом. Молва считала его бескорыстным, и, по-видимому, он оправдывал это мнение; но, к сожалению, из долговременной административной практики он вынес какое-то глубоко безнадежное убеждение о России.

- Сей страна от природы таков, - говаривал он, - что в нем без грабежа существовать не есть возможно!

Велентьева граф принял с тою безличною, сухою благосклонностью, которая его отличала.

- Ви отправляетесь в одну из наивыгоднейших губерний Российской империи, - сказал он ему, - но прошу вас - я не приказываю, но прошу имейте рот не столько широкий, как многие из сослуживцев ваших!

- Помилуйте, ваше сиятельство! - заикнулся было Менандр, у которого от этих слов душа уже начала полегоньку парить.

- Я знаю, что вы хотите сказать, - невозмутимо продолжал старик, - вы хотите сказать, что вы не таков. Я должен вам верить, хотя и думаю, что это не есть возможно. Но повторяю вам: сожалеете ваш родной страна! Это очень добрый и хороший страна, но нужно немного его менажировать!

Велентьев продолжал раскрывать рот, видимо порываясь разуверить графа, но старик был невозмутим.

- И еще прошу вас, - говорил он, - не будьте нетерпелив! Мы для всех предлагаем очень хороший обед, но много людей имеют так мало терпенья, что бросаются кушать, когда еще стол не накрыт. И за то попадают под суд.

На губах графа играла чуть-чуть заметная улыбка; глаза смотрели ясно, как будто читали насквозь в душе этого вскормленника гороховицы, все фибры которого в эту минуту светились вожделением. Под лучом этого взгляда Велентьеву сделалось жутко, почти стыдно.

- И еще скажу, - продолжал напутствовать граф, - не все грабить! Очень большой человек грабить не надо. Ибо ежели закон говорит: действовать не взирая на особ, то практика говорит не так. Прощайте, господин Велентий!

Велентьев вышел от графа словно из бани. С одной стороны, уста по привычке шептали: ангел, а не человек! - с другой стороны, он чувствовал, что ему неловко, что граф угадал в нем нечто такое, в чем даже он сам не решался дать себе отчет. И притом угадал с такою чуткою проницательностью, что, говоря по сове-



сти, не было возможности что-либо возразить.

Как бы то ни было, но предположение относительно места осуществилось; оставалось осуществить другое предположение - относительно вступления в законный брак. Фортуна и на этот раз не оставила Менандра своим покровительством.

У княгини жила в доме троюродная племянница, одна из многочисленных представительниц захудалого грузино-осетинского рода князей Крикулидзевых. Княжне Нине Ираклиевне было под тридцать. Маленькая, худенькая, вся черненькая, с большим грузинским носом и быстрыми черными глазами, она незаметно копошилась в одном из темных углов обширного синодального дома, не обращая на себя ничьего внимания и, по-видимому, отказавшись от всякой надежды на вступление в брачный союз. В постоянном одиночестве, она приобрела одну страсть: копить деньги. Бережно прятала она небольшие подачки, которые давала ей по праздникам княгиня-тетка, и была совершенно счастлива, когда ей поручали сделать в Гостином дворе или в Милютиных лавках закупки: тогда она уэкономливала несколько рублей и присовокупляла их к прочим. Сверх того, у нее было в Пензенской губернии небольшое имение (не более тридцати душ), доходы с которого она тоже прятала. Никто не знал, в чем заключается это имение и приносит ли оно что-нибудь, но она знала это отлично и, пользуясь в доме тетки полной свободой, неслышно и незримо для всех делала очень выгодные финансовые операции. Операции эти заключались в отдаче крестьян в солдаты "за дурное поведение", в продаже рекрутских квитанций, в покупке на своз душ, в продаже девок и проч. Операции не блестящие, почти незаметные, но верные и прочные. Когда она хлопотала и суетилась по поводу сдачи какого-нибудь Ионки-подлеца, которого казенная палата не соглашалась принять в рекруты по случаю искривления позвоночного столба, в доме над нею смеялись и говорили: *cette pauvre Nina! a-t-elle du guignon!* {бедная Нина! как ей не везет!} - и затем, конечно, обхлопатывали дело так, что Ионку-подлеца принимали, несмотря на искривление позвоночного столба. А она прикидывалась казанской сиротой, а через месяц или через два снова возбуждала вопрос об отдаче в солдаты подлеца Ипатки, у которого на правой руке не оказывалось указательного перста.

- *Calmez-vous, chere enfant!* - успокоивал ее старый князь, *j'intercederai! cela s'arrangera!* {Успокойтесь, милое дитя! я вмешаюсь, все устроится!}

И Прошки, Ипатки, Ионки исчезали бесследно в качестве кашеваров, лазаретных служителей и прочих фурштатских чинов великой российской армии.

Но под конец и в доме стали догадываться, что у княжны водятся деньги. Это случилось именно в то время, когда ей исполнилось тридцать лет и она, постепенно чернея, сделалась уже совсем черною. Догадался и Велентьев, но, прежде чем на что-нибудь окончательно решиться, он стал исподволь похаживать по коридору, в который выходила комната княжны. Княжна, с своей стороны, заметила эти прогулки и задумалась. Жажда жизни, долгое время заглушаемая забитостью, одиночеством и страстью к деньгам, вдруг вспыхнула. Чаще и чаще начала она посматриваться в зеркало и незаметно для самой себя ощутила потребность рядиться, прыскаться духами, взбивать волосы, порхать, подпрыгивать и проч. Глаза сделались томные, голос зазвучал резче, нос еще более заострился и вытянулся. Наконец, в одно послеобеда, встретившись с Велентьевым в коридоре, она пригласила его в свою комнату и угостила прекраснейшим вареньем.

- Вы, может быть, думаете, что у меня денег нет? - сказала она, вдруг приступая к самому существу дела, - нет, у меня есть деньги!

Велентьева бросило в жар при этом признании.

- Я недавно купила сто мужиков на своз, - продолжала княжна, - и ежели эта операция удастся, то я получу хорошую выгоду.

- Ваше сиятельство! - захлебнулся Велентьев.

- А когда я буду выходить замуж, то ma tante даст мне еще десять тысяч. Эти деньги я думаю отдавать в рост.

- Ваше сиятельство! осмелюсь доложить...

- Вы думаете, может быть, что отдавать деньги в рост - дело рискованное, но я могу сказать наверное, что тут никакого риска нет. Почти все заложенные вещи остаются невыкупленными и достаются мне за бесценок. Посмотрите, сколько у меня прекраснейших вещей!

И она выложила перед ним целый ворох табакерок, булавок и т. п.

- Все эти вещи теперь мои, - сказала она, - потому что все они просрочены. Когда вы будете нюхать табак, то я вам подарю одну из этих табакерок. Скажите, вы в каких отношениях к ma tante?

- Помилуйте, ваше сиятельство. Княгиня - ангел-с! смею ли я подумать!

- Гм... ангел! А Федосея Семеныча вы знаете?

- Нет-с, не имею чести...

- Ну, так вот он мог бы сказать вам, какой она ангел. Теперь он секретарем в вятской духовной консистории служит.

Это был единственный амурный разговор между Велентьевым и княжною. Тем не менее он заключал в себе настолько содержательности, что участь обоих действующих лиц была решена. Через месяц княжна Нина Ираклиевна Крикулидзева уже носила

фамилию Велентьевой, и молодые в великолепном иохимовском дормезе (подарок *ma tante*) отправлялись в губернский город Семиозерск. Через год у них родился сын Порфирий.

----

Таким образом, уже с колыбели Порфиша очутился, так сказать, на самом лоне финансовых операций.

Менандр Семенович взглянул на свою должность с тем невозмутимым практическим смыслом, которым он всегда отличался. Конечно, в качестве бывшего семинариста, не отвыкшего еще во всяком деле прежде всего отыскивать его отвлеченную суть, он увлекся было разъяснением вопроса о правах и обязанностях, сопряженных с званием советника казенной палаты, но к чести его должно сказать, что увлечение это было непродолжительно. Он быстро понял современную ему действительность и с свойственной ему проницательностью угадал, что отыскивать в ней что-либо, отвечающее понятию, выражаемому словами: права и обязанности, - было бы совершенно напрасным трудом. Нельзя же, в самом деле, признать за нечто существенное такое право, как, например, право носить мундир с шитьем шестого класса или такую обязанность, как обязанность являться в собор и по начальству в табельные дни. Все это не больше, как принадлежность чиновничьего этикета, который, в общем своем составе, хотя и подразделялся на рубрики, носившие наименование "прав и обязанностей", но очевидно, что это произошло лишь вследствие недоразумения. В сущности, всякий, как чиновник, так и простой обыватель, жил как мог, то есть не знал ни прав, ни обязанностей, а просто-напросто занимался приобретением в свою пользу материальных удобств настолько, насколько это позволяла личная возможность приобретать. И уж конечно, никто не стеснялся мыслью, что существует на свете какая-то особенная жизненная подкладка, элементы которой имеют название прав и обязанностей.

Итак, ни прав, ни обязанностей не было, а была только возможность или невозможность получить желаемое и, кроме того, опасение не попасть под суд. Но желание есть такая вещь, которая присуща природе человека, даже независимо от степени нравственного и умственного его развития. И дикарь нечто желает, несмотря на то что он не имеет понятия ни о правде, ни о добре, ни об общественном интересе. Поэтому, если существует общество, в котором все высшие интересы сосредоточиваются исключительно около мундирного шитья и других внешних проявлений чиновничьего этикета, то ясно, что в этом обществе единственным регулятором человеческих действий может служить только личная жадность каждого отдельного индивидуума, и

притом жадность эгоистичная, уровень которой немногим превышает уровень жадности дикаря. Может человек унести и спрятать или не может? может заглотать облюбованный кус или не может? - вот круг, в котором вращается человеческая жизнь, вот вся ее философия.

Несмотря на свою грубость, эта теория улыбалась Велентьеву. Во-первых, она не только совпадала с его теорией угобжения плоти (дабы дух мог беспрепятственнее воспарить), но и шла значительно дальше, предоставляя выполнение второй половины задачи (парение духа) естественному ходу обстоятельств. Возможен дух воспарить - прекрасно; не возможен - стало быть, обстоятельства тому не благоприятствуют. И дешево и сердито.

Во-вторых, ежели другой, лучшей теории нет, то делать нечего, надобно мириться и с тою, какая есть. Только безумцы могут отыскивать жемчужное зерно в навозе, мудрый же довольствуется и овсяным зерном. Притом же, и правительство одобряет, дабы никто жемчужного зерна не искал. Мудрый прежде всего ищет, чтоб у него была почва под ногами, и ежели эту почву составляет навоз, то он и на навозе не погнушается строить здание своего благосостояния. В-третьих, наконец, - и это самое главное, - теория личной жадности встречала на практике такие приспособления, которые примиряли с нею самого взыскательного и щепетильного моралиста.

Взятая сама по себе, она была безнравственна - Велентьев охотно допускал это. Если б всем людям без различия была предоставлена возможность свободно проявлять стремления своего аппетита, то последствия этой свободы были бы самые пагубные. А именно: или всеобщая истребительная война, или всеобщее обеднение. По крайней мере, так гласит наука не только тогдашнего, но и нашего времени. Ни того, ни другого Менандр Семенович не одобрял. В качестве вскормленника семинарии он ненавидел военные упражнения и любил сосать свой кус не токмо нетревозно и несмущенно, но так, чтобы и сердце играло, и душа непрестанно славословила подателя всех благ. С другой стороны, как патриот, он понимал, что ежели все куски сделать равными, то человеческая деятельность утратит главнейший свой стимул: соревнование. Каждый будет доволен (или вынужден казаться таковым) своей долей и не станет порываться урвать долю, сосому соседом. Люди одичают, сделаются ленивыми и беспечными, утратят инстинкт предусмотрительности и запасливости - на что похоже! Фабрики и заводы прекратят свое действие; промышленность придет в упадок; торги запустеют, земледелию будет нанесен удар, от которого оно никогда не оправится. Что станет с отечеством? - Велентьева подирал мороз по коже от этого вопро-

са. Но, к счастью, ему не представлялось даже надобности разрешать этот вопрос, ибо само отечество позаботилось о его разрешении.

Русское общество, с самого начала XVIII века, порывалось создать теорию такой регламентации appetitов, которая приличествовала бы обществу вполне цивилизованному, оберегающему себя и от анархии, и от всеобщего обеднения. Попытки эти выразились в форме очень незамысловатой, но в то же время очень действительной, а именно - в форме таблицы о рангах. Общество не лукавило; оно не прибегало для оправдания своих теорий к помощи сложных и извилистых политико-экономических афоризмов, которые, впрочем, не столько разрешают вопрос об уравновешении человеческих appetitов, сколько описывают, каким образом в действительности происходит ограничение одних частных appetitов в пользу других таковых же. Оно поступило проще, то есть разделило appetиты на ранги, и затем сказало, что только действительно сильный и вполне сознающий себя appetит может выйти из того ранга, в который его поместила судьба. Это была своего рода цельная и оригинальная экономическая наука, которая, в главных чертах, разделяла обывателей на следующие четыре разряда. Одним предоставлялось желать, но не получать желаемого; другим - желать и получать, но не сполна; третьим - желать и получать сполна; четвертым желать и получать в излишестве.

Таким образом, вопрос о безнравственности теории индивидуальных appetitов был устранен, и это тем более утешило Велентьева, что, в большинстве случаев, с таблицью о рангах уходил на задний план и вопрос о силе appetита, или, лучше сказать, вопрос этот ставился в полнейшую зависимость от разрядов. Конечно, исключения допускались (сам он, Менандр Велентьев, был одним из таких исключений), но исключения, как известно, только подтверждают и узаконяют правило. По общему же правилу, будь человек хоть семи пядей во лбу, имей он хоть волчий appetит, но ежели, по щучьему велению, он засел в разряд неполучающих, то и не выкарабкаться ему оттуда ни под каким видом.

"- Да-с, и сиди да посиживай там! вот и хотелось бы тебе, курицыну сыну, что-нибудь стибрить - ан врешь, руки коротки! Припасено, милый человек, да не про тебя!" - мысленно говорил себе Велентьев, потирая руки.

Столь прекрасные практические приспособления совершенно успокоили Менандра Семеновича. Он чувствовал, что appetит у него сильный, что сам он, по мере возможности, готов пожрать все, что угодно, и что обстоятельства благоприятствуют не только содержанию этого appetита в исправности, но даже и развитию

его в будущем. Тем не менее он был настолько благоразумен, что на первый раз, по собственному движению, причислил себя не к четвертому, а лишь к третьему разряду обывателей. Четвертый разряд - это идеал, это светозарный пункт, к которому надлежит стремиться и по возможности достигать. Третий разряд - это "следующее", это то, что, во всяком случае, должно быть. Велентьев понял, что, прежде, нежели требовать от судьбы излишков, человек должен достигать "счастия", то есть такого душевного равновесия, при котором он имеет право сказать: я мало имею, но и за сие малое восхваляю господа моего в тимпанах и гусях! Достигнуть же этого блаженного состояния можно лишь тогда, когда желания человеческие строго согласованы с средствами их осуществления, и когда, вследствие этого согласования, произойдет получение желаемого сполна. Разумеется, неприятно видеть, как сосед держит во рту кусок (иной и держать-то путем не умеет!), но на первых порах и эту неприятность следует перенести стоически. Пускай цари живут в позлащенных дворцах - он, Велентьев, поживет и на Козьей улице, в собственном домике с садом и палисадником. Всякому свое - вот правило мудрого; тот же мудрейший, который пожелает возвести это правило на ту высоту, где уже теряется различие между твоим и моим, - все-таки должен хотя на время притвориться лишь просто мудрым. Поэтому: советнику ревизского отделения - свое; губернскому контролеру - свое, поменее; губернскому казначею - свое, еще поменее; ему, Велентьеву, яко советнику питейного отделения, - свое, против других сугубо. Но, до поры до времени, ни ему нет дела до чужих кусков, ни другим - до его куса. Всякий да сосет свой кус под смоковницею своею.

"Прибыл я в патриархальный наш Семиозерск, - писал Велентьев к другу своему Слоущенскому, - и изумился, до какой степени мудро наши добрые провинциалы все сие устроили. Представь себе немалое здание, множеством камер исполненное. Одному дана камера посветлее и пообширнее, другому - не столько светлая и обширная; однако ж никто, начиная с презуса и кончая последним канцелярским служителем, не забыт. И скажу тебе откровенно, мой друг! Мнится, что не тот счастлив, кто имеет самую светлую и обширную камеру, но тот, кто и в своей посредственной камере умеет с чистым сердцем прожить!"

В те времена места советников казенных палат (в особенности же питейных отделений) считались самыми завидными. Хотя грабеж шел неусыпающий, но так как он был негромкий, то со стороны казалось, что это не грабеж, а только получение желаемого. Поэтому, кроме хороших доходов, тут был и почет. Какой-нибудь советник губернского правления, чтобы поставить себя, в

материальном отношении, на одну высоту с советником казенной палаты, обязывался совершить что-нибудь необыкновенное: или взойти в пай с убийцами, или скрасть сенатский указ, или сделать подлог. То есть, говоря выражением того времени, должен был "замараться", ибо лишь за дела, сопряженные с "замаранием", он получал мзду настолько существенную, что "не совестно было ее взять". Напротив того, советник казенной палаты мог не только гнушаться убийцами, но просто имел право сидеть сложа руки и, как говорится, ждать у моря погоды - и ни десница, ни шуйца его от того не оскудевали. Ему нужно было только состоять в звании советника - и взятка притекала к нему сама, и притом взятка самая "благородная", такая, которую и "не стыдно было взять" (в количественном смысле) и для получения которой не нужно было ни "мараться", ни рисковать. Не мудрено, стало быть, что места эти ценились высоко и достигались лишь с помощью сильной протекции или очень значительной денежной оплаты.

Но даже и в казенных палатах питейные отделения казались чем-то исключительным, вроде рая земного. Прочие советники хоть по временам, но должны были красть и вымогать; {Так, например: советник ревизского отделения обязан был щупать рекрутские тела, выслушивать плач, стоны и проклятия, кривить душой при приеме охотников, входить в пререкания с лекарями и военными приемщиками и т. д.; губернский контролер, чтобы получить мзду, нередко оставлял без утверждения даже самые правильные отчеты, так что ему давали взятку только затем, чтоб развязаться с ним; на места губернских казначеев попадали древние старики, которые жили подачками при подписании указов о выдаче денег, а также подарками, получаемыми от уездных казначеев. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)} советник питейного отделения - никогда! Он мог, никого не угнетая, а напротив, всех радуя, прожить свой век - и, во всяком случае, получить желаемое сполна и в определенные сроки. В его заведовании было самое тучное, благоденственное и стоворчивое из всех стад, какие когда-либо вверялись человеческому пасенью. То было стадо откупщиков и винокурных заводчиков. Тучное и покладистое, оно привлекало к себе все сердца еще тем, что было немногочисленно и неразнообразно, а следовательно, не представляло опасностей и относительно болтовни. В этом маленьком, однородном и по природе податливом мире между пасущими и пасомыми исстари завязались такие крепкие отношения, которые образовали собой целое "положение", имевшее, пожалуй, более силы и обязательности, нежели положения, освященные законом. Это добровольное, выработанное самою жизнью, "положение" выполнялось с

точностью вернейшего часового механизма и притом самым "благородным" образом. Одним словом, благодаря ему советник питейного отделения мог, нимало "не мараясь", получать все то, что и он и сам взятокодатель считали бесспорно ему принадлежащим.

Каждогодно, в сентябре, производились в палате торги на поставку вина, и каждый заводчик безропотно вносил "на братию" от шести до осьми копеек ассигнациями с ведра, смотря по тому, какое существовало в губернии "положение". Откупщик, с своей стороны, тоже руководился "положением", внося свою дачу по третям года или помесечно, и притом всегда вперед, так что даже в случае смерти получателя деньги эти не возвращались. Наконец, являлись по временам и отдельные случаи: взятие откупа в казенное управление, корчемство, пререкания между откупщиками двух соседних уездов и т. д. Но и эти случаи были предвидены "положением", и ежели не математически верно, то приблизительно были им разрешены. Следовательно, в виду всегда имела живая и осязательная руководящая нить, которая не допускала ни споров, ни пререканий. Приедет заводчик, скажет: "по "положению" имею честь вручить"; советник пожмет ему руку и ответит: "напрасно беспокоились, а впрочем..." Только всего и разговоров.

Затем, замок щелкал, и "следующее по положению" скромно присовокуплялось к прочим таковым.

И откупщики, и заводчики, и винные пристава - все приносили от избытков своих, а тот, кто терпел, - не жаловался, да вряд ли и понимал, что он терпит.

Столь превосходные качества мест требовали и строгого выбора лиц для занятия их. Лица эти были люди солидные, обладавшие вполне благонадежными качествами ума и сердца. Многие из советников питейных отделений были тайные поборники масонства, многие числились членами библейского общества и все без исключения отличались набожностью, склонностью к созерцательности и любовью к благолепию службы церковной. Епархиальные архиереи видели в них опору благочестия, доблестнейших сынов церкви, составлявших украшение воскресных архиерейских пирогов. Центральная власть понимала их как людей, существенно заинтересованных в сохранении существующих порядков, а следовательно, благонамеренных и нестроптивных. Директоры училищ отводили душу, беседуя с ними о боге и его величии. Полицеймейстеры указывали на них как на идеал доблестного содержания мостовых и неуклонной вывозки нечистот. В заключение же всего, общество, убежденное, что из всего чиновничьего сословия они одни не имеют надобности "марать-



ся", а только получают следующее "по положению", дарило их своим доверием и выбирало старшинами в местные клубы.

Живя скромно, окруженные общей любовью, никем не огорчаемые, эти люди незаметно становились городскими старожилками, принимали к сердцу местные интересы, делались членами холерных, оспенных и других комитетов и умирали в глубокой старости, оставляя после себя вдов и сирот, которые были бы неутешными, если бы хлопоты по утверждению в правах наследства давали им время для продолжительного оплакивания. И когда печальная колесница увозила к последнему жилищу гроб, на крыше которого красовалась трехугольная шляпа, а внутри покоились бранные останки того, кто еще так недавно был добрым пастырем откупщиков и винокуренных заводчиков, никто не говорил вслед этому гробу: вот умер один из грабителей русской земли! - но всякий, сотворив крестное знамение, произносил: вот умер человек, который никогда в своей жизни не замарался, но довольствовался лишь тем, что следовало ему "по положению".

Вот краткий, но правдивый очерк того положения, в котором очутился Велентьев в Семиозерске.

Менандр Семенович инстинктом угадал все, что в его ново:"; роли заключалось существенного, и потому, вступив в должность, почувствовал себя в ней точно так же свободно, как будто он двадцать лет сряду разрешал вопросы об утечке и усышке. Еще перед выездом из Петербурга он понял, что главное в этом деле - это бюджет доходов, и потому прежде всего приобрел себе отлично переплетенную и разлинованную тетрадь с вытисненной на переплете надписью "Разное". На внутреннем же заглавном листе тетради он написал: "Смета ожидаемых получений" с эпиграфом: благословиши венец лета благости твоя, господи! Затем, с свойственной ему пронизательностью, он разделил смету на пять следующих параграфов: 1-й "Содержание, от казны присвоенное (лепта вдовицы)"; 2-й "Положение от откупа (всякое даяние благо)"; 3-й "Положение от господ винокуренных заводчиков (и всяк дар совершен)"; 4-й "Следуемое от винных приставов (ему же дань - дань, ему же честь - честь, ему же оброк - оброк)"; 5-й "Разные поступления (ищите и обряцете)". Сделав это распределение, Менандр Семенович сказал себе, что главное исполнено, что рубрики, исчерпывающие кругообращение советника питейного отделения, найдены, и затем остается только наблюдать, чтоб они своевременно и неупустительно наполнялись.

По соображениям его, все пять параграфов сметы должны были доставить никак не менее тридцати тысяч рублей на ассигнации в год, без лажа. А так как, при тогдашней дешевизне всех жизнен-

ных потребностей и при собственной его умеренной жизни, ему и пять тысяч прожить за глаза, то должен получиться ежегодный остаток в двадцать пять тысяч рублей, который и представляет собой "получение желаемого", или чистый доход. Этот чистый доход предполагалось употреблять на финансовые операции.

В те времена финансовые операции были еще в младенчестве. Никто еще не думал ни о железных дорогах, ни о водопроводах, а тем менее об учреждении компаний для получения от казны пособий. Приращение капитала шло медленно, но зато верно. Большинство чиновников клало свои лепты в ломбард на имя неизвестного и предпочитало этот способ приращения всем другим, потому что он не был сопряжен с риском и не допускал огласки.

- Ломбард - святое дело! - говорили чиновники. - Положил, и концы в воду.

Другой способ приращения заключался в одолжении деньгами "верного человека" за хорошие проценты. Тут приращение шло несколько быстрее, но и возможность огласки была настолько значительна, что только мелкие и очень жадные чиновники решались на эту операцию. Третий способ состоял в помещении денег в торговые предприятия, которые обыкновенно велись под чужим именем; но эта операция требовала такого сложного и бдительного контроля, что чиновники, увлекавшиеся выгодами торговых барышей, нередко становились в положение человека, погнавшегося разом за двумя зайцами и ни одного не поймавшего. Наконец, существовала и еще четвертая операция - это покупка и продажа мужиков. Операция эта была совершенно верная и выгодная, но тут огласка была уже полная.

Менандр Семенович, как человек солидный, и операцию выбрал солидную, то есть решил класть свой чистый доход в ломбард. Нельзя сказать, чтобы мысль о более быстром обогащении не улыбалась ему, но он понял, что благосостояние его зависит не столько от тех выгод, которые может доставить ему быстрое обращение благоприобретенных капиталов, сколько от ежегодных и совершенно верных присовокуплений, которые сулила ему должность. Эта должность представляла единственную прочную и никогда не иссякающую операцию, которую он мог предпринять без риска, а потому он дал себе слово оберегать ее от всяких случайностей и содержать этот источник столь чистым и прозрачным, как ему в том перед начальством и на Страшном суде ответ дать надлежит.

Только два раза, в продолжение своей служебной карьеры, Велентьев отступил от этого мудрого правила; оба раза по настоянию Нины Ираклиевны, и оба раза с ущербом. Один раз он "одол-

жил" за хороший процент довольно значительную сумму совершенно "верному" человеку, которому притом нужно было "перехватить" двадцать тысяч на самый короткий срок для самой надежной операции. И что же оказалось? Едва получил "верный человек" деньги, как тотчас же словно в воду канул. Только через год он вынырнул, но вынырнул там, где уже не существует ни возвратов занятых сумм, ни надежд на выгодные операции, - в семиозерском остроге. Менандр Семенович поскорбел, упрекнул Нину Ираклиевну в легкомыслии, но давать делу огласку и "мараться" не пожелал. Подобно древнему Иову, он сказал себе: бог дал, бог и взял, - и затем купил два калача и поехал в тюремный замок.

- Ты у меня двадцать тысяч украл, - сказал он своему должнику, - но я тебе не мщу, потому что мстят только низкие души. Вот, привез тебе два калача: возьми и ешь.

В другой раз он задумал открыть мучной лабаз и торговать под чужим именем хлебом, но и эта операция убедила его, что одному человеку заграбить все деньги никак невозможно. Во-первых, контроль над мещанином, от имени которого производилась торговля, оказался до крайности сложным и даже унижительным. Каждое утро Велентьев запирался с своим агентом в кабинете, проверял счета, прокладывал выручку, но и за всем тем никогда не мог освободиться от мысли, что агент нечто украл. Как плод этих сомнений, в кабинете раздавались побрякивания и еще какие-то звуки, выражавшие не то недоверие, не то недоумение.

- "Со вчерашними ежели считать, то двести пятьдесят рублей и три четверти копейки, а без оных сто один рубль двадцать две копейки, итого девяносто рублей", - читал Менандр Семенович отчет, - черт тебя знает, братец, какую ты тут чушь напорол!

Затем счета складывались, и Велентьев уже без дальнейших околичностей обращался к своему агенту с вопросом:

- Верно?

- Помилуйте, ваше высокородие! осмелюсь ли я?

- Я тебя спрашиваю: верно?

- Вот как перед истинным-с!

- Повтори, какое ты слово сказал?

- Как перед истинным, так и перед вашим высокородием: ни копейки не утаил-с!

- Смотри же помни это! Знаешь что в Писании сказано: не человеком солгал еси, но богу!

Во-вторых, несмотря на клятвы, дело кончилось все-таки тем, что мещанин однажды совсем не явился с отчетом, а вслед за тем объявил себя от собственного имени невинно падшим и исчез. Вторично Велентьев, подобно Иову, воскликнул: бог дал, бог и

взял, но с тех пор уже дал себе слово никогда не сворачивать с пути, который указывал ему на ломбард как на единственно верное хранилище чиновнических лепт.

Когда Порфиша начал понимать себя, репутация Менандра Семеновича в Семиозерске уже установилась. Он пользовался общественным уважением, состоял в звании старшины местного клуба, имел на шее орден Св. Анны и в довершение всего обладал дружеским расположением губернатора. Губернатор когда-то принадлежал к секте скакунов, был пойман на радении в инженерном замке, затем, в виде опалы, сослан в Семиозерск на губернаторство, и вследствие всего этого считал себя философом. Поэтому беседа с Менандром была для него настоящею усладою. Но и среди этих благоприятных условий Велентьев нимало не возгордился, но, напротив того, готов был всякому подать благой совет и даже оказать помощь, разумеется, если она была не денежная.

Порфиша от природы был любознателен, но это качество развилось в нем еще более вследствие таинственности, которою папаша облачал некоторые свои действия. Ежедневно утром Менандр Семенович запирался у себя в кабинете и по истечении некоторого времени выходил оттуда весь красный. Естественно, что обстоятельство это должно было заинтриговать Порфишу, и вот однажды, оторвавшись от резвых игр юности, он подстерег момент, когда дверь папашина кабинета захлопнулась, подкрался к ней неслышными шагами, приложил к замочной скважине глаз и увидел следующую картину.

Отец сидел у письменного стола, задом к нему, следил по толстой разграфленной книге и щелкал на счетах. Потом начал перебирать какие-то бумажки, смотрел некоторые из них на свет, щелкнул на счетах, достал новую пачку бумажек, пересчитал и опять щелкнул. Сосчитавши все, как следует, он приступил к сортированию тех бумажек, которые еще не были сложены в пачки, подобрал серенькие к сереньким, красные к красным и т. д. Подобрал полную пачку, он клал ее на стол, причем каждый раз хлопал рукою и боязливо обертывался назад, как бы опасаясь, не наблюдает ли кто за ним. Затем он выдвинул другой ящик, вынул оттуда мешок с полуимпериалами и разложил на столе порядочное количество блестящих столбиков. Наконец, сосчитавши ассигнации и полуимпериалы, он подвел на счетах общий итог, потянулся, крякнул и призвал имя господне. Финансовая операция кончилась; ассигнации и полуимпериалы отправлены в подлежащие ящички; замки защелкнулись. Порфиша отпрянул от двери и поспешил в столовую играть.

Как ни однообразно было это зрелище, но оно полюбилось Порфише. Ему понравился и звон полуимператоров, и шелест бумажек, тем более что папаша, в качестве члена палаты, постоянно имел ассигнации новенькие. Каждое утро он с лихорадочным нетерпением выжидал начала сеанса и, притаив дыхание, выдерживал его до конца. Он научился различать интонации папашиных побрякиваний, угадывал, когда папаша доволен результатами своего сеанса и когда недоволен. Мало того: никем не наставляемый, он в скором времени стал отличать серенькие бумажки от красненьких и синеньких, и, как ребенок живой и острый, угадал, что первым надлежит отдать предпочтение перед последними. Словом сказать, инстинкт финансиста в нем заговорил.

Но в особенности интересовали его два месяца в году, а именно: сентябрь, когда производились торги на вино, в просторечии называемые сенокосом, и ноябрь, когда присяжные отправлялись в Петербург за гербовой бумагой и когда папаша отсылал свой чистый доход для вклада в ломбард. В обоих случаях Менандр Семенович заметно волновался, но в первом волновался сладостно и видел веселые сны, а во втором был мрачен и видел во сне воров, мошенников и грабителей. Это волнение длилось до тех пор, пока вино не было окончательно заподряжено и пока доверенный присяжный не вручал Велентьеву нового ломбардного билета на имя неизвестного. Тогда все снова приходило в обычный порядок. Вместе с отцом оживал и падал духом и Порфиша. Не имея никаких положительных сведений ни о заподряде вина, ни о ломбарде, он понимал, однако ж, что названные выше эпохи составляют венец того процесса созидания, которому так неутомимо, в продолжение целого года, предавался его отец. Он смутно чувствовал, что в родительском доме происходит нечто очень важное и решительное, и если бы проницательный человек заглянул в эти минуты в его душу, то убедился бы, что хотя Порфиша еще ни разу не произнес слова "капитал", но что слово это уже созрело, и недалеко то время, когда оно слетит с его языка так свободно, как будто именно на этом языке, а не в другом месте, его подлинное месторождение.

Но чем более Порфиша выказывал склонности к меркантилизму и к счетной части, тем менее поощрял в нем эту склонность Менандр Семенович. Подобно всем людям, занимающимся накоплением, а не распределением богатств, он как бы несколько стыдился своего ремесла.

Одаренный от природы домовитыми инстинктами евангельской Марфы, он прикидывался беспечною Марией и ни о чем так охотно не беседовал, как о масле, мирре и благовониях. Поэтому он твердил Порфише о добродетели и старался внушить ему чув-

ства невинные и в то же время возвышенные. Но, к величайшему сожалению, у него было так мало свободного времени, что он мог делать эти внушения лишь в самом кратком виде. Утро было занято службой, вечер - клубом; вполне свободным оказывался только небольшой послеобеденный промежуток, который и посвящался вкоренению в ребенке благородных чувств. Отдохнувши и напившись чаю, Менандр Семенович ходил с Порфишей по довольно обширному фруктовому саду, который был разведен им сзади дома, очищал яблони от червей и гусениц и собирал паданцы. Если яблоко упало вследствие зрелости, то Менандр Семенович, поднимая его, говорил:

- Вот, мой друг, образ жизни человеческой! Едва созрел - и уже упал!

Если же яблоко упало, подточенное червем, то он говорил:

- И тут жизнь человеческая прообразуется! Но не зрелостью сраженная, а подточенная завистью и клеветой!

Потом, указывая на небо, присовокуплял:

- Смотри на небо, мой друг! и оттоле жди себе утешения в колоратностях жизни! Там живет общий отец наш! Люби его, друг мой!

И затем, повернувшись на каблуках, отправлялся в клуб.

Несмотря на краткость этих поучений, Порфиша не любил их. Быть может, он не мог согласить их с теми утренними сеансами, которых он был ежедневным свидетелем, или же вообще в нем мало развита была склонность к риторическим уподоблениям - как бы то ни было, но образ отца представлялся ему двойственным: во-первых, в виде солидного человека, занимающегося процессом созидания, и, во-вторых, в виде сытого празднотлюбца, предающегося, в ожидании партии виста, разглагольствиям о каких-то совсем ненужных сравнениях человека с яблоком. За действиями первого он следил с тревогою и любовью; предиками последнего скучал и тяготился. Он не раз даже пытался объяснить себе, отчего папаша утром такой, а после обеда другой, но так как для детского ума разрешение этого вопроса не представляло существенного интереса, то вопрос так и канул в общей бездне мгновенно вспыхивающих и мгновенно же потухающих вопросов, которыми так богато детское существование. Впоследствии, в годах более зрелых, образ отца разглагольствующего окончательно стусеивался, и тем рельефнее выступил образ отца, щелкающего на счетах и каждодневного созидающего.

Гораздо цельнее и рельефнее представлялся Порфише образ матери.

Нина Ираклиевна, вышедши замуж и поселившись в Семиозерске, значительно изменилась. И прежде у нее было не много

княжеских привычек, теперь же она предала забвению и то немалое княжеское, которое сохраняла в доме *ma tante*. Фигура ее из тоненькой сделалась круглою и плотною; лицо, утратив желчное выражение, приобрело оттенок довольства и даже добродушия. Вообще, устройство ее судьбы подействовало на нее благотворно. Она не была обязана ни скрываться, ни приобрести исподтишка, как в доме *ma tante*. Та страсть, которая была двигателем всей ее жизни, - страсть к приобретению - получила себе вполне свободный выход. Она могла покупать, продавать, выменивать Менандр Семенович не только не препятствовал ей, но даже радовался, взирая на ее деятельность. У Менандра Семеновича было свое дело, у ней - свое. Она тоже создала себе своего рода палату, в которой и копошилась с утра до вечера.

На половине у мамы также шел процесс созидания, но шел не потаенно, а в виде непрерывной и совершенно открытой сутолоки, так что Порфиша имел полную возможность следить за всеми его подробностями. Нина Ираклиевна вела операцию очень сложную и замысловатую: она торговала мужиком. Выменивала, покупала, продавала, отпускала на волю, сдавала в солдаты и проч. Отказавшись лично от этой операции, Менандр Семенович предоставил ведение ее жене тем охотнее, что последняя, как было всем известно, имела свой приданный капитал и свою приданую деревню. Следовательно, ни огласка, ни опасение клеветы - ничто не препятствовало ей производить все свойственные благородному званию и дозволенные законом операции. Находились, конечно, люди, которые говорили, будто Велентьев уделяет своей жене на этот предмет довольно значительные куши, которые в расходной его книге и записываются под рубрикой "воспособления", но так как никто этого собственными глазами не видал и сам Велентьев в том не признавался, то и выходил один пустой разговор. И Нина Ираклиевна, не смущаясь разговорами, продолжала действовать неумоимо и ловко. Она изучила мужика подробно, хотя и довольно односторонне, а именно только с точки зрения выжимания так называемого мужицкого сока. Не обращая внимания на этнографические и бытовые стороны мужицкой жизни, она направила свою проницательность исключительно на изучение стороны экономической, и так наметалась в этой науке, что с первого взгляда угадывала, где и что у мужика лежит и какую денежную ценность он собой представляет. Не брезгая мужиком барщинным, она преимущественно любила мужика оброчного, как более избалованного свободой передвижений и, следовательно, более чувствительного ко всяким ограничениям этой свободы. Заставить мужика за хорошую плату выкупиться на волю - вот что стояло у нее на первом плане; затем уже

следовали другие меры: заставить откупиться от солдатчины, от барщины, от службы в качестве бурмистра и проч. На все это оброчный мужик шел гораздо ходчее барщинного. К тому же, и доход в виде денег представлялся ее уму яснее, нежели доход в виде произведений мужицкого труда. Последние она допускала лишь между прочим, в виде талек, сушеных грибов, полотна, овчин и проч.

Этого добра скоплялись у нее полные кладовые, и она охотно снабжала им мелких семиозерских торгашей.

Комната мамыши представляла целый хаос, в котором только она одна могла разобраться. Тут были сложены вороха талек, полотно, кож и другого крестьянского хлама, и все это с утра до вечера перевешивалось, перемеривалось, записывалось в особые материальные книги и затем отправлялось в кладовые, чтобы на другой день дать место другим ворохам. Тут же, к великому удовольствию Порфиши, лежали и незатейливые сласти: пряники, орехи, леденцы и проч., приносимые мужиками на поклон. Подобно Менандру Семеновичу, Нина Ираклиевна каждодневно поверяла себя, и в это время, точно так же, как и муж, запиралась в своей комнате, но от Порфиши она не скрывалась и даже делала его соучастником тех наслаждений, которые доставляла ей проверка. Ставши коленами на стул и навалившись всем корпусом на стол, Порфиша, в каком-то очарованном забытьи, всматривался в ряды разложенных пачек и следил за движениями рук мамыши. В комнате делалось тихо; слышался только шелест бумажек, сопровождаемый чуть слышным бормотанием, да изредка раздавалось щелканье косточек на счетах, от которого Порфиша каждый раз вздрагивал, как будто в этом щелканье слышалась ему какая-то сухая, безапелляционная резолюция. Бумажки, в противоположность папашиным, были замасленные, рваные, вделанные в писаную бумагу, и это обстоятельство тоже обратило на себя внимание Порфиши.

- Мамаша! отчего у тебя бумажки рваные, а у папаши новенькие? спрашивал он.

- Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не мешай, мой друг! пять, шесть, семь...

Порфиша протягивал руку и дотрогивался пальцем до одной из пачек. Отчего же у мужичков рваные бумажки? - спрашивал он опять.

- Оттого, что у них руки потные... не трогай, мой друг! не сдвигай пачек с места! Восемь, девять, десять...

Порфиша на время умолкал и сидел смирно; но детская подвижность понемногу брала-таки свое, и он снова протягивал руку.



- Мамаша! у Авдея-старосты руки черные-пречерные! - говорил он, пытаясь отвлечь внимание Нины Ираклиевны.

- У Авдея-старосты... да не тронь же, душенька, пачку! в другой раз запрешь и не оставлю тебя с собой!

- Я, мамаша, только пальчиком!

Но вот и мамаша оканчивала поверку. "Слава богу, все верно!" - говорила она и, уложив пачки в ящик, запирала последний ключом. Затем она на некоторое время предавалась не то что отдохновению, а как бы сладкому сознанию, что все до сих пор шло и идет хорошо, а завтра, быть может, будет идти и еще лучше! Но отдохновение Нины Ираклиевны не бывало продолжительно. Ее всегда ожидали нужные дела, в виде переговоров с сводчиками, конференций с мужиками и старостами, приема оброка, талек, яиц и т. п.

Все сводчики ее знали и наперерыв предлагали имения. Всегда находились люди, которые, постепенно проворовываясь, в одно прекрасное утро усматривали себя в положении, о котором говорится: "хоть в петлю полезай". Поэтому имений, которые нужно было продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бывало очень достаточно. Нина Ираклиевна зорко следила за такими случаями, имела на этот случай "руку" в опекуновском совете и находилась в постоянных сношениях с сводчиками, которые являлись у ней чуть не каждый божий день.

- Дорого! - обыкновенно отрезывала она, выслушав предложение сводчика и зная, что последний всегда запрашивает если не вдвое, то в полтора раза.

- Сударыня! строениев одних сколько! Избы новые, крытые тесом, скот-с... Опять-таки мельница, лес-с...

- Не люблю я с мельницами возиться... ну их! мне мужика дай!

- И мужики исправные; у одного в Москве на Таганке заведение, у некоторых смолокурни, дехтярные заводцы-с!

- Сколько душ-то, ты говоришь?

- Триста.

- По четыреста за душу... сколько это денег-то выйдет?

- Не по четыреста, а по двести, сударыня, в двухстах они в совете заложены!

- Ну, ин по двести! Сто по двести - это двадцать тысяч... шестьдесят-то тысяч! да ты, сударь, никак, с ума спятил!

Нина Ираклиевна с негодованием отбрасывала счета и отворачивалась от сводчика к окну.

- За пятьдесят, может быть, отдадут! - заговаривал сводчик.

Молчание.

- Хоть сорок-то пять положьте!

- Тридцать!

- Нет, за тридцать нельзя! Одних строений сколько! опять же скот!

- Да ты скажи мне, с каких ты-то радостей торгуешься? Или уж начал и нашим и вашим служить?

- Я, сударыня, всякому служу, кто меня просит! Вы попросите - вам послужу; другой попросит - другому готов!

- То-то "готов"! Обе стороны продать готов! Вас за такие дела знаешь как надо! Сказывай, народ-то смирен ли?

- Самый покорный-с! Чтобы это возмущение или бунт - и в заведении никогда не бывало!

- Сорок - и ни копейки больше!

Сказавши это, Нина Ираклиевна уже окончательно упиралась, и результатом этого упорства почти всегда оказывалась купчая крепость, вследствие которой, через месяц или через два, владелец "заведения" на Таганке продавал его, а сам, с отпускной в руках, поступал в то же "заведение" половым.

Еще чаще заставлял Порфиша у мамыши мужиков. Из комнаты несся запах дегтя и сермяжины и раздавались возгласы: "Где же взять-то, сударыня?" - и неизбежный ответ на них: "А мне хоть роди да подай!" В большей части случаев мужики винулись, становились на колени и просили прощения, из чего Порфиша заключил, что все они обманщики и что мамаша напрасно теряет время, разговаривая с такими негодьями. Но изредка бывали и такие случаи, что мужик спорил и доказывал.

- Ведь еще об рождестве я деньги-то отдал! - горячился какой-нибудь Еремка, объясняя свою правоту.

- Не получала я, никаких я денег от тебя не подучивала; - запиралась Нина Ираклиевна.

- Вот владычица видела, как я на самом этом месте все деньги отдал! упорствовал Еремка, указывая на висевший в углу приданный образ богоматери, перед которым всегда теплилась лампадка.

- Может, и видела владычица, как ты отдавал, только кому-нибудь другому, а не мне!

-оборотню, что ли, я отдавал?

- Пошел вон, подлец!

Мужик уходил; Нина Ираклиевна задумывалась, болтала ногами и некоторое время избегала смотреть на владычицу. В ней просыпалось что-то вроде упрека; являлось колебание, не отдать ли?

- Никак, и в самом деле он заплатил? - шептали уста ее. Но Порфишу во всей этой сцене поражали лишь грубость

Еремки и дерзость, с которою он осмеливался обличать мамашу свидетельством владычицы. Заключение, которое он выводил

из этого случая, было то же самое, как и тогда, когда мужик винился и просил прощения. И в первом случае мужик был обманщик, и во втором обманщик. "Стало быть, он обманывал, если прощенья запросил!" "Обманщик - и еще смеет грубить!" - так говорил он себе, все более и более убеждаясь, что формула "как ты смеешь?" есть самая удобная в сношениях с мужиком.

- Мамаша! как он смеет тебе грубить! - восклицал он, с воплем бросаясь в объятия Нины Ираклиевны.

Этот вопль окончательно улаживал все сомнения. Нина Ираклиевна успокоивалась, и Еремка уходил домой, унося с собой эпитеты нераскаянного и закоснелого, которые не обещали ему ничего хорошего в будущем.

Но верхом торжества Нины Ираклиевны были хозяйственные распоряжения, выражавшиеся в приказаниях, отдаваемых старостам и приказчикам.

- У Васьки Косого лошадь хороша, так ее на барский двор взять, а ему похуже дать! Все равно ему пахать, что на хорошей, что на худой.

- Слушаю, сударыня!

- А у Матрены-бобылки избу взять и Прохору продать. А сама пусть в людях живет. А если хочет избу за собой оставить, пусть пятьдесят рублей отдаст.

- Где ей эко место денег взять, сударыня!

- А негде взять, так пусть не прогневадается! И в людях поживет!

- Слушаю, сударыня!

- То-то "слушаю". Ты слушай, а не разговаривай, что негде ей денег взять. Все вы потатчики!

- Кажется, стараемся, матушка!

- Все вы стараетесь! Ты мне вот что скажи: за Федькой-то Долговым до сих пор овца в недоимке числится... А! Скоро ли я дождусь?

- Одна у него, сударыня! Говорит: пуцай прежде объгнится!

- А знаешь ли ты, что за такие слова вашего брата в солдаты отдают! Мне чтоб была овца! У тебя со двора сведу, если через неделю Федька не приведет!

И так далее и так далее.

Вслушиваясь в эти разговоры и постоянно обращаясь среди всякого рода получений, Порфиша невольным образом и сам получил вкус к финансам. Я не думаю, конечно, чтобы он относился к процессу созидания сознательно и чтобы в нем уже зародилась та доза канальства, которая в этом случае потребна, но едва ли ошибусь, сказав, что, как бы ни было поверхностно действие получаемых в детстве впечатлений на человеческое сознание, все-таки они не пропадают бесследно. Сначала эти впечатления втес-

няются в виде разрозненных фактов, но потом, мало-помалу, одни отдельные факты начинают цепляться за другие и дают повод для сравнений и сопоставлений. Память хранит целый запас фактов, которые, казалось, прошли в свое время мимо, не возбуждив даже внимания, но на деле оказывается, что они не только не исчезли, но выступают во всей своей свежести и ясности, и выступают именно в ту самую минуту, когда всего более чувствуется их пригодность. Порфиша уже освоился с формой денежных знаков, он слышал щелканье счетов, видел мужика, и хоть поверхностно, но все-таки поражен был энергичным выражением "хоть роди да подай", к которому любила прибегать Нина Ираклиевна. Этого достаточно было, чтобы в свое время память выдвинула все эти факты, и жизненный опыт нашел для них надлежащее место в общей экономии мирозерцания.

Ни Менандр Семенович, ни Нина Ираклиевна не думали сделать из сына своего финансиста, которому впоследствии суждено будет возвыситься до идеи о всеобщем ограблении. Да вряд ли в воспитательной практике того времени и можно было найти примеры подобной специальной подготовки. В то время люди воспитывались без всяких заданных тем; требовалось только, чтоб они были понятливы, шустры и готовы на все. Что выйдет из этого впоследствии, то есть в каком именно видоизменении "свободы телодвижений" найдет себе выход эта готовность на все, - об этом никто не задумывался. Всякий отец и всякая мать имели только одну заботу: чтоб ребенку хорошо было жить на свете. А это представлялось возможным лишь тогда, когда ребенок твердо усваивал себе все условия окружающей среды. Поэтому, ежели школа и обучала ребенка закону божью, арифметике, грамматике, чистописанию, то главная воспитательная закваска лежала все-таки не в ней, а в той домашней обстановке, которая, независимо от азбучных прописей, сама по себе отчеканивала и натуральных юристов, и натуральных администраторов, и натуральных финансистов.

Тем не менее, ежели бы Порфиша воспитывался исключительно под влиянием отца и матери, из него, конечно, образовался бы только обыкновенный рутинный финансист, на манер финансистов доброго старого времени. Он копил бы деньги без дерзости, считал бы их, крепко-накрепко замыкал бы замки в денежных помещениях и затем умер бы, приобретя на полученный в наследство миллион еще какой-нибудь такой же миллион. Но было обстоятельство, которое значительно расширило его финансовый кругозор и помогло ему сойти с рутинной дороги. Этим возбуждающим стимулом, пролившим живоносный свет на дальнейшие судьбы Порфиши, были отыскивающие княжеского достоинства

братья Тамерланцевы.

Георгий и Иван Машрюковичи Тамерланцевы приходились по матери двоюродными братьями Нине Ираклиевне и были чистокровные осетинцы. Специальность их заключалась в том, что они не имели постоянного места жительства и переезжали с одной ярмарки на другую. Сверх того, они были прекрасно обучены на биллиарде, отыскивали княжеское достоинство, занимались покупкой и продажей лошадей, а в карты играли так чисто, что ярмарочные шулера называли их не иначе, как "благородными людьми".

Отец их, Машрюк Булатович, был неизвестного происхождения осетин, перебежавший некогда к русским, поступивший в инородческий эскадрон в чине корнета и тотчас же начавший отыскивать княжеское достоинство. Многие высокопоставленные лица помогали ему в этих домогательствах, но безуспешно. Доказательств у него не было никаких, кроме собственных рассказов, из которых явствовало, что на родине, в Осетии, у него была сакля и две козы.

- Саклем владал, пара коза кормил, ружьем ходил, свинья убивал! наивно объяснял он средства своего существования в состоянии дикости, но достоверности даже этих бедных показаний ничем подтвердить не мог.

Осетия в то время еще не состояла во власти русских, следовательно, не существовало ни губернского правления, ни даже земского суда, через которые можно было бы доподлинно узнать, действительно ли обладание двумя козами составляет, по местным законам, признак княжеского достоинства. Поэтому герольдия медлила, затруднялась и требовала каких-то поколенных росписей, а Машрюк, ничему не внимая и ничего не понимая, твердил одно:

- Саклем владал, ружьем ходил, свинья убивал!

В таком положении находилось это дело в то время, когда Машрюк, дослужившийся до ротмистра и принявший фамилию Тамерланцева, умер, оставив после себя двух сыновей: Амалата и Азамата. Умер он верным мусульманином, хотя сам Ферлакур неоднократно убеждал его, как дальнего родственника по жене (в это время мелкопоместный князь Крикулидзеv женился на Машрюковой сестре, Магуль-Мегери, во святом крещении Марье Булатовне), оставить заблуждения и познать свет истинной веры. Но Машрюк, выслушав убеждения, постоянно задавал Ферлакуру один и тот же вопрос:

- У тебя, бачка, много жена?

- Одна.

- Ну, а мне двадцать один жон довольна!

Но когда Мастрюк умер, сыновей живо окрестили и отдали в кадетский корпус, переименовав старшего из Амалата в Георгия, а младшего - из Азамата в Ивана. В корпусе оба брата отличались необыкновенною ненавистью к наукам и особенной страстью к восточной магии и к телесным упражнениям, требовавшим ловкости и силы. Когда они вышли в офицеры, то уже знали весьма значительное число фокусов и потому смотрели в глаза будущему совершенно спокойно, почти светло. Это были необыкновенно развитые в телесном отношении молодые люди, с смуглыми, очень красивыми, хотя и совершенно безжизненными лицами, наподобие масок. У обоих братьев были широкие сильные скулы, черные как смоль волосы и глаза и на правой щеке по большому родимому пятну, увенчанному волосами. Амалат пел очень приятным басом, Азамат - тенором; оба - плясали лезгинку, как истые горцы. Женщины вольного обращения были от них без ума; старушки, занимавшиеся покровительством скромным молодым людям, заметив их в театре, интересовались узнать их фамилию. В полку, куда они поступили, их тоже полюбили, потому что они охотно принимали участие в так называемых историях, и, кроме того, никто не мог выпить столько, сколько выпивали братья Тамерланцевы. Словом сказать, молодые люди были хоть куда.

Благодаря покровительству лиц, помнивших еще незабвенные услуги, оказанные покойным Мастрюком, им предстояла, конечно, довольно видная военная карьера в будущем. Быть может, им суждено было даже принять когда-нибудь деятельное участие в воссоединении Осетии, но они сами испортили все дело. Однажды Амалат запрет в телегу тройку жидов и одного из них загнал, а Азамат в то же время поймал трех жидовок, вымазал их дегтем, обвалял в перьях и пустил по городу (это происходило в одной из западных губерний). К несчастью, и жида и жидовки принадлежали к числу упорных, не шедших ни на какие соглашения, так что дело нельзя было "замять", и братья вынуждены были оставить полк.

Тогда братья обратились к проворству рук и к покровительству чувствительных старушек. У них появились рысаки, экипажи и на всех пальцах бриллиантовые перстни, которые они, поносив немного, заменяли очень хорошими стразовыми. Жизнь они вели бродячую, цыганскую: покупали, продавали, прогорали и опять возрождались, бывали даже биты. Во всех городах, где существовали мало-мальски значительные ярмарки, они являлись непременно посетителями, устраивались на постоянных дворах, как у 'себя дома, расстилали на полу и., на голых скамьях персидские ковры и на все время ярмарки заводили, как говорится, дым коромыслом. Кончится ярмарка - исчезнут и они, исчез-

нет и дым, которым они наполняли свои временные пристанища. Не успеют оглянуться - они уже на другой ярмарке; опять расстилают ковры, покупают, продают, мечут и понтируют.

Иногда, впрочем, они основывались и в одном и том же городе на довольно продолжительное время. Это бывало в тех случаях, когда верхнее чутье докладывало им, что в таком-то месте есть некто, около которого можно пощечиться. Тогда они знакомились с помещиками, представлялись губернатору, называли себя политическими изгнанниками, прикидывались завидными женихами и не прочь были занять денег под залог осетинских виноградников. В провинциальных обществах их принимали очень радушно, во-первых, потому, что они носили крупные стразовые запонки, а во-вторых, потому, что были малые на все руки. Перекинуть ли направо-налево, устроить ли для девиц *petits jeux* {игры.}, рекомендовать ли лошадку, спеть ли модный тогда романс "Черную шаль", причем с особенным чувством проскрежетать:

Ко мне постучался презренный еврей...

на все это они так охотно соглашались, что, где бы они ни появились, общество немедленно оживлялось. Об Осетии они рассказывали чудеса. Как злой дядя, за два абаза, продал их в Кахетию, и как отец ночью обратно их оттуда украл; какая у отца их была неприступная крепость, из которой он делал на русских набег; какой удивительный рос у них виноград, какие вкусные чуреки делала их мать, как прекрасен Казбек при восходе солнца и проч. и проч. Словом сказать, объясняли все, что можно было почерпнуть из производивших тогда фурор повестей Марлинского. И в доказательство своего подлинно осетинского происхождения затягивали песню, в которой слышались только гортанные звуки: га-го-ги! но которая заставляла их заливаться горькими-горькими слезами.

Вообще, Тамерланцевы имели то свойство, что коль скоро проникали в какой-нибудь дом, то незаметно делались в нем своими людьми. Они умели побалагурить с лакеями, перемигнуться с горничными, привлечь на свою сторону детей и так убедительно просили хозяев не церемониться с ними и не беспокоиться их присутствием, что тем оставалось только махнуть рукою. В самое короткое время, хотели или не хотели хозяева, они утверждались в доме самым прочным образом. Лакеи, чутьем слышав приближающийся экипаж, бросались к подъезду и наперерыв провозглашали: "Пожалуйте-с! господа только что за стол сели-с", или: "Пожалуйте-с! господ дома нет, да они сейчас будут-с!" И начинали суетиться, готовить закуску, словно принимали самых близких родных. Горничные просовывали в дверь головы, в ожидании щипка или поцелуя. Дети с гиком и гамом устремлялись

навстречу, вооруженные свистульками, гремушками и трещотками. Даже повар - и тот говорил: "Сегодня у нас молодые господа будут обедать" - и требовал от экономки усиленной пропорции сахару, яиц и масла. Хозяева, обольщенные приятными манерами и услужливостью братьев, сначала тоже были вне себя, когда же потом начинали изыскивать способы, каким бы образом избавиться от их вездесущия, то было уже поздно. Тамерланцевы уже крепко держались на всех пунктах, и едва появлялись перед ними недоумевающие лица хозяев, как они самым любезным образом восклицали:

- Евдоким Григорьич! Анна Павловна! не церемоньтесь с нами! пожалуйста, занимайтесь вашими делами! Мы здесь с детьми. Кирюша! Параша! Ведь мы поедем сегодня в Москву? А? Вот так: туру-ту-ту... га! в Москву поехали!

И Евдоким Григорьич отпраивлялся в кабинет, плюнув и говоря Анне Павловне:

- Нет уж, матушка, ты сама! Сама приучила этих эфиопов, сама, как хочешь, и разделявайся с ними!

Нельзя сказать, чтоб это было с их стороны предумышленно. Скорее всего, они бессознательно стремились всюду, где можно было что-нибудь урвать или урезать, и вообще имели так называемый чертов инстинкт. Всякий очень скоро убеждался, что братья глупы и что, следовательно, искать в их действиях какого-нибудь злого умысла - нет повода; но всякий, в то же время, ощущал, что десятки самых злых озорников не в состоянии были бы привести человека в такое беззащитное положение, в какое приводили эти два бессознательных и бесконечно покладистых шалопаю.

Нина Ираклиевна почти испугалась, когда ей доложили, что ее желают видеть князя Тамерланцевы.

- Тети Машины дети! - воскликнула она в недоумении, по тут же, не потеряв присутствия духа, обратилась к Менандру Семеновичу и прибавила: Ради Христа, не давай ты им денег!

Свидание произошло; Велентьевы были сдержанны; кузены предупредительны и нежны.

- В государственной службе, господа, состоите? - спрашивал Менандр Семенович.

- Нет, братец, способностей не имеем, - скромно отвечали братья.

- Ну, способности тут не бог знает какие требуются!

Братья посидели, раскланялись и уехали; затем в течение недели они еще два раза навестили Велентьевых и каждый раз называли Нину Ираклиевну *belle cousine* {прекрасной кузиной.}, уверяли, что она вполне сохранила тамерланцевекий тип, и так крепко и часто целовали у нее ручки, что она невольно конфузи-



лась и жалась. Порфише (ему минуло в то время одиннадцать лет) они, на другой же раз, подарили книжку с картинками, так что не пригласить их обедать было уже совестно. Затем, хотя после обеда Тамерланцевы и попросили у Менандра Семеновича денег взаймы, но, получив отказ, не только не обиделись, но очень любезно воскликнули:

- Братец, забудьте! пусть денежные расчеты не расстраивают наших родственных отношений! Забудьте! нам не нужно денег! мы не просили их!

Словом сказать, с Велентьевыми повторилась та же история, что и с другими. Как ни чутко держали они себя относительно братцев, но устоять против естественного течения обстоятельств не могли. Постепенно учащая свои визиты, они каждый раз умели чем-нибудь подслужиться: Нине Ираклиевне подарили настоящий персидский ковер, Порфише навезли целый ворох игрушек, наконец у Менандра Семеновича попросили позволения осмотреть его лошадей, нашли у одной из них подсед и дали такой мази, от которой в два дня подседа как не бывало.

- Совсем было думал продать лошадь! - говорил Велентьев, - а теперь опять хоть куда! Благодарю!

- Вы, братец, насчет лошадей, пожалуйста, ни к кому не обращайтесь! упрасивали Тамерланцевы, - у нас теперь на примете одна пара есть... ах, какая это пара!

И действительно, почти за бесценок, сосватали Велентьеву такую пару, что сам инспектор врачебной управы, вкупе с отставным кавалерийским полковником, как ни осматривали животных, не могли найти в них ни одного порока.

Но сомнение уже мучило Менандра Семеновича, и по временам он выражал его довольно энергично.

- И черт их знает, что за народ такой! - рассуждал он сам с собою, цыгане не цыгане, венгерцы не венгерцы, шулера не шулера... иностранцы какие-то!

И он на всякий случай пробовал, достаточно ли крепко заперты ящики его письменного стола, и, удостоверившись, что крепко, отправлялся на половину к Нине Ираклиевне.

- Да полно, братцы ли они тебе? - спрашивал он ее.

- Тети Машины дети-то! неужто ж я не знаю!

- И все-таки, ты бы запирала! Эти братцы... право, уж и не знаю!

Мало-помалу Тамерланцевы приобрели дружбу лакеев и горничных, а в особенности полное доверие Порфиши. Тогда они уж без церемонии стали таскаться и завтракать и обедать. Сидит Менандр Семенович в кабинете и деньги считает - глядь, братцы приехали! В зале беготня, пение, стук, треск; Азамат учит Порфишу лезгинку танцевать, Амалат аккомпанирует на фортепьяно и

выкрикивает: га-го-ги! Лакеи, бегают из столовой в буфетную и обратно, стучит тарелками, ножами и готовит закуску. Менандр Семенович некоторое время терпит и старается разрешить себе задачу: два да пять, сколько будет? но сколько он ни прикладывает на счетах - все выходит или одним рублем больше, или одним рублем меньше. Наконец он, как ужаленный, выбегает в буфетную.

- Тебе кто велел? - накидывается он на лакея, поспешающего с подносом в руках в столовую.

- Как же-с, ведь братцы-с! - отвечает лакей, очевидно даже изумленный, что ему мог быть предложен такой странный вопрос.

Менандр Семенович краснеет, побрякивает и уже не настаивает больше. Он с грустной покорностью снимает с себя халат, надевает домашний казинетовый казакин и отправляется в столовую, предварительно удостоверившись, что все ящики заперты и все в кабинете цело.

А братцы уже спешат к нему навстречу и в один голос восклицают:

- Братец, напрасно беспокоитесь! Мы здесь с Порфишей!

Но Менандр Семенович уже чувствует, что утро у него отравлено и что, где бы он ни был, в столовой ли, в кабинете ли, мысль о "братцах" везде будет его преследовать. Поэтому, он усаживается за стол и принимает геройское решение занимать братцев.

- Я говорю: вы бы, господа, в государственную службу шли! - начинает он, краснея и сам не зная, о чем, собственно, он ведет речь.

- Способности, братец, не имеем.

- А вы бы принудили себя!

- Старались, братец, да ничего не вышло.

- Гм... странно это! Молчание.

- Да вы, братец, напрасно себя беспокоите! Мы здесь вот с Порфишей, а не то, немного погодя, к кухне Ниночке пройдем! - опять начинают братцы.

- Нина Ираклиевна занята. Я тоже. Признаться, я даже не понимаю, как можно без занятий жить! - говорит Менандр Семенович, уже не скрывая своих недоумений.

Но братцы как бы забавляются этими недоумениями.

- Мы, братец, тоже занимаемся, - отвечают они, - только занятия у нас кратковременные. Вот и сегодня утром пару лошадей присмотрели... ах, какая это пара!

- Какое уж это занятие - лошади!

Тщетно все. Как ни старался Велентьев выжить братцев - они словно приросли. В доме все цело; денег в другой раз не просят - а

между тем, как ни посмотришь, все тут. Иногда он даже желал, чтоб они что-нибудь украли (разумеется, не весьма ценное), лишь бы без шума отделаться от них.

- Я, сударыня, с ума скоро сойду! - жаловался он жене. - Выйти из кабинета нельзя: один в зале с Порфишей, другой в коридоре с Агашкой шушукается. Сведет он ее у нас!

- А коли сведет, так и купит. По мне, ежели хорошую цену даст... и бог с ними!

А братцы между тем забрали уже себе в голову, что Порфиша года через четыре будет гусарским юнкером и что, следовательно, имеются в перспективе векселя под верное обеспечение смерти любезнейших родителей. Как ни отдаленны были эти надежды, но как другого дела покамест у них не было, то приручение Порфиши представлялось целью очень привлекательною и даже практическою...

С своей стороны, Порфиша очень хорошо понял дяденек. Он угадал в них присутствие именно того элемента легкомыслия, перемешанного с жульничеством, которого ему недоставало и без которого истинный финансист все равно что тело без души. Он видел, что дяденьки всегда свободны, беззаботны и веселы; что они ничем не занимаются, а между тем бросают деньгами, как щепками; что у них во всякое время - неистощимый запас игр, выдумок и фокусов. Все это, вместе взятое, произвело на него подавляющее впечатление, и в самое короткое время он до такой степени страстно прилепился к дяденькам, что даже перестал следить за финансовыми операциями родителей.

Первый сделанный перед ним фокус особенно его поразил. Дядя Амалат вынул из кармана золотой и показал его Порфише.

- Видел? - спросил он его.

- Видел.

Амалат положил золотой на ладонь и зажал его в кулак.

- Видел? тут золотой? - спросил он опять, разжимая кулак и вновь сжимая его.

- Тут.

- Ну, теперь смотри!

Амалат сделал рукой движение, но до такой степени быстрое, что Порфиша мог только заметить, что у него что-то мелькнуло в глазах. Потом Амалат разжал кулак и показал Порфише пустую ладонь.

- Клац! где золотой?

Порфиша вытаращил глаза и машинально повторил:

- Где золотой?

- Ну, теперь обыскивай меня; если сыщешь - твой золотой!

Но сколько Порфиша ни искал - золотого нигде не оказалось. Тогда Амалат повторил свой фокус наоборот, то есть показал, как в пустых руках - клац! вдруг оказалось по два золотых.

- Дяденька! - захлебывающимся голосом простонал Порфиша.

В другой раз на сцену выступил Азамат и изобразил штуку еще почище, а именно: взял колоду карт и показал ее Порфише.

- Видел? Вся колода карт тут?

- Вся.

- Теперь сказывай, какую ты карту хочешь?

- Двойку пик.

Клац! - Азамат выбросил двойку пик.

- Может, ты еще двойку пик хочешь?

- Еще двойку пик хочу.

- Держись!

Клац! - Азамат опять выбросил двойку пик.

- Может быть, ты и еще двойку пик хочешь?

Но Порфиша уже не отвечал, а только взглядывал на дяденьку с разинутым ртом.

- Ты, может быть, хочешь, чтоб вся колода была из двоек пик? смотри!

И Азамат одну за другой стал кидать двойки пик. Это до того поразило Порфишу, что он заплакал, как бы обидевшись, что дяденьки смеются над ним.

- погоди, мы еще не то тебе покажем! - утешали его братья Тамерланцевы.

Когда дяденьки ушли, Порфиша взял в руки грош и старался произвести с ним ту, же эволюцию, какую Амалат производил с золотым, но ничего из этого не вышло. Потом он попробовал то же самое сделать наоборот, то есть сжал пустые кулаки, махнул ими крест-накрест в воздухе, сказал: "клац!" - но и тут ничего не вышло.

- Дяденька! - приставал он, - покажите, как вы делаете?

- погоди! вот будешь большой - до всего дойдешь! Слова эти глубоко запали в душу Порфиши. Он повторял

их и старался угадать, что такое это "все", до чего он со временем дойдет. Постепенно он стал задумываться и сделался рассеянным. Процесс созидания, царствовавший в доме родителей, уже не удовлетворял его, тем более что дяденьки, по мере ближайшего знакомства, начали открыто смеяться над скопидомством Менандра Семеновича.

- У твоего отца много денег? - спрашивал его Амалат.

- Много.

- А знаешь ли ты, как он деньги копит?

- Как?

- А вот как, смотри!

И Амалат клал на стол золотой, накладывал на него другой, третий и т. д., причем пыхтел, побрякивал, пожимался и озирался кругом.

- Так?

Порфиша не отвечал, но ему и самому уже начинало казаться, что "так".

- Ну, а мы вот как: сколько ты хочешь, чтоб у меня было в горсти золотых?

- Двадцать!

- Эка хватил! Ну, держи руки, отсчитывай!

Дяденька делал вид, как будто ловил что-то руками в воздухе, и затем отчеканивал монету за монетой до двадцати.

Нина Ираклиевна первая заметила, что Порфиша задумывается, начинает любить уединение, шевелит губами, как бы разговаривая сам с собой, делает какие-то странные движения руками, то сжимает кулаки, то разжимает их.

- Не болен ли ты, мой друг? - спросила она однажды сына.

- Нет, здоров.

- Что же ты ходишь точно растерянный?

Порфиша остановился и показал мамаше руки.

- Вы это видели?

Нина Ираклиевна с изумлением смотрела, как он растянул руки наподобие фокусника, потом быстро махнул ими крест-накрест и сказал:

- Видели, что ничего не было? Теперь смотрите! Клад! Видите?

- Что видеть-то! Разжал пустые кулаки - только и всего!

- Ничего вы не понимаете! Вы только и умеете, что копейку к копейке прижимать, а я вот - клац! - сколько захочу денег, столько и будет!

Нина Ираклиевна беспокойно взглянула ему в глаза.

- Это все Амалатка с Азаматкой! - прошептала она.

В этот же день, после обеда, Порфиша был призван, на аудиенцию к отцу.

-- Какое ты давеча слово мамаше сказал? - спросил Менандр Семенович.

Но Порфиша не только не струсил, но отвечал даже дерзко:

- Какое слово? Клац! вот какое слово!

- Что же оно означает?

- А вот что!

Порфиша вытянул обе руки, сжал кулаки, встряхнул ими и сказал отцу:

- Клац! видели? Сколько захочу, денег, столько и будет!

- Да-с, это они! это Машрюковичи! - обратился Велентьев к жене, - это они его фокусам обучают!

Но какие ни принимали Велентьевы меры, чтоб устранить влияние дяденек, все было напрасно. Тамерланцевым было отказано от дому, но домашние так полюбили их, что нисколько не мешали Порфише бегать к дяденькам после обеда, когда папаша и мамаша опочивали от трудов. Однажды, прибежав к ним, он застал в их квартире что-то не совсем обыкновенное.

Единственная приемная комната была полна народом; на столе, около печки, красовалась закуска и несколько наполовину опорожненных бутылок и штофов; облака дыма выедали глаза. Дядя Азамат сидел за большим зеленым столом и метал; дядя Амалат помещался сбоку и распоряжался кассой. Кругом стола сидели неизвестные личности в мундирных сюртуках, венгерках и казакинах; перед каждым лежали игранные колоды карт, из которых они с нервным движением вытаскивали то одну, то другую карту и клали на стол. Там и сям виднелись столбики золота, которое не считали, а передавали из рук в руки кучками, как бы на глазомер. На пальцах рук обоих братьев сверкали перстни. Порфиша, не ожидавший такого зрелища, оторопел.

- Ва-банк! - крикнул кто-то в ту самую минуту, как он вошел.

Руки у дяди Азамата чуть дрогнули; но Амалат так ясно сверкнул в его сторону глазами, что банкочет тотчас же овладел собой и передернул столь чисто, что известный шулер, майор Белокопытов, присутствовавший тут же и понтировавший только для виду, крякнул от наслаждения.

Игра кончилась. Порфиша видел, как гряда золота перешла в руки дяденек, и посмотрел на них почти с благоговением.

- Видишь! - сказал ему Азамат, когда разошлись гости, - а твой отец еще говорит, что мы только граним мостовую. Может ли он в целый век столько денег добыть, сколько мы в один час добыли!

- Дяденька! как вы это делаете?

- Нет, брат, тебе еще рано. Вырастешь - сам до всего дойдешь. Главное, чтоб охота была, а умение придет само собою!

Так длилось до тех пор, пока Амалат не получил наконец так называемую неприятность, вследствие которой братья вынуждены были оставить Семиозерск и искать убежища в другом городе.

Расчеты Тамерланцевых на Порфишу не оправдались. Он не сделался ни игроком, ни фокусником, ни гусаром. Тем не менее общество дяденек оказало на его будущее действие гораздо более решительное, нежели даже пример родителей. Если последние познакомили его с наружным видом денежных знаков и заронили в его душу первую мысль о созидании, то первые доказали воочию, что перл созидания - это созидание из ничего. Тамерлан-

цевы исчезли бесследно, но уроки их неизгладимыми чертами врезались в чуткой душе Порфиши. В той сумме впечатлений, которые даются человеку детством, примеры внешней ловкости и быстроты всегда представляют очень компактный и характерный слой. По удалении дяденек Порфиша сделался скучен и долгое время машинально делал быстрые движения руками, сжимал и разжимал пустые кулаки и тщательно рассматривал, не окажется ли там червонца. По-видимому, это были движения бессмысленные и ненужные, но будущее доказало, что они были необходимы и вполне уместны, ибо служили как бы смутным прообразованием тех приемов, которые должны были впоследствии составить его славу как финансиста.

Червонцев не оказалось, но вместо них - клац! - неслышно и незримо уже зрел в его душе проект об изготовлении дешевой и долгосохраняемой колбасы.

Формальное воспитание между тем шло своим чередом. Хотя нельзя было сказать, чтоб Порфиша питал особенную страсть к наукам, тем не менее, до знакомства с дяденьками, дело образования ума и сердца кое-как шло. Некоторыми предметами он более или менее интересовался, а математику даже полюбил настолько, что с самозабвением принялся извлекать квадратные корни, как только этот математический прием был ему показан. Но с тех пор, как явились дяденьки и на первый раз объяснили ему задачу "летело стадо гусей", он постепенно делался все рассеяннее и рассеяннее. Все простое, все, что могло быть решено наглядным образом, опротивело ему. Мысль его неудержимо влеклась к неизвестному, сложному и до такой степени необыкновенному, что только чудо, вроде щучьего веления, могло освободить его от сетей, в которых путалось его воображение. Если б в то время кто-нибудь шепнул ему о квадратуре круга или о непрерывном движении, он наверное со всем пылом юношеской горячности увлекся бы этими задачами и стал бы с утра до вечера вертеться около них, как белка в колесе. Но, увы! у него даже этого ограничения не было, а было только одно магическое слово "клац!", за которым открывалась пустая и бездонная пропасть. В этой бездне, среди целого мира чудес, свободно парило воображение, питая само себя и гадливо отвращаясь от всего, что напоминало о действительности. Понятно, что при таком болезненном настроении умственных сил Порфише было уже не до квадратных корней, которыми пичкал его Менандр Семенович.

На четырнадцатом году Порфишу отдали в одно из аристократических заведений Петербурга, едва ли не в то же самое, в котором воспитывался и Коля Персианов. Выбор этого заведения Менандр Семенович следующим образом формулировал в письме к

княгине Ферлакур: "Вы знаете, добрейшая! моя благодетельница, - писал он ей, - что я не аристократ по происхождению. Хотя и отец мой и деды, в течение, может быть, многих столетий, возносили подателю всех благ молитву; о принесенных честных дарех, но ведь молитва в заслугу у нас не принимается, следовательно, если б я даже мог доказать, что происхожу по прямой линии от Аарона, то и тогда никто бы меня за аристократа не счел. Но аристократия любезна моему сердцу потому, что назначение ее вливать в государственный организм возвышенный дух. Аристократия полезна даже и в том случае, если она ничего действительно, полезного не совершает. Она полезна потому, что она есть. Вспомните, чем я был до поступления в ваш почтеннейший дом, и что сделали из меня вы! Вот почему я желал бы, чтоб мой Порфирий был с детских лет окружен юношами благородных фамилий. Через сношение с ними он получит возвышенные чувства, которые, притом же, будучи по матери потомком древнего рода князей Крикулидзевых, он и от природы весьма склонен иметь. В особенности было бы хорошо, если б он сии чувства мог приобретать на казенный счет, к устройству чего вы, моя незабвенная благодетельница, всеконечно, имеете все пути".

Порфиша был принят, но в заведении участь его была не из самых завидных. Во-первых, товарищи скоро узнали, что отец его происходит из духовного звания и, к довершению всего, служит советником питейного отделения, тогда как их отцы были не только сами егермейстеры, но и дети детей егермейстерских. Поэтому они начали явно выказывать ему чувство гадливости, которое было тем тягостнее, что сопровождалось приставаниями и весьма недвусмысленною назойливостью. Одни, проходя мимо него в саду, снимали фуражки и крестились; другие делали вид, что кадят; третьи - показывали рукой хапанца, как эмблему питейного отделения; четвертые, наконец, рисовали хапанца на бумаге и утверждали, что это герб рода Велентьевых. Во-вторых, княгиня Ферлакур, выхлопотавши помещение Порфиши в заведение на казенный счет, этим и ограничила свои попечения об нем. В это время ей было не до Велентьевых, потому что ее занимал вопрос о воссоединении латышей, с которыми была тесно связана личность генерала Толоконникова.

Таким образом, Порфиша рос в заведении одинокий и забытый. По праздникам товарищи разъезжались по домам, ездили на лихачах, лакомились в кондитерских и ресторанах, а он сидел в заведении, ел говядину под красным соусом, давился суконными пирогами и выслушивал сарказмы гувернера, которому тоже до смерти опостытели стены заведения и который охотно променял бы их на стены ресторана Доминика, где есть биллиард, домино



и т. д.

- Mais, malheureux jeune homme! {несчастный молодой человек!} - укорял его мсье Петанлер. - Vous n'avez donc ni pere, ni mere, ni parents, personne qui puisse vous abriter! Ah! c'est singulier! {У вас, значит, нет ни отца, ни матери, ни родственников, никого, кто мог бы вас приютить! Удивительно!}

- Personne, monsieur {Никого.}, - угрюмо отвечивал Порфиша и с каким-то нервным нетерпением выслушивал вечером рассказы товарищей о том, сколько они съели, в течение дня, пирожков и порций мороженого, в какой кондитерской делаются лучшие конфеты и у какого извозчика лучше бежит рысак.

Это одиночество еще сильнее развило в Порфише ту мечтательную сосредоточенность, начало которой было положено еще дома педагогическими откровениями дяденек. С нетерпением ждал он рекреационных часов, которые позволяли ему быть в стороне от товарищеской сутолоки, и как только звонок возвещал окончание класса, удалялся в сад, бродил по аллеям или садился на дерновую скамейку и мечтал. Перед ним проносился весь процесс созидания, виденный в детстве: столбики золота, бумажки новые (папашины), бумажки старые (мамашины), мужики, запах дегтя, тальки, овчины, сушеные грибы... И вдруг - клац! - вся эта обстановка исчезала, но исчезала лишь на минуту, для того, чтобы - клац! - появиться вновь, но уже не в руках папаши с мамашей, а в руках дяденек, которые он сейчас только видел пустыми. Вообще, как только появлялись на сцену дяденьки, видения шли за видениями, целыми вереницами, и принимали самый фантастический характер...

Не успел совсем стихнуть звонок, как уже воображение Порфиши работает. Он видит себя заблудившимся в лесу. Он бродит, выбивается из сил, молится, плачет - все тщетно! Вдруг, словно из земли, вырастает перед ним старик и подает червонец. Вручая червонец, старик говорит: ты можешь разменивать его сколько угодно, он всегда будет у тебя цел. Вот тема, за которую хватается фантазия и по поводу которой тотчас же начинает рисовать самые разнообразные практические применения. И лес и старик - исчезают; остается только волшебный червонец. Порфиша мысленно отправляется с ним в кондитерскую, покупает пять пирожков и получает два рубля семьдесят пять копеек сдачи. А червонец тут как тут. Потом он отправляется в овощную лавку, покупает пяток яблок и получает сдачи два рубля девяносто копеек. Червонец опять тут как тут. Потом он идет в гостиницу, съедает бифштекс, оттуда опять в кондитерскую, где ест порцию мороженого, везде получает сдачу и везде удостоверяется, что драгоценный червонец неприкосновен. В этих мысленных экскурсиях за-

стает Порфишу звонок; он медленно идет в класс, но и там, за уроком, начатая работа мысли не прекращается. Он складывает, умножает, поверяет и получает проценты...

Тогда фантазия начинает другой сон, другую сказочную легенду.

Перед Порфишей - прыгающая лягушка, за которую он гонится и которую тщетно старается убить. Вот он уже настигает ее, вот настиг, как вдруг клац! - перед ним уж не лягушка, а древняя сморщенная старуха, которая говорит ему: "Тут, под этой старой липой, лежит несметный клад; разбойник Кудеяр зарыл котел с золотыми деньгами и посадил эту самую липу". Сказавши это, старуха исчезает, а фантазия Порфиши цепко хватается за новую тему и начинает, по ее поводу, новый процесс созидания. Что клад будет в руках Порфиши - это не может подлежать сомнению. С этой целью он встает по ночам, неслышными шагами пробирается мимо дремлющего дядьки, отпирает наружную дверь и, вооруженный заступом, выходит в сад. Аллеи длинны и темны; кругом тишина и загадочность; издали, в форме неопределенного шороха, то возрастающего, то смолкающего, доносится шум нессыпающего города. Но Порфиша не останавливается ни перед таинственностью ночи, ни перед приливами и отливами городского шума. Он спешит к цели и начинает рыть. Он один выполнит эту трудную задачу, потому что ни с кем не хочет разделить свою добычу. Не то чтобы он был безгранично жаден, но ему улыбается мысль, что вдруг - клац! - и он обладатель миллионов. Однако что-то уж звякнуло... это он! это котел с империалами! Порфиша судорожно вскрывает крышу, черпает, черпает; но более пуда золота зараз унести не может. Сколько золотых в пуде? Сколько составит это в переводе на кредитные рубли? Опять звонок, опять класс. Учитель латинского языка тщетно допрашивает Порфишу об исключениях на *is*. "*Amnis, anguis, axis*", - бормочет Порфиша, и окончательно становится в тупик. Коли хотите, он знает и дальше: *calis, canalis* и проч., но он не о том думает. Он видит перед собою другую безлунную ночь, потом третью, четвертую и так далее, пока воображение вновь не запутывается в собственных тенетах.

Ученье шло туго, несмотря на то что Порфиша уже дома знал гораздо больше того, что требовалось в том классе заведения, в который он поступил. Постоянно живя в обществе призраков, он сделался рассеян, впал в полудремотное состояние. Это повлияло и на его поведение, или, лучше сказать, на те отметки, которыми в заведении выражалась степень внешнего благочиния воспитанников. Он был тих и смирен, никогда не повесничал, не приставал, не грубил, но начальствующим почему-то казалось, что в

сердце этого мальчишка свил гнездо порок. Француз-гувернер называл его не иначе как "malheureux jeune homme" {несчастный молодой человек.}, гувернер-немец утверждал, что спасти несчастного юношу может только один педагогический прием, а именно прием, носящий специальное наименование "внезапно данной пощечины".

С родителями Порфиша виделся только летом, во время каникул. Но и к ним он поставил себя в какие-то странные, натянутые отношения. Приезжая в Семиозерск, он заставлял в родительском доме тот же процесс простого созидания, которому он был свидетелем и до поступления в заведение. По-старому отец запирался каждое утро в кабинете, щелкал на счетах и по истечении урочного времени выходил из своего заключения весь красный, как бы стыдящийся. По-прежнему мать спекулировала мужиком, спорила, торговалась и в конце трудового дня укладывала в пачки замасленные кредитные билеты. Но после тех снов наяву, которые постоянно проносились перед Порфишей, снов с кладками, неразменными червонцами, разрыв-травмами и проч., - это кропотливое копеечное созидание не могло не показаться ему просто жалким.

- А вы по-прежнему копеечку к копеечке прижимаете-с? - спросил он мать в первый же раз, как увиделся с ней после годовой разлуки.

В первую минуту Нина Ираклиевна приняла эти слова за шутку; но тон, которым они были сказаны, дышал такой несомненной язвительностью, что она вдруг догадалась и словно замерла с пачкой кредитных билетов в руках.

- Курочки-с! талечки-с! грибки-с! - продолжал между тем Порфиша, отчетливо отчеканивая каждое слово.

Нина Ираклиевна переполошилась не на шутку.

- Да ты что это, щенок, говоришь? - крикнула она на него почти испуганно.

Но Порфиша не сконфузился даже перед этим восклицанием. Некоторое время он исподлобья, с идиотскою иронией, взглядывал на мать, шевелил губами и делал вид, что едва удерживается от смеха. Наконец встал и, удаляясь из комнаты, произнес:

- Продолжайте-с! Что же-с! Талечки-с! грибочки-с! овчинки-с! Похвально-с!

Вслед за тем подобное же недоразумение произошло у Порфиши и с отцом. Однажды Менандр Семенович стоял в передней и провожал дорогого гостя, то есть откупщика, который только что вручил "следуемое по положению".

- Напрасно беспокоились! - говорил Менандр Семенович.

- Помилуйте-с! Не я, а положение-с... святое дело! - расшаркивался откупщик.

- Положение - это так; а все-таки... - настаивал Менандр Семенович.

- Совсем не "все-таки", а просто положение - и больше ничего!

И т. д.

На эту-то сцену, бог весть откуда, нагрянул Порфиша. Но вместо того чтоб расшаркаться перед откупщиком и пожать ему руку, он пробежал мимо, как-то странно при этом хихикнул и вполголоса, но так, что все слышали, произнес:

- Взяточки-с!

Словом сказать, и в школе и дома, благодаря педагогическому влиянию дяденек, Порфиша поставил себя особняком. И бог знает, куда привел бы его этот финансовый идеализм, если б не случилось обстоятельство, которое разом возвратило его к чувству действительности.

С переходом в старший курс умственные силы Порфиши вдруг пробудились снова. Совершилось нечто чудесное, но чудо было вполне достойно той науки, которая его произвела. Наука эта называлась "политической экономией" и преподавалась воспитанникам заведения как венец тех знаний, с которыми они должны были явиться в свет. После первых же лекций Порфиша вдруг почувствовал себя свежим и бодрым. Ему показалось, что на него пахнуло чем-то знакомым, что то, о чем он когда-то мечтал, уединившись в саду, снова проходит перед ним, но под другими, более ясными формами; что он вновь находится в обществе дяденек Амалата и Азам эта и что таинственное слово "клац!" постепенно утрачивает свою таинственность. Мир чудес, к которому он так страстно стремился, но который до сих пор представлялся его мысли смутно и беспорядочно, вдруг приобрел необыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде его выручали фантастические видения в форме волшебниц, волшебников, кладов, неразменных червонцев - теперь ему подавала руку сама наука; прежде процесс созидания зависел от случайностей, которые могли прийти и не прийти на помощь, смотря по тем ресурсам, которые представляла большая или меньшая напряженность воображения, теперь - перед ним были всегда готовые и вполне солидные кунштюки, которые, вдобавок, носили название политико-экономических законов. Бред наяву продолжался, но это был уже бред серьезный, могущий, пожалуй, послужить материалом для любой докладной записки или для газетной передовой статьи.

В заведении, о котором идет речь, преподавалась политическая экономия коротенькая. Законы, управляющие миром промышленности и труда, излагались в виде отдельных разбросанных

групп, из которых каждая, в свою очередь, представлялась уму в форме детской игры, эластичностью своей напоминающей песню: "коли любишь - прикажи, а не любишь - откажи". Вот, милостивые государи, "спрос"; вот - "предложение"; вот - "кредит" и т. д. Той подкладки, сквозь которую слышался бы трепет действительной, конкретной жизни, с ее ликованиями и воплями, с ее сытостью и голодом, с ее излюбленными и обойденными - не было и в помине. Откуда явились и утвердились в жизни все эти хитросплетения, которым присвоивалось название законов? правильно ли присвоено это название или неправильно? насколько они могут удовлетворять требованиям справедливости, присущей природе человека? все это оставалось без разъяснения. Наука - пустой пузырь с наклеенными на нем бессмысленными этикетками; жизнь - арена, в которой регулятором человеческих действий является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездельничество.

Порфише эта коротенькая наука пришлась по нраву. Ома была как бы продолжением его детских снов, осуществлением таинственного "кляц!", которое так долго смущало его воображение. Слова: "спрос", "предложение", "кредит", "ажиотаж", "акционерные компании" - не сходили у него с языка. Он скоро сделался любимейшим учеником профессора и отвечал на все вопросы так быстро и несмущенно, как будто ответы давно уже таились в нем, а теперь он отыскивал лишь приличную форму для них. Он понял науку не только в ее общих законах и выводах, а в самом действии. Он чувствовал себя участником этого действия и лично на самом себе испытывал последствия каждого экономического закона. Игра в "спрос и предложение" представляла целую повесть, исполненную разнообразнейших эпизодов; игра в "кредит" разрасталась в роман; игра в "ажиотаж" превращалась, по мере своего развития, в бесконечную поэму...

- Кредит, - толковал он Коле Персианову, - это когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и вдруг - кляц! - они есть!

- Однако, mon cher, если потребуют уплаты? - картавил Коля.

- Чудак! ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить - ну, и опять кредит! Еще платить - еще кредит! Нынче все государства так живут!

Коля удовлетворялся этим объяснением, во-первых, потому, что оно согласовалось с практикой, которой следовали его предки, а во-вторых, и потому, что оно отвечало его собственным видам и пожеланиям. Что предстояло Коле в будущем? - ему предстояла жизнь праздная, легкая и удобная. На "производство богатств" он не рассчитывал, на "накопление" их - и того менее. Из всех экономических законов, о которых гласила школа, на нем

отражался только закон "распределения богатств" - в виде оброков, присылаемых из деревень, да еще закон "потребления" - в форме приобретения рысаков и производства всевозможных кутежей. Но, увы! действие закона потребления давало себя знать всегда как-то сильнее, нежели действие закона распределения, и потому он очень был рад, когда в форме "кредита" ему явился совершенно готовый исход из этого затруднения.

И чем дальше шла вперед наука, тем чудодейственнее и чудодейственнее становился открываемый ею мир. Хороша была игра, в силу которой "спрос" с завязанными глазами бегал за "предложением", а "предложение", в свою очередь, нащупывало, нет ли где "спроса"; но она уже представлялась простыми гулючками по сравнению с игрой в "ажитаж" и в "акционерные компании", которая ждала Порфишу впереди. То был волшебный, жгучий бред, в котором лились золотые реки, обрамленные сапфировыми и рубиновыми берегами. Порфиша в каком-то экстатическом упоении утопал в этой светящейся бездне. Он был властелином биржи; перед ним преклонялись языцы в виде армян, греков и жидов. С недетскою проницательностью угадывал он момент, когда нужно было купить бумагу и когда нужно было ее продать. Или, лучше сказать, не угадывал, а сам устраивал этот момент. Он продавал, и за ним бросались продавать все. Происходила паника, вследствие которой на сцену являлось "предложение", а "спрос" был в отсутствии. Тогда он начинал покупать, и за ним бросались покупать все. Новая паника, вследствие которой на сцену являлся "спрос", а "предложение" было в отсутствии. И все эти перевероты совершались с быстротой изумительной, ибо он понимал, что главное достоинство капитала - это его подвижность и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, он придумывал новые экономические комбинации: отыскивал неслыханные дотоле источники богатств, устраивал акционерные общества и т. д. Мысленный взор его устремлялся всюду: и на Ледовитый океан, в котором мирно плавали стада китов, тюленей, морских коров и т. д., и на Скопинский уезд, в недрах которого без вести пропадали залежи каменного угля, и на Печорский край, реки которого кишели семгою, нельмою и максуном. Открывши новый источник богатств, он немедленно устраивал акционерную компанию, но, выпустив акции и продав их с премией, не останавливался подолгу на одном и том же предприятии, а спешил к другим источникам и другим акционерным обществам.

Это была какая-то лихорадочная, неусыпающая деятельность, тем более достойная удивления, что она носила чисто отвлеченный характер. Процесс накопления доставлял Порфише неисчер-

паемый источник наслаждений, независимо от всяких личных практических применений, одними перипетиями, которые его сопровождали. Если Коле Персианову был необходим "кредит" для того, чтоб позавтракать устрицами, отобедать с шампанским и окончить день в доме терпимости, то Порфише он нужен был совсем для других целей. Он видел в "кредите" известную экономическую функцию, без которой нельзя было обойтись в ряду прочих экономических функций. Экономическая наука представлялась ему в виде шкафа с множеством ящичков, и чем быстрее выдвигались и задвигались эти ящички, тем более умилялась его душа.

Но что всего замечательнее, на глазах у Порфиши не было даже практических примеров, с помощью которых его мысль могла бы ориентироваться. Время тогда было самое глухое; из значительных железных дорог существовала только одна; об акционерных обществах и биржевой игре не было и помину. Никому не приходила в голову ни неистощимая печорская семга, ни беспримерные в летописях мира скопинские залежи каменного угля. Ничем не руководимый, с помощью одного инстинкта, Порфиша проникал и в недра земли, и в глубины морских хлябей - и везде находил что-нибудь полезное. Его не смущало то, что все финансовые построения, которым он так неутомимо предавался, были построениями бесплотными, разлетающимися при первом прикосновении действительности. Он ничего лично для себя не желал, а только выполнял свою провиденциальную задачу. Быть может, он уже чувствовал, что тот момент недалек, когда он явится с зажатými горстями, торжественно разожмет их, и клац! - покажет изумленной России пустые ладони.

Был, однако ж, один очень важный практический результат, который Порфиша извлек лично для себя из своих финансовых снов: к нему с уважением стали относиться товарищи.

- Il est par trop theoricien, ce cher Velentieff {Он слишком теоретичен, этот милый Велентьев.}, - выражался о нем Коля Персианов, - mais c'est egal, c'est une bonne tete, et avec le temps on pourra l'utiliser {но все равно, это хорошая голова, и со временем его можно будет использовать.}.

Сам директор был изумлен, когда однажды при нем Порфиша, бойко и без запинки, в каких-нибудь четверть часа, объяснил краткие правила к познанию биржевой игры.

- Ну, Велентьев, не ожидал! - сказал он. - Судя по началу, я думал, что ты так и вырастешь дураком, а ты вон как развернулся!

Но Порфиша не увлекался похвалами и, по-видимому, даже не понимал их. Он рассеянно выслушивал сравнения, которые про-

водились между его прошлым и настоящим, и очень может быть, что в голове его в это время мелькала мысль:

"Чудаки! как будто что-нибудь изменилось! Как будто я не тот же Порфиша, которому когда-то снились клады и неразменные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятские леса и скопинские каменноугольные залежи!"

Один Менандр Семенович с прежним недоверием относился к сыну и, выслушивая его рассказы о самоновейших способах накопления богатств, невольно припоминал о Амалатке и Азаматке. Очевидно, он уже подозревал в Порфише реформатора, который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит и уйдет...

Незавершенные замыслы и наброски

Господа ташкентцы

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОДНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ

НУМЕР ВТОРОЙ

Я принадлежу к очень хорошей фамилии. Один из моих предков ездил в Тушино (кажется, он был не прочь поволочиться за хорошенькою Маринкою); другой кому-то целовал крест, потом еще кому-то целовал крест и наконец и еще кому-то целовал крест. За все эти поцелуи ему выщипали бороду и сослали в Чердынский острог, где он и скончался. Третий предок одно время соперничал с Бироном в грасах, но как-то оплошал и был вследствие того обвинен в измене и бит кнутом.

Стало быть, с этой стороны я обеспечен достаточно.

С материальной стороны обстановка моя далеко не столь привлекательна.

Предки мои жили весело. Нимало не стесняясь, они наказывали на теле и даже травили собаками живых людей; но так как и в то отдаленное время насчет этого существовали довольно строгие законы, то весьма естественно, что от ответственности приходилось откупаться очень дорогою ценою. Мой прадедушка просудил свое саратовское имение (около 800 душ) за то, что в бочке скатил с горы попа. Моя прабабушка просудила свое пензенское имение (около 600 душ) за то, что высекла капитан-исправника и потом, вымазав его медом, держала в этом виде несколько дней на солнечном припеке. Но всех проказ и не перескажешь. Очевидно, что между общественным мнением и законами существовал разлад. Что первое называло только проявлением веселонравия, то вторые признавали чуть не злодейством. Жертвою этого разлада сделались чуть-чуть не все наши имения, так что когда мне пришлось вступать во владение, то передо мною предстало почти



неуловимое село Прахово, при котором значились какие-то странные земли: по болоту покос, да по мокрому месту покос, да камню с песчаным местом часть, да лесу ненастоящего часть. Даже мужики были какие-то странные, ненастоящие. Или совсем дряхлые, или подростки с огромными, выпяченными вперед животами.

- Как же вы живете, любезные, коли у вас даже настоящей земли нет? удивился я, когда они пересказали мне свои обстоятельства.

- А так и живем, что настоящей жизни не имеем, - отвечали мне они, и казалось, что животы у них при этом не то чтобы колыхались, а словно плескались, как будто они созданы были из студня.

Разумеете", я сейчас же всю эту чушь побоку, и, получив куш (последний куш!), отправился с ним в Петербург. Но будем продолжать по порядку.

Воспитание я получил очень изящное, но должен сознаться откровенно: сведениями похвалиться не могу. В том закрытом заведении, где протекли годы моей юности, науки нам преподавались коротенькие: тетрадки в две, в три - не больше. Приводились примеры рыцарских чувств и утонченной вежливости, но примеров чувств не рыцарских, равно как и примеров невежливости мы не знали. Говорят, что это пропуск значительный и что мы довольно много потеряли, утратив возможность проводить сравнения и параллели. Я, собственно, не знаю, право, как и сказать об этом. Кажется, впрочем, что и самое знание, если оно известным образом сервировано, может способствовать невежеству, укрепляя в детях антитезы рыцарства, объяснив им, о чем тут, собственно, идет речь. А то некоторые из нас и тогда уже сомневались, действительно ли следует видеть утонченную вежливость в том обдирании различных manants {мужланов}, которому предавались рыцари. Вот если бы нам рассказали, что эти manants были люди гнусные, завистливые и беспокойные, что они были заражены язвой социализма, коммунизма (как я узнал это впоследствии), тогда, конечно, мы поняли бы, что даже в обдирании может заключаться своего рода - положим, не то чтобы вежливость - а мероприятие...

По субботам, а очень часто и в простые дни (нынче начальство очень либерально насчет праздников: оно понимает, что истинное воспитание делается не в школе, а за стенами ее) нас отпускали к родителям. Но родители у нас были милые и, точно так же как и мы, воспитывались в чувствах рыцарства и в правилах утонченной вежливости. Ничего буржуазного, ничего такого, что напоминало бы скучный семейный очаг (à la Dickens {по-диккен-

совски.}) не было и в помине. Когда мы являлись домой, нас очень любезно осматривали, давали целовать ручку (всегда со вложением), произносили: *amusez-vous!* {развлекайтесь!} - и уезжали в гости. Собственно у меня *таман* была настоящая конфетка или северская куколка, и всякий раз, как я приезжал из школы (особливо когда я был уже в высшем курсе), то в каком-то детском страхе закрывала себе глаза и восклицала: "Ах! какой большой! ах! какой большой!" Казалось, она готова была расплакаться.

- Но нельзя же, *ma chere*, - утешал ее *рара*, - таков закон природы молодое растет, старое старится (он отлично знал наши прекрасные русские поговорки)!

- Ах, нет! ах, нет! я хочу, чтоб он был маленький! всегда, всегда маленький! - повторяла *таман*, и затем бросала последний взгляд на свой туалет и уезжала в гости.

Милая *таман*! Как легко она огорчалась! с какою грациозною раздражительностью она принимала всякое противоречие, всякий отказ в ее маленьких, почти детских желаниях! Я не могу забыть, например, следующей сцены, происходившей между *рара* и *тамарт*.

- Я вам отдала все, - говорила *таман*, - все! и молодость, и красоту, и блестящее положение (вспомните, кто меня любил!), а вы не хотите сделать мне малинового бархатного платья!

Сверх своего обыкновения, *рара* в этот раз заупрямился и ушел в кабинет. Но через полчаса *таман* была уже там и говорила:

- Я вам отдала все: и молодость, и красоту, и блестящее положение (вспомните, кто меня любил!), а вы не хотите сделать мне малинового бархатного платья!

До трех или четырех раз повторялась эта сцена. *Маман* разделась и объявила, что никогда (*au grand jamais!* {никогда в жизни!}) не выйдет из своей комнаты и не поедет в гости. Наконец малиновое бархатное платье было принесено...

Я потому так живо помню эти подробности, что чуть-чуть было, благодаря упрямству *рара*, не остался в этот вечер дома наслаждаться прелестями семейного очага.

Другой случай был тоже довольно оригинальный. Однажды папаша как-то расчувствовался (я в то время уж понимал это выражение), подсел к мамаше и назвал ее... бомбошкой!

*Маман*, которая тоже была готова расчувствоваться, услышав это странное слово, вдруг взглянула на него удивленными глазами.

- Где вы таким словам выучились? - спросила она *рара*. Папа сконфузился и что-то такое пробормотал, вроде того,

что он слышал это слово сначала в Александрийском театре, потом - в том совете, где он по вторникам присутствует. Одним

словом, совершенно спутался в своих показаниях. Матап целый вечер плакала.

- Вы ходите в русский театр! в какие он места ходит! - говорила она, ломая в отчаянье руки.

- Ma chere! но теперь все русские литераторы так пишут! - оправдывался рара, - как член совета, должен же я следить за выражениями, которые нынче в ходу.

- В какие места он ходит! какие он книги читает! - упорствовала матап, - я отдала ему все: и молодость, и красоту, и блестящее положение (он знает, кто меня любил!), а он... он читает какие-то русские книги... русские! русские!

Это был единственный вечер, в который матап так-таки и не ездила в гости, и это было особенно памятно для меня, который должен был ухаживать за бедной больной, вместо того чтоб наслаждаться обществом очаровательной Леокади!

Леокади!

С этим именем связано воспоминание о моем грехопадении.

Мы, воспитанники закрытого заведения, жили тогда очень весело. У нас была особенная комната за кулисами в театре Берга, в которой разыгрывалось, так сказать, в сыром виде все то, что должно было затем происходить на сцене. Мы были мальчишки лет по шестнадцати и по семнадцати и ничего не знали, кроме чувства рыцарства. Но здесь я позволю себе небольшое отступление...

Наконец матап примирилась с мыслью, что я "большой", и я так подружился с нею, что даже почти не считал ее своею матерью. Когда мы встречались дома, то обыкновенно ходили обнявшись по зале и рассказывали друг другу свои маленькие секреты. В числе этих секретов я рассказал однажды и о наших похождениях у Берга. Надо было видеть, как заискрились глазки у бедной матап!

- Возьми меня к Бергу! - говорила она.

- Но, chere матап, там происходят такие вещи... - отвечал я.

- Возьми меня к Бергу! - твердила она.

Наконец я вынужден был шепнуть ей на ухо одно словечко, после которого она только закрыла руками свое личико и убежала в свою комнату...

Милая матап! Но оставим этот эпизод и будем продолжать повесть о моем грехопадении.

В числе участников по найму и устройству комнаты был один гусар, Поль Беспалый, которого я полюбил без памяти. Это был именно беззаветнейший малый, который с рыцарской беззаботностью тратил состояние своих предков и в то же время с самою, если можно так выразиться, святою доверчивостью глядел на

будущее.

- Mon cher! - говорил он мне, - будем жить, покуда живется! Потом, а trente ans {в тридцать лет}, когда мы сделаемся губернерами, еще достаточно найдется времени и для абракадабры, и для хиромантии (так называл он скучную, но полезную арену мероприятий), а теперь... buvons, chantons et dansons! {Будем пить, петь и танцевать!}

Итак, Поль Беспалый познакомил меня с Леокади. Это была удивительная особа; казалось, у нее не существовало ни одного местечка, которое не представляло бы ресурса. Только француженка может \_воспитать\_ в себе этот молочный бюст, эти волнующиеся бедра, эту очаровательную ножку, эти стальные икры! Посмотришь на наших российских женщин...

Как в лугу весной бычка  
Пляшут девицы российски  
Под свирелью пастушка...

Кувалды - и больше ничего! Иная и хорошенькая, даже очень, очень хорошенькая, а все ничего из этого не выходит. Ничего не умеет показать в своем виде, ничем не умеет возбудить любопытство! Топчется на месте, ни нервов, ни мускулов у нее нет - так точно кисель трясется. Как будто говорит: кто захочет, тот на меня и наступит! То ли дело Леокади! Она не была даже красавицей, но именно \_воспитала\_ в себе то, что неудержимо привлекает мужчину. Роста она была более среднего, не толста, но худощава настолько, чтоб дать возможность чувствовать тело и в то же время иметь смутное ощущение кости. Бюст она имела великолепный; не было ничего похожего на гималайские горы, а было нечто эфирное, напоминавшее самую легкую, чистую морскую пену. Les hanches {Бедра.} - приводили в изумление; она не шла, а плыла... нет, и не плыла, а как-то покачивалась, так что почти, нельзя было заметить никакого движения. Ножка, икры...

Когда она меня в первый раз потрепала по щечке и сказала: oh, le joli garçon! {какой хорошенький мальчуган!} - я весь зарделся и в первый раз почувствовал себя юношей...

С тех пор я не раз присутствовал при ее туалете, вместе с Полем, и живо помню, как билось у меня сердце, как глупо я таращил глаза.

И вот в одну из суббот я забрался к ней, когда Поля еще не было: он должен был приехать через час, чтобы вместе отправиться к Бергу. Она только что начала одеваться, хотя была уже причесана. Как и всегда, я сел в угол, но, должно быть, таращил глаза более обыкновенного, так что даже она, привыкшая к пантомиме глаз, заметила это.

- Что вы так вертите глазами, Vassia (Вася)? - спросила она меня, смотрясь в зеркало, в котором, по всей вероятности, отражались мои дурацкие взоры.

Я не отвечал; я буквально задыхался.

- Да отвечайте же! - сказала она, делая полуоборот ко мне.

Но я продолжал молчать. Я ощущал в себе какую-то дикую силу и в то же время не смел, буквально не смел двинуться с места.

- Вы очень меня любите, бедный мальчик?

Что было после этого, я не помню. Помню только, что я плакал (мне было всего шестнадцать лет!), что я с трудом удерживал крик, который вдруг созрел в моей груди. Казалось, она несколько изумилась этому.

- Будет, - сказала она, - не надо плакать. Если узнает Поль, нельзя будет...

И, говоря это, прижала меня к груди, целовала в лоб, гладила по голове и как-то так глядела на меня, что мне показалось, что и в ней в первый раз дрогнуло что-то такое, что дрожит только однажды в жизни, что только однажды наводняет грудь почти невместимым потоком счастья, а потом тихо-тихо разливается по всему организму. И теперь мне довольно часто приходится говорить: "Madame! permettez-moi de goûter de ce bonheur ineffable! {Мадам! позвольте мне вкусить этого несказанного счастья!}" - но я чувствую, что все это только фраза, и что собственно так называемый bonheur ineffable бывает только раз в жизни.

И этот момент, эта сладчайшая минута жизни дается нам... коготками!

Какой урок!

Спрашивается, однако ж, лучше ли было бы, если б мы получили эту минуту от наших крепостных психей? вопрос этот я отдаю на разрешение господ московских публицистов, с такой неуклюжей горячностью защищающих наше национальное варварство.

Таким образом произошло мое первое грехопадение.

Теперь расскажу, как я в первый раз напился пьян.

Мне было тогда тринадцать лет; но в закрытом заведении мальчик всегда развивается быстрее, чем на воле. Мы собрались в числе нескольких человек и отправились в трактир. У нас была одна цель: напиться пьяными; мы даже хорошенько не знали, чем можно напиться приличнее. К несчастью, трактир, в который мы пришли, был русский, и половой на наше требование! вина подал водки. Я помню, первая проглоченная рюмка как будто переломила меня надвое, мне показалось и горько и скверно, но я все-таки похвалил и сряду проглотил другую. Эта вторая рюмка хотя уже не была так отвратительна на вкус, однако после нее в голове моей поселился какой-то неясный шум или что-то

вроде нашего родного петербургского тумана. Я стал нехорошо слышать, что говорили мои товарищи, и вынужден был по нескольку раз переспрашивать. Говорят, что я много смеялся, и притом без всякой причины. После третьей рюмки я был то, что называется пьян.

На другой день, проснувшись, я увидел у своего изголовья тапан, которая примачивала мне голову уксусом. Никогда, ни прежде, ни после, не бывало мне так скверно. Мне казалось, что я совершил какое-то преступление, что я совсем-совсем погиб! Во рту было сухо, голова и все тело горели, глаза помутились...

- Матап! матап! как я нахлестался! - вскрикнул я в ужасе.

- Фи, мой друг! какие у тебя выражения! разве ты мужик, чтобы говорить о себе: нахлестался! - с упреком сказала мне матап.

И больше я не слышал от нее ни одного упрека, ни одного слова. Мне показалось даже, что мое поведение не столько огорчило, сколько поразило ее. Странно было, что все это так рано и так быстро случилось, - но вот и все. Что оно должно было рано или поздно случиться - это подразумевалось само собою.

Но я сказал правду: я действительно нахлестался. Позднее я узнал, что когда люди напиваются водкой, то это называется нахлестаться, когда же напиваются шампанским и другими порядочными винами, то это называется быть навеселе.

Бедная матап! она и не воображала, что я именно в то время нахлестался!

----

Итак, мы были воспитаны в чувствах рыцарства и утонченной вежливости. Никто лучше нас не умел держать корпус несколько наклоненным вперед, никто изящнее нас не умел пробегать целые пространства на цыпочках, никто не угадывал быстрее мановения глаз, движения руки и т. д.

И вдруг понадобились какие-то "принципы". Зачем?

Я не могу обстоятельно рассказать историю этого нововведения, потому что не заметил ни момента его зарождения, ни процесса его развития. Кажется, впрочем, что тут не было ни зарождения, ни развития, а было просто что-то вроде внезапного помрачения. "Принципы" явились на сцену жизни, как являются не помнящие родства на сцену полицейского действия. Как? откуда? где ночевал? где днем шатался? кто был пристанодержателем? Никто ничего объяснить не может. Видят только факт - и ничего больше.

Годы летели мимо меня с такой быстротой, что я положительно не чувствовал их. Серые рысаки сменялись воронными, воронные - караковыми; Леокади уступила место Селине, Селина, в свою очередь, очистила вакансию для Жозефины (не француженка, а

шведка). Даже Марья Петровна какая-то была (из русских). Все это плыло, плыло и плыло, и вслед за собой заставляло уплывать и тысячи, вырученные через продажу села Прахова с ненастоящей землей, ненастоящими мужиками и ненастоящей жизнью. Я возмужал, а в кармане оставалась только одна тысяча... на всю жизнь!

Очень натурально, что я не отчаивался. Смешно было бы думать, что при моем положении и с моим воспитанием... я не найду средств! Если у меня нет ни имений, ни капиталов, если предки мои проживали свое достояние, как они выражались, "для вящего Российской империи блеску и авантажа", то должен же я быть вознагражден за эти пожертвования!

Я не могу, однако ж, сказать, чтоб слово "принцип" было мне совершенно неизвестно. По временам оно проскальзывало и в мой слух, но я никогда не был об нем особенно хорошего мнения. Когда это слово произносилось, то в понятии моем возникало что-то лохматое, неумытое, тайнодействующее, лишенное перчаток, а пожалуй, и нижнего белья. Представьте же мое удивление, когда мои домогательства насчет места были встречены словами:

- Место получить вы можете, но прежде всего необходимо знать, имеете ли вы принципы.

Я смешался; я думал, что меня хотят испытать, и потому с негодованием отвечал:

- Никаких принципов я никогда не имел!

- Каким же образом вы предполагаете управлять тою частью, которой домогаетесь?

- Я буду подписывать бумаги! - отвечал я, - каждый день пишутся новые бумаги, и я каждый день буду подписывать их!

Увы! Оказалось, что бумаги подписывать, конечно, надо, но в то же время надо и нечто умышлять! Что бумага есть не просто бумага, но в то же время и каверза! Что люди, движущиеся перед нашими глазами, суть не просто Петры, Ивановы, Сидоры и т. д., одинаково подлежащие воздействию, но имеют еще особенные клички, сообразно с которыми самое воздействие должно быть умеряемо или усиливаемо! Все это отлично растолковал мне Поль Беспалый (к счастью, мне с ним пришлось иметь дело).

- Mon cher! - сказал он мне, - я, конечно, могу оказать содействие к удовлетворению вашего справедливого желания, но прежде всего вы должны иметь принципы. Далеко уже то доброе старое время, когда всякий, кто жевал жвачку, имел право думать, что он живет, служит и вообще вносит лепту. Если жвачка не перестала быть жвачкой, то явилась необходимость ее осветить. Осветить принципами. Многие задумываются над этим словом и не знают, как его определить. Однако ж нет ничего легче, как выпол-

нить эту задачу. Наш принцип - это то самое, что поэты называют признательностью сердца и что, по моему мнению, было бы гораздо прямее назвать сердечною субординацией. Тут, собственно, нет даже принципа, а есть энтузиазм, есть рыцарское чувство. Есть люди, которые рыцарское чувство чем-нибудь наполняют, то есть сперва придумают принцип, а потом привяжут к нему рыцарство. Мы действуем совершенно наоборот; для нас рыцарское чувство есть рыцарское чувство - и больше ничего. В этом наш принцип. Наши симпатии - не наши; наши ненависти не наши, и наоборот. Процесс, посредством которого все "не наше" претворяется в "наше", так сложен, что снаружи кажется даже простым. Мы не анализируем, не размышляем, не критикуем - мы пламенеем! Кажется, просто, а сквозь какой сложный жизненный процесс должно было пройти, чтоб достичь этой чистоты, этой беззаветности рыцарства!

- Я не знаю, но мне кажется, я всегда... я тоже... - осмелился я прервать моего собеседника.

- Понимаю, что вы хотите сказать, и вполне верю, что вы стоите на хорошей дороге, *dans le bon chemin*. Но дело в том, что вы стоите на ней слишком естественно. Вы хорошо чувствуете, хорошо мыслите, потому что у вас хорошая природа, потому что вы порядочный человек. Надо, чтоб это хорошее вышло из своего состояния естественности и сделалось - не то чтобы противоестественным, - а (тут Поль задумался, ища слова)... а... ну да, почти что противоестественным. Вы хорошо мыслите, но не относитесь критически к мыслям других, не требуете, чтоб и другие хорошо мыслили. В прежнее время это было очень возможно, потому что в прежнее время вообще мало мыслили; нынче, напротив, почти все стали мыслить, и мыслить по большей части вредно. Самое лучшее, конечно, было бы опять прийти к прежнему положению, но кажется, что такая задача не по силам. Поэтому нужно добиваться, чтоб люди мыслили хорошо. Можете ли вы сказать, что выполните эту задачу?

Я начинал понимать. Но все-таки задача казалась мне столь огромною, что я невольно терялся.

- Везде... куда... где... во всяком случае... до последней капли крови... - бормотал я бессвязно.

- Прекрасно; но будем развивать нашу мысль далее. Уверяют, будто бы, увлекаясь одним рыцарством, мы рискуем набрести на людей, не имеющих ни талантов, ни знаний, ни даже действительной честности. *Mon cher!* если уж на то пошло, то все эти громкие фразы о талантах, знании, честности и т. д. все это только одно недоразумение. Рыцарское чувство - вот единственное твердое основание. Говорят, будто бы с этим твердым основанием



можно дойти до всеобщего обессиления, до поголовного мютизма - опять-таки недоразумение, не более как недоразумение. Все зависит от того, что кому нужно. Мой идеал: внутренняя тишина и внешний блеск. Если эти два понятия оказываются несовместимыми, то я говорю себе: счастье живет не в одних золоченых палатах, но и в хижинах...

Шумы, Иртыш!..

et... et vogue la galere! {И... и будь что будет!}

Поль покраснел и стал быстро ходить по комнате, как бы обдумывая решительный шаг. Я был весь вниманье. Наконец он остановился,

- Дело в том, - продолжал он, - что я отстаиваю свое существование. На это дает мне *permis* {разрешение.} сам идол наших нигилистов, Дарвин. Мне говорят, что я шалопай; я не желаю ни оспаривать это мнение, ни соглашаться с ним; я просто отвечаю: и шалопайи имеют право на существование. Пускай попробуют опровергнуть меня на этой почве! Дарвин... ха-ха! *Сопни, messieurs, сопни!* {Известно, господа, известно!}

Опять последовала пауза, в продолжение которой Поль машинально насвистывал романс "На заре ты ее не буди".

- Вот этот-то самый романс и сгубил нас, - сказал он, смеясь, - если б мы тогда "ее не будили", - кто знает, может быть, все осталось бы на своих местах! Но я чувствую, что я слишком увлекся своею задачей и наговорил тебе с три короба таких околичностей, которые прямо к делу не относятся. Итак, постараюсь резюмироваться. Тебе надо знать: должен ли ты иметь принципы и какие именно? На это отвечаю: должен, а если тебя спросят, что ты под этим разумеешь, то ты можешь смело отвечать тремя словами: *les bons principes* {хорошие принципы.}. Этого вполне достаточно, потому что под этим разумеется все хорошее, все пригодное, все непостыдное. В обстоятельном разъяснении это значит: отрицание всяких принципов (тех самых, которых ты инстинктивно боялся), но отрицание твердое, неуклонное, или, как любят нынче выражаться, *принципиальное*. Да-с, *messieurs*, *принципиальное!* Смейтесь, смейтесь над этим каламбуром, но не забудьте, что в конце его есть одна штучка, от которой ой-ой как вам не поздоровится! Затем, мой друг, ты можешь дерзать всюду и даже бежать куда глаза глядят. Можешь махать руками направо и налево, можешь сегодня делать, а завтра переделывать, можешь внимать и не внимать, можешь действовать мерами кротости или палить... Я знаю: у тебя есть слабость женщины! Можешь, мой друг, можешь и это! Пускай наши милые провинциалки узнают, какие произошли по сей части усовершенствования в столицах! Одним словом, можешь все; можешь даже... быть глупым, хотя я и не

предполагаю в тебе возможности иметь такое желание...

Говоря последние слова, Поль взял меня за обе руки и, как мне показалось, взглянул мне в глаза несколько иронически. Но я не имел даже времени покраснеть, потому что он продолжал:

- Одного не можешь, - голос его сделался почти что торжественным, одного не можешь: это изменить чувству рыцарства и дисциплине сердца, о которой мы сейчас беседовали!

Я вышел от Поля слегка отуманенный; но постепенно мне становилось все легче и легче, как будто тяжелое бремя скатывалось с души моей.

- Что ж! - говорил я себе, - все это я давно знал, только не мог хорошенько выразить - вот и все! Ведь если наш разговор пере-сказать своими словами, то выйдет так: принцип есть неимение никаких принципов... помилуйте! да разве я когда-нибудь думал противное! Стало быть, я не совсем глуп, и он напрасно посмотрел на меня иронически, когда утверждал, что, обладая принципом, я имею право быть даже... глупым! нет, это не так, mon cher!

И я чувствовал, как во мне зарождалось и с изумительной быстротой крепло сознание. Покуда я ехал по Невскому, покуда повернул в Большую Морскую, все уже было готово. Двери Дюссо распахнулись передо мною, но как-то нерешительно, как будто не узнали меня. Перед ними стоял старый Базиль, Васюк, Васька, все, что хотите, но под новым лаком.

- Принципы! - весело твердил я, - *et dire que ce n'est que ça!* {только и всего!}

Они все были в сборе. Появление мое произвело сенсацию.

- Вася! Васька! Васюк! как поживает последняя тысяча! - раздавалось со всех сторон.

- Messieurs! - сказал я, - отныне вы должны смотреть на меня серьезно! Вы видите перед собой... *l'homme aux principes* {человека с принципами.}.

Сначала грянул взрыв хохота; потом последовал так называемый обмен мыслей.

- Уж не дал ли ему кто-нибудь взаймы денег!

- Нет, он открыл новый способ подделывать духовные завещания!

- Нет, он отыскал добрую старушку, которая соглашается за известное вознаграждение уделить ему часть своих капиталов.

- Он вступает в компанию с Бергом!

- Он основывает журнал!

- Он получает концессию!

И т. д. и т. д.

- Messieurs! - сказал я, - не шутите! "принципы" - это то, что каждый из вас носит в самом себе! Но вы не знаете, что вы носите,

а я - знаю.

- Черт возьми! ты, кажется, сказал целый период!

- Да; я сказал период, и скажу еще два, три, бесконечное число периодов... потому что я человек принципа!

- Ну, говори! говори! внимание!

- Вы вот сидите у Дюссо, пьете вино, едите, болтаете вздор и не знаете, что вы делаете это по принципу. Вы ездите к Бергу, слушаете гривуазные песни, видите всякое подниманье - и не знаете, что делаете это по принципу. Вы целый день рыскаете по городу, не зная, куда приклонить голову, и думая, что все это не больше как шалопайство, - и не знаете, что вы делаете это по принципу! Вы занимаете деньги без отдачи, не платите вашему портному, обсчитываете вашу прачку, кормите завтраками вашего лакея - и не знаете, что все это делает в вас принцип! А я - знаю!

- Bravo! продолжай! Васенька, продолжай!

- Принцип, *messieurs*, есть не что иное, как последовательно проведенный образ действия. Пусть каждый из вас сойдет в глубины своего сердца, пусть каждый подвергнет зрелому обсуждению свое прошлое! Если окажется, что он обманывал своего портного постоянно, то это значит, что в нем жив принцип; если окажется, что он обманывал только временно, то это будет значить, что принцип ослабевал! Но что же надобно сделать, чтобы принцип никогда, никогда не ослабевал! Для этого надобно, чтоб те, которые чувствуют в себе его присутствие, подали друг другу руки и тесно сдвинули ряды свои! Тогда, и только тогда, *messieurs*, мы образуем живую изгородь, сквозь которую не проскочит ни один неблагонамеренный заяц, или лучше сказать, заплетем такую сеть, которая опутает собой все пространства и перспективы!

Я кончил. Я чувствовал, что это был мой первый ораторский успех. По местам еще раздавалось хихиканье; но более серьезные из собутыльников задумались. Их поразила идея: сдвинуть ряды.

- Как? как ты это сказал? "сдвинуть ряды"? - переспрашивали меня.

- Подадим друг другу руки, *messieurs*, и сдвинем наши ряды! - повторил я, поднимая бокал.

- Bravo! - раздался общий голос.

Один Simon (известный служитель в ресторане) не принимал участия в общем энтузиазме и, по-видимому, рассчитывал, сколько придется ему на водку.

- Нас называют проходимцами, говорят *que nous sommes des hommes perdus de dettes* {что мы люди, погрязшие в долгах.}, докажем же миру, что мы люди принципов, что в нас есть нечто такое, что составляет силу.

- Докажем! докажем!

- И начнем с того, что отсюда поедем всей толпой к Бергу!  
- Отлично! *delicieux!* {восхитительно!}  
Через полчаса мы были уж там. Комплот восприял начало.

----

Через месяц я был уже в городе N.

Речь, которую я сказал на первый случай, была моим вторым ораторским успехом.

Затем, я приказал составить мне список людей, которые о чем-нибудь думают и выражают свои мысли, и в ожидании отправился осматривать N-ских дам. *Alea jacta est.* {Жребий брошен.}.

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОДНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ

НУМЕР ТРЕТИЙ

Я принадлежу к хорошей фамилии. Один из моих предков ездил в Тушино; другой кому-то целовал крест, потом еще целовал крест и потом еще целовал крест. За все эти поцелуи ему выщипали по волоску бороду и заточили в Чердынский острог. Третий предок соперничал в грасах с Бироном, но оплошал и за измену был сослан в Березов.

С материальной стороны обстановка моя представляется далеко не столь блистательною.

Предки мои жили весело; но так как и в то время насчет этого существовали законы, то мои веселые дедушки и бабушки почти постоянно находились под судом. Мой прадедушка просудил свое саратовское имение (около 800 душ) за то, что скатил в бочке с горы попа; моя прабабушка просудила свое пензенское имение (около 600 душ) за то, что вымазала капитан-исправника медом и выдержала его в этом виде несколько часов на солнечном припеке.

Результатом всех этих веселостей было то, что когда мне пришлось вступить во владение наследственным имением, то предомной предстало неуловимое село Прахово, при котором значились какие-то странные земли: по болоту покос, да по мокрому месту покос, да лесу ненастоящего часть и т. д. Даже мужики явились какие-то ненастоящие: или совсем дряхлые, или подростки с огромными, выпяченными вперед животами.

Разумеется, я сейчас же всю эту чушь побоку и, получив куш (последний куш!), отправился с ним в Петербург.

Воспитание получил я очень изящное, но не могу скрыть, что знаний больших не имею. В том закрытом заведении, где протекли годы моей юности, науки преподавались коротенькие: тетрадки в две, в три, не больше. Приводились примеры рыцарских чувств и утонченной вежливости; излагалось кратко, что рыцари имели обыкновение сечь (*grosser*) и обдирать различных буржуа и

manants, но за что собственно производилось это хроническое сечение - этого никто нам не объяснял. Только уже по выходе из школы я узнал, что это была целая величественная система, задуманная в видах предотвращения коммунизма и нигилизма...

По субботам нас отпускали к родителям. Но родители у нас были милые и, точно так же как и мы, воспитывались в чувствах рыцарства и утонченной вежливости. Ничего буржуазного, ничего такого, что напоминало бы унылый семейный очаг. Когда мы являлись домой, нас очень любезно осматривали, давали целовать ручку, произносили: *amusez-vous!* и уезжали в гости. После этого мы были свободны, как ветер в поле.

Собственно у меня татап была настоящая конфетка. Всякий раз, как я являлся домой (особенно когда я был на последнем курсе), она в каком-то детском страхе зажмуривала глаза и восклицала:

- Ах, какой большой! ах, какой большой!

- Но нельзя же, *ma chere*, - утешал ее рара, - таков закон природы! Молодое растёт, старое старится! (Он отлично знал наши прекрасные русские поговорки.)

- Ах, нет! ах, нет! я хочу, чтоб он был маленький! всегда, всегда маленький! - повторяла татап и затем, бросив последний взгляд на свой туалет, уезжала в гости.

Затем из всех воспоминаний моего детства остались в моей памяти только два: воспоминание о том, как я в первый раз напился пьян (мне было тогда тринадцать лет, и, клянусь честью, я думал, что совершил бог весть какое преступление!) и воспоминание о моем первом грехопадении (мне было тогда пятнадцать лет... Леокади!).

Ни наук, ни искусств...

Ничего, кроме рыцарских чувств и утонченной вежливости.

----

Годы летели мимо меня с такой быстротой, что я даже не чувствовал их. Умер папа, скончалась татап; я поплакал. Серые рысаки сменились караковыми, караковые - воронами. Леокади уступила место Армансе, Арманса - Жозефине (не француженке, а шведке). Даже Марья Петровна какая-то была... из русских. Все это плыло и плыло и заставляло вместе за собой уплывать те тысячи, которые были выручены через продажу села Прахова с ненастоящей землёю и ненастоящими мужиками. Я возмужал, а в кармане у меня оставалась только одна тысяча... на всю жизнь!

Когда я убедился в этом, то мне показалось, как будто я сейчас только родился. Я понял, что покуда у меня были деньги в кармане, я их расходовал; что теперь у меня нет денег в кармане, и я не могу расходовать. Что такое: нет денег? почему я не могу расходо-

вать?.. Я думал, что я с ума сойду! Весь мир представлялся мне в каком-то новом свете; все эти портные, прачки, квартиры, лакеи, все, что прежде представлялось как во сне, вдруг приняло какие-то живые образы, заговорило, запротестовало... я положительно думал, что сойду с ума!

Но ежели у меня нет ни имений, ни капиталов, если предки мои проживали свое достояние, как они выражались, "ради вящего Российской империи блеску и аванжа", - ужели я не должен быть за это вознагражден? Рыцарские чувства! утонченная вежливость! - *tout ca est bel et bon, messieurs!* {все это прекрасно, господа!} но мне нужен пирог, настоящий пирог, который я мог бы кусать *a belles dents!* {в полное свое удовольствие!} я желаю его! я требую его! я требую той доли, на которую мне дают право мои рыцарские чувства, мои правила утонченной вежливости!

И вот, в эту критическую минуту, в уме моем созрела мысль о месте в провинции.

Я рвался в провинцию, потому что жизнь уже поистрепала меня. Борьба с кокотками подорвала мои силы; опасение встретиться с портным (которому я много лет не платил) убило во мне всякую предприимчивость. В Петербурге я решительно не годился; Петербург требует, чтоб человек разглядывал свою добычу издали и налетал на нее с уверенностью. Я никогда не мог достичь этой виртуозности. Я был хищник второго разряда; я не нападал, а просил и вследствие этого очень скоро поступил в разряд пик-ассетов. С тех пор никто не хотел смотреть на меня серьезно. Самые, что называется, шалопаи из шалопаев - и те легкомысленно улыбались при упоминании моего имени. В тех редких случаях, когда мне поручалось какое-нибудь дело по службе, - это считалось анекдотом, который, с разными прибаутками, ходил по городу, услаждая всеобщие досуги. Когда у меня появлялись деньги, то говорили, что я придумал новый способ подделывать духовные завещания или что я вступил в компанию с некоей Адольфинкой и выписал, по ее поручению, женщину с усами... Каждый мой поступок истолковывался самым непозволительным образом, а некоторые утверждали, что у меня даже совсем нет поступков... Меня кормили обедами и поили шампанским и в то же время вымещали на мне каждый съеденный кусок, каждую выпитую бутылку. Иногда это оскорбляло меня. Ужели я в самом деле гороховый шут? - спрашивал я себя внутренне и давал слово проучить первого шалопаю, который позволит себе назвать меня этим именем. Но самый гнев выходил у меня как-то странно, и вместо того чтоб устрашать, пробуждал еще больший взрыв веселости...

Несмотря на все это, я продолжал жить. Я чувствовал, что еще одна минута - и все будет кончено. Голова наполнялась каким-то туманом, в глазах мелькал хаос, в ушах звенело. Я вставал утром с постели и спрашивал себя: скоро ли? Я ложился спать на ночь и спрашивал себя: скоро ли? Я целый день куда-то спешил, сам не отдавая себе отчета, куда спешу, и только спрашивая себя - скоро ли?

Провинция! Не там ли тихая гавань, в которой должно навсегда погрузиться мое прошлое, в которой, в первый раз в жизни, сказанное мною слово не будет встречено ни хохотом, ни щелчками!

Но тут, на первых же порах, я был озадачен совершенно неожиданным образом.

- Ваши принципы? - спросили меня, едва я успел заикнуться о предмете моих вождлений.

Я смутился; я думал, что меня хотят испытать.

- Никаких принципов я никогда не имел! - отвечал я с негодованием.

- Подумайте и придите в другой раз.

Собеседник мой улыбнулся (он некогда видал меня у Леокади) и прошел далее.

- Ваши принципы? - вторично раздался в ушах моих вопрос, обращенный уже к следующему соискателю.

- Священное исполнение предписаний начальства... до последней капли крови... Ваше превосходительство! ежели!..

С говорившим сделалось дурно.

Я вышел словно ошеломленный. Принципы!

Я не могу сказать, чтоб это слово было мне совершенно неизвестно. Я знаю, что принципы существуют, но при этом слове в воображении моем всегда рисовалось что-то лохматое, неумытое, тайнодействующее. И вдруг я слышу это самое слово... где? когда? по какому случаю?

Как зародилось это нововведение? какой был процесс его развития? По-видимому, тут не было ни зарождения, ни развития, а было только внезапное помрачение. Принципы явились на сцену жизни, как являются не помнящие родства на сцену полицейского действия. Откуда? как? где ночевал? где днем шатался? кто был пристанодержателем? - никто ничего не знает, никто ничего объяснить не может. Приходит откуда-то нечто и требует, чтоб его взяли в острог. Острогом оказалась чья-то голова. Вот и все.

К счастью, у меня был приятель Поль Беспалый, который мог объяснить мне все это. Он служил сначала в гусарах, потом определился к штатским делам, потом прошел огонь и воду и имел один недостаток: терпеть не мог, когда его называли действительным статским кокодеесом.

- Mon cher, - сказал я ему, - ты, который знаешь все, ты должен объяснить мне, что такое "принципы"!

Мне показалось, что на лице его выразилось моментальное изумление. По крайней мере, он не тотчас ответил, а ущипнул меня разом за обе щеки и сказал:

- Душка!

- Но, мой друг, мне предложен вопрос, имею ли я принципы, и я завтра же, в одиннадцать часов утра, должен дать ответ!

- И ты меня спрашиваешь об этом! ты, который снизу доверху преисполнен самыми лучшими принципами! нет, это какое-то недоразумение! - весело смеялся Поль.

- Да не смейся же, Поль! скажи, что должен я отвечать?

- Во-первых, ты ничего отвечать не должен; во-вторых, ты должен приложить руку к сердцу, в-третьих, слегка закатить глаза и, в-четвертых, что-нибудь пробормотать. "Смею уверить"... "безграничная преданность"... "святое исполнение долга"... что-нибудь в этом роде. Чем невнятнее, тем лучше, потому что это докажет, что в тебе говорит не ум, а чувство. Скажи, пожалуйста, ведь ты... не очень умен?

Вопрос этот был так неожидан, что я невольно сконфузился.

- Виноват, мой друг, - продолжал Поль, - но этот вопрос нам необходимо очистить, чтоб иметь под ногами совершенно твердую почву.

Как я ни привык к веселонравию моих друзей, но ответ был так щекотлив, что просто-напросто не срывался с моего языка.

- Хорошо; будем говорить яснее, - вновь начал Поль. - Возьмем для примера хоть наши теперешние взаимные отношения. Я тебя искренно люблю, и ты меня искренно любишь - это несомненно; но почему же мы любим друг друга? спрашиваю я тебя. А потому, душа моя, что мы оба: и ты, и я - оба не очень умны. Понимаешь: оба, не ты один! Ты расскажешь мне какой-нибудь проект, и я тебе расскажу какой-нибудь проект - и нам обоим... не стыдно! Тогда как, если б ты был очень, а я не очень умен, то мне было бы постоянно совестно, и я кончил бы тем, что возненавидел бы тебя... понял?

- Так, но ведь я могу, наконец, скрыть свой ум?

- Нет, это уж не то! Человек, который скрывает свой ум, хоть невзначай да обмолвится. Нет, если ты хочешь успеть, то лучше не скрывай, а прямо так, как есть. Итак, этот вопрос очищен...

- Позволь, тут могут встретиться еще некоторые подробности, которые тоже необходимо предусмотреть... Например, может понадобиться мой взгляд, мое мнение... que sais-je enfin! {как знать, наконец!}



- Ну да, и взгляды, и мнения... все это ты обязан! Ах, да пойми же, душа моя, что ты сам весь состоишь из взглядов и мнений и только не подозреваешь, что все это называется взглядами и мнениями...

Поль сделал несколько туров по комнате, как бы желая наглядно объяснить, в чем заключаются взгляды и мнения.

- Все взгляды известны, все мнения составлены, - продолжал он, останавливаясь передо мною, - разумеется, не очень умные. И чем больше ты будешь высказывать таких взглядов и мнений, тем лучше. Ты не поверишь, мой друг, как это развязывает язык, когда знаешь наверное, что не скажешь ничего... \_очень\_ умного! У нас в клубе случился на днях поразительный пример в этом роде. Сорок лет сряду прожил Пьер Накатников на белом свете, и сорок лет нельзя было разобрать, говорит он или молчит. Говорят, будто он боялся сказать что-нибудь \_очень\_ умное. И вдруг этот человек убедился, что он хоть и умен, но не \_очень\_... и заговорил! И что ж! мы целый час его слушали, и, право, слушали не без удовольствия... Потому что он действительно говорил не \_очень\_ умные вещи!

- Но Накатников ведь был басней целого города!

- А теперь он сделался чуть не гением. Ах! ты не поверишь, душа моя, как это освежает, когда вдруг заговорит перед тобой нечто такое, что десятки лет сряду сидело против тебя и молча предлагало тебе рюмку вина! Наплыв какой-то чувствуешь... радость какую-то! Так бы и вырядил его в одежды златотканые и пустил бы на все четыре стороны: лопай кого угодно!

По мере того как Поль говорил, я чувствовал, что мне делается легче и легче. "За что ж они меня называли шалопаем?" - спрашивал я себя.

- Понимаю, - сказал я после некоторого размышления, - но ведь это почти то же самое... ну да, это совсем то же самое, что я всегда...

- Вот то-то и есть, что мы часто создаем себе затруднения там, где их совсем не существует. Но резюмируем наши дебаты. Ты хочешь знать, в чем состоят наши принципы: вот они. Принцип первый: везде... всегда... куда угодно... Принцип второй: мыслей не имею, чувствовать - могу. Если ты усвоишь эти два принципа, то можешь дерзать совершенно свободно!

Поль обнял меня с нежностью. Очевидно, что роль ментора была для него еще внове, и я был чуть ли не первым учеником его в деле искусства приобретать успехи.

- Ах да - чуть не забыл, - спохватился он, - принцип третий: вот! - Он сжал правую руку в кулак, как будто держал вожжи. Глаза его сверкнули. - Это для тех, которые... ты понимаешь? ну, для

тех... для умников!

Объяснение кончилось. Я вышел от Поля слегка отуманенным, но по мере того как я удалялся от его квартиры, туман постепенно рассеивался и уступал место лучам света.

- Что ж! - говорил я себе, - все это я давно знал, только не мог хорошо выразить - вот и все! Ведь если наш разговор пересказать своими словами, то выйдет так: принцип есть неимение никаких принципов... помилуйте! да разве я когда-нибудь думал противное!

И я чувствовал, как во мне зарождалось и с изумительной быстротой крепло сознание принципа. Покуда я ехал по Невскому, покуда повернул в Большую Морскую, все было готово. Двери Дюссо распахнулись передо мной и не узнали меня. Перед ними стоял все тот же Базиль, Васюк, Васька - но под новым лаком.

- Принципы! - весело твердил я, - *et dire que ce n'est que cela!* {только и всего!}

----

Они были все в сборе.

- Вася! Васька! Васюк! последняя тысяча! - раздалось со всех сторон при моем появлении.

Но я не обращал внимания на эти крики и с достоинством составлял меню. Между тем в компании происходил так называемый обмен мыслей.

- Что с ним? *Basile!* ты, кажется, хочешь наслаждаться на собственный счет! - говорил один.

- *Messieurs!* у него деньги, следовательно, он участвовал в ограблении Зона! - говорил другой.

- *Messieurs!* он снял заведение Фюрста!

- *Messieurs!* Эстер, уезжая в Париж, позволила ему продать в свою пользу ее кровать!

Вдруг посреди этого ливня клевет (именно клевет, потому что Зона я даже совсем не знал и ни в какие сделки ни с Фюрстом, ни с Эстеркой не вступал) я обернулся, и все почуяли что-то новое. Как будто Васюк навсегда исчез, а явился *Basile...* и даже с перспективою сделаться в ближайшем будущем Василием Андреевичем.

- *Basile!* да что с тобой? - тревожно спрашивали меня со всех сторон.

- *Messieurs!* - сказал я торжественно, - отныне вы должны смотреть на меня серьезно. Вы видите перед собой... *l'homme aux principes!* {человека с принципами!}

Все молча переглянулись, как бы ожидая разъяснения этой загадки.

- Принципы, messieurs, - продолжал я, - это то самое, что каждый из вас всегда носит в самом себе. Только вы не знаете, что носите, а я... я знаю!

Опять обмен мыслей:

- Charmant! {Очаровательно!}

- Показывай, что такое ты носишь!

- Он носит надежду попасть в долговое отделение!

- Он носит сладкую уверенность, что Дюссо простит ему долг!

- Васька! стань перед Дюссо на колени!

- Одну слезу, Basile! одну слезу - и он простит! И т. д. и т. д.

- Позвольте, messieurs! - прервал я этот поток, - вы забываете, что компрометируете своего соотечественника... перед кем?.. Вспомните про Севастополь, messieurs!

- Bravo, Васенька, bravo!

- Но к черту национальности! - продолжал я, - дело идет о принципах. Messieurs! в эту самую минуту вы сидите у Дюссо, вы пьете, едите, болтаете вздор - и не подозреваете, что все это делается вами в силу принципа! Вы ездите к Бергу, вы целый день рыскаете, не зная куда приклонить голову, - и не понимаете, что вами руководит принцип! Вы занимаете деньги без отдачи, вы не платите портному, обсчитываете прачку, лакея - и не видите, что все это принцип, принцип и принцип! А я все это вижу, знаю и понимаю!

- Bravo!

- Что такое принцип? - принцип, говорят нам, есть не что иное, как последовательный образ действий. Следовательно: ежели человек действует последовательно, хотя бы вопреки каким бы то ни было принципам, то это значит, что он все-таки действует по принципу. Сойдите в глубины ваших сердец, взвесьте ваше прошлое - и судите! Что нужно, чтоб из отсутствия принципов образовался принцип? - для этого нужно убедить себя, что отсутствие всяких принципов есть тоже своего рода принцип - и ничего больше! Что нужно, чтоб этот принцип восторжествовал? - для этого нужно, чтоб те, которые чувствуют в себе его присутствие, подали друг другу руки и сдвинули ряды свои!

Оглушительное " bravo!" встретило эти слова.

- Messieurs! - продолжал я, - нам говорят, что мы шалопаи - пусть так! не будем ни подтверждать, ни опровергать этого мнения! Соединимся, "станем добре", comme dit quelqu'un dont le nom m'echappe pour le moment! {как говорит некто, чье имя сейчас не могу припомнить!} Станем против тех... ненавистных... гнусных... пошлых... которые выдумывают какие-то мрачные положения вещей... которые на все и всех смотрят в черном цвете, которые утверждают, что Деверия канканировала на краю бездны! Только

тогда мы образуем живую изгородь, сквозь которую не проскочит ни один неблагонамеренный заяц! только тогда мы заплетем ту великую сеть, которая опутает собой все пространства и перспективы. Я кончил, *messieurs*.

Я чувствовал, что это был мой первый ораторский успех. Хотя по местам еще раздавалось хихиканье, но большинство собеседников уже задумалось. Их в особенности поразили слова: сдвинуть ряды.

- Как? как ты это сказал? "сдвинуть ряды"? - переспрашивали меня со всех сторон.

- Подадим друг другу руки и сдвинем наши ряды! - повторил я, поднимая бокал.

- Bravo! - раздался общий голос.

- И изыдем к Бергу, потому что там самое настоящее место, чтобы сдвигать ряды! - откликнулся чей-то отдельный скептический голос.

Один Simon (известный служитель в ресторане) не принимал участия в общем энтузиазме и, казалось, рассчитывал мысленно, сколько придется ему на водку.

- Нас называют проходимцами, - вновь начал я, - об нас говорят *que nous sommes des hommes perdus de dettes...* {что мы - люди, погрязшие в долгах...} Оставим! Оставим, *messieurs*, астрономам доказывать - кажется, так я это сказал? - и докажем, в свою очередь, что мы тоже люди принципов, что и в нас есть нечто такое, что составляет силу! Силу, *messieurs*, силу!

Гам, который поднялся в этот момент, был ужасен. Все эти милые, благовоспитанные люди до того наэлектризовались, что готовы были испепелить первого попавшегося прохожего, разбить окна в первой по пути женской бане!

- Докажем! докажем! - кричали они какими-то неестественными голосами.

Я не знаю, что со мной случилось. Я был красен, я пылал, я тоже был готов разбить что угодно... разумеется, с тем чтоб не узнала об этом полиция. Такова сила энтузиазма к принципу.

Через полчаса мы были там. *Blanche*, *Eugenie*, *Finette* - все уже знали, что во мне сидит *l'homme aux principes*. Сначала все жалели, но потом поздравляли.

Комплот воспринял начало.

----

Через месяц я был уже в N.

- Господа! - сказал я собравшимся, - человек, который имеет честь обращаться к вам настоящее слово, с гордостью может засвидетельствовать, что он человек принципа. Если вам угодно будет спросить, что такое принцип? то я отвечу вкратце: принцип - это

образ действия. Следовательно, в дальнейшем все будет зависеть от того, как вы поведете себя. Есть вещи, к которым я отнесусь благожелательно; есть вещи, на которые я посмотрю с снисходительностью, и есть вещи, которых я не потерплю. Пусть процветает торговля, пусть земледелие принимает неслыханные размеры, пусть воздвигаются монументы - на все это я буду смотреть сквозь пальцы. Пусть молодые люди предаются свойственным их [возрасту] играм и забавам - и на это я взгляну снисходительно, потому что не ученые нам нужны, господа, а доблестные. Но... ммеррзавцев... негодяев... возмутителей общественного спокойствия... я не потерплю!

Сказавши это, я погрозил пальцем, сверкнул глазами и удалился.

Сознаюсь откровенно, я сделал ошибку: не нужно было грозить пальцем. Пальцем грозить следует, когда знаешь наверное, что люди виноваты; но когда видишь людей в первый раз, то подобного рода жест легко может поставить их в недоумение. Так именно и случилось. Вечером того же дня я узнал от своего секретаря, что в обществе уже возникли превратные толкования.

- Что же рассказывают эти негодяи (и опять-таки я сделал ошибку, ибо негодяями следует называть только тех людей, о которых наверное знаешь, что они негодяи)? - спросил я, возмущенный до глубины души.

- Да говорят-с, что вы изволили кулаком пригрозить-с?

- Ну-с?

- Еще говорят, что изволили всех обозвать мерзавцами-с.

- Дальше-с?

- Обижаются-с. - Понимаю. Это все умники. Составьте мне к завтрашнему дню список этих молодцов. Я их уйму.

Я не мог скрыть своего волнения. Едва успел сделать первый шаг - и уж противодействие!

- Позвольте, однако ж, почтеннейший! - обратился я к секретарю, - разве прежде не бывало подобных примеров?

- Помилуйте-с, очень довольно бывало. И все слушали-с. Только вот с тех пор, как эта самая власть упразднилась...

- Какая власть? какая власть упразднилась?

- То есть не упразднилась-с, а так сказать... Он взглянул на меня и вдруг присел.

- Извольте идти! - указал я ему на дверь.

Но этому вечеру суждено было остаться в моей памяти. Едва отпустил я секретаря, как явился мой помощник.

- Ну, что, любезный коллега, управим? - весело обратился я к нему.

- Коли власть, так, стало быть, надо управить-с! - отвечал он очень развязно, - только вот что осмелюсь вам доложить: с тех пор как упразднилась эта самая власть...

Я даже вскочил от негодования.

- Помилуйте! - воскликнул я, - об чем вы говорите! о каком упразднении власти! Mais ca n'a pas de nom {Но это неслыханно.}.

И что ж? весь вечер толкались у меня разные провинциальные тузы (что-то вроде начальников каких-то частей, которых обязанность состоит в том, чтобы противодействовать), и весь вечер я слышал один и тот же refrain: {припев.} с тех пор как эта власть упразднилась... Я просто был вне себя.

- Да это какая-то деморализация, господа! - говорил я, - как! вы, представители... mais au nom de Dieu {но ради бога.}, да какой же вы власти представители? упраздненной, что ли?

- И все-таки власть упразднилась, - ответил какой-то акцизный, пренахально смотря мне в глаза.

#### ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА ПАРАЛЛЕЛЬ ПЯТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Василий Поротоухов провел цветущие дни юности в кабаке. Там он узнал тайну обращения с сильными мира сего, там же получил и первоначальные понятия о науке финансов.

Отец его, Вонифатий Семенов Поротоухов, в просторечии Велифангий, проще Лифангий, а еще проще Лифашка, был целовальником в бедном уездном городишке Чернолесье, в одной из северо-восточных русских губерний. Кабак стоял на выезде из города и, за исключением базарных дней, был мало посещаем. Зато в базарные дни ни один мужик не проезжал мимо, чтоб не зайти в длинное одноэтажное здание, почерневшие стены которого имели в себе притягивающую силу магнита. В эти дни кабак бывал набит битком, пенное лилось рекою, и пьяные песни с утра до поздней ночи оглашали окрестность.

Поротоухов-отец принадлежал к той породе расторопных мещан-кулаков, которые с утра до ночи бегают высуня язык, машут руками, торопятся, суетятся, проталкиваются вперед, пускают в ход локти - и все затем, чтобы к концу дня получить грош барыша. Как те "кулаки", которые с наступлением базарного дня чуть свет начинали шнырять около кабака, перехватывая за заставой мужиков, везших на базар сельский припас, и которые выбивались из сил, галдели, кряхтели и потели, чтобы в конце концов предоставить знатный барыш толстому купчине, а самим воротиться на ночь в холодный и голодный дом, Поротоухов каждое утро начинал изнурительную работу сколачиванья грцшей и каждый вечер ложился спать с тем же грузом, с каким и утром встал. Встал грош, и лег - все тот же грош. Посмотрит-посмотрит Лифаш-

ка на свой извечный, заколдованный грош, помнет его промеж пальцев, щелкнет языком и полезет спать на полати, с тем чтобы завтра опять чуть свет пустить тот грош в оборот. Да чтобы не зевать - боже сохрани! - а то ведь, пожалуй, и последний грош прахом пойдет.

И нельзя сказать, чтобы Поротоухов не радел о себе. Напротив того, об нем даже сложилась пословица, что он "родного отца на кобеля променял", а такая аттестация, как известно, прилагается только к самым прожженным, а следовательно, очень радивым людям. Но у него не было той "задачи", в которую так верит русский человек и которая впоследствии действительно сослужила службу, только не ему, а его сыну. Эта "задача" есть нечто мистическое, не поддающееся никакому определению и тем не менее совершенно ясное для всякого истинно русского человека. Скажите ему "незадача" - и он ответит, что это та самая вещь, при которой, будь человек хоть семи пядей во лбу, - ничего не поделает. Скажите "задача" - и он ответит, что это такая вещь, благодаря которой самый мизерный человечешко со дня морского выплывает наверх, достигает берега и, не успев еще обсушиться, запускает лапу в карман первому встречному и благополучно вынимает оттоле сокровище. "Незадача" кладет сразу свое клеймо на человека, и что бы он впоследствии ни предпринимал, чтоб освободиться от этого клейма, оно навсегда преградит ему пути к будущему.

- Что, торопыга? маешься? - ласково спросит какой-нибудь жирный купчина, взирая, как у "торопыги" разгораются глаза на чужой грош.

- Маюсь, ваше степенство!

- Ну, майся, братец, трудись! Бог труды любит! Только и слов в поощрение бедному торопыге. Как будто

ему на роду написано: заниматься моционом, облизываться на чужой грош и никогда не заполучить его...

Вот эта-то самая "незадача" и влюбила Поротоухова. Не то чтоб он был чересчур прост или имел какие-нибудь необычные взгляды на хозяйскую выручку или на достояние пьяного потребителя - отнюдь нет. Был он человек радетельный, как и все человеки, да только раденье-то, благодаря "незадаче", не на пользу служило ему. Другие и кабаки поджигали, и выручку похищали, и потребителя грабили - и все благополучно сходило им с рук. А Лифашка чуть задумает план пограндиознее - смотришь, ан тут же его и накрыли. Либо ревизор, либо поверенный, либо дистаношный, а не то так и сам откупщик. И сейчас разденут раба божьего до нитки: ступай и начинай маяться сизнова.

Может быть, Поротоухову оттого не везло, что он уж чересчур радетен и даже талантлив был. У него был очень верный и даже очень блестящий взгляд на воровство, но недоставало коммерческой выдержки. Каждое его действие, рассматриваемое само по себе, несомненно свидетельствовало, что он "родного отца на кобеля готов променять", но, взятые в совокупности, эти действия не представляли ни малейшей солидности. Это был какой-то коммерческий фельетонист, у которого нервная восприимчивость заменяла рассудок. При всяком случае у него разбегались во все стороны глаза, дрожали руки от волнения, стучало сердце и даже появлялась одышка. Он не понимал, что жадность следует ограничивать, что очень хорошо постигли те Парамонычи и Сидорычи, которые, пользуясь "задачей", благополучно похищали хозяйские выручки и на них заводили свои собственные хозяйства. Замотается-засуетится Лифашка, разом хочет во все места лапу запустить - запустит, вынет, - ан, в лапе по-прежнему нет ничего. "Незадача!" - завопит он в огорчении и пойдет опять колотиться, бегать и махать руками... В городе на Поротоухова смотрели как на бахвала, который только другим руку портит. Взгляд этот одинаково разделяли все: и чиновники и собственно так называемые торговые люди. Торговцам он сбивал цены, на чиновников вчуже производил впечатление досады. Вот Иван Парамоныч, например, сиделец кабака на базарной площади, - тот и достаток имел, и в то же время пользовался репутацией мужика обстоятельного и даже богобоязненного. Между тем радения у него, против Лифашкиного, и на десятую долю не было. В чем же тут штука, однако ж? - а в том просто, что там, где Лифашка рад был душу свою за грош продать, Иван Парамоныч ценил свою отнюдь не меньше рубля серебром. Вот секрет, которого никак не хотел постичь Поротоухов, хотя Иван Парамоныч, по христианству, не раз принимался наставлять его.

- А ты не торопись, друг! - говорил он ему, - не во все стороны глазами кидай, а в одну точку гляди! За грош нашему брату христианский закон отменять тоже не приходится!

Но все тщетно. Уйдет Поротоухов от Ивана Парамоныча утешенный и как будто с твердой решимостью "глядеть в одну точку", но воротится домой, увидит в чьей-нибудь руке грош, не утерпит и продаст душу.

Даже городничий, вообще благоволивший к откупу и ограждавший его интересы (в те времена это был единственный вопрос внутренней политики, почитавшийся важным) - и тот не иначе называл Поротоухова, как мерзавцем. Несправедливость эта, конечно, до глубины души возмущала Лифашку. Он мерзавец! он, у которого грош в кармане да блоха на аркане! Он!



- Да вы, ваше высококородие, на одежду-то мою взгляните! - протестовал он, - так ли мерзавцы-то нынче ходят!

Но протест этот нимало не убеждал городничего, и потому, при всяком удобном случае, Лифашка испытывал на своих боках всю силу этого городнического убеждения. Случится ли в городе пропажа, сейчас квартальному приказ:

- Идите к мерзавцу Лифашке! У него! наверное, он, мерзавец, краденое за косушку принял!

Идут - и действительно находят у Лифашки не только искомое, но и множество другого хлама, которого хотя никто не искал, но происхождение которого он не умеет объяснить. Почему не умеет объяснить? - потому что ему некогда думать об объяснениях; потому что он впопыхах берет и впопыхах же сует куда попало. Затем ему надо опять спешить брать, и все брать и совать, покуда, наконец, рука квартального не ухватит его.

Окажется ли на выгоне мертвое тело - опять-таки первое слово:

- Это Лифашка! это его, мерзавцево, дело!

Идут - и действительно сразу убеждаются, что тут пахнет Поротоуховым. Тот видел, как Лифашка покойного за ноги из кабака тащил, другой - как он с покойного полушубок снимал... Раскошеливайся, Лифашка!

И не выходит таким манером Поротоухов из-под следствия и суда. Но и оставленный по десяти делам в подозрении, обруганный, обобранный, он не в силах изменить своей натуре. По-прежнему продолжает он торопиться и разом запускать во все места лапу и по-прежнему ничего не может ухватить, а если и ухватит он что-нибудь одною лапой, то другою немедленно вручит ухваченное квартальному надзирателю...

Ни бедность, ни "незадача", ни вечное нахождение под судом не могли утомить Поротоухова. Бахвал по природе, он пронимался даже в таких случаях, когда бы другой на его месте давно бы света невзвидел. Беды соскальзывали с него, как вода с гуся, и, по-видимому, давали ему даже новые силы.

- Мы еще свой предел сыщем! - хвастался он в самые горькие минуты жизни, - поди-тко ужо что будет!

И когда он начинал хвастаться, ничто так не раздражало его, как напоминание о каком-нибудь Иване Парамоныче, который без блеску, но наверняка созидал свое благополучие.

- Баранов-то потрошить... важность! Нет, ты пойдди волка выпотроши - вот тогда я тебе в ножки поклонюсь!

- Зачем тебе волки? Бараны-то, сказывают, смирнее! - урезонивала его жена.

- Я намеднись какого волка-то зарезал - видела? Иван Парамонов - нашла с кем сравнить! Да Ивану Парамонову в семь лет того

не сделать, что я сейчас... сею минутою... Деньги-то - вот они!

Одним словом, если б Лифашка не умел "валяться в ногах", давно бы он пропал. И откупу надоело следить за непрерывными проявлениями его "радения", да и полиции он значительно опротивел. Несколько раз было решено, чтоб его доконать совсем, но тут-то именно и пускалось в ход то "валянье в ногах", которое во многих случаях служит единственным ограждающим средством от верной гибели.

Русский человек вообще довольно охотно "валяется в ногах". Три причины способствовали укоренению и развитию этого прискорбного явления: во-первых, привычка, ведущая свое начало чуть ли не со времен Гостомысла, во-вторых, твердое убеждение в несокрушимости спинного хребта, и в-третьих, надежда, что человек, валяющийся в ногах сегодня, быть может, завтра сочтет себя вправе потребовать таких же знаков почитания от других. Все мы валялись, валяемся и будем валяться - это сознание не только смягчает процедуру факта, но и способствует установлению снисходительных отношений к нему. Но Поротоухов валялся в ногах, как никто. Он валялся и в то же время причитал и метался, как в предсмертной агонии. Только жида умеют метаться таким образом, когда видят, что, по военным обстоятельствам, им предстоит повешение.

Нельзя было не тронуться при виде человека, который так искренно проклинал час своего рождения, который бодро призывал во свидетели сатану и всех его аггелов и, так сказать, живой умирал. Час тому назад этот человек гордо запуская руку в карман своему ближнему, теперь - он был ничтожнее той пыли, которую вздымает его простертое на земле тело. Чье начальственное сердце не забьется при виде столь поразительного перехода? Лифашка понимал это отлично и сообразно с этим устраивал план кампании. Был ли начальник налицо - он валялся в предсмертных корчах перед его глазами; уходил ли начальник в дальнюю комнату - он и там слышал, как корчится и клянет свою душу Лифашка; выводили ли, наконец, Лифашку на улицу - он и там отыскивал место где-нибудь под начальническим окном и корчился и вопил. Казалось, всем он говорил: "Видали вы, как расстается у человека душа с телом? не видали? так смотрите!" И ежели были сердца черствые и безучастные, то, с другой стороны, находились и такие, которые не могли выносить зрелища страданий столь неслыханных. И Лифашка почти всегда выходил из беды сух. Его терпели с трудом, но терпели; его оставляли в подозрении, но не осуждали. Всякий чувствовал, что только одно может освободить его от этого человека - это твердая решимость раздавить его. Но как сохранить эту решимость при виде челове-

ка, и без того уже находящегося в предсмертной агонии? И вот, навалившись досыта, Лифашка весело возвращался домой и вновь гордо запуская руку в карман своему ближнему.

В такой-то обстановке рос сын Поротоухова, Василий. Покуда отец день-деньской бился около потребителя или на базаре, употребляя все силы-меры, чтоб затравить лишнюю копейку, Васька копался в навозе, полоскал ноги в лужах, валялся в грязи на улице и весь измокший, иззябший и словно высмоленный вбегал в "горницу", чтоб схватить корку хлеба, и опять убегал из дому. Жена Поротоухова была не из тех женщин, которые могут приглядеть за ребенком. Это была рыхлая, ленивая, заспанная баба, помнившая лучшие дни, когда она жила у родителей, содержавших почтовую станцию, и беспечно щелкала у ворот подсолнухи. На губах у нее словно застыла глупо-язвительная улыбка, появившаяся на них с тех самых пор, как к Лифашке с каким-то особенным ожесточением привязалась его "незадача". Эта не сходящая с лица улыбка выражала безмолвный протест, который, по временам, доводил Поротоухова до остервенения. Измученный неудачами, навалившись досыта в ногах, он возвращался домой, и первое, что встречало его тут, - это бессмысленная улыбка, сопровождаемая каким-то беззвучным хихиканьем. Тогда он бросался на жену очертя голову и бил ее куда попало. И чем чаще сыпались побои, тем явственнее и явственнее рисовалась улыбка, а хихиканье постепенно обращалось в хохот.

III {\*}

{\* Вариант второй. - Ред.}

С раннего утра в больнице царствует загадочное движение. Сумасшедшие в агитации перебегают от одного к другому и о чем-то таинственно между собой шепчутся. В качестве новичка я остаюсь в стороне от общего движения, но, по долетающим до меня отрывочным фразам, довольно легко догадываюсь, что движение это имеет политический характер и что в больнице готовится что-то вроде бунта. По-видимому, самый бунт уже решен в принципе, но существуют подробности, которые производят в мире умалишенных раскол. Консерваторы требуют, чтоб о бунте был предупрежден доктор, либералы, напротив того, настаивают, чтоб затея была выполнена без дозволения. По обычаю всех политических партий противники горячатся, обмениваются ругательствами и упрекают друг друга в измене.

- Уж если бунтовать, так бунтовать без позволения! иначе, какой же это будет бунт! - говорят либералы.

- Бунтовать без позволения - значит показывать кукиш в кармане, возражают консерваторы, - как вы ни вертитесь, а это единственная форма бунта без позволения, которая нам доступна. Но

скажите по совести: разве это бунт?

- Позвольте-с. Что мы не можем бунтовать иначе, как показывая кукиш в кармане, - это так. Но это печальное требование времени - и ничего больше. Это скудная форма современного [русского] бунта, которая, однако ж, отнюдь не предрешает вопроса о форме и содержании бунтов в будущем. Тогда как, вводя элемент позволения, вы прямо уничтожаете самую сущность бунта, вы, так сказать, самое слово "бунт" вычеркиваете из лексикона!

- И прекрасно-с. Мы совсем не о полноте лексикона хлопочем, а о том, чтоб был бунт. Достигнуть же этого можно лишь в том случае, когда бунт будет поставлен нами, так сказать, на законную почву, то есть снабжен всеми необходимыми разрешениями. А как он там будет называться: бунтом или чрезвычайным собранием - до этого нам нет дела!

- Но это будет не бунт - поймите!

- В таком случае назовем его чрезвычайным собранием - и дело с концом!

Слыша эти загадочные речи, видя этих людей, которые озабоченно ходят взад и вперед, размахивая полами халатов и усиленно нюхая табак, я начинаю чувствовать невольную оторопь. Недавние заседания международного статистического конгресса и последовавший за ними политический процесс в Отель-дю-нор - все это слишком живо в моей памяти, чтоб навсегда не расхолодить во мне охоту к [новым] политическим [подвигам] треволнениям. И вдруг, впереди - еще целый бунт... и быть может, даже без позволения! Зачем, спрашивается, приехал " в Петербург? Затем ли, чтобы в конце концов быть взятым с оружием в руках... в сумасшедшем доме?!

С самых юных лет я представлял себе бунт не иначе как в форме вторжения чего-то совершенно непрошеного, ненужного в обычное спокойное течение человеческой жизни. Все учебники, изданные для руководства в военно-учебных заведениях, единогласно свидетельствуют в этом смысле, а известно, что ничто так прочно не залегает в человеческую память, как хорошо вытверженный в детстве учебник. Испокон веку во всех странах мира обыкновенно бунтовала только подлая чернь, и притом всегда без позволения. Из-за чего бунтовала этого не знает ни один учебник, но бунтовала самым неблаговоспитанным и, можно даже сказать, почти нецелесообразным способом. Придет, перевернет вверх дном привычки, комфорт, сладкое far niente {ничего неделание.}, а на завтра, смотришь, опять как ни в чем не бывало обратится к обычным занятиям. [Что тут хорошего!] Сидит, например, человек в халате, пьет чай, читает "Старейшую Всерос-

сийскую Пенкоснимательницу" (в которой тоже все: и редакторы и сотрудники сидят в халате и пьют чай) - и вдруг бунт! Вбегают бунтовщики, чай проливают, булки топчут, над "Пенкоснимательницей" производят надругательство... И вот? надо снимать халат, надевать сапоги и идти бунтовать вместе с прочими! А на дворе слякоть, холод, тротуары, по случаю бунта, нигде не посыпаны песком... Не успел отбунтовать, сел за обед, не доел пирожного - опять бунт! И таким образом целый день, пока самих бунтовщиков не сморит сон... Разумеется, сном бунтовской хмель пройдет, и к утру бунтовщики будут как встрепанные: и дворы мести, и лед на улицах скалывать, и тротуары песком посыпать - хоть куда! Как же тут не возражать! как не сказать: господа! ужели для того, чтобы завтра опять "обратиться к обычным занятиям", необходимо тревожить покой партикулярных людей!

Таково впечатление, производимое рассказами о бунтах, помещаемыми в учебниках, издающихся для военно-учебных заведений.

Тем не менее, ежели бы дело ограничивалось только временным нарушением комфорта - с этим можно было бы еще примириться. Ну, не дали допить чай, вырвали из рук "Пенкоснимательницу" - не драгоценность же, в самом деле! Но беда в том, что когда бунты оканчиваются, то вслед за тем обыкновенно начинается переборка, - а это уж такое скверное препровождение времени, какого не дай бог никому. Вы сидели в халате и пили чай, а оказывается, что вы обязывались воспрепятствовать и не воспрепятствовали. Вы из учтивости сняли халат и надели сапоги, а оказывается, что вы не только не воспрепятствовали, но даже выразили готовность и содействие... И те же самые люди, которые не дали вам доесть пирожное, которые выгнали вас из теплой комнаты на слякоть и стыть, - они же и обличают вас в невоспрепятствовании! "Да, - говорят они, - он не воспрепятствовал! он ни одним словом, ни одним жестом не отклонил нас от наших преступных намерений, хотя - бог видит наши сердца! - мы ждали только доброго, прочувствованного слова, чтоб изумить мир обширностью нашего раскаяния!"

И вот, начинается переборка. Преступники разбиваются на категории, в числе которых есть одна под наименованием: "преступники, пившие во время бунта чай". Нет слова, само начальство относится к подобным преступникам как к наименее скомпрометированным, но ведь для того, чтобы доказать, что вы не бунтовали, не подстрекали, не укрывали, а просто только пили чай, - сколько времени надобно прошататься по следствиям и по судам! какую сумму выслушать сквернословия! сколько выразить чувств, которых в обыкновенное, мирное время, быть может, и

сам в себе не подозревал! И все это не для того, чтоб совсем очиститься, а для того, чтоб быть по суду утвержденным в звании преступника, "пившего во время бунта чай"! Подите суньтесь куда-нибудь в этом звании! Вы желаете получить место на казенной службе, вам говорят: ба! да ведь вы тот самый, который в таком-то году не воспрепятствовал! Вы ходатайствуете насчет железнодорожной концессии - вам объявляют: послушайте! разве вы не помните, что в таком-то году вы оказывали содействие! Заметьте: вы уж не "тот, который пил чай", а тот, который "не воспрепятствовал" и "оказывал содействие"! Оправдывайтесь! восстанавливайте истину! Покуда вы доказываете да представляете факты - глядь, ан концессию-то уж подтибрил Губошлепов!

Ввиду этих последствий всякий поймет, что вопрос о том, в чью пользу решится возникший спор, то есть консерваторы или либералы возьмут верх получал для меня первостепенную важность. Как ни странным кажется "дозволение", примененное к слову "бунт", но на практике подобные странности далеко не невозможны. Отчего бы начальству, в воспитательных или иных целях, не допустить эту новую методу бунтов в пределах своего ведомства, ведь и бунтуя можно выразить непреоборимую преданность, и бунтуя можно доказать, что только беспредельное начальстволюбие вынуждает нас ввергаться в бездны оппозиции! "Начальство слишком снисходительно!", "Начальство недостаточно строго разыскивает корни и нити!" - вот темы для бунтов, против которых, конечно; ни одно начальство в мире не найдет сказать ни одного слова! И это настолько известно опытным бунтовщикам, что они не только не избегают благонамеренных Фунтов, но даже ожидают от них для себя повышений и наград...

Но покуда я рассуждал таким образом, опасения мои разрешились гораздо проще, нежели я мог ожидать. В самый разгар обличений и суеты в залу вошел доктор и сразу угадал, в чем дело.

- Вы, господа, вероятно, бунтовать желаете? - совершенно спокойно обратился он к обществу сумасшедших.

{\*}

{\* Вариант третий. - Ред.}

- Да, Иван Карлыч, желательно бы! - с дерзостью выступила вперед одна из тех личностей, которых на воле обыкновенно называют коноводами и зачинщиками.

- Что ж... это можно! - разрешил доктор, даже нимало не подумав, разумеется, однако ж, с условием, чтоб бунт происходил в порядке! Не правда ли, господа?

- Помилуйте, Иван Карлыч! Не в первый раз бунтовать! Кажется, знаем!

- Ну да, я вполне убежден, что вы не употребите во зло моим доверием. Но, знаете, на всякий случай все-таки лучше, если кто-нибудь будет руководить бунтом. Господин Морковкин! вы так долго служили предводителем до поступления в наше заведение, что порядки эти должны быть вам известны в подробности. Я назначаю вас главным бунтовщиком!

Из толпы вышел простоватый детина со всеми внешними признаками дозволенного бунтовщика: с желудком, начинавшимся чуть не у подбородка, и с жирным затылком, на котором, казалось, вытерлась от долгого лежания шерсть. Он осмотрелся исподлобья кругом, словно поднюхивал, нет ли где съестного.

- Отобедать бы прежде нужно! - сказал он уग्रюмо.

- Совершенно справедливо. Итак, мы сначала пообедаем, господа, а между тем вы постараетесь уяснить себе цель бунта и вероятные последствия его. До свидания, messieurs, и бог да просветит сердца ваши!

Сказав это, доктор приблизился ко мне и, взяв меня под руку, отвел в сторону.

- Вот вам и развлечение, - сказал он, - а вы еще жалуетесь! Наверное, вы никогда не видали бунтов!

- Помилуйте! жить в провинции - и не видать бунтов! - обиделся я, - да у нас там такие бывают бунты! такие бунты! Одни помпадуров сколько, от нечего делать, набунтуют!

- Да, но это бунты казенные, а у нас бунт вольный!

- И вольные бунты бывают - помилуйте! У нас, доктор, в рязанско-тамбовско-саратовском клубе сойдутся двадцать человек - сейчас бунт! Одни бунтуют, другие содрогаются.

- Ну, стало быть, приятное воспоминание возобновите! Мы сделали несколько шагов молча.

- А что, доктор, - начал я, несколько конфузясь, - позволю я себе вас спросить... последствий... никаких не будет?

Он остановился и изумленными глазами взглянул на меня.

- Объясните, пожалуйста, я не совсем понимаю вас.

- Да так... после бунтов обыкновенно переборка бывает... А между тем мои чувства... у меня, доктор, такие чувства, что если б вы могли заглянуть в мое сердце... Теплота-с! Да не простая теплота, а именно самая настоящая!

- Я вижу, вы опасаетесь ответственности... разуверьтесь же, друг мой! Наши бунты хорошие, доброкачественные бунты, и предмет их таков, против которого никогда бунтовать не запрещается. Но, впрочем, чтоб успокоить вас окончательно, я познакомлю вас с одним из ваших товарищей, который разъяснит вам и значение наших бунтов, и порядок их производства, и вероятные их последствия. Мсье Соловейчиков! Позвольте попросить

вас уделить полчаса времени вашему новому товарищу!

По вызову доктора к нам приблизился необыкновенно унылого вида старец, белый как лунь, с потухшими глазами, с пепельным цветом лица и с глухим, словно могильным звуком голоса.

----

- Я старейшая развалина в этом мире развалин... - начал он карамзинским слогом, потрясая медленно головой.

- Вы расскажете это после. Рекомендую. Сергей Павлович Соловейчиков, самый старый из моих пансионеров. Он с лишком тринадцать лет (со времени рескриптов на имя виленского генерал-губернатора - помните?) находится в заведении и знает все наши порядки. Сергей Павлыч! - продолжал доктор, обращаясь к Соловейчикову, - наш новый друг несколько опасается предстоящего бунта. Вы постараетесь успокоить его, объяснив как значение этой игры, так и способ ее производства. Никто лучше вас не может сделать это. Итак, объяснитесь, господа, переговорите, и, вероятно, все недоразумения уладятся сами собой. Я бы и Сам охотно зашел взглянуть на бунт, но у меня такое правило: предоставлять каждому бунтовать без малейших стеснений! Я практикую это правило очень давно и ни разу не имел случая раскаться в том. До свидания, господа!

"Я старейшая развалина в этом мире развалин", - начал Соловейчиков, когда мы расположились в моем номере. Я помню время, когда сословие сумасшедших освещало мир своими доблестями, когда [дворянские], наши собрания были людны и шумны, когда [помещичьи усадьбы] наши дома гремели весельем, когда [помещичьи] наши жены были белы, [помещичьи] наши дочери румяны, [помещичьи] наши стада тучны, [помещичьи] наши рабы верны и когда крепостной труд наполнял вселенную своими благоуханиями!

О! как много я помню, и сколько мук я терплю от того, что так много и так отчетливо помню! Я видел, как рушилось построенное веками здание, как люди лукавили и лгали, чтоб задержать уходившую от них жизнь, и как, назло всем усилиям, мир с ужасающей быстротой наполнялся могилами. На моих глазах неожиданно упала загадочная завеса, которая разом закрыла и наше прошлое, и наше будущее. Застигнутые врасплох, мы тщетно обращали друг к другу вопрошающие взоры: увы! мы не нашли в этих взорах ничего, кроме изумления!

Те из нас, которые были сильны духом, поняли, что им ничего больше не остается, как умереть. Все, что составляло обаяние жизни, что заставляло дрожать в груди сердце - все разом перестало жить. Даже нити, привязывавшие к отечеству, - и те как бы порвались. Мы видели перед собой Россию, но не ту, которую



привыкли любить. Любить эту новую Россию мы не могли принудить себя, ненавидеть ее - не имели решимости. Повторяю: лучше всего было умереть. Но - увы! смерть безжалостна даже в пощадах своих. Она щадит именно тех, которые всего более нуждаются в забвении могилы. Одного из таких несчастных, которых не тронула ее коса - вы видите перед собой...

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Вводные статьи к "Господам ташкентцам" и "Дневнику провинциала в Петербурге" - А. М. Туркова

Подготовка текста, а также текстологические разделы статей и примечаний

В. Н. Баскакова - "Господа ташкентцы", "Ташкентцы приготовительного класса (параллель пятая и последняя)", Д. М. Климовой - "Дневник провинциала в Петербурге", "В больнице для умалишенных".

Комментарии - Л. Р. Ланского

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ АППАРАТЕ ТОМА

БВ - газета "Биржевые ведомости".

ВЕ - журнал "Вестник Европы".

Герцен - А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, Изд-во АН СССР, 1954-1966.

ГМ - журнал "Голос минувшего".

ИВ - журнал "Исторический вестник".

Изд. 1873 - "Господа ташкентцы". Картины нравов. Сочинение М. Салтыкова (Щедрина); СПб. 1873; "Дневник провинциала в Петербурге". Сочинение М. Салтыкова (Щедрина), СПб. 1873.

Изд. 1881, 1885 - то же, издание второе, третье, СПб. 1881 и 1885.

Изд. 1933-1941 - Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Собр. соч. в 20-ти томах. Гос. изд-во художественной литературы, М. 1933-1941.

ИРЛИ - Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

ЛН - неперіодические сборники АН СССР "Литературное наследство".

МВ - газета "Московские ведомости".

Некрасов - Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем в 12-ти томах, Гослитиздат, 1948-1952.

ОЗ - журнал "Отечественные записки".

ПГ - "Петербургская газета".

Р. вед. - газета "Русские ведомости".

РВ - журнал "Русский вестник".

РМ - газета "Русский мир".

РС - журнал "Русская старина".

"Салтыков в воспоминаниях..." - сборник "М. Е. Салтыков в воспоминаниях современников". Предисловие, подготовка текста и комментарий С. А. Макашина, Гослитиздат, М. 1957.

СПб. вед. - газета "Санкт-Петербургские ведомости".

ЦГИАЛ - Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

Одна из наиболее известных книг Салтыкова - "Господа ташкентцы" возникла на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века и, как всегда у этого писателя, была нерасторжимо связана с тогдашней русской действительностью. За спадом в середине 60-х годов волны крестьянской революции Салтыков увидел не только "вставшую из гроба николаевщину", не только свору крепостников, пытавшихся залечить нанесенную им реформой 19 февраля 1861 года (при всем ее урезанном характере) рану, но и вступивший на арену истории российский капитализм.

Лелеянный писателем в конце 50-х и начале 60-х годов замысел "Книги об умирающих" (см. т. 3) претворился из плана сочинения, которое могло стать эпитафией крепостничеству, феодальному режиму, в объективно сложившуюся из многих его произведений летопись тех усилий и ухищрений, которыми продлевал свое историческое существование обреченный строй.

Капитализм оборачивался к Салтыкову отнюдь не теми своими сторонами, в которых заключалась его историческая прогрессивность, а иными - мрачными, цинически-деляческими, хищными.

Салтыков "подозревал" в российской буржуазии "реформатора, который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет". Разница между этими и прежними хозяевами жизни - всего лишь в размахе и размере appetитов, в степени хищнической прыти. Никаких задатков исторического творчества русская буржуазия, с его точки зрения, не имеет. Она всего лишь новый паразит на теле народа, усугубляющий его страдания. Опустошение и ограбление - вот единственные плоды, которые она приносит. С ее появлением на общественной арене пульс жизни стал лихорадочней, безудержная алчность открыто и нагло вторглась во все сферы человеческого существования.

Хищнический характер этой эпохи все более и более явственно определял для писателя своеобразие переживаемого исторического момента.

Уже в публицистике Салтыкова 60-х годов показано нарастание этого явления. Взгляд писателя обостряется, все более фиксируется на заинтересовавшем его общественном феномене, происходит, по выражению А. С. Бушмина, "последовательное усиление художественного элемента за счет публицистического" {А. С.

Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, Изд-во АН СССР, М.-Л. 1959, стр. 111.}. Художественное исследование современности, стремление классифицировать кишашую массу хищников порождает цикл "Господа ташкентцы", эту своего рода галерею "героев" наступившего времени;

Характер эпохи, когда, по толстовскому выражению, "все... переверотилось и только укладывается", изменение "направления жизни" и отсутствие в ней "цельности", на что Салтыков уже давно обратил внимание, заставляли его как художника напряженно размышлять о возможностях и способах отражения тогдашней действительности.

Является ли уделом писателя, да к тому же еще подцензурного, в эту пору простое собирание материалов, а наиболее эффективными - малые жанры? Таким вопросом задается Салтыков, готовя к печати отдельное издание "Господ ташкентцев".

И хотя для себя лично он отвечает на этот вопрос утвердительно, именуя себя "собирателем материалов", а всю книгу - "этюдами", но он все же предвидит появление "гениального писателя, имеющего создать новый роман", который выйдет из прежних рамок семейственности на широчайшую общественную арену.

В своем окончательном виде "Господа ташкентцы" представляют собой сатирический цикл, по жанру родственней скорее "Помпадурам и помпадуршам", чем "Дневнику провинциала в Петербурге".

Переходный, колеблющийся между уже привычным для Салтыкова жанром: цикла и "искомым" типом общественного романа, характер замысла книги обусловил еще большую, чем обычно у писателя, "вольность композиции. Так, в своем окончательном виде "Господа ташкентцы" вобрали в себя ранее отдельно существовавший очерк "Митрофаны", ставший "Введением" к книге, а главы, посвященные "ташкентскому делу" - и в его весьма расширительном, и в его более узком толковании ("Что такое "ташкентцы"?", "Ташкентцы-цивилизаторы" и "Они же") - предшествовали тем, которые рисуют происхождение и истоки ташкентства и ташкентцев.

"Сцепление глав чисто внешнее, - справедливо указывает Е. Покусаев. Литературная цельность отсутствует при наличии, однако, большой жизненной цельности" {Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 168.}. Последняя, разумеется, с лихвой искупает композиционное несовершенство книги.

В одной из рецензий Салтыков упрекал автора романа "Мандарин" Н. Д. Ахшарумова, рисовавшего фигуру современного "дельца", в "некоторой несмелости в изображении существенных

черт главных действующих лиц" (см. т. 9). "Господа ташкентцы" отличаются как раз поразительной художественной смелостью, дерзновенностью, с которой сатирик исследует и обобщает явления новой действительности.

"Его типы сразу же становятся такими же популярными, как типы Островского и т. д., - писал Н. Даниэльсон К. Марксу, посылая ему "Дневник провинциала", - сатиры, единственного, уцелевшего умного представителя литературного кружка Добролюбова - Щедрина. - Никто не умеет лучше его подмечать пошлые стороны нашей общественной жизни и высмеивать их с большим остроумием" {Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, М. 1951, стр. 92.}.

Поводом для появления одного из самых блестящих сатирических обобщений Салтыкова - типа "ташкентца" - послужили события, происшедшие после овладения Россией обширными территориями Средней Азии.

Завоеванный в 1865 году Ташкент через два года стал центром нового Туркестанского генерал-губернаторства. Хлынувшая сюда орда чиновников быстро навела в присоединенном крае свои порядки, занялась откровенным грабежом местного населения, присвоением сумм, ассигнованных на казенные нужды.

Имя Ташкента перешло из победных военных реляций в рубрики уголовной хроники. Эпизод ташкентской службы становится довольно частой подробностью в биографиях уголовных преступников и скандалистов.

"Читали вы о том, как полупьяный капитан, из Ташкента, дрался с полицией, расквасил кой-кому носы, своротил рыла и жалел, что нет под рукой шашки, а то бы снес с плеч дурацкие головы дворников и полицейских", спрашивал в феврале 1873 года в одном из писем К. Д. Кавелин {РС, 1899, т. 97, стр. 156.}.

Либеральная пресса возмущалась лишь крайними формами произвола я "бесстыжества", с которыми действовали в Средней Азии царские чиновники, Салтыков же воспринял "ташкентство" как характерное, хотя и достигшее в благоприятных условиях особенно поразительных размеров, проявление аморальных, хищнических инстинктов правящих классов.

Поворот к политической реакции, обозначившийся в середине 60-х годов, позволил найти новое применение активности консервативного дворянства и чиновничества, с азартом и выгодой для себя участвовавших в различных карательно-репрессивных мероприятиях правительства, стремившихся еще более урезать проведенные реформы и беззастенчиво вторгавшихся в любую сферу общественной жизни.

События в Туркестанском генерал-губернаторстве как бы вовремя подоспели, чтобы Салтыков мог еще больше прояснить перед читателем тип, уже складывавшийся в его публицистике и первоначально называвшийся "шалунами" ("Наша общественная жизнь" - т. 6, стр. 159), "легковесными" и "хищниками" ("Признаки времени" - т. 7).

Существует мнение, что первый, по времени публикации в "Отечественных записках", очерк "Ташкентцы-цивилизаторы" еще не содержал полной художественной и публицистической характеристики нового типа.

Действительно, наиболее развернуто понятия "Ташкент" и "ташкентцы" раскрыты в следующем опубликованном очерке "Что такое "ташкентцы"?". Однако уже в "Ташкентцах-цивилизаторах" герой охарактеризован как человек, который "ничего не знает", но "ни перед какой профессией не задумывается", "как просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим", циничный по самой своей сути.

Сама биография героя первого же очерка Салтыкова не исчерпывается его "ташкентским" подвигом - растратой казенных денег, которую он совершил, так и не попав в Ташкент. Он уже обладает определенным политическим лицом: участвует в подавлении польского восстания 1863 года, и если не "цивилизировал" внутренних губерний России, то лишь потому, что "в этих благодатных краях все уже до такой степени процивилизовано", что ему "оставалось только преклониться ниц" перед тем, что уже было "создано" его бравыми предшественниками.

"Вероятно, по дороге я засмотрелся на какую-нибудь постороннюю губернию и... Господи! Тут есть какое-то волшебство. Злой волшебник превратил в Ташкент Рязанскую губернию... Рязанскую или Тульскую?!" - припоминает герой случившееся.

Тут уже заключен "магический кристалл", сквозь который будет показан и рассмотрен тип "ташкентца": сам "Ташкент" - в узком смысле слова - на сцене так и не появится, но "волшебство" сатирика обнаружит Ташкент уже в широком смысле этого слова в различных аспектах внутренней и внешней политики самодержавия, в различных областях социальной и духовной жизни.

Салтыков поочередно "превращает в Ташкент" то находившуюся под управлением России часть Польши, то Петербург, делая его ареной разнузданных "подвигов" компании "Робкое усилие благонамеренности".

Тем не менее современная Салтыкову пресса, охотно подхватив изобретенную им кличку, ограничивалась самой узкой ее трактовкой, приурочивала ее исключительно к событиям и героям

скандальной уголовной хроники. Наиболее важные для сатирика аспекты "ташкентства", таким образом, скрадывались, оставались в тени {См. об этом: Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 154-155.}.

В очерке "Что такое "ташкентцы"?" Салтыков публицистически развил свое понимание "ташкентства", обнажив от "покровов обыденности" целый ряд внутренне однородных явлений, которые обобщенно выражены этим названием.

Здесь были даны вышеприведенные характеристики ташкентца как просветителя, свободного от наук, и определение Ташкента, который, "как термин отвлеченный... есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где "имеет право гражданства предание о Макаре, телят не гоняющем".

Салтыков вкратце обрисовывает и такие модификации ташкентства, которые способны пережить общество, породившее это явление: "Ташкент удобно мирится с железными дорогами, с устностью, гласностью, одним словом, со всеми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится так называемая цивилизация. Прибавьте только к этим выгодам самое маленькое слово: фюить! и вы получите такой Ташкент, лучше которого желать не надо".

Но главным желанием писателя остается проделать такую разъяснительную работу, которая "может внести в общую сокровищницу общественной физиологии материал довольно ценный" для определенного понимания процессов современной ему жизни.

В очерке "Митрофаны", позднее ставшем "Введением" ко всей книге, он дорисовывает сатирический облик отечественного "ташкентца".

Крепостное право, когда "ташкентец" или его предки безапелляционно определяли судьбу подвластных им людей, не улетучилось из его памяти и "удостоверяет" его "право" относиться к окружающей жизни как к материалу для его размашистых действий. Идолопоклонник табели о рангах, закреплявшей за ним завидную долю жизненных благ, он ведет свой род от фонвизинского Митрофанушки и по-прежнему убежден, что все то вздор, чего он не знает.

Правда; времена: изменились, и он лишился части "дедовских прав". Однако "ташкентец" видит в этом не исторический процесс "перемещения материальных и умственных богатств из одних рук в другие", а простую случайность, обидную оплошность или еще чаще вражьи козни.

Правда, он усвоил, что вслед за необходимостью сменить кафтан на фрак пришлось поступиться и некоторыми другими преж-

ними формами, что, желая чего-нибудь достичь, ныне не в пример удобнее сослаться не на свою "господскую прихоть", а на интересы "просвещения и цивилизации".

А чтобы избежать действительной цивилизации, с ее "развращающими", гибельными для старых общественных форм, последствиями, можно заявить о том, что Запад разлагается и его наука поражена бесплодием, что нечего носить "чужое белье", а пора бы сказать собственное "новое слово", и т. д.

Возможно, что в этой части очерка Салтыков полемизировал с националистическими идеями, которые развивал в это время Н. Я. Данилевский в статьях на страницах журнала "Заря", составивших затем книгу "Россия и Европа", где, с некоторыми оговорками, высказывалось согласие со славянофильскими утверждениями о "гниении Запада".

Мнимая доступность для "ташкентцев" любой области жизни объясняется, как раз их способностью "привести все к одному знаменателю", то есть устранить все им непонятное, чуждое, нежелательное, или даже просто не соответствующее их темпераменту.

"Право обуздывать, право свободно простирать руками вперед" - вот что дружно отстаивают ташкентцы-Митрофаны, вот их единственный "талант".

Их историческое бесплодие все более выступает наружу по мере того, как все "пополняется" усложняется материал", лежащий в основе жизни и приходящий в вопиющее противоречие с отжившими формами общественного устройства, за которые держатся ташкентцы.

Их "историческое" зодчество сводится к формуле, пародирующей знаменитое цезаревское изречение и многократно варьирующейся на страницах "Господ ташкентцев":

"Налетел, нагрязнул, ушиб... а что ушиб? - он даже не интересуется и узнавать об; этом..."

"Где ж элементы будущего?" - этим вопросом, который настойчиво повторяется в финале "Введения", Салтыков недвусмысленно отказывает Митрофанам в возможности "произнести новое слово".

В очерке "Что такое "ташкентцы"?", говоря о причине и характере предпринятого им исследования, писатель заявлял: "...ташкентство пленяет меня не столько богатством внутреннего своего содержания, сколько тем, что за ним неизбежно скрывается "человек, питающийся лебедою".

Именно с точки зрения интересов этого человека, на которого "окончательно обрушивается ташкентство всевозможных родов и видов", и смотрит Салтыков на все "проказы" героев, занимаю-

щих авансцену его очерков.

"Безобразный муравейник", которым представляется постороннему взгляду скопище людей, "питающихся лебедою", - для Салтыкова не только предмет живейшего гуманистического сочувствия, но и величайшая историческая загадка, которую он пытался разгадать всю свою жизнь.

Насколько тяжек причиненный народу веками всевозможного гнета ущерб, способен ли он к активному историческому содействию-действительному, а не "ташкентскому"! - вот что стремился постичь писатель, гневно опровергая априорные утверждения о "безличности" "человека, питающегося лебедою".

Констатируя, что в пореформенную эпоху народные массы стали доступнее для исследования, и надеясь, что впоследствии на этом пути "упадут и другие последние преграды", Салтыков заключал очерк "Что такое "ташкентцы"?" взволнованными словами: "Что тогда откроется? вот в чем весь вопрос".

При всей вольности обращения писателя с композицией своей книги вряд ли можно счесть случайным совпадением то, что оба открывающих ее программных очерка завершаются этими однородными, полными тревоги и сомнений вопросами о будущем России и о его творцах.

В предисловии "От автора", появившемся в 1873 году в первом отдельном издании книги, Салтыков высказывал желание написать следующую ее часть "Ташкентцы в действии", где на сцену явится самое "ташкентское дело", но которая так и не была им написана.

Большинство же героев первой, оставшейся единственной части книги - это еще только "Ташкентцы приготовительного класса", описанные в четырех параллелях, пародийно напоминающих "Сравнительные жизнеописания" Плутарха.

Плутарх построил свой знаменитый труд по преимуществу в виде парных параллельных жизнеописаний, заключая каждую пару "сопоставлением", где указывались сходные черты обоих героев.

В "Ташкентцах приготовительного класса" - четыре биографии. Это предыстория ташкентцев, генезис "ташкентства", которое еще не появилось на сцену, но уже заложено в любом из персонажей в силу его происхождения, воспитания, психологии, воздействия окружающей среды.

"Ташкентцы приготовительного класса" возникают перед нами словно бы из "воздуха" самой эпохи и пребывают в готовности к любым "подвигам" на стезе благонамеренности.

Отдельные "сопоставления" этих "сравнительных жизнеописаний" отсутствуют, но щедринские "параллели" многократно и



разнообразно перекликаются между собою.

Великосветская родня Nicolas Персианова разительно отличается от рыщущего по уезду отца Хмылова - исправника Петра Матвеевича и его брата Софрона, уездного стряпчего, который "разорял полегоньку... но разорял дотла, до тех пор, пока последний грош не вызудит". Столь же различна и обстановка, в которой оба героя получают образование.

Но заветные "идеалы" той и другой среды, отношение к жизни, в ней процветающее, в сущности одни и те же.

Петр Матвеевич Хмылов заслужил добрую репутацию у окрестных помещиков: "У нас исправник лихой! он подтянет!" К восклицанию "я вас подтяну!" сводится, после ряда маниловски-бессодержательных прожектов, и хозяйственная деятельность Персианова в деревне. Впрочем, и сам венценосный "хозяин" всея Руси выражался в то время о печати, что ее надо "подтянуть" {А. В. Никитенко. Дневник в 3-х томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1956, стр. 181.}. И простодушное убеждение Петра Матвеевича, что стоит ему повесить нагайку на стену, как через два дня весь уезд вверх ногами пойдет, нисколько не уступает призывам тогдашних государственных мужей к "спасительной строгости".

Да и воспоминания сподвижника Муравьева о "полечке", которую он "подцепил" среди "бранных трудов", ничем не хуже бесед на "амурные" темы, которые ведутся в семействах Персиановых и Нагорновых.

За исключением Хмылова, прирожденного "палача", как его прозвали еще в школе, "ташкентцы приговорительного класса" - это уже, пользуясь словами одного из салтыковских героев, отборная гвардия ташкентства, а не "чернорабочие" его элементы, которые непосредственно заняты "кровопусканием".

Однако писатель убедительно вскрывает присущее всем им духовное убожество, низкий нравственный уровень, полную свободу от убеждений и представлений о том, чем оборачивается их деятельность для народа и государства.

Герои двух последних "жизнеописаний" - Миша Нагорнов и Порфиша Велентьев - "ташкентцы" наиболее свежей формации, новой, фактически буржуазной складки. Оба с вожделием впитывают в себя атмосферу развернувшейся погони за рублем, стремительных обогащений, головокружительных карьер промышленников, акционеров, финансистов, адвокатов.

"А нас взяточниками обзывают! - негодует отец Нагорнова, посевший в департаменте чиновник, - мы обрезочки да обкусочки подбирали - мы взяточники! А он целого человека зараз проглотить готов - он ничего! он благородный!"

По воле отца ставший прокурором, Миша Нагорнов завистливо заглядывался на доходы адвокатов, чья профессия кажется ему более выгодной.

Скрытый сарказм салтыковского очерка заключается в постоянно возникающем в нем сопоставлении этого адвокатского процветания с роскошью преуспевающих кокоток.

Мать и сын Нагорновы завидуют доходам и тех и других. А когда мать пробует уговорить мужа разрешить Мише пойти в адвокаты, он с досадой отвечает: "Вот дай срок умру, тогда хоть в черти-дьяволы, хоть в публичный дом его отдавай!"

Завершающий собой галерею "ташкентцев приговорительного класса" Порфирий Велентьев знаменует собой уже чисто буржуазное хищничество. С детства он возматывался "на самом лоне финансовых операций", производившихся, с одной стороны, отцом-чиновником, обкладывавшим своего рода налогом находившееся в его ведении "стадо откупщиков и винокурных заводчиков", а с другой - матерью, которая "торговала мужиком".

Да и само появление будущего финансиста на свет происходит вроде бы в результате тяготения друг к другу не самих людей, а ...капиталов, ими "представляемых". "Единственный амурный разговор между Велентьевым (отцом Порфирия. - А. Т.) и княжною" похож скорее на щелканье счетов.

Щелестенье ассигнаций, таинственная суэта в папашинем кабинете и куда более откровенный процесс "прижимки" мужиков маменькой, энергичное выражение "хоть роди да подай", к которому любила прибегать Нина Ираклиевна, - все это уже создавало у ребенка своеобразный "вкус к финансам".

Мелькнувшие же в родном городе героя отдаленные родственники княжны-шулера и пройдохи братья Тамерланцевы - заронили в душу мальчика презрение к крохоборческому скопидомству родителей и мечту о фантастическом, внезапном, стремительном обогащении,

В детстве, присутствуя при материнских операциях, Порфиша от щелканья косточек на счетах "каждый раз вздрагивал, как будто в этом щелканье слышалась ему какая-то сухая, безапелляционная резолюция".

"Коротенькая" политэкономия, которой его обучали в том же заведении, где воспитывался и Персианов, устранила всякие докучные напоминания о "трепете действительной, конкретной жизни, с ее ликованиями и воплями, с ее сытостью и голодом, с ее излюбленными и обойденными".

Вместо этого Порфиша познакомился с отвлеченными от реальной жизни манипуляциями "спроса и предложения" биржевой игры, при которых наяву совершался "перл созидания" - "со-

зидание из ничего", напомилавшее фокусы братьев Тамерланцевых, когда при слове "клац" в пустой руке обнаруживались золотые монеты.

Из всех "ташкентцев приготовительного класса" Порфирий Велентьев самый опасный, представляющий собою наиболее разрушительные, паразитические тенденции капитализма. Недаром именно для него делает сатирик исключение, хотя бы вкратце осведомляя читателя о "ташкентском" подвиге Велентьева проекте "беспошлинной двадцатилетней эксплуатации всех принадлежащих казне лесов для неперемного оных, в течение двадцати лет, истребления".

Велентьев открывает в творчестве Салтыкова галерею "дельцов" нового, буржуазного типа - Разуваевых, Колупаевых, Деруновых. Именно к нему относится пророчество сатирика, заключающее книгу "Господа ташкентцы" о "реформаторе, который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит и уйдет...".

Придет, насорит и уйдет - таково, по мысли писателя, еще одно видоизменение формулы "исторического зодчества", которым, вслед за дворянством, занялась и буржуазия.

----

Отклики критики на цикл "Господа ташкентцы" немногочисленны и не глубоки по содержанию. Они представляют собой, главным образом, пересказы произведения в целом или отдельных его частей. Из аналитических отзывов можно указать немногое.

Отмечая способность Салтыкова улавливать мельчайшие изменения в социальной структуре общества, критика подчеркивала злободневность явления, подмеченного и изображенного им под названием ташкентства. "Перед читателем проходит галерея живых и ярко очерченных сатириком-художником типов", писал С. Герцо-Виноградский {"Одесский вестник", 1873, Э 80, 14 апреля.}. Того же мнения придерживался анонимный критик "Неделя": "В этих очерках мы имеем мастерски изложенную историю развития типа, который мог только народиться на почве современности" {"Неделя", 1873, Э 6, 11 февраля.}.

Либеральная критика признавала; что ташкентец является "реальнейшим типом", "лучшим из всех щедринских типов", но эта оценка нередко сопровождалась рассуждениям" относительно расплывчатости и отсутствия определенных границ ташкентства, в результате чего Салтыков будто бы стал "валить в ташкентскую кучу решительно все, что ему под руку попадет" {РМ, 1872, Э 259.}. С такого рода суждениями не согласился автор статьи

"Настоящие ташкентцы", подписанной инициалами П. Б. Он выступил против тех, кто не понимал, насколько реален тип "ташкентца", и кто считал, что Салтыков "обыкновенно очень долго играет все на одной и той же струне" и "что-то уж много развелось ташкентцев под плодовитым пером Щедрина". "Никогда еще литература не клеветала на свое общество", - доказывал этот критик, основываясь на книге Салтыкова {"Неделя", 1872, Э 31-32, 15 ноября.}.

Однако различные вариации упрека в беспредельном расширении границ ташкентского типа были довольно многочисленны и содержались как в статьях, посвященных отдельным главам журнальной публикации, так и в рецензиях на первое книжное издание "Господ ташкентцев" {См. "Петербургский листок", 1871, Э 206; СПб, вед.. 1872, Э 206 и др.}.

Полемизируя с критикой, стремившейся сузить идейно-художественный диапазон произведения и дискредитировать тип ташкентца, лишить его конкретного социального содержания, Салтыков в предисловии "От автора", предпосланном изд. 1873, изложил свою точку зрения на сущность изображаемого им явления, характеризующего русскую жизнь 70-х годов и широко распространенного ("...ежели бы я пошел еще далее в воспроизведении различных типов "ташкентства", то, работе моей, пожалуй, не было бы конца...").

Среди откликов, вызванных "Господами ташкентцами", должна быть названа статья "Г. Щедрин, побиваемый собственными друзьями", опубликованная без подписи и принадлежащая, как сейчас установлено, писателю Г. П. Данилевскому {РМ, 1871, ЭЭ 109, 110, 22, 23 декабря.}. Газета "Русский мир" в это время находилась под сильным влиянием генерала Черняева, вскоре (с 1873 года) ставшего ее издателем. На ее страницах резкие, а подчас и бранные выступления против Салтыкова были не редкостью, и названная статья Г. П. Данилевского в этом отношении не составила исключения. Открытое нападение на Салтыкова, предпринятое ее автором, обусловлено не только реакционностью общественно-политической позиции газеты, но и враждебным отношением Г. П. Данилевского к сатирику, в 60-х годах неоднократно выступавшему с резкой критикой его литературной позиции (см. т. 5, стр. 334-337; 408-416). Поводом для статьи Г. П. Данилевского явилась вторая параллель "Ташкентцев пригготовительного класса", в которой Салтыков на основе личных впечатлений дал сатирическую зарисовку быта и нравов московского дворянского института. Г. П. Данилевский, воспитанник этого же учебного заведения, выразив недовольство сатирическим его изображением и заверив читателя, что "ничего подобного рассказанному г. Щед-

ринным ни в одной школе 40-х годов на Руси уже не было", основную часть своей статьи посвятил злобным нападкам на писателя, используя для этой цели тщательно составленный монтаж из отзывов русской критики 60-х - начала 70-х годов, известных своей враждебностью и далекой от объективности оценкой творчества Салтыкова. Статья Данилевского по своему значению выходит за рамки обычного отклика на очередную главу щедринского цикла и представляет собою одно из наиболее враждебных Салтыкову выступлений о нем.

Выход в свет первого отдельного издания "Господ ташкентцев" не вызвал сколько-нибудь значительных отзывов. Лишь мимоходом касались его в своих статьях и монографиях К. К. Арсеньев, К. Ф. Головин, А. М. Скабичевский, Н. К. Михайловский {Статьи перечисленных авторов собраны в кн.: "Критическая литература о произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вып. 4 и 5. Сост. Н. Денисюк, М. 1905.}.

В цикле статей "Русская общественная жизнь в сатире Щедрина", опубликованных в 1883 году в "Вестнике Европы", К. К. Арсеньев несколько страниц посвятил "Господам ташкентцам", особо подчеркнув мысль о широте понятия "ташкентец" и считая, что "разновидности типа настолько отличны друг от друга, что с гораздо большим успехом могли бы составить несколько отдельных типов". Одновременно он предпринял попытку выяснить связь "помпадуров" с "ташкентцами", подчеркнув, что "колебания в установке типа" отразились и на целом ряде созданных Салтыковым образов, среди которых ближе других к ташкентцам стоит Хмылов, несколько далее Порфиша Велентьев и Тонкачев, а Nicolas Персианов и Миша Нагорнов подают надежды скорее стать помпадурами, чем ташкентцами. "Если слово "ташкентец" сделалось именем нарицательным, наравне с "помпадуром", то это объясняется необыкновенною рельефностью фигур, выведенных на сцену под кличкой "ташкентцев-цивилизаторов". Вид, ярко "расцветенный и полный жизни, затмил собою род, задуманный слишком широко и обрисованный недостаточно определенно".

Подчеркивая широту ташкентского типа и отмечая, что Салтыков "обобщил это прозвище, применив его ко всем культурным людям", А. М. Скабичевский в "Истории новейшей русской литературы" (СПб. 1891), сформулировал мысль относительно преемственной связи между "Господами ташкентцами" и "Дневником провинциала в Петербурге", который, по его мнению, является, в сущности, несколько видоизмененным по замыслу и оформлению вторым томом "Господ ташкентцев" ("Ташкентцы в действии"). Это же положение, но в более широком понимании, высказа-

но и К. Ф. Головиным в его книге "Русский роман и русское общество" (СПб. 1897), в которой он справедливо замечает, что щедринское творчество в значительной своей части посвящено изображению "действующих ташкентцев": "Этот тип беззастенчивых тунеядцев, быть может, лучший из всех щедринских типов, получил у него собирательное название "господ ташкентцев", хотя он выступает не в одном только сборнике, озаглавленном этим именем. Ташкентцы разного рода, то есть дворянские недоросли, знающие, где раки зимуют, и рано научившиеся жизненной мудрости, так и остались до конца одним из любимых сюжетов его творчества".

Последующие отклики на "Господ ташкентцев", время от времени появлявшиеся в дореволюционной печати, либо посвящены частным вопросам, либо представляют собой поверхностную характеристику произведения.

----

"Господа ташкентцы" печатались в "Отечественных записках" в 1869-1872 годах. Воссоздание творческой истории произведения затруднительно ввиду почти полной утраты рукописей и незначительности сведений о работе над циклом в эпистолярном наследии писателя и в мемуарной литературе. Сохранившиеся шесть рукописей (ИРЛИ) представляют собой наброски двух очерков, предназначавшихся для ташкентского цикла, но позднее Салтыковым отброшенных и при жизни его не публиковавшихся (см. раздел "Незавершенные замыслы и наброски").

"Господа ташкентцы" создавались, как это характерно для Салтыкова, одновременно с работой писателя над рядом других произведений: параллельно завершались "Помпадурсы и помпадурши", печатались "Итоги" и "Дневник провинциала в Петербурге", писались первые главы "Благонамеренных речей", "Господ Молчаливых". Отсюда заметная идейно-тематическая близость, а порой и сюжетное сходство отдельных ташкентских глав и эпизодов с некоторыми мотивами названных произведений.

Очерки о "ташкентцах" печатались в "Отечественных записках" не в том порядке и оформлении, в каком они потом были собраны в книгу. Состав и композиция "Господ ташкентцев" окончательно определились во втором отдельном издании - 1881 года. Третье отдельное издание 1885 года - последнее прижизненное - повторяет второе. В помещаемой ниже таблице отражены те изменения, которые были произведены Салтыковым в первоначальной (журнальной) последовательности глав ташкентского цикла и в заглавиях их при подготовке отдельных изданий (цифры в скобках, предшествующие названию журнальной публикации, обозначают последовательность, в какой очерки появлялись

в "Отечественных записках").

Название очерков Изд. 1873 Изд. 1881 и 1885

в журнальной публикации

(3) Митрофаны Введение Введение

ОЗ. 1870, Э 11

(2) Что такое "ташкентцы"? Что такое Что такое

Отступление ОЗ, 1869, Э 11 "ташкентцы"? "ташкентцы"?

(1) Господа ташкентцы. Господа ташкентцы. Ташкентцы

Из воспоминаний одного Тип объяснительный цивилизаторы  
просветителя (из воспоминаний

ОЗ, 1869, Э 10 одного просветителя) Они же

(4) Ташкентцы Ташкентцы приготовительного класса

приготовительного класса Параллель первая Параллель пер-  
вая

ОЗ, 1871, Э 9

(5) Ташкентцы Параллель вторая Параллель вторая  
приготовительного класса

(вторая параллель)

ОЗ, 1871, Э 11

(6) Ташкентцы Параллель третья Параллель третья  
приготовительного класса

(третья параллель)

ОЗ, 1872, Э 1

(7) Ташкентцы Параллель четвертая Параллель четвертая  
приготовительного класса

(параллель четвертая)

ОЗ, 1872, Э 9

Первый очерк журнальной публикации "Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя" (ОЗ, 1869, Э 10), представлявший собою Злободневный отклик на события, развернувшиеся в Средней Азии, стал исходным пунктом будущего ташкентского цикла. Сопоставление его с незаконченным очерком "Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя. Номер второй" свидетельствует, что создавались они одновременно (см. стр. 797) и, следовательно, в это время Салтыков уже задумал написать несколько очерков или рассказов, относящихся к теме "ташкентского просветительства". Это подтверждается и общим подзаголовком обоих очерков ("Из воспоминаний одного просветителя"), и проставленным во втором из них "номером". Однако после завершения первого очерка Салтыков, временно отложив работу над "номером вторым", написал очерк "Что такое "ташкентцы"? Отступление", зафиксировав этим заглавием отклонение от первоначального сюжетного плана в сторону теоретического определения "ташкентства" и ташкентского типа. Такое

теоретическое разъяснение должно было, по мысли автора, предшествовать задуманным им "номерам" - главам с экспозицией новых образов "ташкентцев".

Напечатав очерк "Что такое "ташкентцы"? Отступление", Салтыков, повидимому тогда же, в ноябре - декабре 1869 года, вновь обратился к начатой им серии "номеров". Оставленный им "номер второй" был заново переработан и дополнен. Если в первой редакции ("номер второй") преимущественное внимание уделялось обстоятельствам, связанным с воспитанием и формированием будущего ташкентца, то во второй ("номер третий") упор сделан на характеристике его практической деятельности. Однако новая редакция "номера второго", ставшего теперь "номером третьим" и доведенного или почти доведенного до конца, напечатана не была. Салтыков отложил работу над "номерами", видимо предполагая в дальнейшем снова вернуться к "ташкентцу" и начать "исследование" с выяснения роли семьи и школы в его формировании.

Почти двухлетний перерыв в работе над "Господами ташкентцами", во время которого были закончены "Помпадурсы и помпадурши" и "История одного города", был вызван как этими трудами, так, по-видимому, и творческими соображениями, потребовавшими значительного изменения в самом замысле. Высказывавшееся в литературе мнение, согласно которому в приостановке работы над циклом сыграл свою роль также цензурный инцидент с очерком "Они же" (см. стр. 691), едва ли обосновано. Салтыков вернулся к "Господам ташкентцам" лишь летом 1871 года, внося в первоначальный план существенные коррективы. Теперь каждая из "параллелей", заменивших прежние "номера", была посвящена исследованию "приготовительного" периода биографии "ташкентца", его воспитания в семье и в школе, то есть полностью направлена на выяснение причин и условий возникновения в русской жизни подобного типа. Вследствие этого произошел некоторый разрыв между опубликованными ранее двумя ташкентскими очерками, связанными с задуманными, но неосуществленными "номерами" и значительно более далеко отстоящими от создаваемых вместо них параллелей: в напечатанных очерках характеризовалась сущность ташкентства, в "параллелях" же рассматриваются лишь источники и условия формирования "ташкентца". Поэтому, вероятно, Салтыков и не считал возможным при нумерации параллелей учесть опубликованные ранее ташкентские очерки, которые в 1869 году мыслились в единстве с задуманными "номерами".

Написанные в 1871-1872 годах четыре параллели (пятая завершена не была и осталась в рукописи) явились осуществлением



первой половины замысла "Ташкентцы приготовительного класса". Вторая половина этого замысла "Ташкентцы в действии", в свою очередь подразделявшаяся на две части: "Ташкентцы на пути к славе" и "Ташкентцы на верху величия", - осуществлена не была. Причины отказа писателя от продолжения ташкентского цикла следует искать, видимо, в характере ближайших его творческих замыслов ("Дневник провинциала в Петербурге", "Благонамеренные речи"), в значительной степени ассимилировавших предполагаемые аспекты продолжения "Господ ташкентцев".

К концу 1872 года, когда Салтыков обратился к подготовке отдельного издания "Господ ташкентцев", цикл представлял собою разрозненные звенья разных вариантов одного и того же замысла: два очерка, служившие сначала введением к циклу, и четыре позднее написанные параллели, являющиеся первой частью задуманного "исследования" о ташкентцах, еще не составляли цикла и не выражали полностью авторского представления о ташкентстве как общественно-социальном явлении в целом.

В изд. 1873 Салтыков включил четыре параллели, под общим заглавием "Ташкентцы приготовительного класса", впоследствии в текстовом и композиционном отношении не изменявшиеся. В качестве своеобразного введения к ним, сопровождаемого авторским предисловием, помещены три ранних очерка, представляющие собою общественно-политическую и нравственную оценку ташкентства, а также его теоретико-идеологическое обоснование, среди них опубликованный в конце 1870 года очерк "Митрофаны", получивший в изд. 1873 место и заглавие "Введение". Первоначально "Митрофаны" были опубликованы в качестве самостоятельной статьи, никакого отношения к "Господам ташкентцам" не имеющей. Возможность подключения их к ташкентскому циклу, да еще в качестве введения, занимающего ведущее место в структуре произведения, определяется близостью социально-политической и нравственной физиономии ташкентцев и Митрофанов, а также широтой изложенных в нем суждений Салтыкова о судьбах России, о характере ее общественно-политического развития в пореформенные годы. "Эти Митрофаны-просветители, - писал Горький, - живейшим образом превращаются в ташкентцев" {М. Горький. История русской литературы, М. 1933, стр. 272.}. Таким образом, созданный независимо от ташкентского цикла образ Митрофана по характеру и содержанию обладал большим сходством с типом ташкентца, что дало Салтыкову все основания включить его в 1873 году в цикл.

За "Митрофанами", ставшими "Введением", в изд. 1873 следовали с частичным изменением заглавий два опубликованных в 1869 году очерка ташкентской серии. Если во "Введении" понятие

ташкентства отсутствует и общее представление о нем дается посредством широкой характеристики близкого ему "митрофанства", то два последующих очерка полностью посвящены конкретному рассмотрению именно ташкентцев. Однако формирование цикла "Господа ташкентцы" в 1873 году закончено не было.

При подготовке второго издания книги в 1881 году Салтыков ввел в состав цикла очерк "Они же", поместив его непосредственно перед "Ташкентцами приговорительного класса". Этот очерк представляет собою отклик на события, последовавшие за каракозовским выстрелом 1866 года; Написан он был, по-видимому, ранее всех произведений ташкентской серии и без очевидной связи с ними. Лишь в 1869 году, пытаясь провести очерк в печать, Салтыков подключил его к публиковавшемуся очерку "Что такое "ташкентцы"? Отступление", но из-за цензурных осложнений он не был напечатан в "Отечественных записках" (см. стр. 691).

Таким образом, и в окончательном своем виде, в изд. 1881, "Господа ташкентцы" не приобрели полного структурно-композиционного единства и представляли собой объединение ряда произведений, связанных между собою общностью проблемно-тематической основы.

При жизни Салтыкова "Господа ташкентцы" издавались трижды: в 1873, 1881 и 1885 годах. При подготовке изд. 1873 писатель провел серьезную работу: изменил названия глав, сократил ряд фрагментов и произвел большую стилистическую правку; следы авторской работы носит на себе и второе издание, в котором начатая в 1873 году стилистическая отделка была продолжена, а также сделаны сокращения в "Параллели четвертой". Последнее издание (1885) отличается от предыдущего лишь незначительными поправками.

В настоящем томе "Господа ташкентцы" печатаются по тексту изд. 1885 с исправлением ошибок и опечаток, произведенным на основании изучения предшествующих изданий. В разделе "Незавершенные замыслы и наброски" печатаются не публиковавшиеся при жизни Салтыкова незавершенные очерки 1869 года "Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя. Номер второй" и его переработанный и расширенный вариант "Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя. Номер третий". Здесь же помещена и незаконченная "Параллель пятая и последняя", написанная в 1872 году.

ОТ АВТОРА

Впервые - изд. 1873 (вып. в свет между 14 и 20 января).

Первоначально авторское предисловие представляло собою подстрочное примечание к незавершенному очерку "Ташкентцы приговорительного класса (параллель пятая и последняя)", напи-

санному в сентябре - октябре 1872 года (см. стр. 582). Как и указанный очерк, примечание имеет две редакции, из которых первая, более ранняя, содержит ряд отвергнутых писателем вариантов и разночтений, позволяющих дополнить и уточнить отдельные детали первоначального замысла. В частности, именно здесь сохранились пояснения, касающиеся второй, неосуществленной, части ташкентского цикла, которая по мысли писателя должна была охватить два периода: "Ташкентцы на пути к славе" и "Ташкентцы на вершине величия". Эти пояснения были вычеркнуты из второй редакции примечания при подготовке его к публикации в изд. 1873.

Впервые подстрочное примечание по второй, более поздней, но тоже черновой рукописи очерка "Ташкентцы пригласительного класса (параллель пятая и последняя)" напечатано М. К. Лемке в составе публикации "Неизданные произведения М. Е. Салтыкова" (ВЕ, 1914, Э 5, стр. 18-19). По той же рукописи, но более точно и полно опубликовано в статье Е. И. Покусаева "Господа ташкентцы" Салтыкова-Щедрина" {Русская литература. Труды Отдела новой русской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, т. 1, М. - Л. 1957, стр. 217.}.

#### ВВЕДЕНИЕ

Впервые - ОЗ, 1870, Э 11, стр. 233-248 (вып. в свет 19 ноября), под заглавием "Митрофаны". Заглавие изменено в изд. 1873.

Очерк "Митрофаны" первоначально не имел отношения к ташкентскому циклу. В бумагах Салтыкова сохранился отрывок с начальными строками очерка "Митрофаны II", который позволяет предполагать, что он намеревался продолжить работу над темой "митрофанства" и создать цикл (или несколько взаимосвязанных произведений) с нумерованными главами, посвященными не только общей характеристике "митрофанства", но и его конкретным представителям. Вот текст этого отрывка: "Митрофаны (см. ОЗ. 1870, Э 11). В полумраке залы помещичьего дома, освещенной одинокою стеариновой свечою, из угла в угол бродит Митрофан Зашибаев-Гвоздило и думает, отчего ему ни в чем удачи нет" {Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома. Вып. IX. М.-Л. 1961, стр. 34.}.

Место, которое занимали "Митрофаны" в творческих планах Салтыкова 1870 года, и причины, по которым эти планы остались неосуществленными, определить сейчас трудно ввиду отсутствия относящихся к данному вопросу свидетельств.

Очерк "Митрофаны" - одно из выступлений Салтыкова с критикой русского служилого дворянства как общественно-политической силы, долгое время претендовавшей на руководящую роль в исторической жизни страны. Салтыков доказывал, что сила эта

исчерпала себя и превратилась в тормоз развития (своего рода комментарием к очерку служит почти одновременно с ним написанная рецензия на книгу А. Романовича-Славатинского "Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права" - см. т. 9). Но в "выморочном пространстве" современной российской действительности Салтыков не видит пока и никаких других сил, способных в данный момент сказать "новое слово".

"Митрофанство" как общественное явление, характеризующее, главным образом, дворянскую бюрократию, по существу своему близко "ташкентству", в связи с чем Салтыков и решился в 1873 году поместить единственный написанный им очерк о Митрофанах в качестве введения к ташкентскому циклу. Таким образом, в "исследовании" о ташкентцах Салтыков, по выражению Е. И. Покусаева, представил "митрофанство" как "идеологическое обоснование ташкентства, как идеологическую его опору" {Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 159.}.

Очерк "Митрофаны" при своем появлении не вызвал скольконибудь содержательных отзывов в печати. Одна из причин - цензурная трудность обсуждения затрагиваемых писателем тем в печати.

"Прикажут - завтра же буду акушером". - В подлиннике у М. И. Глинки: "Прикажет государь, завтра буду акушером" ("Записки Михаила Ивановича Глинки. 1804-1854". - РС, 1870, Э 10, стр. 384).

...ждут мания... - знака рукой (от лат. manus - рука).

...умника... - С этим словом в XIX веке нередко ассоциировалось понятие "вольнодумец".

...от нас ожидается какое-то "новое слово"... - Полемический выпад против "почвенников" и близкой к ним националистической "русской партии", выдвигавшей тезис о провиденциальном назначении России - обновить "прогнанный западный мир". Термин "новое слово" был введен в литературный оборот Аполлоном Григорьевым. О многолетней борьбе Салтыкова с идеологами "почвенничества" и "нового слова", важным звеном в которой явилось "Введение" к "Господам ташкентцам", а также главы "Что такое "ташкентцы"?" и "Ташкентцы-цивилизаторы", см. в книге С. Борщевского "Щедрин и Достоевский", М. 1956. См. также стр. 666 и т. 5, стр. 532.

Один знатный иностранец... - Приводимый далее рассказ "знатного путешественника" по своему характеру и сатирической направленности очень близок к "Мнениям знатных иностранцев о помпадурах", приведенным Салтыковым в заключительной части "Помпадуров и помпадурш" - см. т. 8.

...мы только в недавнее время попытались примерить на себя заправское европейское платье... - Намек на реформы 60-х годов.

...погадка... - "отрыжка ловчих птиц, коею они скидывают клуб остатков пищи, кости, перья и пр." ("Толковый словарь живого великорусского языка" Владимира Даля, т. III, СПб. - М. 1882, стр. 152).

...вавилонскую башню проектировать... - замышлять нечто невыполнимое (выражение заимствовано из библейского мифа о неудачной попытке построить в Вавилоне башню "высотой до неба" - Бытие, 11, 1-9).

Любезный друг! я желал бы, чтоб вы открыли Америку. - Иронические выражения об "открытии" и "закрытии" Америки по указанию вышестоящего начальства встречаются (в разных вариантах) в нескольких произведениях Салтыкова. См., например, т. 7, стр. 403.

Митрофаны не изменились. - Митрофан Простаков - персонаж "Недоросля" Д. И. Фонвизина (1781) - фигурирует в ряде произведений Салтыкова: "Глуповское распутство" (1862), "Помпадурсы и помпадурши" (1873), "Круглый год" (1880), "Пошехонские рассказы" (1883-1884). Об отношении Салтыкова к "митрофанству" см. стр. 675.

...презирают географию... - кучер довезет их куда будет приказано... Намек на реплику г-жи Простаковой: "Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, - свезут, куда изволишь" (д. IV, явл. 8). Реплику Простаковой об арифметике - см. в д. III, явл. 7.

...из козней, крамол и измены. - Терминология, употреблявшаяся М. Н. Катковым и реакционной печатью по отношению к польским повстанцам и к передовым силам русского общества.

Налетел, нагрязнул, ушиб... - Ироническое переосмысление знаменитого изречения Юлия Цезаря: "Veni, vidi, vici" ("Пришел, увидел, победил").

...табель о рангах... - О введенной Петром I иерархии военных, гражданских и придворных чинов см. т. 8, стр. 574.

...Запад разлагается... - Отклик на высказывания идеологов позднего славянофильства, в частности Н. Я. Данилевского, с работой которого "Россия и Европа", опубликованной в "Заре" 1868 года, Салтыков, без сомнения, был знаком. Данилевский заявлял в ней, что "народу одряхлевшему, отжившему, свое дело сделавшему и которому пришла пора со сцены долой, ничто не поможет...". "Сама мысль, высказанная славянофилами о гниении Запада, кажется мне совершенно верною, - добавлял он, - только выразилась она в жару борьбы и спора слишком резко и потому с некоторым преувеличением" ("Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-

романскому" Н. Я. Данилевского, СПб. 1871, стр. 75 и 172).

Благодаря гг. Бартеневу и Семевскому, он знает немало анекдотов из истории просветительной деятельности XVIII века... - В ежемесячных журналах "Русский архив" и "Русская старина", редакторами которых были П. И. Бартенева и М. И. Семевский, публиковались исторические документы, письма и мемуары, относящиеся преимущественно к XVIII - первой половине XIX века. С этими изданиями Салтыков особенно внимательно ознакомился во время работы над "Историей одного города" (см. т. 8, стр. 553). Оба редактора питали особое пристрастие ко всякого рода историческим курьезам и анекдотам. Характерным образцом подобных анекдотов о "просветительной деятельности" царизма в XVIII веке, которые Салтыков в данном случае имел в виду, является заметка "Исполнение указа Петра Великого о бритии бород в Соликамске 1705 г."; в ней описывалось, как после оглашения указа царя солдаты, специально поставленные у церкви, "схватывают каждого взрослого мужчину: один из стражей держит бедняка за руки, другой остригает ему усы и бороду; третий, припавши вниз, обрезают полы кафтана выше колен. При виде окорнанных отцов и мужей, дети и жены подняли страшный вой, словно над покойниками: оттого возврат семейств в дома уподобился похоронному, шествию" и т. п. (РС, 1870, Э 6, стр. 594-595).

В "Русской старине" (1870, Э 11) был напечатан именной указ Павла I генерал-прокурору кн. Куракину от 28 июля 1798 года - о строгом наказании бржетского городничего Пирха, который "противу узаконений наших публично ходил в круглой шляпе, во фраке и сею неблагопристойною одеждою ясно изображал развратное свое поведение" (стр. 521-522)у

В журнальной редакции "Введения" ("Митрофаны") высказывание о Бартенева и Семевском было напечатано в следующем виде:

"Благодаря гг. Бартенева и Семевскому, он знает немало анекдотов из истории просветительной деятельности XVIII века и пересказывает некоторые из них не без юмору. Он знает, например, что не за горами то время, когда, во имя цивилизации, вменялось в обязанность "носить немецкое платье с одинаким стоячим воротником, шириною не более, как в три четверти вершка" и "не увертывать шею безмерно платками, галстухами или косынками, а повязывать оные приличным образом без излишней толстоты", и, заручившись этим фактом (одним этим фактом!), считает себя уже совершенно свободным от всяких церемонных отношений к цивилизации вообще". Цитируемые Салтыковым строки заимствованы из предписания Санкт-Петербургского военного губернатора Буксгевдена Управе благочиния от 20 января 1798 года (РС, 1870, Э 11, стр. 517).

...пятую стихию... - Четырьмя основными элементами природы древнегреческие философы-материалисты считали огонь, воздух, воду и землю.

Будет носить чужое, заношенное белье... - Схожее высказывание содержится в письме Салтыкова к С. А. Юрьеву от 8 февраля 1871 года, написанном в связи с выходом в свет первой книжки славянофильского журнала "Беседа". В качестве автора для статьи, определяющей основные позиции "Беседы", Салтыков иронически рекомендовал редактору привлечь его давнишнего приятеля И. В. Павлова (Оптухина), который мог бы доказать, что "пользоваться общечеловеческой цивилизацией значит носить чужие подштанники и сморкаться в чужой платок". В "Дневнике провинциала" (гл. V) Салтыков приписывает такого же рода мнения журналу "Пенкоснимательная подоплека", под которым он мог иметь в виду ту же "Беседу". См. стр. 396.

...Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук... - Аналогичная мысль неоднократно высказывалась в 40-х годах Герценом. Называя "способность развития", "возможность покидать старое и усваивать новое" "одним из главных отличительных свойств европейского характера", Герцен писал: "Западные народы не коченеют в объятиях трупов, хотя бы это были трупы их отцов, не вянут в тоске; они с, похорон возвращаются полными свежих сил; обновляются смертью и, вечно юные между могил, облитых горячими слезами, они строят из их развалин новые приюты жизни. Держаться за одни и те же формы как за единственный якорь спасения лучшее доказательство слабости и внутренней бедности; скучный Китай может служить примером" (Герцен, т. II, стр. 170).

...общественные и политические формы имеют только кажущуюся самостоятельность... - Мысль эта подробно развита Салтыковым в статье "Современные призраки" (т. 6, стр. 381-406).

...an sich und fur sich... - философский термин, введенный Иммануилом Кантом.

В течение последних пятнадцати лет... - то есть со смерти Николая I.

На недостаток приказаний мы пожаловаться не можем... - Здесь и далее намек на насаждавшиеся сверху реформы 60-х годов.

...адвокаты превращаются в "аблакатов"... - "Аблакатами" в народе именовались частные ходатаи по судам - бывшие чиновники, отставные офицеры, писаря и т. п. Их развелось особенно много после судебной реформы 1864 года, в связи с нехваткой квалифицированных юристов. "Подобно саранче", они "усеяли

собой присутственные места, камеры мировых судей, гостиницы, трактиры, кабаки, даже паперти церквей" (ОЗ, 1872, Э 11, отд. II, стр. 133). Салтыков уподобляет им здесь присяжных поверенных, которые в погоне за крупными кушами пренебрегали корпоративной этикой и зачастую отличались от своих коллег-"аблакатов" только масштабом дел и размером гонорара.

...земские деятели - в устроителей пикников, закусок и обедов. - См. об этом в очерке "Новый Нарцисс..." ("Признаки времени" - т. 7, стр. 2539).

...получил грош, из оного копейку пропил... - Грош - старинная монета в две копейки (впоследствии - полкопейки).

ЧТО ТАКОВ "ТАШКЕНТЦЫ"?

Впервые - ОЗ, 1869, Э 11, стр. 187-207 (вып. в свет 7 ноября), под заглавием "Что такое "ташкентцы"? Отступление". Подзаголовок "Отступление" снят в изд. 1873.

Очерк написан, по-видимому, непосредственно перед публикацией его в "Отечественных записках", то есть в сентябре - октябре 1869 года, и не мог быть создан ранее очерка "Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя" (см. стр. 673). Закончив первый ташкентский очерк, Салтыков решил несколько изменить сложившийся у него план портретной галереи ташкентцев, который начал осуществлять в рамках "воспоминаний одного просветителя", и предпослать ей "теоретическую" главу, посвященную общей характеристике явлений, обозначенных им словом "ташкентство".

Интересным для творческой истории "Господ ташкентцев" в целом является содержащийся в очерке перечень ташкентских типов, которые Салтыков предполагал изобразить в дальнейшем (в "нумерах"). Во всех изданиях этот перечень идентичен, за одним исключением: в журнальном тексте в нем назван еще "ташкентец-литератор". Список ташкентских типов в очерке "Что такое "ташкентцы"?" можно рассматривать как первоначальный план будущего цикла, наметившийся у Салтыкова на первой стадии работы, впоследствии измененный. Если в 1869 году в журнальном тексте Салтыков сообщал: "Я нахожу возможным изобразить...", то в 1873 году он более осторожен и не обещает читателю скорого осуществления обещанного - "Я постепенно изображаю..." В конечном итоге, замысел создания галереи действующих ташкентцев (в "нумерах") не был осуществлен, вместо этого появилась галерея ташкентцев, готовящихся к действию, но еще к нему не приступивших (в "параллелях").

Поставив перед собой в "Господах ташкентцах" задачу "исследовать" ташкентство в его формировании и развитии, Салтыков вместе с тем искал художественные формы, соответствующие



характеру замысла. В этой связи он предпринял в очерке "Что такое "ташкентцы"? Отступление" теоретиколитературный экскурс, в котором мотивирована необходимость создания нового общественного романа.

В формировании этого романа сатирик отводил себе скромное место "собирателя материала". В журнальном тексте (стр. 200) этот экскурс завершен таким пояснением проблемно-композиционных основ "Господ ташкентцев", вычеркнутым при подготовке изд. 1873.

"Я печатаю "Ташкентцы" в форме "записок одного просветителя". После всего сказанного выше нечего, кажется, и объяснять, что это только форма и что записки принадлежат не одному, а целому легиону просветителей. В конце каждого этюда, каждый из моих "ташкентцев" кончает весьма неудовлетворительно, а именно: пропивается, проворовывается и вообще впадает в забвение. По этому поводу мне тоже может быть сделан упрек. Скажут, например, что я слишком охотно прибегаю к вмешательству случайной силы; что в положениях, подобных тем, которые я описываю, зло чаще всего торжествует, а не наказывается; что вообще, если зло, по временам, наказывается, то это наказание приходит к нему не извне, а благодаря тому внутреннему бессилию, которое скрывается в нем самом. На это я могу ответить следующее: мой образ действия в этом случае имеет характер двойкий: во-первых, преобразовательный, во-вторых, характер хитрости.

Относительно преобразования скажу, что я твердо верю, что зло наказывается, и наказывается неминуемо. Когда наступит минута, что наказание будет приходить к нему из собственного внутреннего бессилия - этого я, покамест, еще не знаю. Причины этого незнания я объяснил выше, сказав однажды навсегда, что я только собиратель материалов, а не создатель той общественной драмы, формы которой, по моему мнению, не довольно еще определились. Что же касается до хитрости..."

Из всех произведений ташкентского цикла очерк "Что такое "ташкентцы"?" в изд. 1873 претерпел наибольшие изменения, которые, впрочем, сводились не к доработке или переработке текста, а к его сокращению. Кроме приведенного фрагмента о художественной форме "Господ ташкентцев" и о своей роли в создании общественного романа, Салтыков при подготовке изд. 1873 вычеркнул последние весьма примечательные строки очерка, являющиеся ответом на заключительный вопрос "Что тогда откроется" (стр. 207).

"Существует мнение, что тогда скажется новое слово, споется новая песня и откроются новые формы общественности. Как ни загадочно такое мнение, но согласиться с ним есть основание.

Один наплыв людей, питающихся лебедою, может составить такое явление, которое должно если не совсем уничтожить, то, по крайней мере, иным образом расположить некоторые складки общественного хитона. Когда сделана привычка готовить обед на двоих, то гостям или отказывают, или же вынуждаются заказывать пирог попространнее. Я думаю, что будет принят этот последний путь, как наиболее рациональный. Он дает возможность принимать гостей, не обижая себя и не урезывая ни капли от собственных крох.

Обедать в обществе многочисленном, веселом, шумном - ужели это не предпочтительнее, нежели обедать одному или сам-друг, насупивши брови и думая только о том, как бы набить себе желудок?

Но даже если все это и не совершится, то и тогда можно предположить, что открытий получится достаточно и они не будут лишены интереса.

Например, мы наверно узнаем, что "человек, питающийся лебедою", может печалиться и радоваться; что он может чувствовать боль, ощущать страх, угадывать опасности. Мы удостоверимся, что он несет некоторые повинности и что на одной из них он останавливается просто со вниманием, а на других с особенным вниманием. Очень может быть даже, что самое слово "повинность" утратит для нас свой простой смысл и получит смысл сложный, привлекающий множество других понятий и представлений. И еще мы узнаем, что предмет наших наблюдений любит, ненавидит, сторает честолюбием, пылает всевозможными страстями, верит, сомневается, утверждает, отрицает - все точно в такой же степени, хотя, быть может, и с несколько иным содержанием, как и прочие смертные.

- Господи! - скажем мы, рассмотревши все это, - да ведь это, кажется, человек!

Это открытие очень важное. Новые слова, новые песни, новые формы общественности - пускай остаются впереди. Забывать их не следует, потому что на идеалах зиждется вся жизнь духовно развитой личности; но не следует забывать и то, что первое предстоящее дело - это открыть "человека".

Подумайте, милостивые государи! Ведь "открыть человека" значит упразднить "Ташкент"!"

Соединяя в 1873 году в одной книге очерки "Митрофаны" и "Что такое ташкентцы?", Салтыков убрал из последнего очерка оптимистическое высказывание о возможности "новых слов", "новых имен", "новых форм общественности" в ближайшем будущем потому, вероятно, что они противоречили скептическим рассуждениям на ту же тему, которые содержались во "Введении" и

для которых в русской действительности 70-х годов Салтыков не видел реальных предпосылок.

Из других сокращений и изменений, внесенных Салтыковым в журнальный текст очерка "Что такое "ташкентцы"?" при подготовке изд. 1873 и 1881, наиболее существенны следующие:

1. Стр. 27. "...богоугодных заведений нет, острог один..." - после этих слов в ОЗ следовало: "исправник один" и т. д.

2. Слова: "(оказалось, что это был генерал Флери)" - введены в текст в изд. 1881.

3. Стр. 30. "...это приговоры простых охочих русских людей" - после этих слов в ОЗ следовало: "Это они взыграли при виде "куска".

4. Стр. 31. "...и, следовательно, все обстоит благополучно..." - после этих слов в ОЗ следовало: "Странно одно: отчего у борова нет таких часов, когда он может быть львом.? или у льва таких, когда он может быть боровом?!"

5. Стр. 32. В перечне ташкентцев после "ташкентца промышленного" - в ОЗ следовал "ташкентец-литератор".

6. Стр. 33. "...но семейство всегда играет в романе первую роль" после этих слов в ОЗ следовало заключавшее абзац продолжение рассуждения о романе:

"Будучи заключена в этом тесном пространстве, драма не могла разрешаться в области неизвестного, но должна была вытерпеть именно то разрешение, которое, так сказать, было предназначено ей силою вещей. Общее недовольство или общее благополучие; разлука или союз сердец; так или иначе, но роман должен был кончиться именно здесь, в среде семейства, которое вмещало в себе и прототип всей жизни, и единственную арену, на которой индивидуальные потребности могли находить себе удовлетворение".

...человеком, "который ест лебеду". - На эзоповом языке Салтыкова-русский крестьянин.

Шагу без нас не сделают! - При каждом повороте внутренней политики самодержавия в сторону реакции правительство прибегало к содействию так называемого "общества", наиболее агрессивная часть которого - описываемые Салтыковым "ташкентцы" - терроризировала передовую "интеллигенцию, революционную молодежь, "нигилистов" и "нигилистов", принимала участие в обысках, арестах, экзекуциях и т. п.

...управа благочиния, - не та, которая имеет местопребывание на Садовой улице, а та, которая издревле подстерегает рождение охочего русского человека... - На Садовой улице в Петербурге находилась столичная Управа благочиния, ведавшая полицейскими и частично судебными делами (она просуществовала до 1877

года). Салтыков иронически сопоставляет с этим административным учреждением весь общественно-политический быт России.

...вашему превосходительству имею честь явиться! - Имеется в виду М. Н. Муравьев ("Вешатель"), "кликнувший клич" охранительным элементом на борьбу с революционными силами.

...баранов... - В данном случае имеются в виду представители так называемых "податных сословий".

...это был генерал Флери. - Один из ближайших сподвижников Наполеона III Эмиль-Феликс Флери представлял собой классический тип беспринципного авантюриста, готового на все ради наживы и личной карьеры. Оказав существенную помощь Наполеону III при государственном перевороте в декабре 1851 года, он занимал во время Второй империи весьма высокое положение. В конце 60-х годов Флери получил назначение на пост французского посла в Петербурге. Эта "гадина", по выражению П. А. Кропоткина, завоевала симпатии Александра II и стала его "закадычным приятелем" (см. П. А. Кропоткин, Записки революционера, М. 1966, стр. 227),

...Фюить! - Салтыков обозначал этим междометием административную ссылку.

...Ташкент древний, Ташкент установившийся и окрепший - то есть исторически сложившийся общественный строй, основанный на насилии и господстве одних людей над другими; здесь - в первую очередь царское самодержавие.

Меня нередко занимает вопрос: может ли палач обедать?.. - На этот вопрос Салтыков дал более широкий ответ в цикле "В среде умеренности и аккуратности", где изображен сотрудник политической полиции Молчалин, спокойно режущий хлеб руками, "обагрёнными бессознательным преступлением" (т. 12).

...истории о Робинзоне Крузо - это история вымышленная! Фамилия главного героя романа Д. Дефо передается здесь не в фонетической транскрипции, а в соответствии с английским написанием. Салтыкову, вероятно, осталось неизвестным, что в основу романа "Робинзон Крузо" лег подлинный факт пребывания на необитаемом острове в течение четырех с лишним лет английского боцмана Александра Селкирка.

...in partibus... - сокращенная форма латинского выражения "in partibus infidelium" ("в стране неверных", то есть не исповедующих христианство). Обычно "in partibus" переводится словами "в чужих краях", "за границей", однако в данном случае Салтыков, возможно, подразумевал полную форму выражения, подчеркивавшую положение православных "ташкентцев" среди мусульман. Туркестанского края и в Польше среди католиков. ....

...роман утратил свою прежнюю почву... - "У нас установилось такое понятие о романе, - говорил Салтыков Л. Ф. Пантелееву, - что он без любовной завязки быть не может; собственно, это идет со времени Бальзака; ранее любовная завязка не составляла необходимого условия романа, например "Дон-Кихота". Я считаю мои "Современная идиллия", "Головлевы", "Дневник провинциала" и другие настоящими романами; в них, несмотря даже на то, что они составлены как бы из отдельных рассказов, взяты целые периоды нашей жизни" (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, М. 1958, стр. 452).

...борьба за существование... - термин, приобретший универсальную известность после появления книги Чарлза Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятственных пород в борьбе за существование" (1857).

...Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности. - Возможно, Салтыков имеет в виду следующее место из "Театрального разезда после представления новой комедии": "Все изменилось давно в свете. Теперь сильнее завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого, отмстить за пренебрежение, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?" (Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. V, М. 1949, стр. 142). Скорей же всего, Салтыков подразумевает направление творчества Гоголя в целом.

...драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась бог знает где... - Аресты участников революционного движения и сочувствующих им, а также их административная ссылка и ссылка "по суду\*" - характернейшее явление политического быта России 60-х годов.

...эпохи, когда "злое начало в человеке пришло к спокойному и полному сознанию самого себя"... - цитата из труда В.-Г. Нибура "Чтения о древней истории в Боннском университете" (В. G. Niebuhr. Vortrage uber alte Qeschichte an der Universitat zu Bonn gehalten. Berlin, 1847-1851) - о персах и греках времен Александра Македонского - в переводе Т. Н. Грановского (см. Т. Н. Грановский. Соч., ч. II, изд. 2-е, М. 1866, стр. 96). Эту цитату из Нибура, как и ряд других, Салтыков привел в статье, над которой работал осенью 1869 года - "Один из деятелей русской мысли", посвященной книге: А. В. Станкевич. Тимофей Николаевич Грановский (биографический очерк), М. 1869 (см. т. 9, стр. 167).

..."Студенты", - пишет он в одном из своих писем ("Биографический очерк" А. Станкевича)... - Салтыков цитирует далее письмо Т. Н. Грановского к Фроловым от 1 января 1840 года (А. Станкевич.

Назв. соч., стр. 105-106). См. также т. 9, стр. 163.

...по выражению Грановского, он должен быть и материалом и зодчим... Имеется в виду высказывание Т. Н. Грановского в статье "Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году": "Природа есть только подножие истории, в которой совершается главный подвиг человека, где он сам является зодчим и материалом" (Т. Н. Грановский. Соч., ч. II, М. 1866, стр. 191). - Цитата эта приведена в книге А. Станкевича о Грановском (назв. соч., стр. 157).

...смешивает Ликурга с Салоном, а Мильтиада дружески называет Марафоном. - "Ташкентец-классик" смешивает известного древнегреческого полководца Мильтиада с названием селения близ Афин - Марафоном, где в 490 году до н. э. произошла знаменитая битва греков с персидскими полчищами.

Я знаю, что я ничего не знаю!.. - афоризм Сократа (более точный перевод: "Я знаю только то, что ничего не знаю").

...ухватил, смял, поволок... - Пародируется изречение Юлия Цезаря: "Пришел, увидел, победил". См. выше прим. к стр. 15.

...res nullius caedet primo occupanti! - Положение из римского частного права, зафиксированное в кодификации Юстиниана (VI в. н. э.) - см. "Римское частное право", М. 1948, стр. 208.

...с малиновым звоном... - Малиновый звон - праздничный перезвон колоколов (от бельгийского города Малина, издавна славящегося своими колоколами).

...до того сплотившись и склеившись, что даже мысль не в силах разложить ее? - См. развитие этой мысли в т. 7, стр. 473, т. 9, стр. 147.

#### ТАШКЕНТЦЫ-ЦИВИЛИЗАТОРЫ

Впервые - ОЗ, 1869, Э 10, стр. 435-454 (вып. в свет 15 октября), под заглавием "Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя". В изд. 1873 заглавие изменено: "Господа ташкентцы. Тип объяснительный (Из воспоминаний одного просветителя)".

Очерк написан, по-видимому, в августе - сентябре 1869 года и является первым из задуманной Салтыковым галереи портретов ташкентцев, в которой каждому "портрету" предполагалось дать порядковый "номер" (см. стр. 673). Опубликованный на страницах "Отечественных записок" без нумерации, этот очерк можно рассматривать как "номер первый".

...я воспитывался в то время в одном, из военно-учебных заведений... Имеется в виду Александровский (бывший Царскосельский) лицей. Об отражении ряда автобиографических эпизодов лицейской жизни в творческом наследии сатирика см. в кн.: С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, изд. 2-е, М. 1951, стр. 95-170.

...торжественного дня... - Вероятно, речь идет о праздновании "тезоименитства" Николая I.

Профессор... - Статистику в Александровском лицее в период пребывания там Салтыкова преподавал И. А. Ивановский.

Стоя на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия призвана провидением... - В речи профессора Ивановского "О началах постепенного усовершенствования государства" (СПб. 1837) находятся и те высказывания, которые он, несомненно, повторял в своих лекциях в лицее: "...цветущая внутри, сильная и уважаемая извне Россия, кажется, призвана самим Провидением быть достойною представительницею славянского имени, держать в руках своих весы мира в Европе и сообщать племенам Азии образованность европейскую" (стр. 15). Вероятно, именно эта сентенция и пародируется здесь Салтыковым.

...принцип беспрепятственности иллюминаций... - то есть восхваления действия правительства.

...московским публицистам... - Салтыков подразумевает, в первую очередь, редакторов реакционной газеты "Московские ведомости" - М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева.

"Налево кругом!" - Этой воинской командой здесь характеризуется та казарменная дисциплина, которая представляла собой одно из наиболее характерных явлений воспитательной политики в царствование Николая I.

Была, например, одна минута я устремился вперед. - Намек на вооруженное вмешательство николаевской России в европейские дела, - в частности, на подавление краковской революции 1846 года и венгерской революции 1848-1849 годов.

Туков - удобрений.

...крикнув: ребята! с нами бог! ринулся... - Сатирическая характеристика "цивилизаторской" деятельности провинциальной администрации, излюбленным средством которой являлось применение грубой силы и принуждения. Крестьянские волнения в разных областях России сплошь и рядом подавлялись воинскими командами. - Боевым призывом русских войск "с нами бог" ("Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами бог", - И с а и я, 8, 9) завершался манифест Николая I от 14 марта 1848 года, исполненный угроз по отношению к западноевропейским "крамольникам".

...Удар-Ерыгина... - Удар-Ерыгин - персонаж "Сатир в прозе" и "Помпадуров и помпадурш" (тт. 3 и 8).

...ради... - неоднократно употреблявшаяся Салтыковым старинная форма слова "рады".

...целую Палестину!.. - то есть всю страну.

...баранина это вещь очень почтенная... - На характер этого сатирически заостренного эпизода, вероятно, оказала воздействие книга П. И. Пашино "Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки". В ней содержится немало характерных подробностей о "цивилизаторах", наехавших в этот "обетованный край повышений и отличий". "Нет ни одного киргизского семейства, - пишет Пашино, - которое не имело бы несколько десятков овец. У зажиточных они считаются сотнями, а у богатых тысячами. Вкус мяса здешнего барана вовсе не тот, как в великорусских губерниях, оно гораздо нежнее, не имеет никакого запаха и удобоваримее в желудке" (стр. 134). Одна из глав этой книги так и называется: "Баранье дело" (см. отзыв о книге Пашино в ОЗ, 1869, Э 2, отд. II, стр. 339-343).

...Севастопольской брани... - Имеется в виду последний этап Крымской войны 1853-1856 годов, связанный с осадой Севастополя. Сформированное в 1855 году из крепостных крестьян "народное ополчение" находилось под командованием офицеров, избравшихся в губерниях из дворян. Офицеры-ополченцы нередко использовали свое положение для личного обогащения, совершая всякого рода злоупотребления.

...известие о мире... - Парижский мирный договор был подписан 18/30 марта 1856 года.

...усилий по водворению начал восточной цивилизации в северо-западных губерниях... - Речь идет о подавлении национально-освободительного движения в Литве, Белоруссии и Царстве Польском в 1863-1865 годах. В этих усмирительских акциях и особенно в русификаторской политике, беспощадно осуществлявшейся генерал-губернатором Северо-Западного края М. Н. Муравьевым ("Вешателем"), принимали участие не только регулярные войска и кадровая администрация, но и многочисленные "добровольцы". "Целые компании искателей приключений отправляются из Петербурга русифицировать польские провинции. Люди эти получают деньги в Петербурге и требуют полицейский конвой для водворения их на местах жительства и службы", - отмечалось в 1864 году в "Колоколе" (см. Герцен, т. XVIII, стр. 247).

...в шестьдесят третьем году... - год польского восстания.

...к покойному генералу! - к М. Н. Муравьеву, который умер в 1866 году.

им прогоны и прочее... - П. И. Пашино в цитированной выше книге отмечал, что "невероятные рационы", назначенные "цивилизаторам", были "чрезмерно высоки" (стр. 103-104).

...из академии... - из Военно-хирургической академии в Петербурге.



Не помню, в какой именно из шекспировских комедий - невинность есть пустая бутылка... - Вероятно, Салтыков имеет в виду обмен репликами между хозяйкой трактира и потаскушкой Доль в пьесе Шекспира "Генрих IV", где речь идет о "порожном сосуде" (часть 2-я, д. II, сц. 4). См. Уильям Шекспир. Полн. собр. соч. в 8-ми томах, т. 4, М. 1959, стр. 161-162).

...целые поколения пустых посуды... - В черновой рукописи "Введения" Салтыков вместо "Митрофанов" употребляет термин "пустые бутылки". Это проясняет смысл настоящего места, метафорически характеризующего Митрофанов-ташкентцев.

...разврат добросовестный... - Выражение, вероятно связанное с "Думой" М. Ю. Лермонтова (1840), где упоминается "добросовестный ребяческий разврат" предшествующего дворянского поколения.

...ces dames... - Часто употребляемое Салтыковым по-французски и по-русски выражение "эти дамы", означает "кокотки": оно встречается в известной опере-буфф Жака Оффенбаха "Елена прекрасная", либретто А. Мельяка и Л. Галеви ("La belle Helene", 1867, д. I, сц. 6).

Пьер Накатников... - См. о нем на стр. 699.

Le principe du stanovoу russe... - намек на "обуздательскую" политику и русификацию в Литве, Белоруссии и Царстве Польском, где царизм насаждал полицейские порядки.

...le principe du telegue russe. - Выражение, обличающее уровень "цивилизаторской миссии" царизма, маскировавшего свою экспансионистскую политику в Средней Азии просветительским лозунгом приобщения "отсталых народов" к благам современной культуры.

...ему небезызвестна была моя цивилизующая деятельность в одной из западных губерний ах, как я себя тогда вел! - Имеются в виду "дикозверские подвиги" (по выражению Герцена) во время подавления польского восстания, памятником которых оставались "сожженные деревни, убитые женщины, разграбленные дома" (см. Герцен, т. XVII, стр. 58).

...Omnia mea mecum porto... - Невежественный ташкентец, Накатников произносит известный афоризм древнегреческого мудреца Бианта, делая в латинском тексте ударения на французский лад.

...ses penates et ses lares... - В римской мифологии пенаты покровители семьи и домашнего очага; лары - души умерших предков, покровительствующие домашнему очагу.

Га! - междометие, встречающееся в трагедии Н. В. Кукольника "Торквато Тассо" (1833); было осмеяно современной ему критикой.

...и у нас, ташкентцев, есть свои чернорабочие и свои гвардейцы! - Об этом делении активных и пассивных приверженцев хищничества и насилия 60-х годов на две четко очерченные группы см. подробно в работе С. А. Макашина "В борьбе с реакцией". - ЛИ, т. 67, стр. 335-336. ":

...Палкин трактир - популярный ресторан на углу Невского и Литейного проспектов.

...шлющихся людей. - См. об этом выражении - т. 8, стр. 511.

#### ОНИ ЖЕ

Впервые - "Общее дело" (Женева), 1880, июнь и июль, Э 36, стр. 1215; август, Э 37, стр. 10-14, под заглавием "Ташкентцы, обратившиеся внутрь". Без подписи. В России впервые - в изд. 1881.

В очерке "Они же" дана картина (едва ли не первая в русской литературе) репрессивной политики царского правительства и борьбы с революционным движением и его деятелями.

Вследствие полного отсутствия документальных свидетельств время написания очерка устанавливается лишь предположительно на основании его содержания. Нарисованная в очерке картина похода властей против неблагонадежных элементов с приглашением добровольцев для участия в нем общим своим колоритом, многими деталями воспроизводит в сатирически-обобщенном виде разгул реакции и полицейских репрессий после каракозовского выстрела 4 апреля 1866 года, деятельность Верховной комиссии, возглавляемой М. Н. Муравьевым ("Вешателем"). Таково мнение и младшего современника писателя, историка А. Корнилова. "Началась ужаснейшая травля, лучше всего описанная впоследствии Салтыковым в мастерском очерке "Ташкентцы, обратившиеся внутрь". Обыскивали и хватали кого попало" {А. А. Корнилов. Общественное движение при Александре II (1855-1881). Исторические очерки, М. 1909, стр. 176.}. По предположению С. А. Макашина, очерк был написан еще до возникновения замысла ташкентского цикла, по горячим следам совершающихся событий, в 1866-1868 годах, и лишь на более поздних этапах включен в цикл {Содержащееся в статье В. Кранихфельда "Среди ташкентцев" утверждение, что очерк написан в 1880 году (ЛИ, 1914, Э 5, стр. 13-16), давно опровергнуто (см. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сочинения, т. 2, М.-Л. 1926, стр. 512-514; Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 199, 200).}. Неизвестно, пытался ли Салтыков провести очерк "Они же" в печать ранее 1869 года, так как сохранившаяся цензурная документация не содержит упоминаний об этом.

В одном из своих отзывов конца 1869 года наблюдающий за "Отечественными записками" Ф. Толстой, стремясь подчеркнуть уступчивость редакции требованиям цензурных властей, сооб-

щал: "Так, например, она исключила целую статью, приготовленную для Э 11 (продолжение "Ташкентцев") {В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М.-Л. 1926, стр. 36.}. Название очерка Ф. Толстым не указано, но вполне вероятно, что речь идет об очерке "Они же", ибо неизвестны другие произведения ташкентского цикла, запрещавшиеся цензурой. По-видимому, Салтыков предполагал напечатать этот очерк в ноябрьском номере "Отечественных записок" вместе с очерком "Что такое "ташкентцы"? Отступление", Используя последний в качестве своеобразного введения к произведению, являющемуся непосредственным откликом на события современной общественно-политической действительности, Салтыков подключил очерк "Они же" к ташкентской проблематике, в это время им разрабатываемой. Это оказалось нетрудно сделать, ибо образ главного героя, "цивилизующего" посредством полицейского насилия, вполне укладывался в рамки "ташкентства".

После 1869 года Салтыков, видимо, не предпринимал попыток провести в печать очерк "Они же". Лишь в 1881 году при подготовке второго издания "Господ ташкентцев", воспользовавшись некоторым ослаблением цензурного гнета, он включил его, несколько обновив и отредактировав, в состав цикла. Однако до публикации очерка в России он был дважды напечатан в зарубежной вольной русской прессе: в издававшемся в Женеве журнале "Общее дело" (1880, июнь и июль, Э 36, стр. 12-15; август, Э 37, стр. 10-14) и в том же году в издательстве М. К. Элпидина отдельной брошюрой. Обе публикации осуществлены под заглавием "Ташкентцы, обратившиеся внутрь" и без указания на принадлежность очерка Салтыкову. Публикация в "Общем деле" сопровождалась следующим примечанием: "Статью эту мы получили в числе нескольких экземпляров из разных пунктов Германии и Франции с предложением напечатать ее в "Общем деле", как произведение, которое, вследствие своей большой распространенности в публике, давно уже сделалось как бы общественным достоянием" ("Общее дело", 1880, Э 36, стр. 15).

Содержание примечания и отсутствие при публикации имени Салтыкова преследовали, несомненно, цели камуфляжа, чтобы скрыть пути получения текста из России. Из писем Н. А. Белоголового, одного из редакторов "Общего дела", к П. Л. Лаврову следует заключить, что сам Салтыков не участвовал в пересылке за границу запрещенной цензурой рукописи.

Между публикацией в "Общем деле" и изд. 1881 имеются значительные разночтения, которые свидетельствуют, что в распоряжении редакции "Общего дела" был текст без последней авторской правки. В публикации "Общего дела", например, во всех

случаях, где Салтыков в последней редакции пользовался терминами "неблагонадежные", "вольномыслие", "либералы", везде фигурируют "нигилисты", "нигилистки", "нигилизм". Так, например, вместо "увлеченная хитростью в сонмище неблагонадежных" в "Общем деле" печаталось "увлеченная страстью в нигилизм", вместо "Либералы! раздаётся победный клич" "Нигилизм! раздаётся победный клич". После слов "публицисты гремели" в "Общем деле" имелось следующее продолжение: "и доказывали, что наводнения производятся нигилистками". Вместо "Борьба романтизма с классицизмом, движение, возбужденное Белинским, Луи Бланом, Жорж Занд - все это увлекало нас совершенно искренно" и "Общем деле" печаталось: "Борьба романтизма с классицизмом, философское движение, возбужденное Гегелем, Гоголем, Жорж Занд" и т. д.

В публикации "Общего дела" имеются также абзацы, отсутствующие в изд. 1881. Так, за фразой "Но отчего же один генерал говорит: "молодец!", а другой при тех же точно обстоятельствах кричит: "мерзавец"?" следовало такое рассуждение:

"Ужели это, то самое явление, которое в административной практике известно под именем "независимости власти"? или, быть может, это первые робкие опыты практического применения принципов "самоуправления" (Он же "децентрализация" или кто во что горазд?)... Во всяком случае, нужно было бы предварительно изъять подлежащий по сему предмету трактат..."

В дальнейшем очерк в редакции, опубликованной в "Общем деле", под заглавием "Как высекли действительного статского советника, или Ташкентцы, обратившиеся внутрь" и с указанием имени автора, перепечатывался М. Элпидиным в Женеве в 1891, 1896, 1901 годах и в Берлине в 1903 году, где он был выпущен Г. Штейницем в качестве 68-го выпуска в серии "Собрание лучших русских произведений".

Ташкент еще завоеван не был... - Город Ташкент был взят штурмом русским отрядом под командованием генерала М. Г. Черняева 15 июня 1865 года. Салтыков здесь, вероятно, сознательно смещает даты из цензурных соображений.

...на Западе дело было покончено... - то есть подавлено польское национально-освободительное восстание 1863-1864 годов

Я помню, это было летом. Петербург погибал, стихии смешались. Салтыков рисует далее картину разгула реакции 60-х годов. Это время "пожаров, покушений, допросов, судбищ, высылки", когда появились "корни и нити" и был "кликнут клич", на который первыми явились "обрусители, задешево получившие куски конфискованных земель", Салтыков подробно характеризует в "Пестрых письмах" (письмо 8-е, т. 16).

Публицисты гремели; общественное мнение требовало быстрой и действительной немезиды. - "Дерзкая инициатива первого слова" в безудержной реакции 60-х годов принадлежала, как отмечал Герцен, газете "Московские ведомости" и ее редактору М. Н. Каткову. "Примеру Москвы тотчас последовали провинция и Петербург. Произошло нечто неслыханное в истории: дворянство, аристократия, купечество, словом, все цивилизованное общество империи с шестидесятимиллионным населением, без различия национальности и пола, стало превозносить самые жестокие экзекуции, посылать хвалебные телеграммы, поздравительные адреса, иконы ужасным людям, которые не вышли на честный бой, а занялись умиротворением посредством виселиц" (Герцен, т. XVIII, стр. 208-210).

Как в 1612 году, общество пыталось спасти себя само, без разрешения начальства. - Ироническое сопоставление стихийно начавшейся героической борьбы русского народа в начале XVII века за свое национальное существование с подогревавшейся реакционной печатью и правительством кампанией против "нигилистов" в 60-х годах.

...генерал произносил возмутительную речь не посрамимся, но ляжем костью. - Салтыков пародирует здесь речь М. Н. Муравьева, произнесенную в Московском английском клубе 10 апреля 1866 года: "...я скорее лягу костью, - сказал Муравьев, - чем оставлю неоткрытым это зло, зло не одного человека, но многих, действующих в совокупности. Господа, мы всеми силами должны стараться об открытии этого зла, и надеюсь, что вы, дворяне, поможете мне в этом" (МВ, 1866, Э 78, 14 апреля) - Слово "возмутительную" Салтыков здесь употребляет в смысле "призывающую к мятежу".

Так говорил... великий князь Святослав Игоревич, намереваясь вступить в сокрушительный бой с Иоанном Цимисхием... - Сражение между войсками, возглавлявшимися князем Святославом Игоревичем, и войсками византийского императора Цимисхия, произошло в 971 году и закончилось поражением русского князя.

...всех возрастов, состояний и наций. - Возможно, реминисценция из "Братьев-разбойников" Пушкина (1821):

Какая смесь одежд и лиц,  
Племен, наречий, состояний!  
Из хат, из келий, из темниц  
Они стеклися для стяжаний!

Ею подчеркивается разбойничий характер сборища ташкентцев.

...par escouades. - Приведенным в скобках французским военным термином Салтыков подчеркивает тесную связь репрессив-

ной политики самодержавия с приемами подавления революционной и национально-освободительной борьбы, выработанными правительством Третьей империи во Франции.

...у немца всегда русская душа!.. - Немецкая (по происхождению) бюрократия занимала в XVIII-XIX веках многие значительные посты в русских правительственных учреждениях. В сущности, сами цари из династии Романовых, начиная с Петра III и Екатерины II, были чистокровными немцами. Салтыков иронически выделяет здесь те свойства "правительствующих немцев" в России, которые отмечал несколько ранее Герцен в статье "Русские немцы и немецкие русские" (1859), - черствость, холодность, бесстрашие, точность и злость, беспощадность в исполнении "безумных приказов самовластья" (Герцен, т. XIV, стр. 149).

...истинный француз есть тот, который исполняет приказания генерала Пьетри! - В своей продолжительной борьбе с "крамолой", приведшей к деморализации французского народа, Наполеон III опирался на префектов парижской полиции - братьев Пьетри (Пьера-Мари и Жоакина). Пьер-Мари занимал эту должность в 1851-1858 годах. Жоаким - с 1867 года.

...666 соискателей... - Количество "крестоносцев", собравшихся в поход против "неблагонадежных" элементов, представлено здесь кабалистическим "звериным" числом, с которым в Апокалипсисе связано появление антихриста.

...встретивши "стриженую"... - К мнению издателя "Московских ведомостей" М. Н. Каткова, видевшего в "мерзавках-стрижках" "корни смуты", вскоре присоединилась полиция и широкие круги обывателей, для которых синие очки, короткие волосы, а также отсутствие кринолина у женщин интеллигентского круга стали своего рода признаком политической неблагонадежности - особенно после того, как комиссия для обсуждения мер по рескрипту царя кн. П. П. Гагарину предложила принять решение относительно ношения нигилистами "наружных признаков" их учения или "эмблем". Мужчинам запрещалось носить длинные волосы и синие очки, женщинам - короткие волосы, а также выходить без шиньонов и кринолинов. Нарушителей этого постановления предписывалось забирать в полицию (см. П. Гуревич. К характеристике реакции шестидесятых годов. - Историч. сб. "О минувшем", СПб. 1909, стр.; 108-109).

...народной немезиды - "народная немезида" - выражение Пушкина (из стихотворения "Наполеон", 1821 и "Бородинская годовщина", 1831).

...когда я цивилизовал на Западе... - то есть участвовал в кровавом подавлении польского восстания. См. прим. к стр. 53.

..."надзея" - польское слово "nadsieja" (надежда, чаяние), которое участники восстания 1863-1864 годов употребляли как синоним близкой победы.

...кислых щей... - Кислые щи - популярный в то время напиток (шипучий квас).

Ночь, робеющий дворник... - "Ночью с восьмого на девятое апреля начинается период поголовного хватания, - сообщил Н. А. Вормс в л. 231-232 "Колокола" от 1 января 1867 года. - Брали всех и каждого, кто только был оговорен, чье имя было произнесено на допросе кем-нибудь из взятых или находилось в захваченной переписке. Не спали ночей и не доедали куска. Они рыскали целые ночи; они выходили на ловлю с захождением солнца и, как тати и разбойники, скрывались при его появлении". При арестах и обысках "ташкентцы" обращались с "нигилистами" "резко и грубо, по-солдатски, на ты, уснащая речь свою площадною бранью и дикими остротами казарменного изделия, с людьми, имевшими несчастье не принадлежать к дворянской касте".

...женерозность... - великодушие (от франц. *generosite*),

"*Alea jacta est; la grandeur d'ame est a l'ordre du jour*", - восклицали мы вслух с Ламартином. - Знаменитую фразу, произнесенную, по преданию, Юлием Цезарем при переходе через реку Рубикон - "Жребий брошен", - Ламартин процитировал 6 октября 1848 года в своей речи во французском Национальном собрании, посвященной вопросу о том, как должен быть избран президент республики - палатой депутатов или всеобщим голосованием: "*Alea jacta est!* Да выскажутся бог и народ! Что-нибудь должно быть предоставлено и Провидению!" (см. *Louis Barthou. Lamartine orateur. Paris, 1916, p. 284*). К этому "крылатому выражению" Салтыков присоединил высокопарную сентенцию о "величии души" из декрета об отмене смертной казни за политические преступления, провозглашенного 26 февраля 1848 года французским Временным правительством, членом которого был Ламартин: "Временное правительство, убежденное, что величие души - это высшая политика..." ("*Moniteur Universel*", 1848, 27 февраля). Салтыков резко отрицательно относился к политической деятельности Ламартина, сыгравшего пагубную роль в февральской революции 1848 года.

Была одна минута... - Период общественного подъема после смерти Николая I.

...выползли из нор какие-то волосатые люди и начали доказывать, что "добро", "красота", "истина" - все это только слова, которые непременно нужно наполнить содержанием... - Имеется в виду появление на общественной арене в середине 50-х годов демократов-разночинцев - "новых людей", в частности, некото-

рые высказывания Чернышевского и Добролюбова в "Современнике" конца 50-х - начала 60-х годов в их полемике с либеральными публицистами и сторонниками "чистого искусства".

..."распорядиться" - то есть высечь (намек на известное выражение помещика Пеночкина в рассказе Тургенева "Бурмистр" - "Записки охотника", 1847).

Стр. 67. ...вы... друг Грановского? Вы!.. Да он бы на порог квартиры своей вас не пустил!.. - Изображая эволюцию некоторых либералов 40-х годов, ставших откровенными проводниками реакционно-охранительной идеологии, Салтыков имеет в виду и один частный, но широкоизвестный тогда факт, связанный с деятельностью бывшего приятеля Т. Н. Грановского, профессора-востоковеда В. В. Григорьева. Григорьев, писал Герцен в "Колоколе", "особенно прославился поручением в остзейские губернии, имевшим целью осмотр книжных лавок и частных библиотек в случае нужды. Ему содействовали два жандармских офицера при отборе и запечатывании книг. При окончании этого поручения Григорьев был назначен в Оренбург. Проездом через Москву ему вздумалось навестить Грановского, может, и затем, чтоб заглянуть в его библиотеку. Грановский, знавший про подвиги Григорьева, велел своему слуге не впускать его на двор" (Герцен, т. XIII, стр. 30). Намек Салтыкова был особенно злободневен, так как В. В. Григорьев незадолго до того был назначен редактором "Правительственного вестника".

..."он" сидел и читал книгу... - Чтобы убедиться, насколько точно Салтыков передает подробности обысков, в которых вместе с гвардейскими офицерами участвовали и "благонамеренные добровольцы", достаточно сопоставить нарисованные писателем сценки с воспоминаниями Г. З. Елисеева и его гражданской жены о произведенном "разнузданными ташкентцами" обыске в их доме при аресте Елисеева (см. "Шестидесятые годы", М.-Л. 1933, стр. 330-343 и 417-419).

Содержание ее было физиологическое. - Вероятно, имеется в виду книга И. М. Сеченова "Физиология нервной системы" (СПб. 1866), пользовавшаяся популярностью в среде демократической молодежи.

Гражданским браком? проклятым гражданским браком?.. - Вопросы, которые предлагались при аресте, были, "между прочим, следующего сорта: сколько вы имели мужей? сколько раз вы были в гражданском браке? и т. п., только предлагались они в самой омерзительной и возмутительно-циничной форме, приправленные гнусными казарменно-бульварными шуточками. Сколько приходилось вытерпеть, выносить нравственных оскорблений и унижений этим беззащитным женщинам - и пе-



редать невозможно!" - писал Н. А. Вормс в "Колоколе" (цит. выше статья "Белый террор").

...билет! - Так называемые "желтые билеты" выдавались в России профессиональным проституткам, которым они служили видом на жительство. Угроза выдачи "билета" служила для полиции одним из средств дискредитации одиноких или живших в гражданском браке женщин, подозреваемых в "нигилизме". См. об этом в воспоминаниях Е. П. Елисейевой ("Шестидесятые годы", указ, изд., стр. 425-427).

..."ом" уже "травленный". - В этом эпизоде отражена обстановка ареста А. И. Европеуса и его жены в 1866 году. Европеус уже дважды подвергался арестам и ссылке: как петрашевец - в 1849 году и за участие в тверской либеральной оппозиции. Как отмечал в своих воспоминаниях В. И. Танеев, когда к Европеусу "являлись с обыском, как к старому злоумышленнику, жандармы, то они каждый раз очень удивлялись, не находя ничего, кроме закуски. И закуску эту он любезно разделял с ними". Танеев сообщает, имея в виду именно очерк "Они же", что "Салтыков изложил все это в одном из своих рассказов" ("Салтыков в воспоминаниях...", стр. 563),

Все чувствовали, что надо вырвать "зло" с корнем... - "Все наши государственные и общественные интересы требуют, чтобы корень зла был обнажен вполне, - писал М. Н. Катков в одной из передовых статей в связи с выстрелом Каракозова. - Страшно подумать, если и теперь, когда зло выразилось таким ужасающим образом, оно не будет раскрыто в своих корнях..." (МВ, 1866, Э 75, 10 апреля). Той же терминологией воспользовался председатель следственной комиссии по делу Каракозова М. Н. Муравьев в своем докладе Александру II ("Былое", 1907, Э 8/20, стр. 195-199), а вслед за ним и сам царь, заявивший в известном рескрипте кн. П. П. Гагарину от 13 мая 1866 года: "Исследования, производимые учрежденною по моему повелению особою следственною комиссиею, уже указывают на корень зла" (см. "Северная почта", 1866, Э 102, 14 мая). Характерно, что в этом же документе Александр II обратился за содействием именно к "ташкентцам": "...для решительного успеха мер, принимаемых против пагубных учений, которые развились в общественной среде и стремятся поколебать в ней самые коренные основы веры, нравственного и общественного порядка, всем начальникам отдельных правительственных частей надлежит иметь в виду содействие тех других, здравых, охранительных и добронадежных сил, которыми Россия всегда была обильна и доселе, благодаря бога, преизобилует..."

Vae victis! - афоризм, которым, по словам Тита Ливия, галльский царь Бренн на заседании римского сената подчеркнул уничитель-

ное положение римлян, побежденных галлами.

От Перми до пламенной Колхиды... - Неточная цитата из стихотворения Пушкина "Клеветникам России" (1831).

"Он, очевидно, был философ... - Возможно, в основу образа этого революционера-философа легли черты П. Л. Лаврова, арестованного и сосланного в связи с каракозовским делом,

"Науки юношей питают..." - из оды М. В. Ломоносова (1747).

...зачитывавшуюся Боклем до чертиков. - Труд Г.-Т. Бокля "История цивилизации в Англии" усердно изучался русской революционной молодежью 60-х годов (см. т. 7, стр. 548). Самый факт чтения его воспринимался реакционерами как одно из проявлений "нигилизма". "Фогт, Дарвин, Молешотт, Бокль - соучастники каракозовского дела, - саркастически замечал в "Колоколе" Герцен. - Их сочинения велено отобрать у книгопродавцев. Вот до какой тупости довели нас духовные министры и бездушные крикуны казенных журналов!" (Герцен, т. XIX, стр. 131).

"Они" сидели и клеили картонки. - Описывается обыск в одной из женских артелей, создававшихся в 60-х годах по образцу, изображенному в "Что делать?" Чернышевского. Первыми вопросами "ташкентцев" к рабочим и работницам мастерских при обысках были: "Получаете ли вы жалованье? не читали ли вам "Что делать?"?" ("Колокол", л. 231-232, 1867, 1 января).

В похвалу мне произносились спичи со всех концов сыпались поздравительные телеграммы... - Намек на многочисленные манифестации реакционных дворянских кругов, с восхвалением террористической деятельности председателя комиссии по делу Каракозова М. Н. Муравьева, направленной против "нигилистов".

...а к другому, настоящему... - Вероятно, здесь содержится намек на начальника III Отделения генерал-адъютанта гр. П. А. Шувалова. Между гр. П. А. Шуваловым и М. Н. Муравьевым существовало в это время острое соперничество. "Шувалову было досадно, что не ему поручено следствие, а Муравьеву было горько, что начальником III Отделения сделали не его, а человека тридцатью годами моложе", - отмечал в 1867 году П. В. Долгоруков в корреспонденции, напечатанной в "Колоколе" (см. Петр Владимирович Долгоруков. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860-1867, М. 1934, стр. 266).

В "Старом Пекине"... - "Старый Пекин" - ресторан (трактир) на Моховой улице в Петербурге.

...это другой, а не он!.. - Намек на телесные наказания, которым, по слухам, подвергали в это время арестованных в Петропавловской крепости и в III Отделении. См. прим. к стр. 487.

Пришел, распорядился и ушел! - См. прим. к стр. 15.

ТАШКЕНТЦЫ ПРИГOTOВИТЕЛЬНОГО КЛАССА

## Параллель первая

Впервые - ОЗ, 1871, Э 9, стр. 173-207 (вып. в свет 20 сентября), под заглавием "Ташкентцы приготовительного класса".

При публикации в журнале очерк не имел подзаголовка "Параллель первая", который появился лишь в изд. 1873. Это свидетельствует, возможно, о том, что в августе 1871 года у Салтыкова еще не было намерения продолжить эту публикацию серией цикловых очерков и что такое решение возникло или окончательно оформилось лишь в сентябре - октябре 1871 года, когда он уже напечатал первую параллель и приступил к работе над второй (см. стр. 703).

Текст журнальной публикации очерка содержит немногочисленные, но в ряде случаев интересные разночтения по сравнению с текстом отдельных изданий. Так, перечень авторов "избраннейших романов", книги которых наполняли библиотеку господского дома в селе Перкали, в ОЗ и изд. 1873 был такой: "Габорио, Флобер, Фейдо, Понсон-дю-Терайль и прочее". В изд. 1881 Салтыков заменил Флобера бульварным романистом Монтепенем. По-видимому, эта замена характеризует изменение отношения Салтыкова к Флоберу, с которым он лично познакомился в 1876 году в Париже. Кроме того, рассуждения Nicolas о нигилистах завершались в "Отечественных записках" сатирическим откликом на одно из мест статьи о "нечаевском деле", помещенной в "С. - Петербургских ведомостях" (1871, Э 180): "Как сказал один мой знакомый фельетонист, - это Хлестаковы, представители собственной разгоряченной фантазии!" В "С.-Петербургских ведомостях" Нечаев действительно сравнивался с Хлестаковым: "Это Хлестаков-агитатор, Хлестаков, сознательно бросившийся в обман и увлекшийся своей ролью, подобно бессмертному Ивану Александровичу". Эта фраза процитирована Салтыковым в статье "Так называемое нечаевское дело" и отношение к нему русской журналистики", помещенной в том же номере "Отечественных записок" (см. т. 9, стр. 204). В 1873 году этот намек потерял свою остроту и злободневность, а поэтому и был исключен из текста произведения.

Во всех прижизненных изданиях другом Nicolas значится Сеня Накатников; На самом деле им был Сеня Бирюков, подпись которого стоит под запиской о романтизме. (См. стр. 119.) Однако, исправляя указанную ошибку, К. И. Халабаев и Б. М. Эйхенбаум ввели в изд. 1933-1941 в текст "Первой параллели" Пьера Накатникова, считая, что друг "куколки" и "главный двигатель ташкентской цивилизации" из очерка "Ташкентцы и цивилизаторы" - одно и то же лицо. Так была произведена необоснованная замена одного персонажа другим, никакого отношения не имеющим ни

к "куколке", ни к "заведению". В настоящем издании на основе сопоставления комментируемого очерка с "Ташкентцами-цивилизаторами" выявлены и восстановлены подлинные имена персонажей.

В "Отечественных записках" к заглавию очерка было дано авторское примечание: "Что слово "ташкентцы" следует принимать здесь не в буквальном смысле, об этом подробно объяснено в статье "Что такое "ташкентцы"?", напечатанной в "Отеч. записках", 1869, Э 1"; оно было снято в отдельном издании.

...в специально устроенные садки... - то есть в "институты для благородных девиц" - для дочерей лиц привилегированного сословия. В этих институтах изучались преимущественно французский язык, танцы и "хорошие манеры".

...а может быть... и сам Александр Дюма-фис. - Александр Дюма-сын женился в 1860 году на русской аристократке Н. Л. Нарышкиной (Кнорринг), бывшей возлюбленной А. В. Сухова-Кобылина. До этого среди любовниц Дюма была другая великосветская русская дама - Л. А. Нессельроде (Закревская). См.: "Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов". М. 1929, стр. 106 и А. Моруа. Три Дюма. М. 1962, стр. 282-377.

...конфиденткою... - наперсницей (франц. confidente).

Он у меня совсем-совсем куколка!.. - В февральском номере "Отечественных записок" 1870 года, то есть еще до написания "Параллели первой", было напечатано изложение книги Ипполита Тена "Notes sur Paris" ("Заметки о Париже") с сатирически острой характеристикой светского молодого человека, пустоголового бонвивана. "Каково же было его воспитание? писал Тен. - Во-первых, домашнее воспитание, когда мать одевала его, как куколку, и любовалась его милой рожичей" и т. д. В школе "он хвастал своим товарищам, что по воскресеньям, возвращаясь в коллегия, он провожал хорошеньких женщин, что кутил с гризетками, и все это передавалось в выражениях, не особенно приличных" (отд. II, стр. 291-324). Возможно, характеристика эта привлекла к себе внимание Салтыкова, так как этот образ имеет ряд общих черт с образом Nicolas Персианова.

...на другую куколку... - Ольга Сергеевна Персианова - первый по времени тип "куколок" в щедринской галерее пустых и аморальных светских дам (см. "Благонамеренные речи", "Круглый год", "За рубежом", "Письма к тетеньке" и др.).

...национальгарды... - французские национальные гвардейцы (франц. garde nationale). В данном случае, судя по контексту, речь идет о гвардейской офицерской молодежи Петербурга.

Адамант - алмаз.

"L'homme qui rit" - "Человек, который смеется" - роман В. Гюго (1869). Главным героем его является акробат Гуинплен.

"Из прекрасного далека" - выражение из "Мертвых душ" Гоголя (1842).

...мальтретированной... - подвергавшейся дурному обращению (от франц. maltraiter).

На семейном совете решено было просить... - то есть решено было обратиться в правительственные инстанции или даже к самому царю с просьбой о наложении опеки на имущество Персиановой, во избежание окончательного разорения ее сына.

..."царь Давид на лире, играет во псалтыре..." - "Псалтырь" - одна из книг Ветхого завета (собрание псалмов) - обычно издавалась в России с изображением псалмопевца - пророка Давида, играющего на струнном инструменте, напоминающем лиру. На этом основывается, вероятно, эта семинарская присказка, неоднократно встречающаяся в произведениях Салтыкова.

...театр Берга... - частный театр на Екатерингофском проспекте; репертуар его состоял из "французских шансонет и интермедий. Сверх того, небольшие русские пьески, гимнастические упражнения, балетные сцены и проч." (см. Вл. Михневич. Петербург весь на ладони, Часть I, СПб. 1874, стр. 227-228).

...табельным дням. - Табельные дни - дни царских праздников, в которые не функционировали государственные учреждения и учебные заведения.

A Provins // On recolte des roses... - Этот "французский известный романс" из репертуара шансонетной певички Альфонсин ("Альфонсинки") Салтыков упоминает в ряде произведений - "Письмах из провинции", "Испорченных детях", "В среде умеренности и аккуратности", "Современной идиллии" и др.

...рукулировал... - ворковал (от франц. roucouler).

...слеза невольная скатилась... - Из "Кавказского пленника" Пушкина (гл. II, стих 243).

...Светлейшего! - Светлейший князь Таврический - титул фаворита Екатерины II, генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина.

...готовил ему блестящую карьеру... - то есть собирался предложить его Екатерине II в качестве очередного фаворита, чтобы сохранить при ней "своего человечка" во время своих продолжительных отлучек из Петербурга. Салтыков намекает на реальный эпизод, относящийся к 1786 году, когда Потемкин представил Екатерине II все с той же целью своего двадцативосьмилетнего адъютанта А. М. Дмитриева-Мамонова.

...то имя... - то есть Екатерину II.

...нашу прекрасную православную религию... (si tu veux, je te donnerai une lettre pour l'excellent abbe Guete). - Смысл этого выра-

жения заключается в том, что аббат Рене Франсуа (Владимир) Гетэ (Guettee) - католический священник и клерикальный публицист перешел в православие и стал его деятельным пропагандистом на Западе.

"Без кормила, без весла"... - Из стихотворения А. К. Толстого "Вздыхают волны..." (1866). В подлиннике "Без весла и кормила".

...ездила даже с визитом к Прудону... - Персианова принадлежала к числу тех представительниц "аристократического камелизма", преисполненных, по выражению Герцена, "избалованности и дурных привычек, каприза, распущенности, кокетства, иногда несправедливости", которые зачастую, "закусив удила", испытывали желание все "делать назло" (Герцен, т. XI, стр. 463). Отсюда и демонстративный визит к Прудону, являвшемуся для русских официальных и светско-обывательских кругов живым воплощением социалистических и революционных идей.

Que la volonte de Dieu soit faite! - выражение из молитвы "Отче наш".

"Mon pere est a Paris" - Очевидно, модная шансонетка.

...нигилисты это злые духи... - Беседа Персиановой с сыном представляет собой пародию на суждения реакционных органов печати о нигилизме и "нечаевском деле" (см. т. 9, стр. 194-224). Уподобление нигилистов "злым духам", возможно, является полемическим выпадом против "Бесов" Достоевского.

...они требуют миллион четыреста тысяч голов! - См. прим. к стр. 300.

Они говорят, что наука вздор - что искусство - напрасная потеря времени что всякий сапожник в сто раз полезнее Пушкина... - Ходячие обвинения по адресу революционных демократов-разночинцев 60-х годов, выдвигавшиеся их идейными противниками и "благонамеренными обывателями".

До сих пор я только любила тебя теперь я тебя уважаю! Персианова дословно повторяет это "древнеримское изречение" из "Бесов" Достоевского (ч. 1, гл. 1), пародирующее воззрения Чернышевского на отношения между супругами (в "Что делать?"). Об этом см. подробно: Ф. М. Достоевский, Собр. соч., т. 7, М. 1957, стр. 741.

...сегодня на господском овсе застали целое стадо гусей. Я думаю, что система штрафов была бы в этом случае очень-очень действительна! Полемический выпад против А. А. Фета. См. прим. к стр. 455.

Как скоро откроется вакансия, тогда уж надо будет думать о приискании невесты-с! - Замещать должность священника в православной церкви имели право только женатые (или вдовы)

представители "духовного сословия".

"Телесного озлобления..." - выражение из "Скрижали" Арсения Грека. Аргентов, вероятно, напевает семинарскую песенку.

...краеугольные камни... - выражение из Библии (Исайя, 28, 16), означающее "основы".

"Retour des Indes"... - бордоское вино. Для улучшения вкусовых качеств этого вина его отправляли на кораблях к Индии и привозили обратно.

...с гидрою! - Подразумевается "с гидрою революции". Этот фразеологический штамп реакционной публицистики часто высмеивался Салтыковым. См., например, очерк "Самодовольная современность" (т. 7).

Но, даст бог, классическое образование превозможет, и тогда... - После долгих колебаний, связанных с вопросом - "Какая система образования менее способна привести к революции", классическая ли, основанная на изучении двух мертвых языков, или реальная, базирующаяся на точных и естественных дисциплинах (см. "Гражданин", 1872, Э 1, 3 января), правительство остановилось на первой системе. 30 июля 1871 года был утвержден гимназический устав, выработанный гр. Д. А. Толстым, утверждавшим, что реформы народного образования 1849-1851 годов "если не единственная, то одна из важных причин так сильно охватившего наше учащееся юношество материализма, нигилизма и самого пагубного самомнения" (см. С. В. Рождественский. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения. 1802-1902, СПб. 1902, стр. 520-525). Новым уставом существенно ограничивались возможности получения законченного среднего и высшего образования разночинно-демократической молодежью.

...utile dulce... - этими словами заканчивается стих 343 "Науки поэзии" Горация.

...c'est Eutrope qu'il faut lire! - Имеется в виду сочинение Евтропия "Breviam historiae Romanae" ("Краткий курс римской истории"). Книга эта изучалась Салтыковым в Дворянском институте и в Лицее.

...у Дюссо, Бореля и Донона. - Рестораны Дюссо и Бореля на Б. Морской и Донона на набережной Мойки были в равной степени известны своей дороговизной и как излюбленное место кутежей столичной "золотой молодежи". В этих ресторанах, отмечал современник, "нередко проедаются и пропиваются в один присест такие деньги, которых хватило бы на продовольствие иной голодной деревни в течение целого года" (В. О. Михневич. Наши знакомые, СПб. 1884, стр. 22).

...un nomme comte de Rubempre-un comte de l'Empire... - Фамилия де Рюбампре заимствована Салтыковым из романов Бальзака "Утраченные иллюзии" и "Блеск и нищета куртизанок". Главный герой этих произведений - разночинец Люсьен Шардон взял себе фамилию дворянки-матери - де Рюбампре. Презрительный отзыв Мангушева о "comtes de l'Empire" вызван тем, что ряд французских графских и княжеских фамилий вел свое происхождение не от старинных феодально-аристократических родов, а от "выскочек", получивших титул только при Наполеоне I.

Споленто... - Салтыков называет не существующий в Италии город, чтобы подчеркнуть лживость рассказов Мангушева, его хлестаковство.

...остерию... - Остерия - трактир (итал. Osteria).

...lacrima Christi... - сорт мускатного вина. Изготавливается из винограда, выращиваемого у подошвы Везувия.

...frutti di mare!.. - Мелкие морские животные, употребляемые в пищу жителями Италии.

Бежит, шумит // Гвадалквивир... - неточная цитата из стихотворения Пушкина "Ночной зефир // Струит эфир" (1824).

...из "свинства".., (под этим именем между воспитанниками слывет одна из "наук"), - Н. А. Корф, учившийся, как и Салтыков, в Александровском лицее, упоминает в своих мемуарах о профессоре русской словесности П. Е. Георгиевском, прозванном учениками "Пепка" и читавшем "какую-то невозможную пиитику по своей книге, прозванной нами "Пепкино свинство" (РС, 1884, Э 5, стр. 377-378). Название этого учебника: "Руководство к изучению русской словесности, содержащее в себе основные начала Изящных Искусств, теорию Красноречия, Пиитику и краткую Историю Литературы, составленное профессором императорского Царско-сельского лицея и императорского Училища правоведения Петром Георгиевским. В четырех частях. Издание второе, исправленное и дополненное", СПб. 1842 (первое издание вышло в 1835 году). Белинский в рецензии на этот учебник охарактеризовал его как "чудовище и чудище" (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, М. 1955, стр. 344347). В девятом письме из цикла "Письма к тетеньке" Салтыков также упоминает о "Пепкином свинстве" (см. т. 14).

..."Черты" - Книга "Черты деятельного учения веры...", законоучителя Царскосельского лицея Иоакима Кочетова. 3-е издание вышло в Петербурге в 1842 году.

"Чучело" - прозвище, данное лицеистами упомянутому выше профессору Георгиевскому.

Параллель вторая



Впервые - ОЗ, 1871, Э 11, стр. 247-290 (вып. в свет 19 ноября), под заглавием "Ташкентцы приготовительного класса (вторая параллель)".

К моменту публикации очерка в "Отечественных записках" у Салтыкова уже сложился план продолжения "Ташкентцев приготовительного класса", что и было обозначено им в примечании, сделанном к заглавию очерка в тексте "Отечественных записок" и снятом в отдельном издании. "Автор предполагает представить читателям несколько параллелей "ташкентцев" и потом провести каждую параллель особо, начиная с приготовительного класса, через все фазисы приличной ей деятельности. В настоящем очерке изображается "ташкентец" низшего сорта, "ташкентец", который не пойдет далеко, а будет только слепым орудием. Авт."

В отличие от "Параллели первой", в очерке изображена провинциальная помещичья семья, взрастившая "ташкентца", который, по мысли Салтыкова, в будущем должен быть "только слепым орудием". Важную и даже решающую роль в его духовном формировании сыграло учебное заведение, быт и нравы которого способствовали развитию у воспитанников "палаческих" способностей и задатков, являющихся неотъемлемым качеством ташкентца, не посягающего на занятие высоких постов и ограничивающегося исполнением вторых и третьих ролей.

Обращаясь в "Параллели первой" к изображению казенного учебного заведения, Салтыков использовал свои воспоминания, относящиеся к пребыванию в 1836-1838 годах в стенах Московского дворянского института. Подтверждением этому является, в частности, и выступление писателя Г. П. Данилевского, также учившегося в институте и пытавшегося в статье "Г. Щедрин, побиваемый собственными друзьями" обвинить Салтыкова в искажении общей картины школьного быта и духовной атмосферы в Московском дворянском институте 30-х годов (см. стр. 671).

Тексты отдельных изданий и журнала совпадают, за исключением мелких стилистических поправок, сделанных при подготовке изд. 1873.

Настоящая его, фамилия Хмылов... - Салтыков наделяет главного героя этой "параллели" фамилией пермского исправника, чудовищные злоупотребления которого приобрели в это время широкую огласку вследствие сенатской ревизии Пермской губернии (см. ВЕ, 1871, Э 10, стр. 630-659. См. также "Итоги" - т. 7, стр. 441-444).

...Танька, ростокинская разбойница... - Героиня лубочного произведения "Танька, разбойница ростокинская, или Царские терема, историческая повесть XVIII столетия...", сочинения Сергея ...-кого, в 3-х частях, М. 1834.

..."Дуб и Трость"... - басня И. А. Крылова (1805).

...вред, от наук происходящий, был приведен российскими романистами и публицистами в достаточную ясность... - Салтыков имеет в виду А. Ф. Писемского, Н. С. Лескова, В. П. Ключникова, В. П. Авенариуса, Вс. Крестовского и других авторов "антинигилистических" романов, в которых "нигилисты" изображались как "недовольные изверги, негодяи и чудовища-революционеры" (В. И. Ленин. Сочинения, т. 22, стр. 87), а увлечение студенчества естественными дисциплинами рассматривалось как основная причина их "нигилистических" воззрений. С подобных же позиций обрушивалась на революционную молодежь, на "реальные науки" и реакционно-охранительная печать, в особенности "Московские ведомости" Каткова (см. статью "Уличная философия", т. 9). Об инспирировании правительством открытого похода на материалистические учения см. т. 7, стр. 666.

...monsieur' Menuet, маленький поджарый французик... - Как отмечает С. А. Макашин, "колоритнейший сатирический тип "господина Менуета" из "Господ ташкентцев" находит свой прямой реальный прототип в лицейском французском гувернере monsieur Menuet - г. Менюе, - которого лицеисты звали не иначе как "Менуетом". - С. Макашин. Цит. соч., стр. 498.

Иди ж, душа, во ад и буди вечно пленна... - заключительная реплика Димитрия из трагедии А. П. Сумарокова "Димитрий Самозванец" (1771; д. V, явл. 5). Цитата приведена неточно. В подлиннике: "Ступай".

...пудретов заведение... - фабрика, производящая сухие удобрения из человеческих экскрементов.

...какой урядник будет сечь, Кочурин или Купцов... - В восьмой главе цикла "Недоконченные беседы" (т. 14) Салтыков также упомянул о двух урядниках-эзекуторах, служивших в Московском дворянском институте, Качурине и Купцове. "Качурин был солдат добрый и сек больно, но без вычур; Купцов сек и в то же время как бы мстил секомому" (см. также, - С. Макашин. Цит. соч., стр. 100).

Амченина... - Амченин - житель Мценска или Мценского уезда (простореч.).

...грамматику Цумпта... - "Краткая латинская грамматика Цумпта" сокращенный перевод немецкого учебника: "Auszug aus C. Q. Zumpt's lateinischer Grammatik. Zum Gebrauch fur untere und mittlere Klassen gelehrter Schulen" - одна из книг, по которым в детстве учился Салтыков. Первое издание русского перевода вышло в Москве в 1832 году.

...фалетур? - искаженное "фореитор" - верховой, правивший передней парой лошадей при запряжке цугом.

...растаг - дневка на походе, день роздыха (нем. Rastag).

... "иже еси на небеси" (церковнослав.) - из молитвы "Отче наш".  
... как тать в нощи: как вор ночью (церковнослав.) - выражение из Библии Перв. поел, к фессалоникийцам (5, 2).

... уступкой маммоне... - Маммоном у древних сирийцев и евреев назывался бог богатства. В переносном значении - само богатство. Употребляется также в значении "брюхо" и "утроба".

"Раскидывал свой шатер..." - выражение из Библии (Бытие, 13, 12).

... болона - шишка.

... необходимо сказать о братце Софроне Матвеевиче. - Образ Софрона Матвеевича является своего рода "этюдом" к Иудушке Голдрвлеву - герою романа "Господа Головлевы" (т. 13). "Палач" Хмылов представляет собой как бы первоначальный эскиз Степки-балбеса из того же романа.

... стихирами и прокимнами. - Стихира - церковное песнопение на библейские сюжеты; прокимен - стих из псалтыри.

Статский советник Ноздрев у нас был... - Этот персонаж "Мертвых душ" Гоголя встречается в качестве действующего лица во многих произведениях Салтыкова.

Параллель третья

Впервые - ОЗ, 1872, Э 1, стр. 243-296 (вып. в свет 16 января), под заглавием "Ташкентцы приготовительного класса (третья параллель)".

Текст отдельных изданий не имеет значительных отличий от журнальной редакции. При подготовке изд. 1873 проведена мелкая стилистическая обработка текста.

Князь Тарелкин - сатирически обобщенный тип боярина - перебежчика и предателя в период т. н. Смутного времени. Возможно, что Салтыков заимствовал эту фамилию из нашумевшей пьесы А. В. Сухова-Кобылина "Смерть Тарелкина", незадолго до того вышедшей в свет (1869).

... маркиза Шассе-Круазе, который прибежал из Парижа в Россию... то есть спасаясь от революционного террора 1793-1794 годов. О фамилии этого персонажа "Господ ташкентцев", "Скрежета зубовного" и "Писем к тетеньке" см. т. 3, стр. 617-618.

В Шлюшине... - Шлюшино - в просторечии - Шлиссельбург.

Вот и марки почтовые проявились! - В России почтовые марки были введены в 1857 году.

... инспекторский департамент упразднен! - Инспекторский департамент министерства внутренних дел был упразднен в 1858 году.

Я сам в комиссии о распространении единомыслия двадцать лет членом состоял... - Одно из частых у Салтыкова переосмыслений названия правительственно-бюрократических комиссий, ра-

бота которых отличалась полнейшей бесплодностью. В данном случае варьируется заголовок известного сатирического "проекта" Козьмы Пруткова - "О введении единомыслия в России", впервые опубликованного в Э 9 "Свистка" ("Современник", 1863, Э 4). Автором "проекта" Пруткова был В. М. Жемчужников.

...почтовые ящики... - Первые почтовые ящики в Петербурге и Москве появились в 1848 году, однако повсеместное их распространение относится к последующим десятилетиям.

...древле Захарам, священник Авиевой чреды, на склоне дней своих оная Елизавет] - По евангельскому сказанию, у священника Захарии и жены его Елизаветы родился сын (будущий Иоанн Креститель), когда Захария был уже в весьма преклонном возрасте (Лука, 1, 5-25).

...взыгра младенец во чреве моем! (церковнослав.) - выражение из Евангелия (Лука, 1,44).

Христины Карловны Либефрау. - Фамилия акушерки в переводе с немецкого означает "милая женщина".

..."часы" слушать... - Часы - богослужение в православной церкви.

...из-под арки Главного штаба... - знаменитая арка архитектора Росси, соединяющая Дворцовую площадь с Большой Морской и Невским проспектом. К "неоглядной пустыне, обрамленной всякого рода присутственными местами", то есть через арку Главного штаба, обычно двигался "чиновничий ход" (см. "В среде умеренности и аккуратности", т. 11).

Лаишев стоит при реке Волге... - Ошибка: город Лаишев расположен на берегу Камы.

"Заведение" имело специальностью воспитывать государственных младенцев. - В этой обобщенной характеристике привилегированного учебного заведения явственно проступают черты Петербургского императорского училища правоведения, учрежденного в 1835 году "для образования благороднейшего общества на службу по судебной части". Салтыкову были хорошо известны порядки, царившие в этом училище, так как в годы его пребывания в Александровском лицее правоведы и лицеисты находились в тесном общении друг с другом. Воспитание "государственных младенцев" подробно охарактеризовано в "Испорченных детях" (т. 7, стр. 361-397).

...мсье Петанлер... - Фамилия эта в переводе с французского означает "ветрогон" (pet-en-l'air - очень короткий домашний пиджак).

"Les Novogorodiens disaient oui, et disaient oui et perdirent leur liberte". - Буквальный, почти бессмысленный перевод русской исторической поговорки "Новгородцы такали, такали да Новго-

род и протекали", вероятно, связанной с насильственным присоединением Новгорода и его владений к Московскому княжеству (1478). Перевод этот Салтыков приводит в нескольких своих произведениях (см., например, "Помпадурсы и помпадурши" - т. 8, стр. 500). В "Письмах к тетеньке" (т. 14) он ссылается на какую-то "хрестоматию Тампе", в которой эта поговорка помещена.

"Раздался звук вечеревого колокола - и дрогнули сердца новгородцев". Неточно приведенные начальные строки исторической повести Н. М. Карамзина "Марфа Посадница, или Покорение Новгорода" (1803).

"De viris illustribus"... - известное сочинение Плутарха (в латинском переводе) - "Сравнительные жизнеописания".

Судебная реформа... - 20 ноября 1864 года Александром II был утвержден новый судебный устав, которым сословные суды заменялись общими для всех сословий учреждениями и вводился институт присяжных заседателей.

...о каких-то баснословных кушах... - Речь идет о громадных гонорарах, получаемых некоторыми адвокатами за участие в защите обвиняемых, вопреки всем правилам и ограничениям. См. об этом в "Дневнике провинциала".

...грек... - Этим словом (франц. le Grec) обозначался человек неблаговидного поведения - шулер, мошенник, шпион.

...место председателя конкурса... - В буржуазном торговом праве удовлетворение требований нескольких кредиторов к "несостоятельному должнику" ("конкурс") производится посредством "конкурсного управления", состоящего из коллегии кредиторов, в состав которой часто вводятся и юристы. После судебной реформы, в 1868 году, были выработаны особые правила для конкурсных дел, подсудных окружным судам; они оставляли, однако, простор для всякого рода злоупотреблений.

Что под каждым здесь листом // Ты найдешь и стол и дом... Перефразировка известного двустишия из басни И. А. Крылова "Стрекоза и Муравей" (1808).

...спирало в зобу дыхание. - Из басни И. А. Крылова "Ворона и Лисица" (1807). У Крылова: "От радости в зобу дыханье сперло".

С одной стороны - лестная обязанность защищать общество... Ироническая характеристика обязанностей прокурора в пореформенном суде.

С другой - лестная обязанность ограждать невинного... - Столь же ироническая характеристика обязанностей адвоката.

...татары бегают... - В самых модных ресторанах Петербурга того времени прислуга набиралась преимущественно из татар (см. А. Бахтияров. Брюхо Петербурга, СПб. 1888, стр. 232-233).

Рыбари - продавцы рыбы.

...талия. - круг карточной игры до срыва банка.

...камелия... - содержанка (так стали называть кокоток после сенсационного успеха романа и драмы А. Дюма "Дама с камелиями" ("La Dame aux Camelias", 1848-1852), главной героиней которого являлась парижская кокотка Маргерит Готье.

...завелась игра в суды. - Историк училища правоведения отмечает, что в это учебное заведение доставлялись "решенные гражданские и уголовные дела из архивов разных присутственных мест низших и средних инстанций, которые разбирались воспитанниками под руководством профессоров; по ним воспитанниками составлялись доклады и решения как будущими секретарями и судьями" (Георгий Сюзор. Ко дню LXXV юбилея Императорского училища правоведения, 1835-1910 гг. (Исторический очерк), СПб. 1910, стр. 189). Эпизод "игры в суд" дал сатирику повод для пародирования процедуры нового суда и обличения беспринципности адвокатов и прокуроров, а также неподготовленности присяжных заседателей. Салтыков высмеивал при этом шаблонные приемы ораторского искусства, заимствованные из французской судебной практики, что подчеркивается приведением французских слов в скобках.

от неключимости... - Неключимость - бесполезность.

...суд скорый, милостивый и правый... - Ирония по поводу указа Александра II от 20 ноября 1864 года о введении судебной реформы. Говоря о новых судебных уставах, Александр II заявлял: "Рассмотрев сии проекты, Мы находим, что они вполне соответствуют желанию Нашему водворить в России суд, скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших" (СПб. вед., 1864, Э 271, 23 ноября).

...заправских адвокатов из породы *jeunes premiers*. - См. об адвокатах этого типа в "Дневнике провинциала" - на стр. 365, а также в "Благонамеренных речах" (т. 11). *jeune premier* - актерское амплуа; "первый любовник".

...знаменитые духи, советовавшие господину Корбе в такую-то ночь посылнее взволновать г-жу Алымову. - Скончавшийся 27 декабря 1870 года помещик К. Ф. Корбе оставил завещание, по которому предоставил все свое имущество в пожизненное безотчетное пользование своей любовнице, капитанше Е. М. Алымовой: - спиритке, служившей ему в качестве "медиума" при сношениях с "духом" покойного брата ее деда - Василия Соколинского. Поскольку Корбе подробно записывал все высказывания своего загробного "собеседника", внушавшего ему, что он должен любить Алымову "супружеской любовью", написать в ее пользу завещание, систематически истязать своего малолетнего сына и т. п., суду удалось установить, что он служил объектом бесстыдной

эксплуатации со стороны авантюристки. Нашумевший процесс Алымовой, проходивший в Екатеринославе с 30 сентября по 2 октября 1871 года, широко освещался в печати. На суде зачитывались многочисленные выдержки из записей Корбе, в которых встречались следующие "повеления деда": "Будь покровителем дочери моей! будь ее вожатым, будь ее опорой, люби ее, как Христос возлюбил церковь, делись с ней всем". "Соединяю союз ваш, но не раньше ночи", - вещал "дед", требуя далее, чтобы "внук покрепче взволновал внучку" (СПб. вед., 1871, Э 314-315, 14-15 ноября).

...жалкой теории абсолютной неменяемости... - По-видимому, имеются в виду воззрения Чернышевского, Добролюбова и их последователей, подчеркивавших социальную обусловленность преступности.

...преступник, как говорит бессмертный Гегель, не только имеет право на наказание, но может даже требовать его... - Имеется в виду параграф 100 "Философии права" Гегеля: "Поражение, постигающее преступника, не только справедливо в себе, - в качестве справедливого поражения оно представляет собою вместе с тем его в себе сущую волю, наличное бытие его свободы, его право, - а есть также право, положенное в самом преступнике, то есть оно положено в его налично сущей воле, в его поступке..." (Гегель. Соч., т. VII, М. - Л. 1934, стр. 117).

Для обвинения в диффамации тут нет повода... - Согласно Уложению о наказаниях, лица, виновные в диффамации, то есть в "оглашении в печати о частном или должностном лице, или обществе, или установлении такого обстоятельства, которое может повредить их чести, достоинству или доброму имени", подвергались денежному штрафу и тюремному заключению (ст. 1039 и 1535).

...гард де-ссо! - министр юстиции (франц. garde de sceau).

...Плотицына сегодня во сне видел! - Намек на нашумевшее судебное дело, возбужденное в 1869 году против моршанского купца-миллионера М. Плотицына, обвиненного в распространении скопческой ереси и в попытке дать взятку полицейским властям. Огромное состояние Плотицына возбуждало в адвокатской среде самые неумеренные вожделения. Выступить в качестве его защитника значило получить огромный денежный куш и приобрести широкую известность. "Одно из больших развлечений адвокатуры составляют так называемые миллионные дела", - отмечалось в "Судебном вестнике" (1869, Э 179, 17 августа).

...такую "деверию" завел... - Французская исполнительница главной партии в опере-буфф Жака Оффенбаха "Прекрасная Елена", Деверя", во время пребывания в России совмещала сцениче-

ские выступления с ампула соержанки; ее скандальные похождения были широко известны в обществе, обсуждались столичными периодическими изданиями и т. п.

...Катериновке... - Катериновка - Екатерининский канал в Петербурге (ныне Канал Грибоедова), о сомнительной чистоте которого иронически отозвался еще Гоголь в "Невском проспекте". К 70-м годам загрязненность канала достигла такой степени, что его собирались совсем засыпать.

Акрид... - Акриды - съедобные насекомые вроде саранчи. О них упоминается в евангельской легенде об Иоанне Крестителе, который в пустыне "ел акриды и дикий мед", то есть жил впроголодь (Марк, 1, 6).

"бульи"... - отварная говядина (от франц. bouilli).

...которая двадцать миллионов долларов в наследство получила! - См. об этом сенсационном сообщении, появившемся в петербургской печати и оказавшемся чистейшим блефом, в "Русском мире" (1872, Э 94, 11 апреля). Наследницей мифического американского миллионера Л-е называлась "одна проживающая в Петербурге бедная старушка".

...поднимать завесу будущего... - Крылатое выражение, связанное с тем, что в египетском храме, посвященном богине Изиде (в Заисе), находилась статуя, которая была покрыта завесой со следующей надписью: "Я то, что было, что есть и что будет: завесы моей еще ни один смертный не поднимал". В данном случае Салтыков приводит это выражение как образец словесного штампа, характерного для судебных ораторов того времени; нередко он применял его в эзоповском смысле - как обозначение социалистических устремлений и идеалов.

...кулеврина! - старинная пушка (франц. coulevrine). В данном контексте: "подвести мину".

...фетировать - чувствовать (от франц. feter).

...с капитанским чином на плечах... - По табели 6 рангах, гражданский чин VIII класса (коллежский асессор), который давался при успешном окончании училища, приравнивался к военному чину "капитан" (тоже VIII класса).

Параллель четвертая

Впервые - ОЗ, 1872, Э 9, стр. 1-60 (вып. в свет 18 сентября), под заглавием "Ташкентцы приготовительного класса (Параллель четвертая)".

Тексты отдельных изданий идентичны, за исключением ряда сокращений, произведенных в заключительной части очерка при подготовке изд. 1881.

Возможной причиной удаления из текста нескольких небольших фрагментов явилось появление в 1880 году первого отдель-



ного издания "Господ Головлевых", так как некоторые характеристики Порфиши Велентьева были близки к соответствующим характеристикам Порфирия Головлева, что и могло побудить автора после завершения "Господ Головлевых" снять некоторые строки в "Параллели четвертой" и тем самым ослабить бросающуюся в глаза генетическую связь двух указанных персонажей.

Приводим текст сокращенных в 1881 году фрагментов:

1. Стр. 260. "...и принимали самый фантастический характер..." (в ОЗ и изд. 1873: характер!). - после этих слов в ОЗ и в изд. 1873 следовала заключающая абзац фраза:

То были целые последовательные сны, в которых он чувствовал себя таким же реальным действующим лицом, как и в реальной из действительностей.

2. Стр. 260. "...умножает, поверяет и получает проценты..." (в ОЗ и в изд. 1873 вместо многоточия - точка). - После этих слов в ОЗ и в изд. 1873 была следующая заключающая абзац фраза:

Словом сказать, процесс созидания, имеющий исходною точкой неразменный червонец, продолжается до тех пор, пока Порфиша окончательно не запутывается в громадности счетов.

3. Стр. 261. "...запутывается в собственных тенетах". - После этих слов в ОЗ и в изд. 1873 следовало: "в виде громадного ряда счетов и цифр".

4. "...наименование "внезапно данной пощечины". - После этих слов в ОЗ и в изд. 1873 следовало:

Никто не подозревал, что Порфиша рассеян единственно потому, что его занимают высшие финансовые соображения.

5. Стр. 262. "...вручил "следуемое по положению". - После этих слов в ОЗ и в изд. 1873 следовало: "Разговор шел оживленный и самый дружеский".

6. Стр. 265. "...она носила чисто отвлеченный характер". - После этих слов в ОЗ и в изд. 1873 следовало:

Порфиша неумоимо преследовал финансовую и экономическую суматоху, но преследовал ее бескорыстно.

7. Стр. 266. "...тем более умилялась его душа". - После этих слов в ОЗ и в изд. 1873 следовало:

Самое накопление привлекало его не столько как накопление, сколько как повод для приведения в действие тех самоновейших и усовершенствованных приемов, посредством которых оно достигается.

Наконец, наступил 1857 год, который всем открыл глаза. - 20 ноября 1857 года в рескрипте Александра II виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову была впервые изложена правительственная программа крестьянских реформ.

"либералов-пенкоснимателей... - Этот термин был известен читателям, так как пятая глава "Дневника провинциала" (см. ниже), где подробно говорится о "пенкоснимателях", уже была опубликована в "Отечественных записках" - см. прим. к стр. 388.

...акционерные компании нарождались одна за другою... - Бурный рост акционерных компаний в России конца 50-х годов рельефно характеризуется следующими цифрами: в 1855 году их было основано 5, в 1856 - 8, в 1857-15, в 1858 - 43. См.: Л. Е. Шепелев. Акционерное учредительство в России (историко-статистический очерк). Сб. "Из истории империализма в России", М.-Л. 1959, стр. 136-139.

...созию... - двойника (франц. *sosie*) - по имени персонажа комедии Мольера "Амфитрион".

Оно увидело в них баловней фортуны, гениальных самоучек... - К этим "баловням фортуны", появившимся на общественной арене во второй половине 50-х годов, Салтыков относил, в первую очередь, известного откупщика-публициста, "миллионщика" В. А. Кокорева, начавшего свою карьеру сидельцем в питейном доме. Характерен отзыв о нем поэта и переводчика Н. А. Струговщикова, видевшего в Кокореве "величайшего гения русской земли" (см. А. В. Никитенко, Дневник, т. 2, М. 1955, стр. 118).

...поговорить о Василье Поротоухове при случае. - См. стр. 582.

Патристика - раздел богословия, посвященный разбору учения и "житиям" основоположников раннего христианства, так называемых "отцов церкви" (от лат. *pater* - отец).

...догматического богословия... - изложение системы и истории религиозных догматов.

...неизгладимое клеймо племени Левитова. - В духовных учебных заведениях конца XVIII - начала XIX века учащимся нередко присваивались своеобразные фамилии, переходившие затем к их потомкам. Вследствие этого легко угадывалось "духовное происхождение" носителя подобной фамилии (левиты - наследственный класс священнослужителей у евреев).

...Оболдуй Щетина-Ферлакур... - Последняя часть этой татарско-русско-французской фамилии в переводе с французского означает "ухаживать, ходить на поклон" (*faire la cour*).

...проект "немедленного воссоединения унии..." - то есть воссоединения униатов с православием. В областях, находившихся под управлением Речи Посполитой, православные были в конце XVI века присоединены "унией" к римско-католической церкви, однако сохраняли в известной мере прежние религиозные Обряды. На территории, отошедшей после раздела Польши к России, униаты стали постепенно переходить в православие. В данном случае говорится о мерах, принятых для насильственного массового

перехода в православие униатов после Полоцкого собора 1839 года.

...вопрос о папской непогрешимости повергающий в смущение современную католическую Европу! - Папа Пий IX провозгласил в 1867 году догмат о полной непогрешимости "наместника Христа" во всех вопросах. Передовые общественные круги Европы были в высшей степени возмущены этими средневековыми акциями, целью которых было усиление клерикализма; тем не менее в 1870 году этот догмат был утвержден Ватиканским собором.

...совлечь с себя ветхого семинариста и облечься в ризу серьезного молодого человека... - Ироническая перефразировка выражения из Библии - о необходимости совлечь с себя "ветхого человека", "облечься в нового" (Посл. ап. Павла к римлянам (6, 6), ефесянам (4, 22) и колоссянам (3, 9).

О "телесном озлоблении"... - См. прим. к стр. 104.

Двадцатые годы были уже на исходе, и прежний пиетизм заменился страстью к законодательству. - Последние годы царствования Александра I характеризовались усилением религиозно-мистических настроений в дворянской и - особенно - придворной среде (см. т. 8, стр. 385). В начале царствования Николая I была предпринята обширная кодификационная работа, выполненная под руководством М. М. Сперанского в 1826-1835 годах.

...редижировались... - Здесь: редактировались (от франц. *rediger*).

..."яко видевшим процветший в единую от нощей жезл Ааронов"... - По библейской легенде, бог избрал первосвященником еврейского народа патриарха Аарона. Предпочтение это выразилось в том, что "жезл Ааронов", положенный в скинию откровения вместе с одиннадцатью другими жезлами, внезапно "расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали" (Числа, 17, 5-8).

...эйзенахский уроженец фон Юнгфершафт, в то время уже возведенный в графское Российской империи достоинство. - Возможно, здесь содержится намек на Егора Францевича Канкрин, уроженца гессенского города Ганау, с 1823 года - министра финансов Российской империи. В графское достоинство он был возведен в 1829 году. Фамилия "Юнгфершафт" в переводе с немецкого языка означает "свежеприобретенный".

Франко-германской распри еще не существовало... - Начало ухудшения франко-германских отношений обычно относят к 1866 году.

...вопрос о национальностях дремал под сепию венских трактатов... Решениями Венского конгресса 1814-1815 годов, созданного после победы коалиции европейских государств над Наполеоном I, карта Европы была перекроена без всякого учета национальных

особенностей разделяемых и сливаемых государств. Венские трактаты - международные договоры, принятые на Венском конгрессе. Они направлены были против национально-освободительного движения в европейских странах.

Менажировать - щадить (от франц. *menager*).

Дормез - дорожная карета, приспособленная для сна в пути. Экипажи, изготовленные московским каретным мастером Иохимом, пользовались наилучшей репутацией.

...губернский город Семиозерск. - Одно из обычных в салтыковской топонимике названий губернского города, восходящее отдельными своими чертами к Рязани.

Казенная палата - губернское учреждение, подчиненное министерству финансов и ведавшее денежными делами губернии, сбором податей и пр. Салтыкову был особенно хорошо известен характер деятельности этого учреждения, так как в 1865-1868 годах он являлся председателем (управляющим) казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани.

...мундир с шитьем шестого класса... - Каждому чину, в соответствии с табелью о рангах, был присвоен особый мундир с шитьем, пышность которого увеличивалась соразмерно со ступенью, занимаемой в чиновной иерархии. Шестой класс "коллежских" чинов принадлежал к числу "средних", и шитье на его мундире отличалось сравнительной скромностью.

...отыскивать жемчужное зерно в навозе... - Намек на басню Крылова "Петух и Жемчужное Зерно" (1809).

Всякому свое... - Перевод латинского крылатого выражения "*suum cuique*", часто употреблявшегося Салтыковым на языке подлинника.

...с презуса... - Презус - здесь: председатель казенной палаты.

...губернского правления... - Губернское правление - высшее административное учреждение губернии.

...были тайные поборники масонства, многие числились членами библейского общества... - Библейское общество, учрежденное в России в 1812 году, ставило своей задачей распространение Евангелия и прочих "священных" книг на русском языке и языках других национальностей. В 1826 году библейское общество было официально распущено.

... "благословиши венец лета благости твоя, господи!" - "Венчаешь целый год благости твоей, господи" (Псалтырь, 64, 12). - Салтыков с поразительной смелостью иллюстрирует приводимое грабительское "кредо" советника питейного отделения рядом библейских текстов, подчеркивая круговую поруку чиновных "столпов" самодержавия с официальной религией.

...лепта вдовицы... - евангельское выражение, означающее скромное приношение (Марк, 12, 42; Лука, 21, 1-4). Лепта - мелкая монета у древних евреев и у греков; ...всякое даяние благо... - евангельское изречение (из Послания апостола Иакова - 1, 17); ...и всяк дар совершен... - из того же Послания (1, 17); ...ему же дань - дань, ему же честь - честь, ему же оброк - оброк... - Парафраз части стиха 7 гл. 13 "Послания апостола Павла к римлянам": "Итак, отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх"; ...Ищите и обряцете... - выражение из Евангелия (Матф, 7, 7; Лука, 11, 9); обряцете (церковнослав.) - найдете.

...без лажа... - Лаж - приплата сверх номинальной цены денежных знаков.

...не человеком солгал еси, но богу! - евангельское выражение (Деян., 5, 4).

Подобно Иову, воскликнул: бог дал, бог и взял... - выражение из Библии (Книга Иова, 1,21).

...принадлежал к секте скакунов, был пойман, на радении в инженерном замке... - В 1817 году в петербургском Михайловском замке (позже носившем название Инженерного) была обнаружена хлыстовская секта, собиравшаяся на частной квартире у подполковницы Татариновой. Хлысты эти, числом до сорока, принадлежавшие к разным слоям общества, преимущественно к великосветским, собирались по воскресеньям на "радения" и после совместных молитв и "пророчеств" принимались исступленно вертеться. Через несколько лет в Коломенской части Петербурга появилась сходная секта, члены которой, вместо верчения, прыгали на одной ноге, отчего прозваны были "скакунами". Салтыков называет здесь хлыстов Инженерного замка ("адамистов") скакунами (см. Ф. В. Ливанов. Раскольники и острожники, СПб. 1868, стр. 68-80 и 111-112. Ср. т. 8, стр. 582).

Полуимпериалы... - русские золотые монеты пятирублевого достоинства. Серенькие... красненьких... - ассигнации пятидесятирублевого и десятирублевого достоинства; и синеньких... - Пятирублевые ассигнации были синего цвета.

...присяжные... - здесь "доверенные служители при деньгах" (см. "Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля", т. III, СПб.-М. 1882, стр. 450).

Одаренный от природы домовитыми инстинктами евангельской Марфы, ли прикидывался беспечною Марией, и ни о чем так охотно не беседовал, как о масле, мирре и благовониях. - По евангельскому преданию, Христос посетил дом двух сестер - Марфы и Марии. Первая из них принялась тотчас же хлопотать по хозяйству, вторая же села у ног Христа, жадно вслушиваясь в его слова.

Христос упрекнул Марфу за то, что она "заботится и суетится о многом", а то время как ее сестре "одно только и нужно" и что она "избрала благую часть" (Лука, 10, 38-42). Называя "масло, мирру и благовония" излюбленным предметом бесед Велентьева, Салтыков подчеркивает его ханжество и лицемерие.

...талек... - тальки - мотки ниток.

...отыскивали княжеское достоинство... - то есть добивались признания их князьями.

Герольдия - ведомство по делам о титулах и дворянских привилегиях.

...Амалата и Азамата. - Салтыков присваивает этим двум своим персонажам имена героев кавказских произведений А. Бестужева-Марлинского и Лермонтова "Аммалат-бек" (1832) и "Бэла" (1839).

Магуль-Мегери - красавица турчанка, героиня сказки Лермонтова "Ашик-Кериб" (1837).

...стразовыми - из поддельных бриллиантов (страз - сорт стекла).

...пощечиться - поживиться.

..."Черную шаль"... - романс А. Н. Верстовского (1823) на слова Пушкина.

...в одно из аристократических заведений Петербурга... - Имеется в виду Александровский лицей.

...егермейстеры... - Егермейстер - придворный чин (начальник придворных егерей).

...вопрос о воссоединении латышей... - Латыши в основном принадлежали к лютеранскому вероисповеданию. В 40-х годах часть из них перешла в православие, рассчитывая на различные преимущества, вроде освобождения от рекрутской повинности, получения "работы и хлеба" и пр. Царское правительство вскоре постаралось избавить их от этих иллюзий. См. "Справку по делу о присоединении к православию крестьян Прибалтийских губерний" ("Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете", 1865, июль - сентябрь, книга третья, стр. 144-172).

...прием, носящий специальное наименование "внезапно данной пощечины". - Намек на "педагогическую" теорию Н. А. Миллера-Красовского, который в книге "Основные законы воспитания" (СПб. 1859), подвергшейся едкому разбору Н. А. Добролюбова ("Современник", 1859, Э 6), рекомендовал воздействовать на ученика "сильным моментным потрясением", поясняя этот тезис следующим примером: "Петя с такой быстротой получил три пощечины, что совсем растерялся, заплакал и давай просить у матери прощенья" (стр. 50-54). О педагогическом "методе" Миллера-

Красовского Салтыков упоминает в "Испорченных детях" (1869) - см. т. 7, стр. 370.

...Скопинский уезд, в недрах которого без вести пропадали залежи каменного угля... - Открытые в 60-х годах в Скопинском уезде Московской губернии богатые залежи каменного угля в течение продолжительного времени оставались без эксплуатации. К их разработке приступили только в 70-х годах (см. И. А. Алексеев. Историческое статистическое и современное значение города Скопина, отдел II, Скопин 1868, стр. 31; В. Н. Ильинский. Скопинский уезд в прошлом (до 40-х годов XIX века), Скопин, 1928, стр. 6.

...из значительных железных дорог существовала только одна... Николаевская железная дорога, соединявшая Петербург с Москвой (сооружена в 1843-1851 годах).

...а ты вон как развернулся! - Как отмечает биограф Салтыкова, "в качестве живой природы" для сатирического типа "буржуазного ученого дельца" писателю послужил его сотоварищ по Лицею - известный экономист В. П. Безобразов (см. С. Макашин. Цит. соч., стр. 140. См. также ЛИ, т. 11-12, стр. 302).

...старый храм разрушит... - Крылатое выражение о "разрушении храма" связано с известным Иерусалимским храмом, воздвигнутым при царе Соломоне и разрушенным халдеями в 588 году до н. э. Он был окончательно уничтожен римскими войсками в 70-х годах н. э.

...придет, насорит и уйдет. - См. прим. к стр. 15.